

Генна Сосонко



ВЕЛИКИЕ  
ШАХМАТИСТЫ  
МИРА

ДИАЛОГИ  
С ШАХМАТНЫМ  
НОСТРАДАМУСОМ

РИПОЛ КЛАССИК



Генна Сосонко

ДИАЛОГИ  
С ШАХМАТНЫМ  
НОСТРАДАМУСОМ



РИПОЛ  
КЛАССИК

МОСКВА  
2006

УДК 794  
ББК 75.581  
С66

*Серия «Великие шахматисты мира» основана в 2002 г.*

**Сосонко, Г.**

С66 Диалоги с шахматным Нострадамусом/ Генна Сосонко.— М.: РИПОЛ классик, 2006.— 352 с.: ил.— (Великие шахматисты мира).

ISBN 5-7905-4359-6

Новая книга голландского гроссмейстера Генны Сосонко — своеобразное продолжение его сборника «Мои показания» («Рипол классик», 2003), ставшего самым ярким событием в российской шахматной литературе за последние годы.

В роли Нострадамуса выступает голландец Хейн Доннер, который был не только сильным гроссмейстером, но и блестящим журналистом и литератором, любившим рядиться в тогу прорицателя. Сосонко, переведя два десятка его рассказов на русский язык, вступает с ним в заочную дискуссию. В предисловии он пишет: «По этому принципу и построена книга: сначала следует повествование Доннера, потом мое собственное — на ту же тему. Я не был бы шахматистом, если бы не рассматривал каждый рассказ Доннера как отправную точку для соревнования, надеясь, что в любом случае в выигрыше останется читатель».

УДК 794  
ББК 75.581



## К РОССИЙСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Замысел этой книги родился два года назад в Москве, когда журналист Сергей Воронков заметил мимоходом: «Был вот в Голландии замечательный гроссмейстер и писатель Доннер, а в России его толком не знают. Хорошо бы опубликовать у нас что-нибудь из написанного им».

Идея осталась в памяти. Вернувшись в Амстердам и начав просматривать многочисленные литературные зарисовки Доннера, я обнаружил, что проблемы, о которых писал голландский гроссмейстер, волнуют сегодня шахматный мир не меньше, чем во второй половине прошлого века.

Что значит профессионализм в шахматах, и имеет ли он право на существование? Почему женщины уступают мужчинам в этой интеллектуальной игре, где физиология не играет такой роли, как в других видах спорта? И что это за спорт такой, где ничью можно зафиксировать по обоюдному соглашению в любой момент игры? Какой возраст оптимален для достижения наивысших успехов, и когда пришла пора заканчивать шахматную карьеру? Какова роль в этой игре компьютера, только делавшего первые шаги при жизни Доннера: помощника? соперника? Или могильщика, который рано или поздно разрешит все тайны шахмат и делает их обычной развлекательной игрой, каких много?

Когда я перечел рассказы Доннера, мне захотелось не только познакомиться с ними российского читателя, но и самому написать о тех же самых проблемах, глядя на них из 21-го века, с позиций сегодняшнего дня. По этому принципу и построена книга: сначала следует повествование Доннера, потом мое собственное — на ту же тему. Я не был бы шахматистом, если бы не рассматривал каждый рассказ голландского гроссмейстера как отправную точку для соревнования, надеясь, что в любом случае в выигрыше останется читатель.

Еще две тысячи лет назад Геродот понимал, что если хочешь писать историю, нужно рассказывать истории, потому что из мозаики историй постепенно складывается портрет истории самой. Из мозаики историй на самые различные темы и сложена эта книга. Люди, о которых в ней идет речь, очень разные, но роднит их одно: любовь к шахматной игре, к этому океану, из которого, согласно индийской пословице, комар может пить и в котором слон может купаться.

Основной принцип, которым я руководствовался, вспоминая этих людей, — необычность судеб и характеров; и порой я ловил себя на мысли, что разглядываю маленьких шахматистов в увеличительное стекло, а великих — в уменьшительное. Иногда на страницах книги появляются персонажи, имеющие только косвенное отношение к теме повествова-

ния. Они канули в вечность, не оставив после себя никакой памяти, и мне хотелось, упомянув их, иногда даже в ущерб гладкости изложения, вернуть этих людей к жизни.

В процессе работы я понял, что книга будет неполной без очерка о самом Доннере. Ведь Доннер не только был мастером рассказа, но и прожил жизнь таким образом, что она заслуживает того, чтобы быть рассказанной.

Но помня, что «даже те, кого я знал лучше всего, незнакомы — нет! незнакомей, чем остальные», я и не претендовал на написание его биографии, твердо зная, что внутренняя жизнь любого человека не поддается описанию, и мой рассказ о нем — скорее мгновения, вырванные из жизни и сохраненные избирательной памятью.

Сейчас стыдно в этом сознаться, но из-за моей увлеченности шахматами тогда и образовавшейся вследствие этого привычки рассматривать шахматиста через призму его силы я запомнил далеко не всё из разговоров с ним, и многое пришло потом, было извлечено из памяти только в процессе написания. Пытаясь вспомнить диалоги с Доннером, его привычки и привязанности, я должен был констатировать, что целые периоды, пласты общения отлетели в неумолимое, но никогда не переполняющееся прошлое; они безвозвратно забыты, а память сохранила порой ничего не значащие фрагменты. Я отдавал себе отчет, что то время, вся та жизнь невозможны, как и любая жизнь, что передать можно лишь общий настрой, дух, проявившийся в отдельных эпизодах.

Но остались и «стоп-кадры», отложившиеся в памяти и запрятанные глубоко вовнутрь, словно я следовал тогда приказу: «Запомнить!» Тем больше волнения испытывал я, выуживая эти «стоп-кадры» из тумана, казалось бы, уничтоженного прошлого, чувствуя настоятельную потребность сделать то, чего никто не мог бы сделать вместо меня: доверить наконец эти воспоминания бумаге, потому что забытое не переставало забываться, постоянно напоминая о себе именно тем, что не хотело быть забытым.

Вспоминая прошлое, мне хотелось уберечься от сентиментальности: известно ведь, что ушедшие дни по истечении времени покрываются елочными блестками и обладают свойством восхищать и очаровывать, хотя действительность выглядела по-другому. Поэтому я старался не вживлять настоящее в прошлое, ретушируя это прошлое и представляя вместо него переснятую фотографию, как это делается иногда теперь в хроникальных фильмах о 20-х годах: неожиданно видишь цвет, которого тогда не было и в помине.

Я знал, что всякое воспоминание подкрашено тем, чем является человек в настоящее время, и старался не забывать о феномене обратной перспективы и быть начеку: люди и события вырастают в наших глазах, по мере того как от нас отдаляются. Поэтому, реанимируя прошлое, я пытался не перелицовывать его, помня, что вытчки были сделаны тогда по другой модели.

Покрытое уже музейной пылью время, когда писались рассказы Доннера, текло на первый взгляд медленно и незаметно, и может показаться, что годы эти — 60-е, 70-е, 80-е — были скучными и малоинтересными. Как посмотреть: даже если не принимать всерьез формулу, что нет ничего более интересного, чем жить в неинтересное время, оно было не менее полно значительными событиями, чем последнее десятилетие ушедшего века.

Это время вобрало в себя Вьетнам и Кубу, Пражскую весну и Карибский кризис, Солженицына и инакомыслие, все события периода, получившего название «холодная война». Мне хотелось показать мировоззрение людей, принадлежавших к той части общества в Западной Европе, которую принято было считать левой; показать эти события его глазами — человека, родившегося и выросшего в свободном мире, и моими собственными — человека, попавшего на Запад в самом начале 70-х годов, имея за плечами уже солидный опыт жизни в Советском Союзе. Ведь события, относящиеся к тому времени, в странах Запада рассматривались под совершенно другим углом зрения, да и многие понятия были абсолютно неадекватны тем, что существовали внутри того мира, где я провел без малого три десятка лет. Поэтому с самого начала моей жизни на Западе возникла парадоксальная ситуация: по сравнению с этими людьми я знал слишком много. В этом не было бы большой беды, не знай я одновременно и слишком мало.

Оказавшись в эмиграции, Роберт Музиль признался однажды: «Вообразите себе буйвола, у которого на месте рогов выросло другое придаточное образование кожи, а именно — две до смешного чувствительные мозоли. Вот это самое существо с огромной головой, некогда оснащенной грозным оружием, от которого остались одни только мозоли, — и есть человек, живущий в изгнании». Доннер помогал мне избавиться от этих мозолей или хотя бы сделать их менее чувствительными.

Сам он принадлежал к тому левому течению интеллектуалов на Западе, о котором в Советском Союзе знали только понаслышке и имели искаженное представление, принимая наивность и веру в идеалы за глупость и следование своим корыстным интересам. В результате постоянного общения с такими людьми в Амстердаме 70–80-х годов я понял, что люди, исповедующие левые взгляды в политике и верящие в неосуществимые (или неосуществимые сегодня) идеалы, не хуже, чем люди правого толка, но в том, что консерватизм лучше радикальных, а тем более экстремистских идей, не приходится сомневаться.

Пытаясь понять ту эпоху, следует прежде всего уяснить себе шкалу ценностей для людей того времени. Эти ценности в Советском Союзе и на Западе были абсолютно разными. То, что человеку, родившемуся за железным занавесом, казалось какой-то особой привилегией, а для подавляющего большинства недостижимой мечтой, на Западе считалось само собой разумеющимся, и я осознал это очень хорошо уже в первый год

моей жизни в Голландии. Но, немного приглядевшись, я понял также, что люди везде остаются теми же самыми, где бы они ни жили, со своими привычками и пристрастиями, слабостями и амбициями.

Доннер подарил шахматам гораздо больше, чем они вернули ему в виде наград и почестей. Он не дожил до 90-х годов и не стал свидетелем небывалого господства рынка над жизнью, в том числе и над шахматами. Если в повседневной жизни мы видим триумф победившего материализма, разгул потребления, жесткости, доходящей до жестокости и беззастенчивого карьеризма, то в шахматах эти годы охарактеризовались к тому же победным наступлением могущественного компьютера.

Одна из сказок братьев Гримм начинается так: «Лет этак двести назад, когда люди еще не были такими умными и хитрыми...» К шахматам эти слова относятся в полной мере, и для этого нет нужды забираться даже в такое далекое прошлое.

Как и в других областях человеческой деятельности, в шахматах рядовые мастера нового поколения идут дальше точки, достигнутой гениями предыдущего. Увеличивая силу и возможности шахматиста, компьютер попутно уменьшает нашу гордость собой, и будущее игры зависит, увы, не столько от появления ярких звезд на шахматном небосклоне, сколько от мощности процессоров. Трагедия нашего времени — это участь человека, победившего природу только для того, чтобы стать придатком машины, и к шахматам это относится в не меньшей степени, чем к окружающей действительности. Но всё, что имеет отношение к будущему, заключено в настоящем, и вряд ли следует так уж беспокоиться за судьбу шахмат, поскольку страх перед будущим может погубить радость настоящего.

О шахматах Доннер писал в течение всей своей жизни. Как репортер и как журналист, ведущий рубрики в газетах и журналах. И делал это в своем особом доннеровском стиле. «Человек, берущийся за перо, чтобы освещать те или иные спортивные события, будь то футбольный матч, легкоатлетическое соревнование или шахматная партия, — писал он, — пребывает в состоянии глубочайшей неуверенности: важность того, что он описывает, для него крайне сомнительна, и он постоянно ловит себя на мысли, что занимается полной чушью». Сам Доннер более тысячи раз садился за письменный стол или — на полчаса — за стойку бара для того, чтобы заняться такой чушью. Из этого моря репортажей, зарисовок, статей и юморесок я выбрал два десятка на самые разнообразные, наиболее приглянувшиеся мне темы, надеясь, что они будут интересны и для читателя.

После случившегося у него тяжелого кровоизлияния в мозг Доннер писал: «Расхожую фразу — только с его самообладанием и невероятной волей к жизни можно было преодолеть такое несчастье — слышишь довольно часто, особенно с экрана телевизора. Я не стану повторять этих слов и утверждать, что я в полном порядке. Ходить я не могу совершенно

и передвигаюсь только в инвалидной коляске. Мои глаза смотрят в разные стороны, поэтому на одном из них я вынужден носить повязку; я глух на одно ухо, я говорю и глотаю с большим трудом. Мои руки не слушаются меня, писать я не могу, но в марте 1984 года я прошел курс специальной терапии и научился печатать на машинке. Пусть только одним пальцем, но все же. С тех пор я веду рубрику в газете и колонку в журнале. Мой мир стал очень маленьким, но шахматист ведь привык жить в маленьком мире».

Сборник рассказов Доннера называется «Написано после моей смерти». Это исповедь инвалида, приговоренного к заключению в собственном теле, и рассказы эти так и должны быть рассматриваемы: как письма, вынесенные в большой мир из тюремной камеры тела, в которой он пребывал последние годы.

Доннер начинал как шахматист-журналист, но постепенно превращался в писателя-шахматиста, чтобы в конце жизни стать просто писателем. Хотя Доннер писал не только о шахматах, он сохранил за собой у пишущей братии репутацию шахматиста и писателя среди шахматистов, навлекая на себя если не негодование, то скептицизм обоих лагерей. Мне кажется, что здесь я тоже иду по его стопам.

Вяземский говорил, что человек, за которым нельзя закрепить ни одного анекдота, есть человек пропащий. Доннер не был ни в коем случае «пропащим человеком», и фольклорные предания, связанные с его именем, до сих пор бытуют в голландских шахматах. Пусть эти истории, обросшие ракушками времени, не всегда соответствуют действительности, но ведь и факты, сообщаемые самим Доннером, частенько преподносились им без рабской заботы об истине.

Рассказы, которые я перевел с голландского, написаны Доннером в период 1958–1983 годов. В некоторых из них я выпустил фразы, связанные со специфическими местными проблемами, в других – имена людей, которые ничего не скажут не только российскому читателю, но и молодым голландцам.

Название книги – «Диалоги с шахматным Нострадамусом», думаю, понравилось бы Доннеру, и не только потому, что он сам любил играть роль прорицателя: в звуках этого имени есть что-то и от города, в котором он прожил почти всю жизнь и который уже более трех веков является символом того, что было для Доннера самой большой ценностью в жизни, – свободы.

В своих пророчествах Нострадамус просил прощения за то, что порой говорит неясно и туманно, потому что иначе «кое-что пришлось бы не всем по сердцу». В своих рассказах и зарисовках Доннер давал характеристики, невзирая на лица, и в отличие от предсказателя, жившего четыре с половиной века тому назад, меньше всего был озабочен вопросом, что

подумают о нем самом. Он имел смелость писать то, что чувствовал, и, заставляя читателя взглянуть на события и людей своими собственными глазами, умел уверить того, что так всё и есть на самом деле.

Известно, что все люди неосознанно стараются представить окружающим свой максимально положительный образ. У Доннера этого не было и в помине. Скорее наоборот, относясь к себе с изрядной долей иронии, он не щадил себя и выставлял напоказ свои действительные или придуманные слабости, не идя на поводу у общепринятых суждений. Он не давал утратить себя общественным мнением — в Советском Союзе подобное позволяли себе лишь одиночки, но и на Западе людей такой породы надо было еще поискать.

Читатель не найдет в этой книге рассказа обо мне самом, но, когда я перечел написанное, то понял, что независимо от авторской воли речь здесь идет и о человеке, роль которого я обычно исполняю в Амстердаме.

Жизнь шахматиста, наполненная победами и поражениями, радостями и разочарованиями, похожа на китайский соус, где кислое и сладкое, перемешиваясь, создают полный вкус. Но это может быть сказано и по поводу любой человеческой жизни.

Помня об этом, автор старался быть интересным не только для шахматистов, но и для тех, кто едва знает ходы шахматных фигур, и надеется, что читателям, которым нравятся книги такого рода, эта книга понравится тоже.

*Амстердам, январь 2006*

## ХЕЙН

Весна 1943 года. Голландия. Идет война, но она совсем не чувствуется в маленькой гостинице провинциального Винтерсвейка. В этой гостинице — семья Макса Эйве, приехавшая из Амстердама. Бывший чемпион мира соглашается сыграть партию с невероятно худым подростком из Гааги, только полтора года назад научившимся играть в шахматы. После обеда в задней комнате гостиницы расставляются фигуры, соперники бросают жребий, как водится, зажав белую и черную пешки в кулаке, и партия начинается. Юноше достаются белые, и он открывает игру так, как будет всю жизнь начинать шахматную партию, — ходом ферзевой пешки. Текст партии сохранился: славянская защита, вариант, регулярно встречавшийся в матчах на мировое первенство между Алехиным и Эйве. Юноша оказал упорное сопротивление и капитулировал только на сороковом ходу в глубоком эндшпиле. Было ясно, что за полтора года он добился удивительного прогресса, и слова Эйве после окончания партии, сказанные его отцу: «У вашего сына очевидный шахматный талант», — не были просто данью вежливости. Мальчика звали Хейн Доннер.

Йоханнес Хендрикус Доннер родился 6 июля 1927 года в Гааге. Когда он был маленьким, в семье все звали его Хейни, когда стал старше — Хейн. Он очень сердился, когда его называли иначе. «Запомните, — говорил он всегда, — мое имя Доннер, для моих немногих друзей — Хейн, меня никогда не звали ни Ян, ни Ян Хейн, и я не хочу, чтобы меня кто-нибудь так называл».

Семья Доннеров была очень религиозной, протестантской, и регулярные посещения церкви были нормой. Да и сама жизнь в семье была очень строгой. Отец — министр юстиции, после войны президент Высшего совета Королевства Нидерландов, очень известный в стране человек — был членом Общества трезвости, и алкоголь был абсолютным табу в доме Доннеров в Гааге.

Когда Хейну было восемь лет, он, войдя в гостиную, объявил отцу: «Люди произошли от обезьяны, а не от Адама и Евы. Это просто невозможно». Отец очень рассердился. Он не предполагал тогда, что это заявление явится только прелюдией к трудностям в отношениях с младшим сыном, непониманию друг друга, длительным дискуссиям, которые будут продолжаться у них всю жизнь.

Хейн научился играть в шахматы в 14 лет — очень поздно по нынешним меркам. Первой его шахматной книгой стала «Дядя Ян учит своего племянника шахматам» — учебник Эйве для начинающих, в доступной форме знакомящий читателя с главными принципами игры. Хейн приобрел карманные шахматы, которыми пользовался во время уроков в гим-

назии, анализируя позиции и переигрывая партии из газет и журналов. Результаты не замедлили сказаться: отметки в таблице резко пошли вниз. Наиболее плачевно обстояло дело с немецким, хотя дома это было объяснено актом протеста против оккупации страны.

После освобождения Голландии Доннера призвали на военную службу, но вскоре комиссовали: с цыплячьей грудью, ужасно длинный, под два метра, долговязый юноша, весивший всего шестьдесят килограммов, производил жалкое впечатление.

В том же 1945 году Хейн приехал в Амстердам. Те немногие, кто помнит его в то время, говорят об очень тихом, серьезном молодом человеке, в тройке и при галстукке и на все вопросы учтиво и строго по этикету отвечавшем: «Да, сударь. Нет, сударь. Совершенно верно, сударь». Период этот длился около года; постепенно он превращался в Доннера, чьи эскапады и изречения никого не оставляли равнодушным, в того Доннера, которого запомнили все, знавшие его, в том числе и я.

Он принадлежал к тому послевоенному поколению в Западной Европе, которое потеряло веру не только в церковь, но и в общество, допустившее столь чудовищную войну и так несправедливо устроенное. К тому же быть протестантом означало — всегда оставаться в рамках. Но любые границы были тесны для него. Молодость, эмоциональность, само отношение к жизни не могло сочетаться для него с неизменно печальной фигурой Христа, а без этих ограничений и этой печали христианство в любой его форме невозможно.

Поначалу Хейн хотел изучать медицину, но потом, следуя семейной традиции, все-таки выбрал право. В Амстердаме он оказался в раскрепощенном мире конца 40-х годов: не слишком обременительная учеба, увлечения, бессонные ночи, знаменитые амстердамские кафе, нескончаемые дискуссии обо всем на свете и — шахматы.

Шахматы в этом круговороте жизни молодого студента занимали очень большое место. Слухи о том, что вместо изучения тонкостей римского права Хейн просиживает дни и ночи в кафе за шахматами, дошли и до родительского дома, но Хейн в свое оправдание использовал аргумент: все Доннеры были мастерами — такой титул в Голландии присваивается окончившим юридический факультет университета, — он же собирается стать гроссмейстером!

Я застал еще кафе на Лейденской площади, где почти всегда можно было найти молодого Доннера; сейчас на этом месте один из многочисленных баров в окружении всевозможных ресторанов и ресторанчиков, дискотек, клубов и закусточных. В этом кафе Доннер стал корифеем, законодателем мод, к парадоксальным высказываниям которого прислушивались, к чьему апломбу привыкли; здесь на него взирали с восхищением, здесь он сыграл тысячи блищартий, с шутками и звоном, под пулеметные очереди часов, доносившиеся с соседних столиков. С тех времен у Хейна



осталось выражение, часто употреблявшееся им перед партией блиц и нравившееся ему своим противопоставлением: «На что мы играем: на деньги или на честь?» Поначалу он не выделялся из других завсегдатаев этого шахматного рая, среди которых были и сильные игроки, но наступил момент, когда Доннер стал побеждать их всех без исключения.

Он вырос из этих бесконечных блицпартий, из практической игры, и дебютные новинки он чаще обнаруживал, наблюдая за тем, что происходит на соседних столиках во время турниров. Турниров? Это началось позже; к девятнадцати годам он сыграл только один серьезный турнир — Бевервейк, Хоговен-турнир, третья группа — и занял место где-то в середине турнирной таблицы.

Табе Бас, друг Хейна, вспоминает один из обычных дней Доннера того времени: «В полпятого утра мы приехали к ван ден Бергу, который, разумеется, еще не спал (*Карл ван ден Берг был сильным игроком и известным знатоком дебюта, тесно сотрудничал с Эйве*). Начались дискуссии и споры — и игра блиц навывлет. В семь утра Карл отправился спать. Доннер предложил: «Пару последних?» Мы блицевали еще несколько часов. В полдесятого утра не выдержал и я. «Посижу еще немного», — сказал Хейн. Когда я проснулся в четыре дня и заглянул в соседнюю комнату, она была темна от дыма, две пепельницы были до краев полны окурков, а сам Хейн, весь покрытый пеплом, сидел за шахматной доской и не торопясь переигрывал партии из последних журналов. Он был тогда влюблен в шахматы, и энергия его была безгранична».

На следующий год он играет в Бевервейке уже в резервной мастерской группе, где принимают участие все молодые и наиболее перспективные голландские шахматисты. Девять из девяти! Сам он счел этот результат само собой разумеющимся.

В эти годы бывало всякое, и, случалось, испытывавший голод Доннер звонил Эйве и говорил: «Грандмэтр, вы не имеете ничего против, если я загляну к вам на секунду, у меня появилась новая идея в варианте, о котором вы писали недавно? Я здесь совсем неподалеку с моим другом...» Получив разрешение и уже сидя в трамвае, Доннер говорил своему приятелю: «А теперь помолчи, я должен придумать что-нибудь в защите Нимцовича». Главная цель визита становилась ясной, когда анализ с бывшим чемпионом мира затягивался и часам к девяти в гостиную появлялась его жена с подносом горячих бутербродов с яйцом и маслом, так называемых «саламандр», которыми славился дом Эйве.

Амстердам был его город, и местом, где Хейна можно было найти почти каждый вечер, являлся «Де Кринг» — клуб в центре города на Лейденской площади, членами которого могут быть люди свободных профессий — актеры, художники, журналисты, музыканты, шахматисты. Уже в то время Доннер имел репутацию *causeur*<sup>2</sup>\* и во время дискуссий в кафе

\* Рассказчик (*фр.*).

или в «Де Кринге» обычно держал речь независимо от темы разговора. Я думаю, что Хейн провел в этих вечерних встречах, пирушках, полемике, задушевной беседе с друзьями — всем тем, что греки называли «сладкой отрадой», — больше времени, чем за шахматной доской.

«Как много он знает и обо всем, — сказал как-то один из его приятелей, адвокат по профессии. — Конечно, я не могу оценить всё, о чем говорит Хейн; единственным утешением служит то, что всё, что он говорит о юриспруденции, является полнейшей чепухой». Слова Ларри Эванса: «Всё, что говорит Доннер, всегда очень интересно, но всегда неверно», — стали фирменным знаком голландского гротсмейстера. Его доведенное до совершенства искусство беседы одних восхищало, других раздражало, разговор с ним превращался в монолог, в который слушателям едва удавалось вставить слово. Я часто видел, как собеседник является для него только поводом для такого сплошного монолога; за свою подчиненную роль человек нередко вознаграждал себя тем, что подслушивал и подглядывал, и я иногда выслушивал мысли Хейна, порой даже с его интонациями, от других людей.

В спорах он никогда не сдавался сразу, придерживаясь принципа Сганареля, заметившего после того как перепутал положение сердца и печени: «*Nous avons change tout cela*»\*. В тех случаях, когда Доннер, будучи не в силах бороться с фактами, вынужден был признавать правоту своих оппонентов, он восклицал патетически: «*Why?! Why am I always wrong?*»\*\*

Первый большой успех пришел к Доннеру в 1950 году. Главный Хоговен-турнир закончился сенсационно: его выиграл молодой дебютант, первая доска второй команды старинного гаагского клуба «D.D.» — Хейн Доннер. Удивительнее всего то, что перед началом турнира Доннер, до тех пор не добивавшийся сколь-нибудь значительных результатов, был абсолютно уверен в своем успехе. Эти качества — оптимизм и самоуверенность, нередко переходящая в бравату, — уже тогда резко отличали его от других голландских шахматистов, для которых были характерны сдержанность и почтительность к признанным маэстро. В том турнире Доннер впервые опередил Макса Эйве, стоявшего в те годы на недостижимой высоте в шахматном мире Голландии.

Тогда же Доннер громогласно объявил себя первым профессиональным шахматистом в Голландии, но как профессионал он зарабатывал очень мало. Призы в турнирах были невысоки, да и рассчитывать на них приходилось далеко не всегда. Заработок Хейна состоял из сеансов одновременной игры и рубрик в газетах и журналах, если не принимать все-речь ежевечерних блицпартий в кафе, где играли на четверть гульдена. В

---

\* Мы всё это переменили (фр.).

\*\* Почему?! Почему я всегда неправ? (англ.).

то время никто и не помышлял о профессионализме, и даже Эйве не раз играл в каком-нибудь турнире, получая в качестве вознаграждения набор серебряных ложек.

Доннер принадлежал к тому кочевому племени, которое зародилось в 19-м веке и просуществовало до совсем недавнего времени. Хотя представители этого племени и называли себя профессионалами, в действительности же, играя в кафе на ставку и время от времени в турнирах, они оставались любителями. Неслучайно поэтому чистые любители могли найти в их игре очень многое, знакомое им самим. Так и Доннер мог превосходно провести дебют, но грубо зевнуть в миттельшпиле, прекрасно сыграть одну партию, но потерпеть сокрушительное фиаско в другой, мог, наконец, с блеском выиграть турнир и с треском провалиться в следующем.

Несмотря на то что Доннер объявил себя профессионалом, по подходу к игре, подготовке к турнирам, если таковая вообще имела место, он оставался типичным любителем. Кое-кто утверждал даже, что был период, когда у него дома не было комплекта шахмат. Четверть века спустя во время Олимпиады в Ницце Доннер подошел к стеллажам с шахматными книгами и, увидев «Информатор», начал его с интересом перелистывать. «Интересно, — сказал он, — теперь есть книга, где можно найти все актуальные партии, распределенные по дебютам. Ты можешь посмотреть партии соперника или интересующий тебя вариант. Просто замечательно!» Шел восьмой год с начала выпуска югославского «Шахматного информатора»...

В шахматной федерации страны на него смотрели как на белую ворону, и за игру на олимпиадах он не получал ни цента — ведь он был профессионалом, то есть, в глазах официальных лиц, попросту нигде не работал; в то время как остальные члены команды — учителя, инженеры или служащие получали компенсацию заработной платы.

Доннер стал гроссмейстером в 1959 году, когда в мире было всего пятьдесят семь носителей высшего звания, из которых двадцать жили в Советском Союзе. В Западной Европе гроссмейстеров было всего восемь, поэтому в приглашениях на турниры у него не было недостатка. В эти годы Хейн много играет. 1963 год — один из пиков его карьеры. Доннер выигрывает сильный Хоговен-турнир, оставляя позади себя Бронштейна, Авербаха и еще восемь гроссмейстеров. «Конечно, — сказал тогда Бронштейн, занявший второе место, — если Доннер в настроении и хочет играть, то может играть очень хорошо». В этот период Хейн трижды побеждает на чемпионатах страны, регулярно и не без успеха выступает в сильных турнирах в Бевервейке, Амстердаме, Мюнхене, Дублине, Остенде, выигрывает первую доску на европейском чемпионате в Гамбурге. Но случаются и неудачи, порой и провалы; так, в 1966 году на Кубке Пятигорского в Санта-Монике, собравшем сильнейших гроссмейстеров мира, он занимает последнее место.

В 1960 году Доннер играет в зональном турнире в Мадриде. В предпоследнем туре западногерманский мастер Леман предлагает ему ничью, обеспечивающую Хейну выход в межзональный турнир. Ничья? Какая может быть ничья с патцером в лучшей позиции?! Доннер отказывается и... проигрывает.

В последнем туре его догоняют Глигорич, Помар и Портиш. «Я всегда был сумасшедшим», — жалуется он в очередной корреспонденции из испанской столицы. Четверной матч-турнир с тремя выходящими в следующий этап; Доннер оказывается последним. Тяжелый удар. Но и радость: во время этого турнира у него родился сын — Давид. Молодой отец в эйфории; он щедрой рукой раздает милостыню каждому нищему, встреченному им на улицах Мадрида, хотя обычно читал просителю строгое нравоучение с советом поскорее найти работу и оставить постыдное занятие.

Как и у почти каждого в шахматах, у него был «неудобный» противник. В его случае это была целая группа — советские шахматисты. Россия всегда оставалась для него огромной загадочной страной, где восходящая звезда голландских шахмат Франс Куйперс, подумывающий после выигрыша национального чемпионата о карьере профессионального шахматиста, проигрывает в турнире десять партий из пятнадцати, после чего всем честолюбивым помыслам приходит конец. Возможно, непреодолимый страх Доннера перед советскими шахматистами, сопровождавший его всю карьеру, начался в 1947 году, когда он после Студенческой олимпиады в Швейцарии решил возвратиться в Амстердам через Париж, с тем чтобы заглянуть в знаменитое кафе «Режанс», где, как он слышал, играют на деньги. Попытка быстрого обогащения не удалась: в кафе в тот вечер сидел старый однорукий русский эмигрант, имени которого Хейн не запомнил. Точный результат их матча канул в Лету, известно только, что Доннер вынужден был прервать свой визит в Париж и срочно вернуться на родину. Безжалостная статистика говорит, что из 129 партий, сыгранных Доннером с советскими шахматистами, он проиграл 54, сыграл вничью 72 и выиграл только три — у Смыслова, Спасского и Гипслиса.

Надо ли удивляться, что Доннер никогда не играл в СССР. Когда он анализировал партии с советскими участниками, чему я сам не раз был свидетелем, Хейн больше походил на скромного ученика, понимая, без сомнения, всю разницу в багаже знаний и подготовки между ним и его соперниками. Он пытался укрыться за шуткой и, готовясь к партиям, мог начать причитать с характерными интонациями: «Смыслов? Если он сыграет в испанской аб, мой слон погибнет. Ботвинник? Когда он свяжет моего коня слоном с g4, мне уже будет не развязаться, и я потеряю в конце концов ферзя».

В 1961 году Доннер играет в большом международном турнире в Блэде. Там его можно было часто видеть в компании с Бобби Фишером, заняв-

шим второе место, но выигравшим партию у победителя турнира — Таля. Обычно Хейн стоял у столика, за которым восемнадцатилетний американец часами блицевал с советскими гроссмейстерами, при этом беспрестанно повторяя по-русски: «Сейчас я прибью его», или проводил время в беседах с Фишером. В следующем году на Олимпиаде в Варне Доннеру удалось победить будущего чемпиона мира, пожертвовавшего коня, но просмотревшего промежуточный ход Доннера. Но сладость личного поздравления от американца он не испытал: Бобби передал через капитана, что сдает отложенную партию.

Позднее Доннер так вспоминал о своих встречах с одним из самых выдающихся игроков за всю историю шахмат:

*«Впервые я увидел Фишера в Портороже в 1958 году. Ему было тогда пятнадцать лет, это был небольшого роста мальчик со странным вытянутым лицом и приступами дикого смеха, которым он время от времени раздражался. Помимо шахмат он был полностью поглощен чтением книг Фу Манжу, представлявших из себя рассказы ужасов для подростков. Он спрашивал нас, что делают другие мальчики в его возрасте, но мы не могли дать ему удовлетворительного ответа; для того чтобы проводить время с девочками, он чувствовал себя еще недостаточно взрослым, а танцевать, пропустив перед этим несколько стаканчиков, считал безнравственным. Когда он проигрывал, то плакал.*

Годом позже в Сантьяго-де-Чили организаторы турнира пригласили вместе с ним его мать, но это оказалось ужасной ошибкой. Сразу по прибытии Фишер запросил план города и циркуль и, вонзив ножку циркуля в отель, где ему предстояло жить во время турнира, вычертил окружность и торжественно произнес: «Эта женщина не может быть допущена вовнутрь этого круга».

Перед турниром претендентов в Югославии в 1959 году он предложил мне быть его секундантом. Я отказался, и секундантом Фишера стал Ларсен.

Когда я вновь увидел его в Бледе в 1961 году, я удостоверился в том, что всё, что слышал о нем в последнее время, является правдой: взгляд Фишера на мир принял болезненные формы; он полагал, что всё зло в мире происходит от евреев, коммунистов и гомосексуалистов. Мать Фишера находилась в то время в Советском Союзе в связи с маршами мира и встречалась с Ниной Хрущевой. Ее голос можно было каждый вечер слышать по «Радио Москвы», и Бобби, выходя на нужную волну, слушал мать с выражением ненависти на лице и шипя время от времени. Он восторгался тогда Гитлером и читал всё, что мог найти по этому вопросу. Его антисемитские разговорчики были, как правило, встречаемы смущенными смешками, но никто ничего не предпринимал. В выходной день на турнире я взял его в концентрационный лагерь, сохранившийся со времен войны, чтобы показать, как выглядит смерть на практике. Посещение этого музея произве-

ло на него большое впечатление, ведь в глубине души Фишер не был плохим парнем, и он значительно смягчил свои эскапады, во всяком случае, когда разговаривал со мной.

В следующем году мы оба играли на Олимпиаде в Варне. Уже в начале турнира он положил глаз на прекрасно расположенную комнату в гостинице, которую мне удалось заполучить. Фишер немедленно затребовал у организаторов эту комнату для себя, и после некоторого сопротивления я был сослан в жалкий загон рядом с вечно шумящей станцией для очистки воздуха, в то время как он триумфально въехал в мою комнату. Я выиграл у него на той Олимпиаде. Его мать была уже замужем за англичанином, поэтому англичане были тоже включены в перечень его смертельных врагов. Круг становился всё уже. Я в его глазах считался коммунистом, но это не помешало ему лететь вместе со мной рейсом «КЛМ» из Софии в Амстердам. Когда мы вошли в самолет, стюардесса приветствовала меня по имени, что его несказанно удивило.

Случайно я знал эту девушку по Амстердаму, но ему я, конечно, сказал, что в Европе меня все знают и что я очень знаменит здесь. «С ума можно сойти!» — изумился Фишер. — В Америке никто не знает меня. Здесь же первого попавшегося пизжона все знают, а о Фишере они даже не слышали. Я позабочусь о том, чтобы они меня узнали, они все, во всем мире».

В начале 1962 года по Амстердаму разнеслась невероятная весть: Доннер полностью переменяет образ жизни, он отправляется спать в одиннадцать часов, с тем чтобы ровно в девять утра прибыть в офис Ай-би-эм, своему новому месту работы. Работы? И это тот Доннер, который строго выговаривал мастеру Константу Орбану, не пришедшему по обыкновению в кафе поиграть блиц из-за того, что поступил куда-то на службу: «Запомни, Констант: для регулярно оплачиваемой работы не может быть никакого оправдания!» Да, это тот же самый Доннер, который теперь рассказывает каждому, что он в Ай-би-эм вполне прилично зарабатывает. Невероятно!

Злые языки болтали, что для Хейна было бы лучше, если бы ему отказали в приеме на работу, как произошло в свое время с Марксом, подавшим прошение зачислить его служащим железной дороги и получившим отказ, так как его почерк был совершенно нечитаем. Другие шушукались, что Доннер был принят в столь престижную компанию только благодаря рекомендации Макса Эйве. Друзья утверждали, что долго это продолжаться не может, и оказались, конечно, правы.

Хейн стал регулярно опаздывать на службу, а однажды его застали спящим прямо за письменным столом. Потом он стал просто прогуливать. Жене, позвонившей в офис, было сказано, что господин Доннер отпросился, чтобы посетить зубного врача. Хейн? К зубному врачу? Которого он боится как огня?

Каплей, переполнившей терпение его работодателей, явилось объяснение Доннера вчерашнего отсутствия на рабочем месте:

— Ах, был такой прелестный день, и солнышко светило так чудесно...

— Да, но это еще не основание, чтобы не являться на работу, — наивно пояснили ему.

— Если все так будут думать, то солнце вообще никогда не будет светить! — гордо заявил Доннер, и это были его последние слова в офисе Ай-би-эм.

Он вернулся к прежнему ритму вечерне-ночной жизни и нередко спал и после полудня.

— Что сейчас делает твой отец? — спросили как-то у Давида его одноклассники.

— Мой отец спит, — ответил мальчик.

— Спит? В полтретьего дня?! Этого не может быть...

Тут же с каждым из сомневающихся было заключено пари на десять центов. Когда молодые заговорщики потихоньку отворили дверь в спальню, их взору открылась впечатляющая картина гиганта, почившего глубоким сном, и Давид начал собирать дань с неверующих.

Конверты синего цвета из налогового управления, известные каждому голландцу, Хейн никогда не открывал и выбрасывал прямиком в мусорное ведро. Появление судебного исполнителя, пришедшего, чтобы описать вещи злостного неплательщика, не реагирующего ни на какие предупреждения, могло окончиться серьезными неприятностями, если бы не вмешательство жены Доннера, уладившей в конце концов дело. Участи налоговых деклараций могли подвергнуться и письма из шахматной федерации с извещением о предстоящей Олимпиаде или именным приглашением на какой-нибудь международный турнир. На телефонные звонки он реагировал по настроению, равно как и на звонок входной двери. Хейн с удовольствием ходил в гости, но его собственный дом был его крепостью, его логовом, и он очень не любил гостей и ворчал, когда его навещали. «Я — гость, а не хозяин, принимающий гостей», — откровенно признавался Доннер.

Шестидесятые — это годы студенческих демонстраций, волнений и беспорядков по всей Европе. В Амстердаме возникло движение под названием «Прово» от первых двух слогов слова «провоцировать», и именно так оно и воспринималось властями. Всё началось с невинных сборищ в центре города у бронзовой фигурки амстердамскому мальчишке — забияке и проказнику, а кончилось мощным движением, всколыхнувшим сначала столицу, а потом и всю страну. Все европейские газеты писали тогда о наиболее неожиданном бунте в Европе, называя бурлящий Амстердам — Сайгоном Голландии.

Участниками этого движения стали левые интеллектуалы, неконформисты, студенты и просто молодые люди, которые были и будут во все

времена, готовые бунтовать просто ради бунта. «Прово» выступало против существующего истеблишмента, правопорядка, против манер, считавшихся единственно пристойными, за свободу в ношении одежды, длины волос, за социальную справедливость — или за то, что они понимали под этим понятием. Движение «Прово» было скорее идеей, камнем, брошенным в окно respectable голландского дома, устройство которого не менялось на протяжении долгого времени, а фундамент был заложен еще в начале 19-го века. «Прово» постепенно сошло на нет, но тогда было исключительно популярным и во многом наложило отпечаток на теперешний облик голландского общества, создав Амстердаму репутацию самого свободного города в мире.

Видное место в этом движении занимала первая жена Доннера — Ирэна ван Вейтеринг. Хотя Хейн и повторял тогда: «Меня всё это не касается, я, как Ева Браун, стою в стороне от всего этого», — и он, и его друг Гарри Мулич\* принимали активное участие в «Прово». В 1966 году, когда во время одной из демонстраций жена Доннера была арестована, Хейн сделал публичное заявление, что в знак протеста отказывается играть на Олимпиаде за страну, где женщину могут арестовать и держать в полицейском участке несколько часов, в то время как дома ее ждут двое маленьких детей. Сообщения о беспорядках в Амстердаме и о «мужественном решении гроссмейстера Доннера» появились даже в советской печати.

Молодые люди, увлеченные социалистическими, левыми идеями, имели свое представление о путях, по которым должна развиваться Голландия. Некоторые из них хотели даже ехать в колхозы помогать строительству социализма в Советском Союзе. За помощью обращались и к Ботвиннику, бывшему вице-президентом общества СССР — Голландия. Надо отдать должное Доннеру: он был категорически против этих проектов, ограничиваясь присутствием на демонстрациях и статьями в прессе.

Гимназист Ян Тимман был тогда еще слишком молод и мог только внешне подражать сторонникам этого движения: его длинные, до плеч, волосы и порванные грязные джинсы не раз вызывали недовольствие официальных лиц в шахматной федерации.

Это время совпало с Пражской весной, и Доннер, оказавшись в Праге, писал репортажи в еженедельник «Свободная Голландия» непосредственно с места событий, встречаясь с чешскими диссидентами и одобряя

---

\* Гарри Мулич (р. 1927) — известный голландский писатель, один из самых близких друзей Доннера. В дневнике «Слово и дело», опубликованном в 1968 году, он выражает свои симпатии Фиделю Кастро и кубинской революции. Книга вызвала противоречивые отклики, но Доннер защищал точку зрения своего друга в книге «Мулич, как я предполагаю». В вышедшей уже после смерти Доннера книге Мулича «Открытие неба», переведенной на многие языки, он дал портрет Доннера в образе одного из главных героев.



пассивное сопротивление советским танкам. Тимман вспоминает, что портрет Доннера висел тогда на стене его комнаты, а сам он считал дни до выхода нового номера журнала — для него, как и для многих, всё, что писал Хейн Доннер, было откровением: «Он был тогда для меня идолом, и я уже был знаком с ним лично: зимой 1967 года, когда я играл в юношеском чемпионате Европы в Гронингене, меня представили ему, и Доннер даже опубликовал в журнале одну из моих партий».

Интересно, что в Советском Союзе этот период тоже породил целое поколение «шестидесятников», из которого выросло позднее инакомыслие и диссидентство.

В 1967 году Доннер выигрывает турнир в Венеции, опередив чемпиона мира Петросяна и ряд других гроссмейстеров. Сам победитель отнесся к своему успеху более чем философски: «Подумаешь, выиграть такой турнир. Господа, это же случается само собой. Шахматы были и остаются игрой счастья». Этот мотив очень часто встречается в репортажах Доннера. «Выиграть партию на диком везении приносит много больше внутреннего удовлетворения, чем победа вследствие последовательной игры», — не раз говорил он.

«Вот последняя правда о шахматах — это игра счастья!» — писал Доннер после того, как на турнире в Вейк-ан-Зее 1972 года ему удалось выиграть у румына Гицеску партию, где у него было совершенно проигранное положение. Но и в уверенности в себе ему нельзя было отказать. Когда один из журналистов, поздравляя его после этой партии, заметил: «Ну, Хейн, завтра ты должен поставить Богу свечку за этот подарок», — реакция последовала незамедлительно: «Я? Богу? Но Он же мой Друг, мой Союзник, мы с Ним вместе прыгаем через стенку».

Триумф Доннера в Венеции имел совершенно неожиданное продолжение. Муниципалитет города, большинство в котором принадлежало коммунистам, в ожидании вероятной победы Петросяна учредил, помимо обычного, специальный приз: «Золотую гондолу» с 24 бриллиантами.

Вернувшись в Голландию, Доннер в прямой трансляции из телестудии неожиданно заявил: «Я передаю свой приз вьетнамскому Красному Кресту. Я лично не возражаю, если на вырученные деньги будет куплено и оружие, потому что американцам не место во Вьетнаме...» Этот импульсивный пассаж был, видимо, реакцией Доннера на запрещение дирекцией телевидения дискуссии по взрывоопасной теме — Вьетнаму, которая должна была состояться непосредственно перед интервью с ним. Хотя все европейские столицы бурлили антиамериканскими демонстрациями и Доннер со своим другом Муличем тоже выходил с самодельными плакатами к американскому консульству в Амстердаме, такое заявление гроссмейстера вызвало суровую реакцию.

Из журнала «Эльзевир», где Доннер вел рубрику, он был уволен за нападки на дружественную Голландии страну немедленно; аналогичным

образом хотел поступить и редактор журнала «Тайд», в котором работал Доннер, и только заступничество коллег-журналистов спасло его от столь решительной меры. Здесь не лишне отметить, что муниципалитет Венеции в конце концов передумал и гондола с бриллиантами так никогда и не была послана в Голландию.

Встречаясь на турнирах в 50-е годы с Людеком Пахманом — в то время убежденным коммунистом — и дискутируя с ним, Доннер говорил: «Ноги моей не будет в коммунистических странах». Так продолжалось до тех пор, пока не появилась Куба Фиделя Кастро.

В 60-х и 70-х годах слово «Куба» заставляло сильнее биться сердца левых в Западной Европе. Для разочаровавшихся в социализме советского типа появилась модель другого, «настоящего» социализма; у кого только не висел тогда на стене плакат с изображением Че Гевары, аргентинского врача, романтика и непреклонного в своих убеждениях идеалиста. С каждой второй футболки смотрело печальное лицо молодого человека в черном берете, имя которого, наверняка и из-за его ранней смерти, на десятилетия оказалось окруженным загадочным ореолом, отблеск которого сохранился и до наших дней. Когда в 1964 году Доннер играл на Кубе в первый раз, Че Гевара, большой любитель шахмат, очень часто бывал на турнире, и Хейн вспоминал, что сыграл однажды с ним и даже запомнил дебют — защита Каро-Канн, но, «несмотря на все старания, восстановить партию не удалось».

Мемориалы Капабланки, проводившиеся тогда на Кубе, были событиями в шахматном мире, и Доннер часто принимал в них участие. После одного из турниров он встретился с самим Фиделем. Кастро — заядлый спортсмен в годы учебы в Гаванском университете — признался, что, хотя и играет в шахматы, из всех видов спорта предпочитает бейсбол. В ответ на аргументы Доннера в защиту шахмат вождь кубинской революции сказал: «В шахматах слишком много правил. Чем меньше правил, тем больше у меня шансов на выигрыш...»

Десятки тысяч восторженных поклонников мечтали о том, чтобы посетить «остров свободы», и многие из них действительно отправлялись на Кубу, потому что Фидель Кастро был «хороший коммунист» и потому Куба была священна, и западные интеллектуалы должны были защищать остров, строить там новые дома и рубить сахарный тростник.

Гарри Мулич и Хейн Доннер тоже оказались во власти «коммунизма с улыбкой» и попали под обаяние обладавшего шармом и харизматического тогда Фиделя. Но в отличие от Мулича, утверждавшего, что на Кубе даже животные более красивы и птицы поют звонче, чем в других странах Латинской Америки, Доннер быстро увидел, что в стране всё прогнило и находится на грани разрушения, но именно поэтому и надо помогать кубинцам. Правда, работа обоих с мачете в руках, запечатленная фотографом, продолжалась недолго. Почти все время друзья проводили в бас-

сейне знаменитого отеля «Националь» в дискуссиях со своими единомышленниками из других стран о судьбах кубинской революции, о гораздо большей важности первичных потребностей человека, повторяя тот же набор доводов, которыми оперировали левые западные интеллектуалы, побывавшие в 30-х годах в СССР.

«Именно здесь, в России, — восклицал Бернард Шоу в 1932 году, — я убедился, что новая коммунистическая система способна вывести человека из нынешнего кризиса и спасти его от политической анархии и разрушения». Однако, несмотря на все дифирамбы, расточаемые им Советскому Союзу, на вопрос, почему он там не остался, Шоу отвечал, что «в Англии ад, а его обязанность находиться в аду».

Того же мнения придерживался Лион Фейхтвангер. Хотя он и говорил, что, «когда из этой гнетущей атмосферы изолгавшейся демократии и лицемерной гуманности попадаешь в чистый воздух Советского Союза, дышать становится легко», жить все-таки он предпочитал в Европе. После поездки в СССР в 1937 году Фейхтвангер писал об огромном впечатлении, произведенном на него беседой со Сталиным; почти в тех же выражениях рассказывал Мулич тридцать лет спустя о посещении Гаваны и «откровенной» беседе с Вождем.

Поведение этих людей характеризовалось непреклонным соблюдением ряда принципов: антиклерикализмом, антимилитаризмом, антикапитализмом, антиамериканизмом и — неожиданная черта — немалым снобизмом. Они говорили о правах человека и равноправии, о равномерном распределении национального продукта, они зачастую презирали деньги до такой степени, что отказывались от любой регулярной работы, лишь бы оставаться вне социальной иерархии. Вместе с тем они не имели ничего против дорогих отелей и хороших ресторанов и предпочитали ездить в первом классе, дабы избегать встреч с теми самыми людьми, о судьбах которых они вели жаркие споры. Нельзя сказать, что, теоретизируя, они были прямыми последователями Маркса, презиравшего рабочих-социалистов, этих «болванов и ослов», пытающихся овладеть идеями, которые им не по зубам; скорее они следовали совету дантова Вергилия по отношению к тем, кто лишен благородных порывов и высоких устремлений: «Они не стоят слов: взгляни — и мимо».

Термин «салонные коммунисты», конечно, может быть применен к такого рода людям, хотя употреблять его, говоря о Доннере, было бы слишком плоско, так же как вообще стараться загнать его в какие-то рамки.

Для многих в Голландии, и тем более в Советском Союзе, участия Доннера в демонстрациях в поддержку Кубы или Вьетнама было достаточно, чтобы объявить его коммунистом; для других он был анархистом, что уже ближе к истине. Корчной, называя его «левым социалистом», вспоминает, как Доннер, разгневанный поведением голландских властей во время движения «Прово», собирался просить политического убежища в США,

и недоумевает, потому что речь шла о стране, против политики которой Доннер неоднократно публично выступал. Профессор и шахматный мастер Йоханн Барендрехт называл его фашистом, хотя тут же оговаривался, что это самый приятный фашист из тех, кого он встречал. И пояснял, что имеет в виду манеру Доннера дискутировать, когда тот, повышая силу своего голоса до нескольких децибел, пытается убедить собеседника в собственных воззрениях.

Кем же он был на самом деле? Хотя Доннера считали левым и он тоже пытался одно время говорить о верных идеях Ленина, извращенных его последователями, он только отчасти примыкал к тому довольно многочисленному племени на Западе, которое с легкой совестью принимало поразительную несвободу личности в коммунистических странах. Я думаю, что если Доннеру можно дать какое-нибудь определение, то его можно скорее назвать анти-антикоммунистом. Ему не нравились люди, которых по духу и воспитанию он должен был бы считать своими, но которые не особенно задумывались над способами сокрушения коммунизма, полагая, что для борьбы с этим злом хороши любые методы. «Всё, что плохо для красных, хорошо для меня», — говорил Набоков, но Доннер не мог разделить такую точку зрения. Он очень высоко ценил Оруэлла, но не приходится сомневаться, что ему не понравился бы факт передачи последним списка с именами Чаплина, Пристли и многих других деятелей культуры, как коммунистических пропагандистов, английской секретной службе. Доннер придавал большое значение моральным принципам — понятиям, мало совместимым с реальной политикой. В нем было сочетание протестантизма и левых идей и идеалов — не такая уж редко встречающаяся комбинация — следствие его гаагского воспитания и амстердамских студенческих лет.

В 1967 году в семье возникли неурядицы, и Доннер временно поселился в гостинице «Красный лев» в самом центре города. Так он и именовал себя тогда — «Красный лев Амстердама». Это было, конечно, просто красивое словцо. В его собственном дневнике в тот период встречается выражение «пристойно левые». Вот термин, наиболее подходящий к нему, вот кем он хотел быть. Пристойно левым.

«Закрыв глаза на обширную информацию, поступавшую с Кубы, я долго, очень долго стоял на стороне Фиделя Кастро. До тех пор, пока я сам не пожил там два месяца. Тогда мне стало ясно, что этот выживший из ума престарелый упрямец позволяет своему народу почти в буквальном смысле умирать с голоду. Куба была моей последней иллюзией», — признал не так давно активный деятель «Прово», голландский журналист и писатель Ян Донкерс.

Мы не знаем, что сказал бы Доннер сегодня о своих идеалах 60-х годов, но тогда, если он внешне и соглашался с аргументами, против которых было трудно что-либо возразить, то всегда оставлял за собой возмож-

ность отступления. «Пусть так, — говорил он, — но если вам подадут подгоревший яблочный пирог, значит ли это, что следует рубить всё дерево?»

Есть теологи, которые принимают выводы современной науки, настаивающей на материальном происхождении мира, и соглашались со всеми ее доводами и аргументами, но в самый последний момент, когда материалисты уже собираются торжествовать победу над поверженным соперником, восклицают: «А все-таки Бог есть!»

Так и Доннер, выслушав все аргументы об отсутствии свобод на «острове свободы», о наличии политических заключенных, постоянных и неразрешимых проблемах кубинской экономики, нищете населения, соглашась со всем, восклицал в конце концов: «А все-таки в этом что-то есть!»

Если в шахматах он шел проторенными, классическими путями, то в жизни его привлекали оригинальные теории, необычные решения, противоречие, парадокс. Порой, слушая его, приходил на ум латинский посылат: «Верю, потому что абсурдно».

И его совершенно не смущало, если он оказывался со своим мнением в меньшинстве или даже в одиночестве. Более того, точка зрения большинства не играла для него никакой роли.

«Да, раньше я говорил так, теперь же я думаю иначе», — парировал он, когда его обвиняли в противоречивости мнений. Это был и скептицизм духа, знающего, что на некоторые вопросы может быть несколько ответов, и эмоциональность человека, внезапно увлекшегося другой идеей. Его внутренний мир был похож на часовой механизм, где колесики движутся одно навстречу другому и как бы вопреки друг другу. Но, как и в часовом механизме, его колесики образовывали единое целое, хотя по-настоящему оценить это стало возможно только тогда, когда остановился завод этих часов.

Он относился к тем всегда несвоевременным людям, что входят в вечное сообщество идеалистов, созерцателей, фантазеров, спорщиков, не умеют устраивать собственные дела, заниматься коммерцией, не похожи на других, «нормальных» людей. Этот человеческий тип встречается во все времена, и какими бы прагматичными и материальными идеями ни было охвачено общество, для таких людей всегда будет место на земле.

Впервые я увидел Доннера через несколько дней после приезда в Голландию в октябре 1972 года. С экрана телевизора на меня смотрели лица двух гроссмейстеров, знакомых мне по фотографиям, — Доннера и Пахмана. Активному участнику Пражской весны, прошедшему некоторое время в заключении, было разрешено покинуть страну; он поселился в Германии, а сейчас был гостем голландского телевидения. Я не мог следить тогда за тонкостями политических дебатов, разгоревшихся между гроссмейстерами, ясно было только, что Пахман уличал своего оппонента в левых симпатиях, а Доннер припоминал Пахману активное членство в

коммунистической партии и очень сомневался в его внезапно прорезавшемся католичестве и диссидентстве.

В 1973 году я сыграл с Доннером несколько турнирных и показательных партий и познакомился ближе. «Зови меня Хейн», — сказал он, заметив, что я не знаю, как обратиться к нему. В Голландии это означает, что мы переходим на «ты»; промежуточной формы, имеющейся в других языках, когда человека зовут по имени, но на «вы», в голландском нет. Или «господин Доннер» и «вы», или «Хейн» и «ты». В том же году я переселился в Амстердам и тоже стал посещать «Де Кринг». Для членства в этом клубе требовалось несколько рекомендаций, и одну из них дал мне Доннер.

В разговоре с коллегами я стал называть его «Большой брат». Вскоре и они стали его звать так же. Слухи об этом дошли до самого Доннера. «Это правда, что ты зовешь меня “Большим братом”?» — спросил он меня. Я сознался. «В таком случае имей в виду, что Большой брат все время наблюдает за тобой», — заметил он, сурово сдвигая брови и делая страшное лицо.

Мы с ним немало попутешествовали по Голландии, давая вместе сеансы одновременной игры в самых разных городах и местечках маленькой страны. Почти всегда мы добирались к месту назначения на поезде, но пару раз отправились в путь на моем «мини-моррисе». Сам он машину не водил принципиально. «Я не шофер, чтобы сидеть за рулем», — восклицал он не раз. Встречались мы обычно на Центральном вокзале Амстердама; его двухметровую фигуру трудно было не заметить. Хейн набирал с собой целую кучу газет и журналов и оставлял их после прочтения в вагоне поезда. Помимо голландских он читал еженедельники на немецком и английском языках. Полагаю, что общая сумма, которую он выкладывал за них, составляла примерно половину стоимости его всегда одних и тех же довольно поношенных, хотя и бывших когда-то хорошего качества, штиблет, но это его совершенно не волновало. Однажды, увидев на его ногах обновку, я спросил:

— Ты знаешь, Хейн, как называются в России ботики, которые сейчас на тебе?

— И как же? — нахмурился он: сама тема разговора казалась ему совершенно бессмысленной, и ему было жалко тратить время и мысли на такой ничтожный предмет.

— Прощай, молодость...

— Как? Ха-ха-ха... Прощай, молодость. И действительно — прощай. Что и говорить, прощай... — и, покачивая головой, снова уткнулся в свой журнал.

Он был человеком духа, и отношения с собственным телом им открыто игнорировались. «Ты бы надел, Хейн, перчатки», — заметил однажды Гарри Мулич, с жалостью посмотрев на его руки, посиневшие от неожиданно грянувшего, редкого для Голландии февральского мороза. Хейн,

рассуждавший в этот момент о философии Хайдеггера, прервал монолог; смысл слов не сразу дошел до него, но в выражении его взгляда трудно было ошибиться: как ты можешь думать о такой ерунде?!

В поезде он всегда садился по ходу движения. Если я забывал об этом и занимал «его» место, он спрашивал без обиняков: «Ты ничего не имеешь против, если мы поменяемся местами?» Иногда он отрывался от своего чтения, а я от прихваченной в дорогу книжки или издававшейся в Париже газеты «Русская мысль», и мы говорили о том о сем. Очень часто он понимал, что ты хочешь сказать, лучше, чем ты сам это понимал, и знал все возможные возражения на твою точку зрения и даже все возможные ответы на эти возможные возражения еще до того, как ты заканчивал предложение.

— Хорошо бы написать детектив, — сказал кто-то за столом в «Де Кринге», — в котором на последней странице выяснилось бы, что на самом деле всё сделано самим рассказчиком.

— Это что, — заметил Гарри Мулич, — куда интереснее написать детективную историю, в которой всё бы сделал сам читатель.

— Дорогой Гарри, — Доннер как будто ожидал этой реплики Мулича, — такая история уже написана: это Новый Завет...

В моем лице он нашел благодарного слушателя, не стыдящегося задавать вопросы об истории Голландии, о ее литературе и многом, многом другом, чего я не знал. Он любил объяснять мне тонкости голландского языка, хотя я и говорил ему, что не в коня корм, приводя в свою защиту аргументы, что в русском языке ни грамматических конструкций, ни звуков-то таких нет:

— Меня понимают, и слава богу...

— И то правда, — соглашался Хейн. — Я был на днях в Гааге и познакомился там с двумя постоянными корреспондентами Америки и Советского Союза в Голландии. Они с жаром обсуждали что-то на незнакомом мне языке, в котором я мог понять только отдельные слова. «Вы говорите на эсперанто?» — спросил я. Оба обиженно посмотрели на меня и ответили с достоинством: «Мы говорим по-голландски».

Однажды, характеризуя кого-то, Хейн сказал: «Он — не добродетелен». Когда я переспросил, Доннер принялся объяснять мне религиозные корни этого выражения, увлекся, стал цитировать Библию, приводить примеры; это была лекция, где одна мысль нанизывалась на другую, и невелика беда, что какие-то бусинки закатывались навсегда под диван, у него было великое множество других.

Он терпеливо и с удовольствием отвечал на мои вопросы, потому что это было его ампула. «Не в моем характере слушать других, я привык говорить сам», — не раз повторял он. И в какой-то степени благодаря Хейну я за те годы, что провел рядом с ним, не то что бы оголландился, скорее обамстердамился, что совсем не одно и то же. «Мы живем, хвала Господу, не в Голландии, а в Амстердаме», — любил говорить он.

Однажды я рассказал, как мама учила меня играть в шахматы, и, когда я пару раз настойчиво пытался пойти королем на поле, контролируемое неприятельским королем, мама, смеясь, объясняла, что этого нельзя делать по правилам игры.

— Ага! — радостно воскликнул Хейн и тут же разъяснил мне эту историю с фрейдистской точки зрения, не забывая, разумеется, об «эдиповом комплексе».

Обычно перед началом сеанса мы заключали пари — кто быстрее закончит выступление, и мне почти всегда приходилось его дожидаться. Справедливости ради следует признать, что высоченному гроссмейстеру было труднее, чем мне: подходя к очередной доске, он, склоняясь над ней, всякий раз со стуком опускал руки на столик, и на фалангах его пожелтевших от никотина пальцев были видны мозоли — следствие этого многократно повторенного действия. После окончания сеанса Доннера тянуло как можно скорее домой, в Амстердам, но приличия соблюдались, и в машине, отвозившей нас на станцию, Доннер, стараясь поддерживать разговор с местными шахматистами, обычно учтиво спрашивал: «И сколько членов насчитывает ваш клуб?» И, независимо от ответа, замечал, глядя прямо перед собой в стекло: «Гм, гм... Сорок четыре — неплохо, право дело, неплохо». Или, задавая совсем уж нелепый вопрос о дне работы клуба, тянул, одобрительно покачивая головой: «Смотри-ка, пятница — отлично, отлично...»

Иногда сеанс затягивался, и приходилось оставаться на ночлег в гостинице. Об одном таком случае вспоминает Ханс Рей: «После сеанса одновременной игры в одном из городков где-то на севере страны я вместе с Доннером и другими шахматистами сидел в местном кафе, и беседа затянулась далеко за полночь. Хозяин заведения, набравшись смелости, заметил Доннеру, что для него лично — большая честь принять гостей из столицы, но есть правила, и если полиция увидит, что кафе открыто после полуночи, ему несдобровать. «Это мы сейчас уладим, — пообещал Доннер. — У вас есть телефонная книга?» Набрав номер бургомистра, Доннер, представившись, попросил городского голову отдать распоряжение своим подчиненным, чтобы они сделали исключение на этот вечер. «Господин Доннер, — ответил бургомистр, — мне очень приятно познакомиться с вами, я ведь знал вашего отца. Но он никогда не позволил бы себе звонить кому-либо во втором часу ночи, тем более по такому вопросу...» Хейн вынужден был согласиться, что да, действительно, его отец никогда не сделал бы этого».

В еде он был непривередлив и почти всегда заказывал одно и то же. В ответ на предложение организаторов сеанса перекусить чем-либо перед выступлением Доннер, держа перед собой меню, всегда отвечал дежурной шуткой: «Вы не опасаетесь, что мы злоупотребим вашим гостеприимством?» После чего неизменно заказывал самое простое блюдо: рубленую котлетку шаровидной формы с подливкой — традиционное голланд-



ское кушанье. Он никогда не ел овощей. «Салат — это для кроликов», — говорил Хейн. Когда он пил кофе, то бросал в небольшую чашечку пять-шесть кусочков сахара, который не мог полностью раствориться и который он поедал, выгребая ложечкой со дна, после того как кофе был выпит. Он вообще был большой сластена, и в самый последний, больничный, период его жизни каждый, кто навещал Доннера, знал, что плитка шоколада будет лучшим презентом для него.

Курил он нещадно, несколько пачек сигарет в день, всегда «Честерфилд»; во время игры пепельница, стоящая на столе рядом с ним, быстро наполнялась окурками, и мальчишки-демонстраторы должны были по нескольку раз в течение партии опорожнять ее содержимое. Придя в «Де Кринг», он первым делом ощупывал карманы пиджака и брюк: раз, два, три, четыре, убеждаясь, что четыре пачки сигарет — боеприпасы на весь вечер — на месте. Никакой вечер не мог, разумеется, обойтись без спиртного, и Хейн мог выпить очень много, чаще всего это был ром с кока-колой. В его жизни бывали периоды, когда за вечер им поглощались огромные количества и того и другого, но иногда он устраивал себе паузы, во время которых пил только молоко — напиток, очень популярный в Голландии.

Однажды нам предстояло сыграть партию живыми фигурами в Леувардене. «Подыщешь что-нибудь подходящее?» — попросил меня Доннер накануне выступления. Как известно, партии такого рода почти никогда не играют, а заканчиваются вничью после красивых жертв и массовых разменов. Я остановился на одной из малоизвестных партий Алехина с Бернштейном, которую Хейн пробежал глазами в поезде и сказал, что всё запомнит в лучшем виде. Во время партии мы расположились на вышках друг напротив друга, и игра началась. До поры до времени всё шло по сценарию, но перед комбинацией, приводившей к уходу с доски почти всех томившихся в бездействии и тихонько переговаривавшихся между собой ладей и пешек, Доннер задумался не на шутку, и, когда я встретился с его полным отчаяния взглядом, стало ясно, что он забыл партию! Он пошел по совершенно другому пути, и у меня даже закралась мысль, не начал ли он, чего доброго, играть на выигрыш, но всё обошлось и партия пришла к ничьей, а в неразберихе, царившей на доске, никто из публики не заметил, что сначала он, а потом я прошли мимо форсированного выигрыша.

— Хорошо еще, что не было дождя, — сказал Хейн, когда мы сидели в купе поезда. — Лет десять назад я тоже играл партию живыми фигурами с О'Келли, так тогда лило как из ведра. Нам было еще ничего — мы находились под огромными зонтами, а каково было бедным фигурам? Хорошо, что мы меняли всё подряд и поверженных тут же оттаскивали на носилках с поля боя медицинские сестры в белых халатах. Но когда мы согласились на ничью, несколько миленьких пешечек, дрожа от холода, всё еще оставались на своих местах, за что я принес им свои искренние извинения.

ния... В нашей партии сегодня я сыграл еще сильнее, чем Бернштейн, и всё вышло много эффектнее. Я знал и Бернштейна, и Тартаковера лично. У Тартаковера я был в 1947 году в Париже. Он жил в маленькой гостинице, и комната у него была совсем непрезентабельная, и сам он был какой-то осевший, неухоженный, но тогда я даже не задумывался об участии шахматного профессионала — ведь мне было двадцать лет, а о чем думаешь в двадцать лет, ты сам знаешь...

Он встречался со многими шахматистами довоенного поколения: Боголюбовым, Бернштейном, Тартаковером, Земишем, с некоторыми из них играл. Однажды он рассказал, как закончил свою карьеру Артуро Помар. Играя партию на каком-то турнире в Ирландии, Помар обнаружил на поле аб черную дыру. Он отправил свои фигуры к этому полю, где они все, одна за другой, были уничтожены неприятелем. На «скорой помощи» испанский гроссмейстер был доставлен в больницу и больше никогда не играл в шахматы.

В 1974 году чемпионат страны был проведен в Леувардене. «Не знаю, как вы, я буду жить дома», — сказал Доннер перед началом турнира. И действительно, единственный из амстердамцев совершал каждодневные поездки — два с половиной часа на поезде в один конец. Он не изменил своему образу жизни: полночным застольям, спорам с друзьями, еще и еще одному робберу бриджа — и пытался в поезде добрать потерянные часы сна.

«Господин Доннер, просыпайтесь, это конечная остановка», — объявил машинист, когда поезд прибыл в Леуварден и все пассажиры покинули вагоны. Гневался тогда после десятка бесцветных ходов и получасовой ничьей в нашей партии, но больше притворно, конечно: он мог вернуться в Амстердам едва ли не на том же поезде.

На следующий год во время чемпионата Доннер жил уже в Леувардене, только по свободным на турнире дням возвращаясь домой. После очередной такой поездки, вернувшись из Амстердама, Хейн узнал, что все имевшиеся в наличии номера в гостинице, в том числе и его комната, в которой и вещей-то не было, были сданы делегации Верховного Совета СССР, приехавшей в Голландию с официальным визитом и остановившейся в Леувардене на ночь. Я услышал, как он что-то оживленно объяснял менеджеру гостиницы.

— Ну и что с того, что всё вычищено и белье переменено! — восклицал Доннер. — Чтобы я спал в той же кровати, в которой провел ночь член — может быть, даже женский член — Верховного Совета Советского Союза? Нет уж, увольте...

Он никогда не бывал в СССР, и мы часто говорили об этой, не существующей теперь стране. Ему нравились мои рассказы о коммунальной квартире, в которой я прожил всю жизнь, о соседях, одной ванне на тридцать

человек, с расписанием дней недели и фамилиями жильцов для очередности пользования ею, нравились темы дебатов на коммунальной кухне.

Но особенно большое впечатление на него произвел мой рассказ о том, как в конце 1965 года, в самом начале своей срочной службы перед отправкой в спортивную роту, я работал вместе с боксерами, гимнастами и велосипедистами под Выборгом на строительстве Сайменского канала. «Морозы доходили тогда до сорока, и у ребят струя мочи даже не успевала пролиться на землю, превращаясь в сосульку», — завершал я свой рассказ совсем в духе самого Хейна, где фантазия переплеталась с действительностью.

«Оставьте Генну в покое, — нередко после этого говорил Доннер на собраниях команды, когда я жаловался на легкое недомогание, — его, беднягу, когда он был в Советском Союзе, заставляли писать на морозе при температуре сорок градусов ниже нуля...»

По неопытности я на первых порах пытался протестовать, но скоро прекратил это бесполезное занятие, примирившись с часто им повторявшимся: «Согласись, что в моей трактовке рассказ выглядит значительно эффектнее».

Во время Олимпиады в Ницце (1974) Доннер сидел в кафе вместе с Тимманом, и официантка несколько раз улыбнулась молодому красавцу голландцу с поволокой во взгляде и с волосами до плеч. На следующий день за ужином Доннер так описывал это событие: «Вчера мы с Яном были в борделе. Я сказал девушкам, что Ян — мой сын и что у него совсем нет никакого опыта... И что вы думаете? Девицы устроили форменную потасовку, никто не хотел уступать его другой. Здесь Ян, конечно, не сплочивал...»

Будучи очень наблюдательным, он обладал даром настоящих импровизаторов — делать свой рассказ достоверным. Он мог дать точный отчет о событиях, а если никаких событий не было, мог столь же достоверно их выдумать. Хейн был мастером правдоподобной выдумки, владея искусством, называемым «логикой действия», — убедительностью поведения героя в событиях вымышленных или предполагаемых.

На той Олимпиаде 1974 года я впервые играл за сборную страны. Доннер заявил тогда, что с приходом Сосонко в голландских шахматах впервые появился настоящий профессионал: если раньше все рвались в бой и на четыре места в игровой заявке претендовали все шесть членов команды, то теперь, когда на собрании капитан задает традиционный вопрос, кто хотел бы завтра отдохнуть, Генна, не давая ему закончить фразы, говорит, что не имеет ничего против...

Так он высказывался в узком кругу шахматистов, но в статье, посвященной итогам той Олимпиады, Хейн писал: *«Сосонко полностью владеет наиважнейшим для командных соревнований качеством — не проигрывать. Не проигрывать! И сам он не проиграл ни одной партии. К тому же он*

*обладает ангельским терпением. Внимательнейшим образом выслушивал он длительные сентенции нашего капитана Кортлевера обо всех ужасных вещах, творящихся в Советском Союзе, где сам Кортлевер, кстати, побывал в последний раз в 1948 году».*

Тогда в Ницце мы проиграли в первом туре полуфинала слабой командой Австрии со счетом 1:3. Только мне удалось добиться победы, и Доннер за ужином говорил: «Ты уж извини, что приехал в такую пижонскую страну...» Но Голландия все-таки вышла в главный финал и заняла там пятое место.

— Если бы всё сложилось удачнее с Югославией и с Советским Союзом, то мы могли бы подняться еще выше, — начал фантазировать я.

— Запомни, — сказал мне Доннер, — из государства, где бронзовые медали уже считаются неудачей, ты приехал в страну, где пятое место в главном финале — большой успех, и это относится не только к шахматам. Ты должен зарубить себе это на носу и пересмотреть свой менталитет.

Одной из любимых тем его разговоров была политика, но членом какой-либо партии он, конечно, не был, потому что это подразумевает в первую очередь партийную дисциплину, а для него свобода личности была превыше всего. После того как Партия труда, которой он симпатизировал, впервые завоевала большинство в парламенте, Доннер сказал кому-то: «И тебе не стыдно голосовать за самую многочисленную партию?»

В другой раз он стал расспрашивать меня о массовых арестах и высылках целых слоев населения в 30-х годах в СССР и, удовлетворенно кивая головой, прочел мне целую лекцию, в которой проводил параллель между этими акциями и... теорией профилактики Нимцовича в шахматах, общей тенденцией к профилактике в те годы.

Я слушал его и думал: мое прошлое — попрошлое. Я понял уже, что люди свободного мира не понимали и не могли понять до конца тех, кто жил в то время в странах Восточной Европы, так как, только находясь внутри этого замкнутого пространства, можно было осознать всю степень несвободы там. Поэтому, когда он начинал говорить о политике, я не давал ему спуска: как и у всех людей, выросших в Советском Союзе, толерантность не была моим самым сильным качеством.

— Хорошо бы тебя, Хейн, отправить на пару месяцев, больше не надо, в советский лагерь общего режима, — сказал ему как-то, — ну и пара допросов в КГБ, да с пристрастием, тебе бы не повредила...

— А я вел бы себя, — ответил он, — как герой книги, которую недавно прочел. Когда его на допросе ударили, он сразу сказал: «Не смейте бить меня по лицу — я англичанин, я подпишу всё, что вы хотите... Кстати, ты читал что-нибудь Курта Тухольского?»

— А кто это, Хейн?

— О, Боже! Оттащите от меня этого варвара, этот человек не знает, кто такой Курт Тухольский!..

Однажды, оторвавшись от чтения, он заметил в соседнем купе коричнево-белую колли, элегантно улегшуюся рядом с хозяином, и стал подозрительно коситься на собаку. Потом наморщил брови, полез в карман за сигаретой — я знал, что за этим последует очередной рассказ.

— Ты не знаешь, конечно, но в фамильном гербе очень большого рода Доннеров есть изображение двух собак, взбирающихся на гору. Это выглядит странным, потому что страх к собакам у Доннеров в роду, особенно в его мужской линии. В нашей семье никогда не было собак и, насколько я знаю, их не было и ни у кого из наших предков. Оговорюсь: это касается той части семьи, которая предпочла в свое время остаться в нашей старой глупой Европе. Но когда беднейшая ветвь рода эмигрировала в Америку, дело приняло совсем иной оборот.

Знатокам американского фольклора известна история Доннеровского перевала. В 1846 году, в начале большого переселения на Запад, часть каравана с фургонами застряла в Долине смерти в южных отрогах гор Рокки, на перевале, названном потом Доннеровским. В нечеловеческих условиях снежных заносов несколько семей должны были там зимовать. Это тебе не пописать разок на сорокаградусном морозе! Ранней весной выяснилось, что только Доннеры пережили эту зимовку. Они смогли продолжить путь, достигли в конце концов Калифорнии и очень преуспели там. Но тогда же стали распространяться странные слухи, никогда, кстати, не опровергаемые моей семьей и позже подтвержденные специальным исследованием, что мои предки остались в живых только потому, что съели товарищей по несчастью. Сначала они варили наваристый суп из трупов умерших естественной смертью, потом же, войдя во вкус, перешли к выглядевшим более или менее аппетитно коллегам по зимовке, еще остававшимся в живых.

Я пожегся.

— Подробности не сохранились, — здесь Хейн плотоядно улыбнулся, — но ты сам понимаешь, что те не отправлялись в кастрюлю добровольно. Говорят, что тогда они ели и собак. Уже много лет спустя один из друзей Фредерика Доннера так описывал моего далекого родственника: «Огромный, всеми любимый, очень приветливый человек, но я бы не хотел оказаться с голыми икрами с ним вдвоем, если он голоден...» Ты, кстати, застал еще собаку Витхаузов по кличке Фиде? Однажды, когда я играл матч с Глигоричем в одном богом забытом местечке здесь в Голландии, я провел десять дней кряду в обществе самого Глигорича, судьи нашего матча Витхауза, державшего связь с внешним миром, и его собаки Фиде.

Обычно животное мирно лежало под столом, но если я начинал громко говорить или смеяться, Фиде подходил ко мне, клал лапу на колено, а его черные глаза укоризненно и пронзительно смотрели на меня. Нельзя, конечно, с точностью сказать, была ли это та же собака, которую съели мои предки в Долине смерти, но и нельзя утверждать, что это совсем другое существо. Я вот недавно читал о людоедстве в Ленинграде во время

блокады. Ты что-нибудь знаешь по этому поводу? Ведь тот, кто раз отведал человеческого мяса, не желает притрагиваться ни к чему другому.

Поймав мой настороженный взгляд, Хейн засмеялся:

— Да нет, не думай ничего дурного. Мои предки, оставшиеся в Европе, все были пасторами. Они дневали и ночевали с Библией. Более серьезных и стойких в своих убеждениях людей нельзя было найти во всей Голландии.

Как и многие голландцы, он относился к собственной стране несколько иронически и имел на этот счет свои соображения. «По-настоящему зрелой, — прищурясь и по обыкновению попыхивая сигареткой, говорил Хейн, — можно считать страну, которая пережила в 20-м веке обе мировые войны. Страны, не пережившие ни одной, нельзя принимать всерьез; в Европе — это, конечно, Швейцария. Страны, пережившие только одну войну, например Данию или Голландию, можно считать только наполовину зрелыми. Поэтому мы по гроб жизни должны быть благодарны Германии за то, что она оккупировала нас во время последней войны...»

Если мы проезжали мимо полей, на которые только что вывезли удобрения, то он, поднимая голову и втягивая воздух, говорил: «Голландия, Голландия, узнаю тебя, матушка-Голландия!» Как-то я спросил его после такой тирады: «Хейн, а ты вообще любишь Голландию?» Он округлил глаза и торжественно произнес: «О, да, я люблю Голландию...»

Однажды, когда я начал говорить о свободе в Голландии и многовековой традиции толерантности в стране, он прервал меня: «А знаешь ли ты, что еще полвека назад «Робинзон Крузо» мог быть опубликован в Голландии только с сильными цензурными купюрами? Так, например, были опущены страницы, в которых рассказывалось о сексуальных отношениях между Робинзоном и Пятницей? Подумай сам, — продолжал Доннер, — не мог же Робинзон все время учить Пятницу английскому языку?»

Не помню, о чем он говорил еще, но совсем недавно, перечитывая Дефо и не найдя абзацев, на которые ссылался Хейн, я подумал, что всё было чистой импровизацией Доннера. Наверное, он услышал это от кого-нибудь, или мысль пришла в голову ему самому, потом, рассказывая один раз, другой, уже не задумываясь, правда это или плод его фантазии; да это было и не важно: он так сказал!

Иногда, когда я начинал жаловаться на то, что казалось ему мелким и совершенно не заслуживавшим внимания, Хейн, прищурясь, изрекал: «А знаком ли ты с методом доктора Куэ?» Когда я отрицательно мотал головой, он излагал мне этот метод: «Постоянно повторять фразу: «С каждым днем мне делается лучше и лучше; лучше во всех отношениях». Каждое утро начинать с этой фразы. Слова «не могу», «не получится», «сложно» заменить на «могу», «получится», «просто». Ну, так что ты там говорил насчет того, что тебе неправильно посчитали рейтинг в каком-то турнире? Ну? Никогда в жизни я не встречал еще человека моложе сорока, который сказал бы что-нибудь умное...»

В другой раз разговор зашел о поэзии.

— Поэзия, что это? — риторически вопрошал он. — У нас, голландцев, нет поэтов мирового класса. Дело даже не в языке, просто у нас слишком рациональный подход к жизни. Другое дело — художники. Здесь — отображение жизни. А поэзия — это зачем?

Как-то, проходя с ним по центру Амстердама, спросил, показывая на запущенного вида Королевский дворец на Даме, живет ли в нем кто-нибудь?

— Нет, — отвечал Хейн, — и давно уже не живет. Когда я сразу после войны приехал в Амстердам и у меня были проблемы с жильем, я написал королеве, не могу ли я временно остановиться во Дворце, пока не найду ничего подходящего. И что ты думаешь? Я получил ответ, очень вежливый, надо сказать, от ее секретаря. Мы очень сожалеем, господин Доннер, но мы не можем ничем помочь вам...

Летом 1976 года он спросил меня:

— Кстати, как с твоей натурализацией? Ты получил уже голландский паспорт?

— Нет, — ответил я, — ты же знаешь, что только после пяти лет можно подать прошение королеве, а там еще уйдет год, а то и два на всякие процедуры. У меня же осенью будет только четыре...

Он задумался, стряхнул пепел с сигареты:

— Знаешь что? Моя Марьянушка (*жена Доннера*) работает в секретариате бургомистра Амстердама. Я спрошу ее, нельзя ли переложить твои бумаги из одной стопки в другую...

Не знаю, это ли сыграло роль или что-то другое, но уже через несколько месяцев в официальном списке новых голландцев, напечатанном в газете «*Стаатс курант*», я нашел и свою фамилию.

Однажды увидел его выходящим из кинотеатра на Лейденской площади: он только что посмотрел фильм Стенли Кубрика «*Барри Линдон*».

— Высокого класса фильм, — выдохнул Доннер, заметив билет в моих руках.

— А слабо еще раз со мной сходить, Хейн? — предложил я.

— А что? Помню, в молодости я в один день посмотрел пять фильмов подряд. Правда, это были разные фильмы.

Он часто не знал меры и так и жил: в пяти фильмах, просмотренных в один день, в пяти пачках сигарет, выкуриваемых за вечер, в пяти кусочках сахара, положенных в чашечку кофе, в блище, который мог играть сутками напролет.

В 1971 году Доннер сказал журналисту, пришедшему взять у него интервью: *«Не нужно задавать мне никаких вопросов. Я говорю безостановочно два часа подряд, и ты уж сам выудишь потом, что тебе пригодится. Итак, я начинаю:*

— Голландские шахматы — это же курам на смех. Все эти Реи, Лангевеги, Куйперсы, Хартохи и так далее, все эти ребята имеют такую высокую репутацию в Голландии. Может быть, они очень хорошо умеют играть в шахматы, но, в сущности, они никогда в жизни не добивались и подобия успеха. И это, конечно, очень печально. Если ты всю жизнь играешь в шахматы и никогда не добивался успеха, тогда эта игра принимает совершенно другой характер. Это, конечно, типично голландская черта; возьми, например, Хартоха — он трезвонит на каждом углу, что если бы серьезно занимался шахматами, тогда 0-го-го... Таких любят в Голландии, а вот если ты действительно чего-нибудь добился, то либо на тебя смотрят подозрительно, как будто ты смухлевал при игре, либо всё объясняют свалившимся с неба счастьем.

Тимман — другое, я это сразу вижу. Но когда его объявляют наследником Эйве, я кричу: «Постойте, господа, вы забыли еще кое-кого, кто перенял эстафету у Эйве. Того, кто выигрывал международные турниры, кто побеждал чемпионов мира, вы явно упустили из виду кое-какие важные факты». Не надо забывать, что я был первым в Голландии, объявившим себя профессиональным шахматистом. И это было чем-то из ряда вон выходящим. Ибо в этой стране можно быть гомосексуалистом, заниматься скотоложством, быть кем угодно, но если ты открыто объявляешь шахматы своей профессией — тебе несдобровать.

Любую вещь, чтобы она получилась хорошо, нужно делать дважды. Всему надо учиться. Возьми, например, меня: я сейчас женат во второй раз, я знаю, с чем это едят. Если бы можно было умирать два раза, то во второй раз, возможно, это бы даже понравилось. Я сейчас больше пишу, чем играю, это верно; но все же я еще играю, в то время как танцовщики лет на десять моложе меня уже давно работают вышибалами в ночных клубах...»

Оригинальный человек нередко бывает банальным писателем. Случается и наоборот. То же самое можно сказать и о шахматистах. Эпатирующий обывателя рассказчик, полный удивительных историй, острый на слово и с быстрой реакцией в разговоре, Доннер, казалось бы, должен был быть игроком острого, комбинационного плана. Ничуть не бывало. Если в жизни, в литературе, во всем его привлекал парадокс, неординарные, зачастую противоречивые суждения, то в шахматах он твердо следовал раз и навсегда выученным правилам. Догматизм, впитанный им в протестантском детстве и юношестве, он перенес на игру. Я думаю, что Хейн изучал шахматы так же, как в свое время читал Библию, последовательно, вдумчиво, углубленно, воспринимая всё как каноны: десять заповедей, преимущество двух слонов, Евангелие от Матфея, атака пешечного меньшинства. Может быть, поэтому он и читал очень медленно, зато читанное однажды затвердевало в памяти, как будто вырубленное в ней.



По свидетельству его карточных партнеров, Доннер и в бридж играл таким же образом: в процессе учебы он твердо запомнил правила и приемы и последовательно применял их в любых случаях. Потом он понял, что в бридже есть и исключения, и тонкости, но всегда оставался в этой карточной игре, как и в шахматах, систематичным, последовательным, классическим игроком.

Он учился по книгам Эйве — плановая стратегия, незыблемые принципы. Неудивительно, что он и играл так, хотя, в отличие от Эйве, тактические перепалки и лихие атаки у Доннера встречались только тогда, когда соперник принуждал его к ним. В его манере игры было что-то раз и навсегда застывшее, и я почти всегда в наших партиях, в отличие, скажем, от встреч с Тимманом, мог предугадать ход, который сделает Доннер, или даже то, над чем он думает.

Недаром в большой коллекции коротких проигранных партий Доннера, составленной в свое время Тимом Краббе, встречались совершенно идентичные, повторяющие друг друга вплоть до последнего хода: он просто не мог сойти с накатанной колеи. Реакция Доннера на эту публикацию: «Тим, ты не забыл, я надеюсь, те три партии против ван ден Берга, которые я проиграл в двадцать один ход?»

Мне случилось быть очевидцем одной такой короткой партии на Олимпиаде в Буэнос-Айресе (1978). В матче с китайцами Доннер еще в дебюте попал под разгромную атаку, завершившуюся эффектной жертвой ферзя. Сдав партию возбужденно жестикулирующему и что-то быстро говорящему сопернику, он оставался еще некоторое время неподвижен, вглядываясь в позицию, где мат его королю был неизбежен, потом вдруг резко поднялся. «Теперь я буду китайским Кизерицким! — торжественно заявил он нам с Тимманом. — Мое имя будет бессмертно в Китае! И когда в Пекине будет организован шахматный турнир, я, а не вы, получу приглашение на него».

Но у Доннера были хорошо развитое позиционное чутье, высокая эндшпильная техника, безграничная вера в двух слонов и умение ими пользоваться. Из доброго десятка сыгранных нами партий я проиграл одну, где он в эндшпилье мастерски использовал преимущество двух слонов. Когда Хейн прогуливался в ожидании хода соперника, то был похож на тигра, вышедшего на ночную охоту. У него менялась походка, он переступал медленно, чуть выгнув вперед голову, задерживаясь только у пепельницы, чтобы постучать пальцами по сигарете, — до кампании всеобщего террора по отношению к курильщикам было еще далеко, и дым в турнирном зале всегда стоял клубами. Я пытался несколько раз заговорить с ним в такой момент, он отвечал нехотя, глядя мне прямо в глаза и сквозь них, и я понял, что во время партии он предпочитает находиться в мире деревянных фигур.

Это было очень характерно для Доннера: колоссальная концентрация в ходе игры, полная погруженность в свои мысли, в партию. Была у него

еще одна черта, крайне необходимая для достижения успеха. Это — уверенность в выборе плана или маневра и решительность в его осуществлении. «Это должно получиться, — говорил Доннер, — должно получиться, черт побери!» Разумеется, такая настойчивость далеко не всегда отвечала реальному положению дел на доске, но все же это упрямство в оценке позиции, в отстаивании своей идеи куда лучше, чем сомнения, безволие и постоянное самоедство, знакомое робким душам: почему, почему я на предыдущем ходу не рокировал, тогда и проблем бы никаких не было? а может, наоборот, надо было разменять ферзей и перейти в эндшпиль?.. Он обладал оптимизмом, удивительным упорством и умел бороться до конца, как, пожалуй, никто из голландских шахматистов. В свои лучшие годы он обладал и жесткостью, без которой невозможен спортивный успех. Китти ван дер Мийе вспоминает, как, обидно проиграв партию в турнире претенденток, она повстречала Доннера. «Вы очень хорошо играете, но вы слишком интеллигентны, чтобы играть в эту жестокую игру», — утешил ее Хейн, и Китти помнит эти слова до сих пор.

В 1970 году Доннер принял участие в очень сильном турнире в Лейдене. Кроме него там играли Спасский, бывший тогда чемпионом мира, Ботвинник и Ларсен. Турнир проводился в четыре круга, и Доннер считался явным аутсайдером. Берри Витхауз вспоминает, что перед началом первого тура душевное состояние Доннера было далеким от безмятежного. «С кем я связался? — восклицал он. — Ботвинник! Спасский! Чемпионы мира! А Ларсен? Тоже чемпион!»

Но Хейн совладал с нервами и продемонстрировал свои лучшие качества, заняв второе место. Закрывая турнир, Макс Эйве сказал: «Вчера у нас был «Фейенорд» (голландский клуб выиграл накануне футбольный Кубок Европы) — сегодня мы чествуем Доннера!»

Доннера 60-х годов я видел только на фотографиях, но они подтверждают общее впечатление: Хейн выглядел тогда очень молодо; с розовым, пухлым, почти младенческим лицом он был похож на большого ребенка с телом Фальстафа. При входе в ночной клуб Санта-Моники, куда Доннер пришел вместе с Бенгом Ларсеном, его задержали: туда не допускались лица, не достигшие совершеннолетия. «Да, но мне уже тридцать девять», — начал оправдываться Доннер. И был пропущен, по свидетельству Ларсена, только потому, что ошарашенный вышибала заметил, что если кто и прибавляет себе года, то не в такой же степени.

Он стал заметно округляться уже тогда, с тем чтобы к тому времени, когда я встретил его, превратиться в колосса с мешками под детскими озорными глазами, начинающей седеть бородкой и с приличных размеров животом. Помню, как он, глядя на очень молодого, худенького, похожего на херувима Яна Тиммана, предсказал ему такое же округление форм, какое случилось с ним самим. Всё сбылось. Многие, о чем

говорил Доннер, забылось, пропало, истерлось, развеялось. Но многое и сбылось.

Перед Олимпиадой в Хайфе (1976) впервые в истории голландских шахмат был проведен учебно-тренировочный сбор. Фирмы, выпускающие спортивную одежду, экипировали нас футболками, сумками, тренировочными костюмами и кедами. Когда шахматисты появились однажды на футбольном поле, этому были посвящены многочисленные репортажи, а фото- и тележурналисты увековечили необычное событие на пленке.

Доннер, обмолвившийся как-то, что единственный вид спорта, который ему нравится, — разговор, расположился во время съемки в створе ворот с сигаретой во рту. Позже он так описал эту ситуацию: *«Для того чтобы подчеркнуть нашу решимость и единство команды, выкованное за эти дни, я употреблял местоимение «мы», но тот, кто меня знает, отдает себе отчет, насколько мне было противно это нашествие коммерции. Я терпеть не могу футбол и в глубине души считаю, что шахматы стоят выше любого физического спорта, хотя, конечно, принимая во внимание субсидию, получаемую шахматной федерацией из министерства, к которому относится спорт, я не должен заявлять об этом громогласно».*

На ту Олимпиаду в Израиле команда Голландии прилетела очень поздно, и организаторы предложили нам переночевать в гостинице в Херцлии, а уже утром отправиться в Хайфу. Гостиница оказалась переполненной, и мы должны были провести эти несколько часов в двойных номерах. «Слушай, Ханс, — сказал начавший было снимать рубашку Доннер своему соседу по комнате Рею, — поверь мне, я ничего не имею против тебя лично, но я еще никогда в жизни не делил гостиничный номер с мужчиной, так что извини меня...» Утром туристы, отправляющиеся на раннюю экскурсию, с недоумением оглядывались на спящего в фойе гостиницы огромного небритого человека с длинными, почти касающимися пола руками и с лицом и прической императора Клавдия, неожиданно прибывшего на Святую Землю.

Тогда же в Хайфе я внимал его длинному монологу о законах и обычаях древней страны, о профессоре Лейбовиче, известном возмутителе спокойствия в иудаистике, утверждавшем, что Западная стена в Иерусалиме — просто-напросто груда камней, оставшаяся от извращенного царя.

— Представляешь, — восклицал Доннер, — иметь смелость утверждать такое в Израиле!..

— Хейн, — прервал я его вопросом, — а откуда идет обычай раскачиваться во время молитвы? Нет ли в этом чего-то сексуального?

Хейн с удовольствием посмотрел на меня, было видно, что ему понравился мой вопрос.

— Ни в коем случае, — он задумался на секунду, — ни в коем случае. Привычка эта образовалась в незапамятные времена, когда евреи путе-

шествовали по пустыне, сидя на верблюдах, и у них не хватало времени, чтобы спуститься на землю, поэтому молитва просто вторила мерной поступи животного...

Когда я рассказал о таком объяснении одному моему знакомому, знающему иудаизма, он заметил: «Чушь, конечно. Но как придумано!» — и цокал языком, оценив фантазию гроссмейстера.

Во время экскурсии в Иерусалим Доннер был нашим гидом и проводником по местам, которые превосходно знал еще со времен своей гаагской юности. В церкви Гроба Господня он указал на камень, на котором римские легионеры играли в кости, чтобы поделить Его одежду, и советовал нам поставить свечку, так как в действительности солдаты играли, конечно, в шахматы, просто у них не оказалось под рукой доски...

Его отношение к религии было однозначным. «Повторяй за мной: Бога нет! — восклицал Хейн, обращаясь к девушке, неосторожно признавшейся ему, что она верующая. — Бога нет!» Дело было, правда, часа в три ночи после немалого количества принятого им вовнутрь спиртного.

На той Олимпиаде команда Голландии заняла второе место, отстав от победителей — американцев — всего на пол-очка. Тимман и я выиграли соответственно первую и вторую доски, но в важнейшей партии с Кавалекком мне не удалось реализовать большое преимущество.

— Мне хочется плакать, когда я смотрю на твою технику в эндшпиле, — заметил Хейн, наблюдавший со стороны за ходом партии. — Такое впечатление, что в высшей школе КГБ, где тебя готовили к эмиграции на Запад, все знатоки окончаний были репрессированы в годы Большого террора, и твои прорехи в этой стадии просто некому было залатать...

После церемонии закрытия мы увидели в фойе гостиницы радостного Доннера.

— Ребята, — сказал Хейн, — тут какой-то местный коллекционер покупает золотые и серебряные медали. За золотые он дает две тысячи долларов за штуку, нам же за серебряные предлагает по пятьсот. Все американцы уже продали эти побрякушки, а я только что освободился от своей.

Однако понимания у нас он не встретил. Сыграли ли здесь роль sentimentальные соображения или, наоборот, меркантильные — тот же самый коллекционер через десяток лет предложит еще большую цену, — не помню, но примеру Доннера не последовал никто.

— Вы просто sentimentальные глупцы! — восклицал Доннер. И, обращаясь уже ко мне, продолжил: — Тебе-то что толку с этой кругляшки, ты-то что смотришь на этих балбесов? Деньги уйдут, это верно, а медалька затеряется при переезде. Скорее же всего, когда ты через пятнадцать лет откроешь коробку заржавевших и покрывшихся налетом таких же блях, то и вспомнить не сможешь, откуда эта. Или ты считаешь, как и эти олухи царя небесного, — здесь он обернулся к слушающим его монологом остальным членам голландской команды, — что деньги фальшивые?

И Хейн, достав бумажник, развернул зеленую банкноту с изображением Франклина и, подняв вверх указательный палец, прочел торжественно надпись на ее обороте: «In God we trust».

— Мы, кстати, не говорили еще сегодня о Боге, — сказал он, меняя тему разговора. — Вот ты мне давеча приводил слова Достоевского, что если Бога нет — всё дозволено. А я скажу тебе прямо противоположное: если Бог есть, тогда тем более всё дозволено! Но ты понимаешь, конечно, что Бог не обременяет себя существованием. Я уважаю его за то, что он не существует. Мне столь же мало нужен Бог, как и я ему. Люди нуждаются в Боге, потому что он делает их бессмертными. Они верят в него, потому что хотят, чтобы Бог существовал. А так называемый Божий сын и вся его всепрощенческая команда? Ну что он такого сказал, что они, как попки, повторяют его слова вот уже две тысячи лет? Лучше послушай меня: ты представляешь себе, что человек является единственным видом в животном мире, которому дано сознание? Тоже мне преимущество. Знать в отличие от всех остальных существ, что ты умрешь. Приятно жить с таким сознанием? Еще хорошо, что, несмотря на это знание, испытываешь иногда в жизни счастливые моменты. Вот мне, например, вчера привезли целую кипу газет и журналов из Голландии. Знаешь, что я сделал? Наполнил ванну прохладной водой, взял всё это чтиво и так провел весь день. Блаженство!

В мозаике, из которой состоял характер Доннера, можно было найти камешки самого разного оттенка: резкого и нежного, заботливого и грубого, стеснительного и громогласного, деликатного и беспардонного, блистательного и нелепого. Как личность, Доннер был, конечно, крупнее своего таланта. Но, будучи высокоодаренной личностью, он, пренебрегая советом философа, и не пытался скрыть лучшую часть своего существа под какой-нибудь шапкой-невидимкой — наоборот, блеском оригинальных идей, почти всегда идущих вразрез с общепринятыми, он вызывал недоумение, насмешки или зависть у тех, кто шел проторенной дорогой.

Он не любил людей заземленных, постоянно и с большой серьезностью занятых реальностью, прекрасно понимая, конечно, что из этих самых людей состоит подавляющая часть любого общества и что эта усредненная посредственность не может в свою очередь любить его; в лучшем случае дивится на него, как на необычного зверя. Каждым своим неординарным поступком, высказанной парадоксальной мыслью, нередко задевающей или даже ранящей людей, он наживал себе врагов; известно ведь: чтобы не быть постоянно распинаемым, следует запастись масками, а это ему и в голову не приходило. Он не только плодил врагов, но нередко заставлял даже друзей качать головой. Знакомый писатель за стойкой бара в «Де Кринге» спросил его:

— Хейн, ты прочел уже мою новую книгу?

— Я пытался... — ответил Доннер. Он мог сказать правду в глаза, что почти всегда звучит как оскорбление и на что решается далеко не каждый, и не было людей, относившихся к нему равнодушно.

Молодая женщина, нередко встречавшая Доннера в «Де Кринге», говорила: «Когда я вижу его живьем, он меня ужасно пугает. Но на расстоянии, когда я вижу его, например, на экране телевизора, я нахожу его милым и интеллигентным, похожим на огромного плюшевого мишку...»

Постепенно Доннер отходил от шахмат, он стал играть реже и хуже, и всё чаще имена героев нового поколения ему не говорили ничего. «Слушай, — спрашивал Хейн, показывая на какого-нибудь молодого гроссмейстера, — этот парень там, он действительно умеет играть?» Писать — вот что он хотел теперь. Он хотел этого всегда.

Его первая публикация относится к 1953 году, и мы находим в ней слова, в которых уже слышится Доннер, каким его узнают тысячи любителей шахмат: *«Выигрывает не сильнейший, не объективно лучше понимающий игру, не философ, а суровый, решительный боец, точно так же, как и в жизни».*

Его первые статьи появились в журнале, издававшемся гаагским клубом «D.D.», за который он играл много лет. Вот комментарий, типичный для манеры Доннера: *«Позиция, возникшая на доске, настолько проиграна, что уважающий себя игрок должен немедленно сдать партию. Мой соперник этого не сделал, и в конце концов ему удалось добиться ничьей, и я стыжусь этого так, что пощажу читателя и не приведу остальные ходы».*

Играя за границей, он посылал репортажи в газеты и журналы. Так делали тогда почти все гроссмейстеры: играли в турнирах и одновременно писали о них. Родоначальником профессии шахматного журналиста Доннер считал арабского игрока ас-Сули, жившего в 10-м веке и *«оставившего подробнейшие отчеты о своих поездках, равно как и о своих соперниках за шахматной доской, которых он разгромил. Эти заметки, в которых напрочь отсутствует элемент ложной скромности, наполнены абсолютно невероятными анекдотами и рассказами, которые он — с вопиющими ошибками — переписал из других источников, этот компилятор и фальсификатор, короче говоря, первый шахматный журналист».*

Доннер отнюдь не всегда аккуратно выполнял свои журналистские обязанности — для этого он был слишком шахматистом, и фраза из одной его газетной статьи объясняет всё: *«Внимательный читатель моих репортажей заметил, вероятно, что сообщения с турнира в конце прошлой недели внезапно прекратились. Тот, кто заглянул в раздел турнирной хроники, наверняка понял причину этого. Действительно, в партиях с израильянином Каганом и австрийцем Хельцлем я должен был смириться с тяжелыми поражениями».*

Доннер писал быстро, очень быстро, почти не правя написанное. Может быть, оттого, что время, которым он располагал, всегда было огра-

ничено — неделей, днем, иногда несколькими часами, после чего материал должен был уйти в редакцию. В 1965 году, освещая финальный матч претендентов между Талем и Спасским, Доннер привел в своей рубрике «очередную партию», в действительности сыгранную теми же соперниками... десять лет назад! Надо отдать Хейну должное: он сам первый признавал свои ошибки. В одной из заметок он писал: *«Очень часто на автора этих строк поступают жалобы на вкраившиеся в текст неточности, например: «Вы предлагаете на 43-м ходу ход слон на d6, но слон уже находится на этом поле. Наверное, вы имеете в виду ход 43.. ♘ab?» Или: «В партии вашей последней субботней рубрики отсутствует тринадцатый ход. Копию этого письма я уже послал главному редактору газеты». И каждый раз я должен признать, что жалобщики абсолютно правы. Некоторая небрежность к менее важным, на мой взгляд, вещам преследовала меня со школьной скамьи и в течение всей моей карьеры профессионального шахматиста стоила мне немало очков и половинок».* После чего Доннер приводит этюд своего любимого композитора Троицкого, где в позиции на диаграмме на поле b7 вместо черной стоит белая пешка...

В его рассказах сплошь и рядом встречаются вплетенные в шахматную канву архаичные или староцерковные слова и выражения, заимствованные из Старого и Нового Заветов, — без сомнения, следствие его протестантского воспитания. Очень часто тексты Доннера воспринимаются как длинный монолог, произносимый только для одного слушателя, или как частное письмо. Чего лишен читатель — его мимики, его жестов, его интонации.

Неверно думать, что его репортажи были всегда беззаботными и полными юмора. Очень часто его перо было тем, чем являлось стило в руках римлян, — остроконечным карандашом для письма и... для убийства, и было немало людей, которые не могли без зубовного скрежета слышать имя Доннера. Нередко он окунал свое перо в яд и иронию, и редко кто в шахматном мире не почувствовал на себе этой убийственной иронии. Только Эйве всегда оставался для него «Грандмэтром, Всемогущим и Великим». Они сыграли за свою жизнь немало партий, но ни разу Доннеру не удалось выиграть у Эйве.

Весной 1981 года я играл в Париже короткий матч с компьютером, расположенным в лаборатории какого-то американского университета и имевшим репутацию сильнейшего в мире. Я выиграл одну партию, в другой была ничья. Когда на следующий день я вернулся в Амстердам, Доннер зашел ко мне.

— Что я слышал? — прямо с порога закричал он. — Ты сделал ничью с компьютером! Нет, я должен посмотреть на этот позор.

Я стал показывать ему партию, называя компьютер «бестией» — название, которое Хейн употребил в статье об этих партиях и которое привилось потом в Голландии. Доннер очень иронически относился к возмож-

ностям и перспективам машины, которые тогда были действительно несоизмеримы с сегодняшними.

*«Компьютер, играющий в шахматы, — писал Доннер, — может быть сравним с испанским языком, на котором говорят голландцы на отдыхе в Терромолиносе. Они знают слов двадцать пять — пятьдесят, их более или менее понимает обслуживающий персонал отеля, но с настоящим испанским это не имеет, конечно, ничего общего».*

Выражение «ради красного словца не пожалеет родного отца» было как будто специально сказано о Доннере, но однажды пришлось особенно к месту.

«Спешу, спешу, — бросил Хейн на ходу, когда я столкнулся с ним второго февраля 1981 года на Центральном вокзале Амстердама, — только что в Гааге умер мой отец. И... — здесь он перевел дух, чтобы я мог оценить продолжение фразы, — представляешь, старик не дожил всего шести часов до своего девяностолетия, всего шести часов!» И, чиркнув зажигалкой, крупными шагами направился к перрону.

Спросил как-то: «Ты в курсе, что на всех знаменитых людей в редакциях газет уже при жизни лежат написанные некрологи? Я знаю, есть некролог и на меня. Ах, я ведь у меня один, и, когда я умру, у вас другого меня не будет. Ты знаешь, что всех великих людей в истории называли просто по имени — Рембрандт, Леонардо, Микеланджело? Когда я умру, меня будут звать Хейн, просто Хейн, и все будут знать, кто имеется в виду». И, задирая голову, имитировал смех: «Ха-ха-ха...»

Судьба наделила его беспощадно и талантами, и здоровьем; он развил свои таланты, но здоровье подвергал длительному и систематическому разрушению. Перебои начались в 1982 году буквально за день до поездки в Испанию на зональный турнир. Доктор в Амстердаме констатировал на скорую руку легкий грипп, но в Марбелье испанский врач пришел к совсем другому диагнозу. С тяжелой головой и непреходящей усталостью Доннер все-таки начал турнир. Когда совсем стало невмоготу, он решил применить крайнюю меру: «Я прибегнул к самому сильному лекарству, какое мне было известно, панацее от всех болезней физического и психического порядка. Невозможному и неопишуемому. Я бросил курить». Но и это мало помогло. У Доннера начались проблемы с моторикой и координацией, и, хотя он еще продолжал шутить: «У официантов в ресторане гостиницы я прохожу под именем “этот датчанин из 801 номера, который пьян уже во время завтрака”», состояние его было слишком серьезно для шуток.

Он не хотел сдаваться, но и чемпионат страны, и турнир в Амстердаме закончил в минусе. Несколько раз во время прогулок в парке Вондела он терял сознание, и дочь Доннера должна была бежать домой за помощью. Ее звали так же, как и жену Хейна, — Марьяна. «Если мне понадобится кто-нибудь из них, — говорил Доннер, — я крикну: «Марьяна!», и на вся-



кий случай прибегут обе...» Но сейчас он, беспомощный, лежал на траве и не мог позвать никого из близких. Доктора настаивали на операции, но Хейн не привык слушаться кого бы то ни было, тем более докторов.

Несчастье произошло 24 августа 1983 года. Кровоизлияние в мозг было настолько сильным, что некоторое время врачи опасались за его жизнь. Спасти Доннера удалось, но он не мог больше ни говорить, ни ходить, он глотал с большим трудом, оглох на одно ухо, и у него двоилось в глазах.

Восстановительный период продлился больше года. Этот огромный человек снова, как ребенок, должен был учиться ходить и говорить. К нему частично вернулась речь, но восстановить контроль над телом не удалось и передвигаться он мог только в инвалидной коляске. На дальнейшее улучшение не приходилось надеяться. «Совершенно бесполезно желать мне поправки», — говорил он тем, кто приносил общепринятые слова. За ним требовался постоянный уход, и до конца своих дней Доннер должен был жить в доме, населенном такими же инвалидами, большинство которых было много старше его. Впервые после далекого гаагского периода его жизнь стала упорядоченной, но заплатил он за этот порядок страшной ценой.

Он не мог больше читать. Раньше Доннер писал всегда от руки, но теперь не мог этого делать и после долгих упражнений научился печатать на машинке одним пальцем. Он начал с простейших слов, но и они потребовали от него невероятных усилий. «Ода моей учительнице машинописи» — называется одно из его первых упражнений. Вот оно: «дом дом дом дом окно окно окно дерево дерево дерево четыре четыре четыре четыре сердце сердце сердце пламя пламя пламя пламя».

Хейн стал вести еженедельную рубрику в одной из самых престижных голландских газет. В этих коротких эссе он писал о старости и разрушении организма, о маразме обитателей этого дома. Он писал о зависимости от обслуживающего персонала, о девяностодвухлетней старушке, которая может издавать только короткие звуки пип-пип-пип, о панике, охватывающей его самого, если ему не удастся самостоятельно из коляски переместиться в ванну. О специальном лифте для инвалидов, в котором слышал на днях, как сидящий в такой же коляске, как и он сам, восьмидесятипятилетний старик на вопрос молоденькой и очень хорошенькой медсестры: «Вам какой этаж?» — ответил: «Я выйду вместе с вами». Красавица стала извиняться, что она еще никогда не встречалась с такими старыми джентльменами и что сегодня она кончает довольно поздно, чем развеселила ужасно Доннера.

Это трогательные истории, в которых с откровенностью, далекой от какой бы то ни было сентиментальности, он рассказывал о положении, в котором оказался. *«Наверное, я единственный человек в мире, который сидит в доме для маразматиков и пишет для газеты. Я — стопроцентный инвалид и стопроцентно нормальный человек. Это проблема, которая сес-*

*тер в этом доме сводит с ума*», — писал Доннер. Короткие эссе-зарисовки были изданы отдельной книгой под названием «Написано после моей смерти», и книга эта получила в Голландии литературную премию года.

Внушительный том из лучшего, написанного Доннером на шахматную тему, вышел за год до его смерти, и он сам в инвалидной коляске и с повязкой на глазу присутствовал на презентации книги в Городском музее Амстердама. Первый экземпляр был преподнесен Доннеру его старым другом Гарри Муличем, заключившим свою речь словами: «Боги сбросили на твою голову мраморную глыбу. Хотя полностью оправиться ты не смог, уничтожить тебя им тоже не удалось. Ты стал для всех нас моральным примером. Я знаю, что я всегда видел в тебе: человека, который победил собственное тело. Я понимаю теперь, почему эта книга называется «Король». Король, который стоит на обложке, — это ты, Хейн!»

На первый взгляд речь в книге идет о шахматах и шахматистах; здесь и там встречающиеся диаграммы и ходы шахматной нотации, казалось бы, подтверждают это. В действительности же книга является блистательным, полным самоиронии автопортретом бесстрашного и веселого человека, для которого шахматы были не суррогатом человеческих отношений, а эмоциями жизни, перенесенными на черно-белую доску.

На пятом этаже находится большой зал, где стоят инвалидные коляски. Сидящие в них смотрят в одну точку, чаще спят, с головой, склоненной набок, реже решают кроссворд, еще реже читают книгу. Тишина, прерываемая, только когда из близлежащих комнат доносится чей-то зов, призывающий сестру на помощь. Если пройти по коридору немножко дальше — комната Хейна.

Звучит ужасно — знаю, — но я люблю бывать здесь. Выйдя отсюда на улицу, понимаешь относительность собственных проблем; казавшиеся еще час назад такими важными, они уходят куда-то, съеживаясь до размеров наперстка. Все заботы как будто вымываются из тебя, и — так уж устроен человек — какое-то похожее на счастье чувство поднимается со дна души: но мы-то — живы! Живы и просто идем по улице и смотрим на облака, и обладаем всем, по сравнению с обитателями дома, из которого только что вышли. Всем.

Он много спит, по вечерам смотрит телевизор. Каждую неделю выступает свою колонку. Часто просто смотрит на улицу; иногда в окне напротив он видит госпожу Эйве: это квартира, в которой последние двадцать лет жил бывший чемпион мира. Госпожа Эйве написала ему письмо, в котором советовала в его теперешнем положении подумать о христианстве. Ответ Доннера был краток: «Дорогая госпожа Эйве, вы правы, но Бога не существует».

Дверь в его комнату открыта, сейчас он один, в своей коляске. У него черная повязка на глазу, иначе всё, на что он смотрит, будет иметь двойное изображение. Она придает ему сходство со старым пиратом. На столе шахматы, начатая плитка шоколада. Я достаю еще одну. Он говорит с трудом. Его речь напоминает звук истертой граммофонной пластинки, которую к тому же время от времени заедает.

«Тт-ы... плл-охо... игг-рал... Вейк-ккан... Зее... в... эт-ом... гг-оду», — переходит он с места в карьер. «Что ты сказал?» — «Ты... пл-охо... играл... в... Вейк-ккан-Зее... в этом году», — повторяет он. «Что? Что ты говоришь?» Хейн напрягся: «Тты плохо играл в... Вейк-ан-Зее в этом году...» — «Ничего не понимаю...» Хейн смеется и машет на меня рукой.

Он очень любил животных и в своей прошлой жизни часто бывал с маленькой дочкой в «Артисе» — чудесном амстердамском зоопарке. Когда он сидит в коляске, то напоминает старую каракатицу, жившую когда-то в огромном аквариуме «Артиса» и описанную им самим: *«Прямо налево в аквариуме всегда лежала каракатица, которую дети очень любили. Это было очень нескладное существо, проплывавшее, изгибаясь, как облачко, из одного конца аквариума в другой. Но когда она путешествовала по дну аквариума, она могла, неожиданно сжавшись, совершенно уйти в себя, как будто споткнулась о камень или хочет сделать что-то, чего ей никак не удастся. Ее щупальца тогда начинали вращаться, как колеса, быстро и непонятно, до тех пор, пока она не выходила из этого состояния собственных объятий и не совершала прыжок в высоты аквариума, с тем чтобы снова начать свое изящное перемещение в воде. Это сочетание беспомощности и величественной грации делало из нее то, что мы называем "талантом"».*

Иногда во время посещения он вдруг говорит резко: «А сейчас я буду есть». Это означает, что твой визит окончен и ты можешь идти: Хейн предпочитал есть в одиночестве, потому что любой физический процесс был труден для него.

Но, приговоренный к бессрочному заключению в продырявленной во многих местах собственной телесной оболочке, он никогда не жаловался, и не потому, что жаловаться — это задавать вопросы и ждать ответа, а он привык отвечать на вопросы, а не задавать их; просто он прекрасно знал, что в его положении нет ответов на эти вопросы.

Полное пренебрежение к недуховной, материальной стороне человеческого существования обернулось полной зависимостью от нее, но он не хотел, чтобы это было выставлено на всеобщее обозрение, и меньше всего он нуждался в соболезновании.

Мы говорим о шахматных новостях. Он в курсе текущих событий. Берри Витхауз, постоянный напарник в сеансах одновременной игры и партнер по блицу, заходит к нему каждую субботу с бюллетенями последних турниров. Месяц назад Витхауз решил пошутить и начал разыгрывать

партии полуфинала чемпионата страны среди девушек. «Что это за паттеры играли?» — не дал провести себя на мякине Доннер. Я начинаю показывать свою партию против Найджела Шорта из Хоговен-турнира. «И так можно играть?» — критикует Хейн мою постановку дебюта.

Мы оставляем шахматы. Начинает смеркаться.

*«...Я читал отчеты эскулапов о моем состоянии. Они повторяют всё, что я им сказал, только на своем собственном, непонятном медицинском языке. Впрочем, это простительно: мой случай — совершенно необычный. Выяснилось, что у меня от рождения одна из трех артерий, обеспечивающих проток крови к мозгу, закупорена. Я спросил тогда: «Доктор, кем бы я был, если бы проток крови к мозгу был открыт полностью?» «Шекспиром, — ответил тот, — Леонардо».*

*У меня теперь часто бывают сны. Недавно мне снилось, что я снова могу ходить и меня должны были привязать к кровати, чтобы предотвратить несчастье. Я погребен заживо в этом доме для инвалидов. Это мое последнее пристанище...*

*Мулич говорит, что я в таком состоянии могу жить еще с десяток лет. Крайне маловероятно. Я полностью отдаю себе отчет, что нахожусь в самой последней стадии жизни. Еще год, от силы два. Но сожалею ли я о чем-нибудь? Я жил, как хотел. Я и сейчас делаю всё, что мне нравится: ем довольно много сладкого, шоколада. Раньше я выкуривал большие ста сигарет в день. Немножко жаль, что я бросил курить в 82-м году, потому что сейчас мог бы бросить в любой день. Помню, я играл однажды с Майлсом. Когда я выпустил дым, он сделал руками движение, разгоняющее табачное облако. Я тут же подозвал судью: «Господин Майлс мне мешает. Вы можете сказать ему, чтобы он не делал этого больше?» Теперь же я сам против курения. Курение должно быть запрещено. Ну и алкоголь, конечно; я любил алкоголь, но после пятидесяти человек не должен много пить. Теперь я даже воду пью с трудом.*

*Мой отец запретил мне строжайшим образом публиковать мои мысли об атеистическом христианстве, пока он жив. Хотя, конечно, идея атеизма ужасна сама по себе, чтобы быть правдой. Я не хочу достигнуть возраста моего отца. Тогда я думал, что тоже доживу до его лет, но теперь я удовлетворюсь пятьюдесятью девятью. Сначала пятьдесят девять, потом шестьдесят; в шестьдесят, я полагаю, можно спокойно умереть...*

*Я — сторонник эвтаназии. Это ведь ужасно быть таким старым. Прекращение жизни много гуманнее, чем жизнь в такого рода домах. Инвалидам надо помогать как можно меньше. Мой физиотерапевт говорит мне: «Держись за брусья крепко, я отхожу от тебя. Помни, меня нет с тобой и ты можешь упасть». Это правильный менталитет. У меня всё тело в синяках от падений, но это лучший способ чему-то научиться. Конечно, надо следить, чтобы не сломать чего-нибудь.*

*Страшно подумать, что ожидает нас в 2020 году. Половина населения Голландии будет находиться в таких домах, как этот. Как будет возможно содержать такое количество восьмидесяти- и девяностолетних людей? Человек должен сам распоряжаться своей жизнью и иметь право прекратить ее. Как эскимосы в старости, которые покидают юрту и уходят в снежную пустыню. К тому же я был всегда ярким сторонником сожжения вдов. Вдовы рассказывают обычно ужасные вещи после смерти мужей, поэтому самое лучшее, если они будут похоронены вместе с мужьями.*

*Я хочу быть похоронен, а не кремирован. Я решил это уже давно. Иногда я представляю себе, что ко мне перед смертью придет священник. В этом доме католические обряды, но неужели они решатся на это? Нет, они знают меня достаточно хорошо...*

*Человек до конца цепляется за жизнь. Сартр умер, как собака. Он ослеп, ходил под себя и повсюду прятал бутылки виски. Симона де Бовуар не могла смотреть на всё это, но сам он в одном из своих последних интервью сказал: «По какой-то причине, которая мне самому неизвестна, я не чувствую себя несчастным».*

*Я много думаю в последнее время о солдате Помпеи. Почти все, погребенные под лавой, пытались спастись бегством, когда их застала смерть. Но была найдена и фигура, стоящая во весь рост, с лицом, обращенным к вулкану. Это — солдат Помпеи. Он увидел, что всё погибло, что там, вдали, небо разверзлось над самой верхушкой вулкана, и так остался стоять, вдохновленный этим зрелищем».*

Утром 27 ноября 1988 года сестра Хейна поздравляет его, как это всегда было принято в этот день в семье. «С чем ты меня поздравляешь?» — спрашивает он. «Как же, сегодня день рождения мамы». Хейн качает головой: «Я совершенно забыл об этом...»

Когда у меня умерла мама, Доннер сказал: «После того как умерла моя мать, я часто встречал ее здесь и там — на улице, в магазине, в поезде — и оборачивался на старушек с седой головой, и только потом возникала вторая мысль: да нет же, она ведь умерла... Этот период длился у меня несколько месяцев, потом прошел, как всё проходит».

Он умер вечером того же ноябрьского дня 1988 года. На следующий день состоялся последний тур Олимпиады в Салониках. Мы вышли на игру с траурными повязками, но ни на это, ни на объявленную перед туром и потонувшую в шуме многих сотен голосов минуту молчания никто не обратил внимания.

Я никогда не видел Доннера в юности. Хотя как сказать. На похоронах его, у открытой могилы, вздрогнул — худощавый молодой человек, с волосами до плеч, звонкий голос: «Спасибо, — и рука наотмашь, — за всё спасибо, за то, что просто был, — спасибо». Давид — сын Доннера. Вылитый молодой Хейн, я сразу узнал — по фотографиям...

Знаю, что забыть — не порок, но вспомнить иногда — большая радость. Тех, кого знал в молодые годы, кто был частицей твоей жизни, кто не был похож на других и кого нет уже. Сейчас мне жалко, что по тогдашней моей легкомысленности и увлеченности шахматами я не всмотрелся и не вслушался по-настоящему в этого человека, чтобы теперь рассказать о нем больше.

Фамилия Доннер — очень известная в Голландии. Не только отец, но и братья Хейна добились значительных постов: один был видным юристом, занимавшим ответственные должности в Совете Европейского Сообщества (его сын сейчас министр юстиции в Голландии), другой — профессор, патологоанатом. Но до сих пор, если произносится фамилия Доннер, вспоминается именно Хейн, большой ребенок, остававшийся таковым до самой смерти, недоучившийся студент, бессребреник, брётёр, рассказчик, писатель, шахматист.

Вижу его хорошо дождливым февральским днем 1974 года. На нем длинный серый, с широкими отворотами плащ, перетянутый поясом с металлической пряжкой, черная, надвинутая глубоко на лоб, шляпа. Вот он идет крупным гренадерским шагом по трамвайным путям Лейденской улицы, чуть наклонившись вперед, погруженный в свои мысли, глядя прямо перед собой. Вот выходит на Лейденскую площадь, идет дальше, дальше вдоль канала в направлении парка Вондела. Он не знает еще, что через четверть века прямо напротив входа в парк появится площадь Макса Эйве. Вокруг большой черно-белой доски в любую погоду, перетаскивая время от времени тяжелые фигуры, стоят в задумчивости шахматисты. К площади ведет мостик. На ограждении его можно заметить литые чугунные буквы, образующие три слова: Мост Хейна Доннера.



Часть 1

НАЕДИНЕ С ФИЛИДРОМ





## **СТАРЫЙ ШАХМАТИСТ**

**У** него нет ни одного зуба и ему трудно поэтому удерживать во рту трубку, которую он набивает табаком из раскрошенных сигар. Сам он напоминает какую-то комическую фигуру из старого мультипликационного фильма.

В турнире — без всякого сомнения, его последнем турнире — он выиграл первую партию в блестящем стиле. Во второй сделал ничью запоминающимся трюком в позиции, которая на первый взгляд выглядела безнадежной. Все последующие тринадцать партий он проиграл просрочкой времени.

Когда-то он принадлежал к сильнейшим шахматистам мира. Два до сих пор популярных варианта, в защите Нимцовича и в староиндийской защите, носят его имя. Он был первым, кто ввел их в практику. Один из них — острый и агрессивный, другой — очень сдержанный.

Он — последний из могокан. Его ровесники умерли от голода на Западе или доживают свои дни на Востоке. Никто из них больше не играет в шахматы, но он не может оставить игру.

Молодых он не знает. Неожиданно он спрашивает, нет ли среди нас албанца, потому что он где-то прочел, что албанцы — на редкость жестокий народ. С чем-то похожим на смех и превращающим его лицо в одну большую дыру, он рассказывает об албанском епископе, который отрезание голов у мертвых турок рассматривал как акт трусости. Епископ хотел, чтобы головы отрезали только у живых.

Он говорит, что бодрствует целыми ночами, что сон не идет к нему. Он говорит, что размышляет, он говорит, что думает об истории. Произошло столько всего, чего не должно было произойти. Он немец, и он покинул свою страну, когда эта страна сошла с ума. Но если ты не еврей, не коммунист и не Томас Манн, то жизнь за границей тоже не так сладка, говорит он. Он вернулся, вернулся как раз в тот день, когда началась война. Он не был ни в коем случае героем Сопротивления, но и молчать он тоже не мог.

На него донесли, и он очутился в концентрационном лагере. Если бы не вмешательство очень высокого партийного функционера, он мог бы легко распространиться с жизнью. Его защитник был повешен в Нюрнберге за преступления против человечества. Он не может всё это понять, и он не может заснуть. Он размышляет. Он пережил сумасшествие своей страны и много говорит об этом.

Он говорит о коллеге-шахматисте, который имел освобождение от работы и от восточного фронта до тех пор, пока сообщал в полицию о враждебно настроенных элементах. Он вспоминает о вечере в кафе, когда инженер, прибывший в отпуск с румынских нефтяных промыслов, рассказал об американской бомбардировке, которая, согласно сводке вермахта, закончи-

лась полной неудачей. Кто-то тут же сообщил об этом в полицию. На следующее утро инженер был арестован, осужден и уничтожен.

Он был в Кёнигсберге, когда город был взят в блокаду русскими. Для того чтобы поддержать дисциплину, более десяти тысяч солдат и гражданского населения были расстреляны за два месяца. Запрещено было всё, и существовало только одно наказание.

Его жена — он говорит о своем браке, как о «восемнадцатилетней брачной войне», — была коммунисткой, но он не видел в коммунизме ничего хорошего. Он ни во что больше не верит, но в его старой голове живут еще воспоминания о принципах и добродетелях ушедшего мира. Офицеры кайзеровской армии имели очень маленькое жалованье. Это была жизнь, полная лишений и самопожертвования; он говорит, что об этом теперь забыто, это прошло, навсегда прошло, но он не понимает почему.

Во время Первой мировой войны шахматы тоже спасли ему жизнь. Когда поезд прибыл из Вердена в Берлин, его извлекли из вагона, полного человеческих обрубок, и хирург, который был шахматистом, починил его. С тех пор у него осталась искалеченная рука, всё его тело в шрамах, но в двадцатых годах он был красавец и страшный ловелас.

Теперь он сидит, съевшись в комочек, пристально вглядываясь своими плохо видящими глазами в положение на доске и посасывая трубку, которую постоянно вынимает изо рта и выбивает. Вокруг него — пепельницы, из которых струится дым, как из печей крематория. Сам он тоже покрыт пеплом. На него невозможно смотреть, он неряшлив, но при том бросается в глаза повязанный на его тонкой шее дорогой и красивый галстук. Гвардия умирает, но не сдаётся.

Он играет всё еще очень хорошо и часто стоит на выигрыш, когда падает его флаг. Он говорит, что что-то парализует его и он просто не в состоянии сделать ход.

Когда приходит мой черед играть с ним, происходит то, что я знал заранее. Он не проигрывает просрочкой времени. Он выбирает солидный старомодный вариант и получает преимущество. Я осложняю положение, он реагирует не лучшим образом, выбирая пару раз не сильнейшие продолжения. Но молниеносно! В остающиеся у него считанные секунды он выбрасывает последние ходы на доску и делает свой сороковой ход как раз перед тем, как его флажок падает. В ярости я делаю свой сорок первый ход. Позиция примерно равная. Партия откладывается. Он должен записать свой ход. Следующий контроль времени — час на шестнадцать ходов. Он думает больше получаса над записанным ходом. Когда мы вечером того же дня продолжаем партию, в районе пятидесятого хода он снова в сильнейшем цейтноте. Но каждый раз находит лучший ход. Он снова проходит контроль времени. Пятьдесят шестой ход сделан, его флажок так и не упал. Я с трудом сдерживаю себя. Партия должна доигрываться утром. Контроль тот же: час на шестнадцать ходов. Я анализирую отложенную позицию и прихожу к выводу, что выиграть ее невозможно.

*На следующее утро он снова тратит на первые ходы слишком много времени, и снова в районе контроля на семьдесят втором ходу он в цейтноте. У него нет больше времени. У меня — больше часа. Я думаю очень долго. Он не может отойти от стола, он должен сразу же отвечать на мои ходы. Я вижу, что все нормальные продолжения ведут к ничьей. Я делаю совершенно неожиданный ход, который при его правильном ответе ставит меня самого на грань поражения. Он отвечает молниеносно.*

*Ошибка!*

*Теперь у него проиграно. Он сам понимает это через пару ходов и погружается в раздумье. Флажок на его часах достиг горизонтального положения. Он не делает хода, хотя должен сделать еще три... Он окаменел. Флажок падает. Падение флажка сопровождается таким нежным звуком, что только настоящие шахматисты могут это услышать.*

*С облегчением я поднимаюсь из-за стола.*

*Он остается сидеть еще некоторое время и говорит: «А все-таки я стоял неплохо».*

*Журнал «Авеню», сентябрь 1968*

## ЧУЧЕЛО МАМОНТА

Каждый шахматист, прочтя о немецком гроссмейстере, чье имя носят два популярных варианта в защите Нимцовича и в староиндийской защите, узнает в нем, конечно, Фридриха (Фрица) Земиша.

Он родился и вырос в Берлине, где получил профессию переплетчика, но очень скоро с головой ушел в шахматы. Университетами Земиша стали кафе: «Керкау», «Бауэр», «Ройаль», «Мокка» — давно не существующие прокуренные берлинские кафе начала прошлого века. Жизнь шахматного профессионала была нелегкой: бесконечные переезды из страны в страну, с турнира на турнир, из гостиницы в гостиницу. Постоянная нехватка денег, жизнь в надежде на выигрыш хоть какого-нибудь приза, на подвернувшийся сеанс одновременной игры, на помощь мецената. Однажды, получив приз в турнире, Земиш купил пишущую машинку и, к общему изумлению коллег, объявил, что начинает работать. Но уже на следующий день он изменил свое намерение и продал машинку за полцены, потому что в глубине души он предпочитал все-таки не работать, а быть тем, кем он был: ни от кого не зависящим одиночкой, странствующим шахматистом. Такой образ жизни не могла выдержать ни одна женщина, и Земиш был типичным холостяком, хотя официально он и был женат одно время на жительнице Чехословакии.

Он выигрывал турниры в Вене в 1921 году и в Берлине в 1922-м. В том же году Земиш разгромил в матче Рети — 5,5:2,5, а в 1925-м занял третье место на сильнейшем турнире в Баден-Бадене, уступив только Алехину и

Рубинштейну, но опередив Боголюбова, Тартаковера, Маршалла, Нимцовича, Грюнфельда, Рети, Торре, Шпильмана, Мизеса. Он побеждал в Дортмунде в 1928 году и в Свинемюнде в 1930-м.

В сражениях Первой мировой войны он получил физические увечья. Двадцатилетний рядовой Фриц Земиш чудом остался жив после кровавой мясорубки под Верденом в 1916 году. «О, что за чудный день будет, когда я услышу известие, что пал Верден». Так писал Эмануил Ласкер в 1914 году в «Фоссише цайтунг», где вел тогда еженедельную шахматную рубрику. Когда разразилась война, Ласкер прекратил в своей рубрике анализ партий и эндшпильных позиций и полностью сосредоточился на военной тематике. Он детально описывал перемещения дивизий и корпусов, как будто речь шла о шахматной партии, снабжая их диаграммами, на которых были отмечены важнейшие поля сражений на западном фронте. В первые дни войны немцы овладели бельгийским Льежем. «Отлично, — писал Ласкер, — Льеж теперь, как белый конь на f5, укреплен и в то же время находится в непосредственной близости к неприятелю». И неделей позже: «Захват Льежа — это сильный ход, который приведет к открытой, оживленной игре». Ласкер пишет, что немецкая военная стратегия делает честь учению Стейница в шахматах, и спрашивает, не забыл ли французский маршал Жоффр его уроков. «Игра англичан солидна, — замечает Ласкер, — но чересчур прагматична и в общем-то посредственна; впрочем, чего же можно ожидать от мелких лавочников, которые не в состоянии выработать пристойный план. И поэтому эту страну ждет неминуемое поражение, так же как в последние четверть века были побеждены английские мастера на шахматной доске. Что же касается русских, то это — отчаянные романтики без какой-либо логики и конструктивного плана, они не понимают, что это не стрельба наугад, а современная плановая война».

Ласкер не сомневается, что «завоевание Франции такое же верное дело, как мат одинокому королю королем и ладьей, а немецкие солдаты чисты душой и уверены в своей победе и моральной правоте. Они бойцы за лучшее будущее и за всё человечество, и эта вера дает им решающее преимущество в войне и делает их непобедимыми».

Он пишет о жертвах пешек и завоевании сильных пунктов, не понимая, какие чудовищные жертвы несет с собой война. Он не знает еще, что под Верденом погибнет семьсот тысяч человек, и это название станет синонимом самого ужасного побоища Первой мировой войны. Не знает и о том, что два десятка лет спустя он сам должен будет навсегда покинуть Германию и никогда больше не увидит свою родину. Когда Ласкер писал эти строки, ему было сорок шесть лет, он объездил к тому времени полмира, подолгу жил в Англии, провел длительное время в Соединенных Штатах, но этот математик, мыслитель, философ и шахматист чувствовал себя в первую очередь немцем. До тех пор, пока в начале 30-х ему не объяснили, как горько он заблуждается.

А вот какую классификацию дебютов предлагал тогда Зигберт Тарраш в своей газетной рубрике:

«*Французская партия* (1...e6) была прежде очень популярна, но от нее давно отказались. Она дает черным ненадежную игру, при которой им все время приходится защищаться и остерегаться. Обычно партия черных очень быстро проигрывается вследствие тех затруднений, с которыми им приходится бороться при развитии своих сил.

Также и *Русскую партию* (1.e4 e5 2.♭f3 ♭f6?) нельзя рекомендовать. Знаюки уже давно считали это начало совершенно недостаточным, но в новейшее время многие его удачно защищали и поэтому Русская партия все же заслуживает некоторого внимания. Правда, она никогда не даст сильной атаки, но Русскую партию не так легко опровергнуть из-за того, что она предоставляет много возможностей для упорной защиты.

Надлежит совершенно отвергнуть *Английскую партию* (1.e4 e5 2.♭f3 ♭c6 3.c3), на слабость которой впервые указал я. Нет лихой атаки, нет и солидного развития игры, только лишь тайное намерение ловить рыбу в мутной воде...

*Итальянская партия* (1.e4 e5 2.♭f3 ♭c6 3.♁c4 ♁c5?) долгие годы считалась корректной, в новейшее время, однако, достоинство ее подвергается большому сомнению, на что также впервые указал я...

Следует очень рекомендовать *Венскую партию* (1.e4 e5 2.♭c3), которая издавна пользуется широкой популярностью...

Лучшим началом всегда и по праву считалась *Немецкая* (?? – Г.С.) *партия* (1.e4 e5 2.♭f3 ♭c6 3.♁b5). Она обеспечивает самую сильную и самую продолжительную атаку, защита против которой чрезвычайно трудна, а по мнению некоторых теоретиков, даже и вовсе невозможна.

Совершенно неотразимую атаку дает *Прусская* (?? – Г.С.) *партия* (1.e4 e5 2.♭f3 ♭c6 3.♁c4 ♭f6!). Она всегда имела самую лучшую репутацию и блестяще оправдала себя на всех турнирах».

Похоже на шутку или скверный анекдот, если бы текст этот не увидел свет в 1916 году, в самый разгар военных действий...

Замечу, что подобные патриотические настроения бушевали не одних только шахматистов. «Моральный дух повсюду превосходен», «Наши славные победы», «Разбив русских в Галиции, Германия спасла нас», «Возможно, впервые за последние тридцать лет я чувствую себя австрийцем». Это фразы из писем подданного Австро-Венгерской империи, тоже через двадцать лет вынужденного покинуть страну, в которой прожил всю жизнь, — Зигмунда Фрейда.

В 1933 году в Германии к власти пришел Гитлер. В январе официальный орган Германского шахматного союза еще печатает призыв о помощи польскому гроссмейстеру еврейского происхождения Акибе Рубинштейну. Но уже в апреле заметны изменения: президиум союза призывает клубы быть бдительными при приеме новых членов — рабочих левого

толка, равно как и представителей «неарийских шахмат». Первого мая создан Шахматный союз Великой Германии, а на заседании шахматистов Саксонии, закончившемся возгласами «Зиг хайль!», принято решение послать приветственную телеграмму фюреру. Первого июня почетным президентом Шахматного союза Великой Германии избран доктор Йозеф Геббельс. На страницах журнала «Дойче шахблеттер» появились директивы, призывающие шахматистов не ограничивать свой кругозор шестьюдесятью четырьмя клетками доски, но активно участвовать в становлении новой Германии. Евреи не могут принимать участия в этой созидательной работе, даже если у них в роду три последних поколения были арийцы, и должны быть исключены из клубов. Этот декрет о расовой чистоте вступает в действие уже с 15 августа. В октябре последние независимые клубы (только в Берлине, где жил Земиш, их было шестьдесят) влились в новый союз. Тогда же перестали выходить независимые шахматные издания. Тарраш был вынужден расстаться со своим журналом «Шахцайтунг»; Нюрнбергский шахматный клуб, получивший благодаря Таррашу европейскую известность, вычеркивает его из своих членов. В следующем году «наставник Германии» умирает, а Ласкер навсегда эмигрирует из страны, чтобы после скитаний по Европе и полутора лет пребывания в Советском Союзе умереть в Нью-Йорке.

Земиш часто бывал в Голландии в эти годы. Обычно он гостил в Амстердаме в семье Макса Эйве. Немецкий гроссмейстер, разумеется, не менял своих привычек: ложился очень поздно, вставал около двенадцати и тут же отправлялся в шахматные кафе, возвращаясь только к ужину, чтобы потом снова исчезнуть. Когда через пару недель хозяйка дома вежливо осведомлялась у постояльца о его планах, Земиш отвечал без затей, что ему очень нравится здесь и он отправится домой, только если его попросят.

В тот период он вообще большую часть времени проводит за границей, подолгу живя здесь и там. Но Земиш был слишком немцем, чтобы навсегда покинуть страну, где родился и вырос. Он окончательно вернулся в Германию 1 сентября 1939 года; в этот день началась Вторая мировая война. Ему было сорок три года, призывной еще возраст. Одно время Земиш находился на западном фронте в качестве шахматного инструктора. Что означала такая загадочная должность — неизвестно, но у знаменитого гроссмейстера всегда находились покровители, старавшиеся убедить его от превратностей времени, в которое ему довелось жить.

В разгар войны, в 1943 году, Земиш играл в Праге. Это был сильный турнир, в котором наряду с чемпионом мира Алехиным и Кересом принимали участие молодые чешские мастера. Среди них был и Людек Пахман. Он тоже, как и Доннер, вспоминает о страсти к табаку немецкого гроссмейстера и о его страшных цейтнотах. Однажды Земиш просрочил время на 20-м ходу, другой раз — на 13-м, при контроле два с половиной часа на 45 ходов. После партии, в которой Земиш размышлял над своим

4-м ходом целый час, Пахман спросил его, над чем он, собственно говоря, думал. «Я вспоминал одну партию Боголюбова, — ответил Земиш, — в которой тот на 23-м ходу пожертвовал фигуру. Тогда я полагал, что жертва была не вполне корректной, поэтому я взвешивал другие продолжения». Когда изумленный Пахман поинтересовался, какое отношение имеет 23-й ход Боголюбова к положению в его собственной партии после 4-го хода, Земиш с достоинством заявил, что всегда думает над вещами, которые приходят ему в голову.

Людеку было тогда девятнадцать лет. Однажды он проснулся от сильного стука в дверь в шесть часов утра. Перед ним стоял Земиш.

— Отправляйся на почту и пошли телеграмму, — приказал он.

Пахман спросонья не мог понять, что же должно быть в ней написано.

— Телеграфируй: немедленно высылайте сигареты.

Когда Людек стал робко возражать, что он не курит, Земиш заметил ему с железной логикой, что он-то курит и его сигареты кончились.

«То, что Земиш был страстным курильщиком, знали все, — вспоминал Пахман. — Во время партии он курил непрерывно, одну сигарету за другой. Если в сложном положении он задумывался, пепел падал на его брюки, на доску, повсюду. Полностью погруженный в свои мысли, он сдувал пепел на своего соперника и продолжал размышлять над позицией».

Через несколько дней после того случая Земиш в кафе подсел к столику Пахмана. Людек признавался потом, что ему не было тогда приятно сидеть за одним столом с немцем, но разговор, который затеял Земиш, изумил его еще больше. «Ну не олух ли Гитлер царя горохового, что думает выиграть войну с Россией», — сказал Земиш довольно громко. «Следует заметить, — поясняет Пахман, — что в то время Прага была прямо наводнена осведомителями гестапо, и его тираду можно было услышать, по меньшей мере, на расстоянии двух столиков от нашего».

Когда Пахман попросил его говорить тише, Земиш, совершенно не понижая голоса, повторил: «Так ты, значит, не считаешь, что Гитлер просто-напросто идиот?»

Земиш держался до лета 1944 года, когда излишняя разговорчивость стала для него роковой. На каком-то турнире в Испании он снова начал открыто выражать свое мнение о нацистах, но по возвращении в Германию был арестован и провел пару месяцев в концлагере. После войны он жил долгое время в земле Шлезвиг-Гольштейн, в поместье барона фон Ахифельда, мецената и друга многих шахматистов, после чего переехал в Гамбург. В конце жизни он снова поселился в Берлине. Круг замкнулся.

В послевоенные годы Земиш играл время от времени в турнирах. Тогда еще не было рейтингов, и норма для получения мастерского и гроссмейстерского титулов зависела от числа обладателей международного звания, независимо от их силы, поэтому престарелые маэстро были желанными гостями в европейских турнирах. В них играли Тартаковер, Грюн-

фельд, Бернштейн, Пирц, Мюллер, Йонер, Рельштаб. Играл и Земиш. За плечами была долгая, трудная жизнь; удивительно ли, что выступления в этих турнирах никак нельзя отнести в разряд успешных в длинном послужном списке немецкого гроссмейстера.

Земиш дожил до глубокой старости, но в последние годы всё свободное время отдавал другой своей страсти — бриджу, где наличие его замечательной памяти было очень кстати. Недаром он прекрасно играл вслепую и, как ни странно, блиц, несмотря на глубокие раздумья, в которые погружался в турнирных партиях. Когда он был молод, в игре не глядя на доску ему было мало равных, и сам Алехин сказал о нем однажды: «Из всех новейших мастеров, которых я имел случай наблюдать во время игры вслепую, больше всего мне понравился Земиш: мне импонировали его большая техника, его быстрота и уверенность».

Я видел Земиша только однажды, летом 1974-го, в одном из тех немецких городков-курортов, название которых начинается на Бад. Когда мне показали старика, мирно дремлющего над чашкой кофе, это, помню, не произвело на меня большого впечатления. Я не заметил, что у него что-то не в порядке с рукой, может быть, оттого, что на том курорте было немало крепких еще пожилых мужчин, одни — на костылях, другие — с бесстрастно глядящим в одну точку стеклянным глазом или с откровенно пустым рукавом пиджака, и я не мог избавиться от мысли, что знаю, где лежат недостающие части их тел.

Я смотрел на него, как смотрят дети на чучело мамонта в антропологическом музее: надо же, какие ископаемые населяли шахматный мир. Он умер на следующий год в Берлине, не дожив месяца до семидесяти девяти лет.

## ЗЕМЛЯКИ

В один из весенних дней 1970 года я зашел к Корчному, который жил тогда в Ленинграде на Гаванской улице Васильевского острова.

«Вот какое удивительное письмо я получил только что», — сказал Виктор, протягивая мне необычных размеров заграничный конверт, едва я только переступил порог. Это было отпечатанное на прекрасной глянцевой бумаге приглашение на двух языках, по-английски и на иврите, от Мигеля Найдорфа на свадьбу его дочери, которая должна состояться через два месяца в главной синагоге Буэнос-Айреса.

«Пора оформлять документы на поездку в Аргентину», — посоветовал я, и мы еще долго со смехом представляли себе вытянувшиеся лица сотрудников ОВИРа при чтении этого письма. Я не предполагал тогда, что скоро мне доведется часто встречаться с замечательным аргентинским гроссмейстером в разных странах мира и даже сыграть с ним пару партий.

В свадебном приглашении, присланном Корчному, речь шла о дочери Найдорфа от второго брака — вся его первая семья погибла в Польше во



время войны; сам он после Олимпиады 1939 года остался в Аргентине. Хотя Найдорф на протяжении нескольких послевоенных десятилетий с успехом продолжал играть в шахматы, профессионалом он не был и призы в турнирах его мало интересовали: сделав деньги в 50-х годах в страховом бизнесе, Найдорф был богатым человеком и любил это подчеркивать. Однажды, показывая Корчному свой «Ролекс», он гордо заявил: «Эти часики стоят больше, чем весь бюджет нашего турнира». В другой раз, когда Мигеля допекали вопросами о его состоянии, он воскликнул: «Да, я миллионер! И не на песо, я на доллары миллионер!» Впрочем, к деньгам относился философски. «Ну, что ж с того, что у меня много денег, желудок-то у меня один», — говорил он.

Найдорф всю жизнь был равнодушен к женским улыбкам, и недаром Смыслов помнит до сих пор, как Мигель учил его отвечать на вопросы южноамериканских сеньорит: «Señor ocupado?» — «No». — «Casado?» — «Muy poco». — «Cuanto hijos tiene?» — «No hijos!»\*

Он был живой, непоседливый, эмоциональный человек, с трудом сохранявший молчание и во время партии. «Не правда ли, я сыграл гениально?» — эту фразу от него слышали многие, когда он, не в силах сдержать эмоций, перебежал от доски к доске, пока соперник думал над ходом. Случалось, он заговаривал с партнером во время игры, порой обращался к зрителям. Может быть, из-за этой живости его и постоянной разговорчивости я совсем не воспринимал Найдорфа как старого человека.

Он обожал всяческого рода шутки, розыгрыши, пари — на исход партии, турнира, на ход, который будет сделан Карповым или Каспаровым в очередной партии их матча. «Сто долларов!», «Двести долларов!» — нередко можно было услышать от него в качестве контраргумента в споре или дискуссии. В Гронингене (1946) он выиграл 500 гульденов у Флора, поспорив с тем, что обязательно победит Ботвинника. В другой раз, когда на турнире в Америке Ройбен Файн предложил ему ничью в конечном эндшпиле без пешки, то услышал от рассерженного Найдорфа: «Двести долларов, если тебе удастся ее сделать!»

Мы сыграли с ним две партии. Одна из них, в Вейк-ан-Зее в январе 1978 года, закончилась вничью, но несколькими месяцами позже в Сан-Паулу мне удалось выиграть. Перед самым концом Мигель расставил красивую ловушку и испытующе поглядывал на меня. После партии ему не хотелось смотреть тонкости дебюта: он предпочитал анализировать осложнения, возникавшие, если бы я соблазнился естественным продолжением.

Там, в Сан-Паулу, он подолгу оставался в турнирном зале после окончания собственной партии, наблюдая за течением еще играющихся или принимая участие в анализе. Однажды у Смылова, выигравшего тот турнир,

---

\* «Господин занят?» — «Нет». — «Женат?» — «Только немножко». — «Сколько у вас детей?» — «Нет детей!» (исп.).

возник интересный эндшпиль, за ходом которого наблюдали все участники, освободившиеся от игры, в том числе и Найдорф. Встретившись с ним глазами и отойдя немного в сторону, я назвал ход, после которого преимущество экс-чемпиона, как мне казалось, становилось решающим.

«Ты слабый игрок», — в ту же секунду заявил без обиняков Найдорф, предложив другой ход, который стал возможным только после поспешного ответа соперника Смыслова, — неожиданный трюк, действительно немедленно заканчивающий партию. Когда Василий Васильевич, немного подумав, избрал «мой» ход, ведущий к техническому выигрышу, Найдорф, улыбаясь и укоризненно покачивая головой, отправился к соседнему столику. Там же, в Сан-Паулу, наблюдая за партией, где был разыгран его вариант в сицилианской защите, спросил в шутку: «Скажите, Мигель, этот вариант Найдорфа, он вообще корректен? Вы-то, наверное, знаете его опровержение?» Засмеялся, потрепал меня по щеке — любимый жест — и, ничего не ответив, засеменял дальше по сцене...

В мире шахмат у него была своя иерархия, в которой каждый игрок занимал отведенное ему место. Однажды в Вейк-ан-Зее Найдорф, играя белыми с Реем, прямо скажем, не входившим в число сильнейших участников турнира, попал в тяжелое положение. Доведя пешку до призового поля, его соперник сказал: «Ферзь» — и перевел часы. Найдорф настаивал на том, что ход выполнен неправильно и что пешка должна быть превращена в любую фигуру по его желанию, отдавая предпочтение коню. Был создан турнирный комитет, и после долгого разбирательства партия была продолжена через два дня. Часы Мигеля были пущены, но он сидел в комнате рядом и играл блиц, не обращая на это никакого внимания. Подойдя к доске лишь после того как на его часах упал флаг, он стал утверждать, что его позиция совсем не проиграна, и требовал, чтобы партию поставили на доигрывание снова, иначе он начнет паковать чемоданы. На этот раз уже взбунтовался Рей, конфликт грозил разгореться с новой силой, но здесь блестящий ход нашли организаторы: две прелестные девушки с цветами и подарками смягчили сердце Мигеля, он явился на символическое доигрывание и, как только его противник превратил пешку в ферзя, сдался. Вряд ли Найдорф затеял бы всю эту катавасию, если бы играл, к примеру, с Ботвинником.

Шахматы он обожал, его все знали в шахматном мире, и он знал всех, но боготворил только одного: Мишу Таля. «Ах, дай я тебя расцелую», — говорил Найдорф, не в силах сдерживать эмоций после какого-нибудь особенно понравившегося ему хода Таля.

Он постоянно играл легкие партии, блиц. Смыслов вспоминает, как в Гронингене Найдорф, едва увидев его, тут же предложил сразиться в блиц: «Играл он сильно и в Гронингене всех обыгрывал, но и я тогда быстро соображал и выиграл у него несколько партий. Но он все равно хотел играть еще и еще...»

Василий Васильевич хорошо помнит тот первый крупный послевоенный турнир: «Играли мы с Найдорфом просто так, а на ставку рядом в фойе играли Толуш и Видмар. Но не в шахматы. Профессор был поленький, и ногу на ногу закинуть ему было непросто, вот Толуш и предложил ему пари: удастся Видмару с первой попытки проделать эту операцию — он получает гульден, в противном случае выигрывает Толуш. Поначалу гульдену прямо текли в карман Толуша, но Видмар как-то наловчился, и деньги стали перекечевывать обратно, так что Александр Казимирович объявил в конце концов: «Прекращаю играть».

Видмар казался мне тогда стариком, хотя в Гронингене ему было только слегка за шестьдесят. Что я чувствовал, когда играл со старыми мастерами? Просто приятно было, что с такими шахматистами как Видмар, Бернштейн, Тартаковер выпала судьба сыграть мне тогда».

Найдорф тоже играл до глубокой старости, а когда не мог больше принимать участия в турнирах, был постоянным гостем матчей на мировое первенство, равно как и всех крупнейших соревнований. Он приходил обычно к началу тура и, занимая место в пресс-центре, сразу оказывался в окружении коллег и журналистов, глядевших ему в рот. Он легко переходил с языка на язык и не отказывал в интервью никому. Нередко он играл здесь же блиц, что делал всегда с удовольствием, разве что в последние годы реакция его замедлилась и он предпочитал, чтобы ему отмеряли семь минут на часах вместо обычных пяти. Иногда он выходил из пресс-центра в турнирный зал и, придвинув стул к заинтересовавшей его партии, мог подолгу наблюдать за течением игры; чаще же просто поднимался на сцену и характерной походкой обходил все партии, задерживаясь у наиболее интересных.

Он был игроком настроения и, хотя реально никогда не боролся за мировое первенство, был опасен для любого соперника и в отдельных партиях мог победить — и побеждал! — чемпионов мира. Он выиграл ряд сильных турниров, но... нельзя не согласиться со Смысловым, что по классу игры Найдорф уступал другому выходцу из Польши — Решевскому.

Сэмюэль Решевский родился в 1911 году в Озоркуве, маленьком местечке недалеко от Лодзи. В семье было шестеро детей, и он был самым младшим из братьев. Сэмми научился играть в шахматы в пятилетнем возрасте, глядя на игру отца. Однажды ребенок, к удивлению взрослых, начал что-то показывать на доске. «Вус?»\* — спросил отец: в семье ортодоксальных евреев говорили, разумеется, только на идише. С этого самого «вус» начался триумфальный путь шахматного вундеркинда. Через пару лет маленький Сэмми давал уже сеансы одновременной игры в Лондоне, Вене, Берлине. Невиданное зрелище привлекало не только шахматистов, но и многочис-

---

\* «Что?» (идиш).

ленных зрителей, фотографов, журналистов. Просматривая голландские газеты того времени, я нашел фотографию мальчика в матросском костюмчике и лакированных ботинках, едва дотягивающегося до фигуры, чтобы сделать ход в партии с солидным бородачом во время сеанса в Амстердаме.

Решевский и Эйве встречались в турнирах еще до войны, а в 50-х годах были главными соперниками советских шахматистов в борьбе за титул чемпиона мира. Но самую первую партию они сыграли именно тогда, в феврале 1920-го в Амстердаме, когда 18-летний студент Макс Эйве, только что занявший второе место в национальном чемпионате, решил принять участие в сеансе одновременной игры восьмилетнего вундеркинда. В открытом варианте испанской партии мальчик попался в известную ловушку и потерял фигуру. Когда через несколько ходов Эйве предложил юному сопернику ничью, тот отказался, гордо пояснив: «Ich will siegen»\*. Несмотря на катастрофу в этой партии, Сэмми достойно закончил сеанс (+17—1=2), а его турне по Европе произвело столь сильное впечатление, что много позднее Милан Видмар не уставал повторять, что тогда Решевский играл сильнее, чем в годы, когда боролся за мировое первенство.

Этот период длился несколько лет; родители, занижая на год-два возраст ребенка, старались извлечь из его редкостного дара всё, что могли. Но мальчик подрос, и семья после странствий по Европе эмигрировала в Америку, где родители Решевского поняли, как труден хлеб шахматного профессионала. Сэмми закончил колледж, получил пристойную профессию и до выхода на пенсию совмещал работу бухгалтера с игрой в турнирах.

Обладая замечательным природным талантом, он играл скорее по интуиции и, по собственному признанию, совершенно не знал теории дебютов, начав изучать их только в конце 20-х годов. Но даже в свои лучшие годы он вынужден был включать мыслительный процесс на полную мощность едва ли не с первых ходов, в отличие почти от всех коллег-гроссмейстеров, игравших дебютную стадию партии полуавтоматически, опираясь на конкретные, проверенные варианты.

Незадолго до смерти его посетил Мелл Моррис — большой любитель шахмат и давний знакомец Решевского. Когда гость попросил хозяина взглянуть на какую-то эндшпильную позицию, выяснилось, что шахмат дома нет. На помощь был призван сын Решевского Якоб, раввин, который после длительных поисков обнаружил где-то на антресолях дешевые шахматные фигуры из пластмассы.

Моррис заметил на полках, заполненных религиозной литературой, пару шахматных книг. «И это всё? — спросил он Решевского. — Как же ты готовился к турнирам, ко всем этим профессионалам, изучавшим теорию с утра до ночи?»

---

\* «Я хочу выиграть» (нем.).

«Я занимался дебютом, когда садился за доску», — ответил Сэмми, и это не было бравадой. Жуткие цейтноты, преследовавшие его в течение всей карьеры, были следствием безумной траты времени в дебюте: незнакомые позиции возникали у него значительно раньше, чем у соперников.

В начале 60-х годов мне случайно попал в руки номер журнала «Америка» на русском языке. Там была большая статья о Решевском с диаграммой труднейшей задачи Хавеля — мат в четыре хода, — которую Сэмми решил на пари за пятнадцать минут, не передвигая фигур. Оказавшись за шахматной доской, писал журналист, он был весь сосредоточенность и концентрация — даже со стороны можно было почувствовать, с каким напряжением он думает. Так же Решевский играл и турнирные партии.

Последние годы он жил в небольшом городке Спринг-Вэм в Нью-Джерси и вел довольно уединенный образ жизни. Знавшие его близко, говорят об очень спокойном человеке, по-своему одиоком, погруженном в свой мир, в свои раздумья. Решевского нельзя было назвать книголюбом, но он любил классическую музыку, довольно часто слушал ее по радио, иногда посещая и концерты.

Известно, что, будучи человеком религиозным, Решевский соблюдал обряды и никогда не играл по субботам. Но так было не всегда: до смерти отца Сэмми был верующим, но довольно либеральным евреем. Он не придерживался так уж строго всех правил и играл в пятницу вечером и по субботам. Смерть отца Решевский воспринял как кару за свои прегрешения и, став ортодоксом, отныне неукоснительно выполнял все предписания религии. Конечно, это создавало неудобства для организаторов, не всюду же, как это было заведено, например, на опене в Лон-Пайне, могли устраивать в середине турнира два выходных подряд, в пятницу и субботу, подстраивая регламент под Решевского.

Смыслов отмечает, что субботний перерыв шел Решевскому на пользу и на следующий день он играл, как правило, очень удачно и с большим воодушевлением.

Корчной же, напротив, полагает, что соблюдение субботы создавало для Решевского определенные трудности. Он вспоминает турнир 1960 года в Буэнос-Айресе, где Решевский черными в староиндийской защите постепенно переиграл его, но наступал уже вечер пятницы, партия откладывалась, и Решевский, нервно посматривая на часы и заходящее солнце, очень быстро записал ход, после которого Корчному удалось добиться ничьей. Если бы Решевский хоть чуть-чуть вдумался в позицию и записал любой другой ход, просто усиливавший давление, он почти наверняка выиграл бы эту партию.

Он никогда не снимал кепочку, разве что менял их время от времени. Сэмми рано облысел и одно время, в конце 60-х, носил аккуратный паричок. Если он полагал, что в стране, где ему предстоит играть, могут

возникнуть трудности с питанием, то привозил с собой целый чемодан кошерных консервов и в течение всего турнира питался только ими.

Решевский был абсолютным антиподом Найдорфу, человеку, далекому от религии и относившемуся ко многим предписаниям ее не без иронии. Мигель любил рассказывать историю о том, как Решевский прилетел в Буэнос-Айрес в канун субботы на хорошо оплачиваемый сеанс одновременной игры: «От аэропорта до города было километров пятьдесят, и Сэмми попросил поставить в машину тазик с водой, затем снял носки и ботинки и, опустив ноги в таз, объяснил, что этим нейтрализован строгий запрет использовать какой бы то ни было вид транспорта в шабат...»

Мне довелось сыграть с ним две партии. В Амстердаме (1977) Решевский избрал староиндийскую защиту. Я применил вариант четырех пешек, требующий от черных знания конкретных продолжений и очень точной игры. Сэмми долго думал в дебюте, но позиция его ухудшалась с каждым ходом, и, несмотря на отчаянное сопротивление, партию спасти он не смог.

После совместного анализа мы разговорились, и, узнав, что я родом из Ленинграда, Решевский сказал, что играл там еще до войны, в январе 1939-го. В том же турнире играл и семнадцатилетний Вася Смыслов, и я тут же вспомнил его рассказ о Решевском, всё интересовавшемся на открытии о размере призов, пока ему не было объяснено, что турнир этот — тренировочный и никаких призов в нем нет. Выступил Решевский там, кстати говоря, превосходно, заняв второе место вслед за Флором, но опередив Кереса, Лилиенталя, Левенфиша, Макогонова, Рагозина, Кана, Романовского и других известных мастеров.

Вторую партию мы сыграли в Лон-Пайне в 1981 году. На этот раз белые были у Решевского. Он избрал вариант Петросяна в новоиндийской защите, но разыграл его недостаточно активно, и я был полон оптимизма — до тех пор, пока позиция моего короля мне перестала нравиться, и я предложил ничью, на которую он тут же согласился.

Мы иногда гуляли вместе, и Сэмми, имея склонность к длинным монологам, обычно держал речь. Он говорил на нескольких языках, но самым сильным был, конечно, английский: Решевский приехал в Соединенные Штаты ребенком и прожил там всю жизнь. Общаюсь с шахматистами из разных стран, он закрывал глаза на их ошибки в языке, но однажды не нашелся, что ответить, когда молодой Корчной, не владевший еще тонкостями английского, спросил у него, когда к их столику в ресторане подошел официант: «Did you elect already?»\*

---

\* Глагол *elect* (англ.) — выбирать — может быть употреблен только в значении выборов в сенат, конгресс и т.д., но никак не в смысле выбора блюд.

Там, в Лон-Пайне, я почтительно слушал его, только время от времени задавая вопросы, на которые он с удовольствием давал очень обстоятельные ответы. Однажды он прочел целую лекцию о пользе вегетарианства и различного рода витаминов и пищевых добавок. Одна из двух дочерей Сэмми была врачом-диетологом, и пару раз он ссылаясь на нее; сам он принимал и эти витамины, и эти добавки регулярно, впрочем, как и многие американцы.

Во время партии, посвистывая и причмокивая, он постоянно сосал какие-то леденцы, живо напомнив мне одного из моих первых партнеров — старичка, с которым я частенько играл на скамейках Таврического сада летом 1955 года.

Было известно, что Решевский нередко предлагал разойтись миром, причем, как правило, в худшей для себя позиции, и Найдорф шутил, что если Решевский предлагает ничью, значит, надо поискать, нет ли возможности объявить ему мат в два хода.

У молодых американских шахматистов бытовало мнение, что, играя с Решевским, всегда нужно держать ухо востро. Так, однажды он предложил ничью Джону Федоровичу, а когда тот после длительного раздумья согласился, Решевский не мог вспомнить о своем предложении, и партия продолжалась. Разгневанный Федорович в конце концов выиграл, но после того как часы были остановлены и судья подошел к столику, чтобы оформить бланки, Решевский вдруг... вспомнил! «Ты ведь был согласен тогда на ничью», — заявил он сопернику и успокоился, только когда судья турнира Исаак Кэжден сказал ему: «Sorry, Сэмми, партия уже кончена».

Арнольд Денкер вспоминал о более раннем случае, когда в сильном обоюдном цейтноте у Решевского упал флажок, а стоявший рядом судья, взяв часы в руки, повернул их циферблатами к себе и, получив зеркальное отображение, зафиксировал просрочку времени Денкеру. И сколько тот ни уверял судью: «Да нет же, флаг упал у моего соперника», — судья был неумолим, а Сэмми молчал как рыба, заметив только, что решение судьи оспаривать не полагается.

На одном из турниров в Югославии Решевский предложил ничью гроссмейстеру Велимировичу. Тот отказался. Через час Сэмми повторил предложение, на этот раз в другой форме: «Вы играете на выигрыш?» Велимирович, очень плохо говорящий по-английски и к тому же тугой на ухо, решил, что Решевский снова предлагает ничью, и отрицательно покачал головой: «No, no...», — в ответ на что Сэмми остановил часы и, улыбнувшись, протянул сопернику руку. Велимирович руки не пожал, вновь со стуком пустил часы Решевского и закричал на весь зал: «No, no, no! No English, no remi!»

После этого Сэмми уже спрашивал у своих соперников до игры, какими языками они владеют. Этот вопрос он задал и Борису Гулько на

турнире в Вильнюсе в 1978 году и, получив ответ: «Немецким», воспользовался этим сообщением, чтобы трижды предложить ему во время партии: «Remi?»

После войны Решевский несколько раз бывал в Советском Союзе, в первый раз на матче СССР — США в 1946 году. Самолет с американской командой по пути в Москву приземлился в Ленинграде. Мой коллега по Дворцу пионеров, мастер по шашкам Лев Моисеевич Рамм работал тогда в городском спорткомитете и вспоминал четверть века спустя, что получил строжайшее указание из Москвы задержать гостей на несколько дней: возникли какие-то проблемы с организацией матча. Проходит день-другой. Эрмитаж, Петергоф, обычная экскурсионная программа. Наконец американцы начали беспокоиться: «На исходе второго дня подходит ко мне Решевский, спрашивает (мы говорили с ним на идише): «Почему мы не летим в Москву?» Я ему объясняю, как и предписано: «У нас трудности с самолетами, надо потерпеть еще пару дней», — словом, отвечаю, как учили. Он подошел к другим членам американской команды, те о чем-то посоветовались между собой, потом Решевский вернулся ко мне и говорит: «Если у вас трудности с самолетами, то мы можем купить самолет», — и мне стоило больших трудов объяснить ему, что у нас в стране это невозможно».

В последний раз Решевский приезжал в Советский Союз весной 1991 года на турнир, посвященный семидесятилетию Смыслова. Говоря о Сэмми, Василий Васильевич называет его ласково Шмуликом, как коллеги звали Решевского еще до войны. Первым ввел в обиход это имя Сало Флор, после того как в середине 30-х годов побывал в Палестине, где любители шахмат, сбитые с толку миниатюрностью гроссмейстера, спрашивали у него, не тот ли он самый Шмулик, с которым они играли в сеансах одновременной игры еще в 20-м году?

Смыслов: «В турнире он выиграл у меня, и я его еще пожурил после партии: «Что это вы, Шмулик, на меня так набросились? Вот если бы я приехал на ваш юбилей в Нью-Йорк...» А он: «Так у меня с вами слишком плохой счет, вот улучшил несколько...» И доволен был очень, всё говорил: «Теперь я больше никого не боюсь — вот у Смыслова выиграл». Я ведь его действительно частенько побеждал; и в радиоматче в 1945 году мне удалось выиграть у Решевского обе партии, и неплохо выиграть. Ботвинник тогда тоже две партии выиграл у Денкера, но Арнольд был все-таки чистым любителем, а Решевский — гроссмейстером высочайшего класса!

После моего юбилейного турнира мы с ним матч в быстрые шахматы сыграли, закончился он 2:2, без ничьих, причем интересно, что все победы мы одержали черными. В последней партии при счете 2:1 в мою пользу были у меня белые фигуры, да и лучше было, но Шмулик победил и сравнял счет.

Шахматист был, конечно, выдающийся. Хотя дебютную теорию он не знал досконально, были дебюты, которые Решевский разыгрывал пре-



восходно, — защиту Нимцовича, например, да и ферзевый гамбит тоже играл прекрасно. Прощались мы с ним тогда трогательно, обнялись, как чувствовали, что на этом свете уж больше не свидимся».

Во время того последнего визита в Москву Решевский, посетив Музей шахмат в Клубе на Гоголевском, оставил запись в гостевой книге: «Именно здесь я впервые понял, что прожил свою жизнь не напрасно!»

Шахматы открылись ему в совсем юном возрасте, и он играл, пусть и с перерывами, в течение всей своей жизни, даже не задавая себе вопроса, любит ли он эту игру; так старик после шестидесяти лет брака посмотрит недоуменно, если вы спросите у него, любит ли он свою жену: «Но это ведь моя жена...»

Несмотря на то что в конце 50-х годов в США появился новый шахматный идол, имя Решевского всегда звучало там особенно. Уже в совсем преклонном возрасте он решил обратиться за советом к Любавичскому ребу, должен ли он продолжать играть. Выслушав Решевского, тот ответил: «Непременно. Если уж Бог дал вам такой талант, вы не должны зарывать его в землю». И Решевский играл в шахматы до самого конца. За полгода до смерти он решил принять участие в открытом чемпионате страны. Когда он вошел в огромный зал, где проводился турнир, отовсюду прощелестело: «Решевский! Решевский!» — и все взгляды обратились на маленького человека в больших очках и в бейсбольной кепке, в свое время представлявшего главную опасность для советских шахмат.

## **ЛЮБИТЕЛЬСТВО**

**Н**аконец-то началось разрушение стены между любительским и профессиональным спортом! Организаторы Уимблдона разрешили участвовать в турнире всем спортсменам без ограничения. Интерес в обществе к спорту в этой связи необычайно возрос. У меня, во всяком случае, в течение двух недель взяли три интервью. Не было бы лучше, если бы вы делали что-нибудь более полезное? И сколько же вы зарабатываете этой самой игрой в шахматы? Вы действительно получаете удовлетворение от этой вашей «работы»? Создается впечатление, что если ты содержишь семью на деньги, заработанные на шахматах, то являешься в глазах общества белой вороной. В нашей маленькой стране у моря бродит еще гигантский призрак любительства.

В шахматах любительство никогда не принималось всерьез. В 20-х годах неоперившаяся еще Международная шахматная федерация вошла в конфликт по этому вопросу с Олимпийским комитетом. ФИДЕ не хотела иметь ничего общего с Олимпийскими играми, но, чтобы не выглядеть бедными родственниками, мы теперь проводим раз в два года наши собственные Олимпиады. С тех пор понятие «любитель» приобрело в шахматах несколько иной смысл, чем в других видах спорта. «Любитель» у нас — это шахматист, который на самом деле «нечто другое». В каждом международном турнире принимают участие два-три таких любителя. Настоящие шахматисты боятся их, как чумы. Поскольку любители ничем не рискуют и «играют только для своего удовольствия» (какое фарисейство!), они могут представлять опасность в первую очередь для других любителей, но иногда и для настоящих игроков. Пока любитель играет слабо, его еще можно вынести, но расслабляться при встрече с ним не рекомендуется.

Раньше любители встречались даже среди сильнейших игроков. В своей книге «Золотые шахматные времена» один из самых известных любителей, профессор Милан Видмар из Югославии делится своими мыслями по данному поводу.

Этот высокоученый джентльмен был профессором электротехники или что-то в этом роде в Высшей технической школе в Любляне. Видмар, кстати, входил в десятку лучших шахматистов мира — я говорю о 20-х годах, когда шахматный мир выглядел по-другому, чем в наши дни. После прочтения книги Видмара создается впечатление, что она написана с единственной целью: показать, что автор не стал чемпионом мира только из-за постоянной нехватки времени, вызванной занятостью по основной работе. Без всякого сомнения, это удалось бы ему с легкостью, если бы не многочисленные нагрузки, неотложные обязательства, одним словом, вы понимаете...

Беспристрастный взгляд говорит о другом: Видмар был очень сильный ничейщик, чью боязливую манеру игры до сих пор можно заметить в партиях его

соотечественников. Из книги Видмара видно, что он, ратуя за статус «любителя», восстает против профессионализма, «одержимости спортом» и т.д.

Характерен один из эпизодов книги, когда Видмар самодовольно рассказывает, как он после выигрыша у Нимцовича на турнире в Нью-Йорке (1924) возвращался с ним по Бродвею в гостиницу. Нимцовича можно без всякого преувеличения назвать одним из самых больших художников, которых знала наша игра. Он автор замечательнейшей книги, когда-либо написанной о шахматах, — «Моя система». Нимцович был абсолютно одержим шахматами! Он не делал в своей жизни ничего другого и умер от профессиональной болезни шахматистов: паранойи.

Так шли они по Бродвею: реинкарнация самих шахмат на земле и профессор электротехники. И профессор только что выиграл партию. В этот момент, как пишет Видмар, Нимцович спросил у него: «Почему, почему ты не остался дома у своих телефонов?!»

Каждый, кто действительно любит шахматы, подписался бы немедленно под этим замечанием. Видмар же пускается в длинные рассуждения, из чего следует, что он ничего не понял из вопроса Нимцовича, да и понять не мог, потому что он — «нечто другое».

Интуитивное понимание того, что любительство ни к чему хорошему не приведет, появилось в нашей стране в 1935 году, когда любитель — Эйве был тогда учителем в женской гимназии — завоевал звание чемпиона мира, победив Алехина. Многие до сих пор полагают, что Алехин был сильнейшим шахматистом всех времен, но я не разделяю этого мнения. То, что Эйве победил этого волшебника, шахматный мир воспринял далеко не однозначно. По общему мнению, Алехин во время матча слишком часто заглядывал в рюмку.

В Голландии многие тоже объясняли успех Эйве этим фактом, хотя здесь я должен оговориться, что мы имеем дело с очень распространенным суждением, характерным для нашей маленькой страны: голландец никогда не способен добиться чего-нибудь выдающегося. Поэтому-то любительство и пустило у нас такие глубокие корни. Крупный успех объясняется обманом или полнейшей одержимостью, что тоже признается признаком дурного тона. На самом деле в 1935 году Алехин не играл слабее обычного. После анализа партий этого матча приходишь к выводу, что он играл тогда и не хуже, чем два года спустя, когда без видимых усилий отыграл у Эйве «свой» титул чемпиона мира. Но шахматный мир не мог признать любителя сильнейшим игроком. Очень может быть, что Эйве сам чувствовал неловкость своего положения. Если бы он после выигрыша чемпионского звания принял все полученные приглашения на турниры, а не вернулся к своим учительским обязанностям, то выиграл бы у Алехина с еще большим счетом, чем в 1935 году.

Таким образом, в шахматном мире понятие «любитель» означает только одно: тот, кто не вкладывает в шахматы всего себя. И речь здесь идет скорее о психологическом отношении к игре, нежели только о материальных соображениях.

*В других видах спорта любительство стало ярким примером фарисейства и обмана. Иногда принцип любительства сохраняется только на бумаге, но бывает — что много хуже, — этого правила придерживаются со всей строгостью. Я не хочу приводить примеров, но каждый, кто хоть немного знаком со спортом, понимает, кого я имею в виду. Что же лежит в основе такого отношения к любительскому спорту?*

*Существуют целые слои населения, куда входят женщины, слепые, инвалиды, которые имеют возможность соревноваться друг с другом, и это вполне нормально. Немалое количество их выступает в различных любительских соревнованиях, и это тоже совершенно правильно. Но такое разграничение никогда не привело бы к построению настоящего хрустального дворца, куда помещен сегодня любительский спорт.*

*Нет, за тем фактом, что с самого начала «любитель» рассматривался как благороднейший спортсмен, а «профессионал» — как опасный одержимый, стоит нечто другое. Наибольшая вина здесь лежит на яром проповеднике любительского спорта бароне де Кубертене. При нем не только отвергались какие-либо денежные призы, но сама спортивная борьба была заменена чистой водой идиллией: главное не победа, а участие.*

*Этот барон, поклонник Древней Греции, ее нравов и обычаев, считавший, что красота и участие важнее победы, в 1928 году с отвращением отвернулся от своего детища — Олимпийских игр, потому что, по его мнению, в них принимало участие слишком много женщин. Его мировоззрение, рассматривающее бескорыстное участие как высший эталон спорта, является типичным мировоззрением богатых, и действительно, его истоки следует искать в «более привилегированных кругах», обладающих неограниченным запасом свободного времени.*

*Мы сталкиваемся здесь с очень известным явлением: тот, у кого много денег, рассматривает их как что-то совершенно неважное, заслуживающее только презрения. Но богачи хотят не только принизить значение денег, но и наложить табу на способ, которым они эти самые деньги добыли. Иначе трудно объяснить тот факт, что в нашем обществе, где всё основано на соревновании и конкуренции, квинтэссенция соревнования — спорт — осквернен любительскими идеалами.*

*Действительно, в обществе, где на первом месте находится экономическая целесообразность, должен ли спорт быть рассматриваем как полезное занятие? Ведь спортсмен ничего не производит. Он не «работает» в смысле создания общественного продукта. В обществе, где в расчет принимаются только товары купли-продажи, спорт может существовать только как предмет забавы, удовольствия, отдыха, как предмет роскоши. Поэтому профессиональный спортсмен может утешаться мыслью, что он занимает то же положение в обществе, что и поэт.*

## ПУТЕШЕСТВОВАТЬ С ЭЙВЕ

*Тот, кто играет в шахматы на высоком уровне, должен часто отправляться в дальние края, но до войны Грандмэтр ездил много реже, чем его коллеги. Не следует забывать, однако, что он, будучи любителем, предпочитал играть дома и дальше, чем в Советский Союз, не забирался. Я обнаружил только одну его дальнюю поездку той поры — в Индонезию, хотя предполагали, что он не очень-то любил путешествовать по воде, потому что на борту корабля был вынужден ничего не делать; полеты же были в то время дорогостоящим хобби отчаянных авантюристов.*

*Изменения произошли после войны; уже в 50-е годы Эйве был несколько раз в Северной и Южной Америке, но лишь после того, как его избрали президентом ФИДЕ, Эйве стал тем совершенно неутомимым путешественником, каким оставался до конца жизни. Каждый месяц он находился на другом континенте, после чего членство в ФИДЕ получали страны, названия которых никто из нас никогда и не слышал.*

*За несколько месяцев до его смерти мне представилась возможность побывать с ним в Иордании. Эйве был приглашен королем этой страны, и я мог сопровождать его в поездке.*

*Путешествовать с Грандмэтром — это совсем другое, нежели то, к чему мы, простые смертные, привыкли. Ни тебе жалкой суеты экономического класса — удел рядового гроссмейстера, ни долгого ожидания в переполненных залах аэропортов. Нет-с, милостивые государи, если вы сопровождаете профессора доктора Макса Эйве, экс-чемпиона мира и бывшего президента ФИДЕ, перед вами распаивается окно в настоящий большой мир!*

*Всё началось уже в амстердамском аэропорту Схипхол: учтливое обслуживание в комнате для особо важных лиц, всевозможные напитки и сэндвичи, после чего мы были перенесены в первый класс лайнера с роскошными креслами и столиками между ними для игры в карты. Если вы в полной изоляции от простых смертных предпочли бы что-нибудь почитать, недостатка в богатой иллюстрированных журналах на всевозможных языках здесь тоже не было.*

*Первый раз в жизни я мог вытянуть ноги в самолете. Сразу же после взлета несколько крепко сложенных мужчин начали обматывать свои головы полотенцами: мы заметили их уже раньше — и потому, что они так почтительно смотрели на нас, и потому, что под их платьем была заметна униформа; это были телохранители, которых король загодя выслал нам навстречу.*

*В Аммане — самая лучшая гостиница, разумеется. Хозяин ее, голландец, склонился в поклоне при входе, приветствуя почетных гостей. Нас просили принять извинения: Израиль только что произвел бомбардировку Багдада, и король должен был срочно отлучиться. Поэтому мы не могли провести эту ночь в королевском дворце. Все заботы о нас взял на себя дядя короля, и с раннего утра до позднего вечера в нашем распоряжении находился припаркованный*

прямо при входе во дворец «роллс-ройс» с шофером и кондиционером. (Я воспользовался им для того, чтобы совершить вылазку в знаменитую Петру, примерно в двухстах километрах от Аммана; два часа езды по пустыне при температуре 50 градусов по Цельсию; я не добавляю — в тени, потому что нигде не было и подобия какой-либо тени.)

Всё это мне ужасно нравилось, но на Грандмэтра не произвело особого впечатления, и с непринужденностью гражданина мира он немедленно обращал внимание на малейшие недочеты. На пресс-конференции, состоявшейся в первый день, он отказался отвечать на робкие вопросы журналистов (но не на вопрос, к примеру, — для чего вы, во имя Всевышнего, прибыли сюда?), до тех пор, пока его чемодан — один из восьми — не будет найден. К счастью, чемодан нашелся быстро: забытый, он просто стоял в сторонке в холле гостиницы.

Наш визит длился пять дней и состоял из пары сеансов одновременной игры, лекции Грандмэтра — снова о шахматных компьютерах, конечно, — и партии, которую мы должны были сыграть друг с другом.

«Давай-ка перемолвимся словечком, Хейн», — произнес осторожно Эйве перед началом игры, потому что на протяжении всей своей жизни Грандмэтр не испытывал особого удовольствия при проигрыше партии, но я его опередил: «Ах, Великий и Всемогущий, даже если бы я хотел, я просто не мог бы выиграть партию у вас!» Получилась увлекательная, боевая ничья.

Каждый вечер в нашу честь давался званый ужин. Для этого мы взяли с собой смокинги, хотя моя простота и здесь бросалась в глаза, потому что у меня не было белого смокинга. Как правило, эти ужины были очень скромненькие (человек на шестьдесят), но в один из вечеров мы были гостями бедуинов. Этот кочевой народ имеет обыкновение потчевать своих гостей глазами овец, ушами верблюдов и тестискулами горных барсуков. Я наслаждался всем этим, но Грандмэтр не мог проглотить и кусочка, даже когда нежно воркующие и оголенные в совершенно неожиданных местах женщины уговаривали его попробовать что-нибудь. Этот отказ казался мне довольно дерзким, никогда ведь не знаешь, не получишь ли ты нож промеж ребер за оскорбление Корана или что-нибудь в этом роде. Такой образ мышления объясняется, конечно, моей врожденной ксенофобией, на самом же деле почтение к Грандмэтру от этого отказа только увеличилось.

Больше всего меня поразила в нем невероятная неутомимость. Часами он вышагивал вдоль холмов с не такими уж интересными раскопками времен Римской империи или принимал участие в далеко за полночь затянувшемся застолье в доме брата короля. Грандмэтр не отказывался ни от чего и ни разу не попросил извинить его...

Я подумал еще тогда: этот человек здоровее меня; он доживет до ста. Но сейчас я думаю, что он — кто знает? — мог бы действительно достичь этого возраста, если бы чуть больше щадил себя. То, что злую шутку сыграет с ним его сердце, он не мог даже предположить.

«Схаакбюллетин», январь 1982

## «МАРШ ЭЙВЕ»

Сквозь иронию и улыбку в коротенькой зарисовке Доннера сквозит уважение, которое он всегда испытывал к экс-чемпиону мира. Действительно, во всех спорных вопросах Доннер всегда занимал сторону Эйве, даже если тот принимал сомнительные решения, как, например, во время матча Спасского с Фишером в Рейкьявике (1972). Доннер не уставал повторять, что «если существует выражение — права или нет, но это моя родина, то для меня — прав он или не прав, — это мой Эйве».

Как и Хейн, я тоже не раз путешествовал с Эйве, но поездки эти мало напоминали их посещение Иордании. В 1974 году Эйве и я летели обычным эконом-классом в Манчестер на традиционный дружеский матч против англичан. У меня не было тогда еще голландского гражданства, и Эйве вместе с другими членами команды терпеливо ждал в холле аэропорта, пока я со своим временным и не внушавшим доверия документом пройду паспортный контроль. В Манчестере он жил вместе со всеми нами в довольно скромном отельчике и вел себя совершенно естественно; помню, как он без церемоний согласился после очередного тура посетить совместно близлежащий паб.

Помню и поездку с ним на поезде из Гронингена в июне 1975 года. Мы давали в местном студенческом клубе сеансы одновременной игры и возвращались в Амстердам поздним вечером того же дня. Голландия — маленькая страна, путь от лежащего на севере Гронингена до Амстердама составляет два часа с четвертью, но маршрут этот считается одним из самых длинных. Когда мы расположились в купе, Эйве сразу извлек из папки, которая всегда была при нем, стопку документов и углубился в чтение, время от времени делая пометки. Был уже поздний вечер, но Эйве совсем не выглядел усталым...

Когда мы уже подъезжали к Амстердаму, он взглянул на часы и о чем-то спросил проводника. «Поезд запаздывает, и я боюсь, что жена, не дождавшись меня, вернется домой», — объяснил он. «Ну так что ж, Профессор, — неосторожно заметил я, — тогда вы возьмете такси». Эйве внимательно посмотрел на меня: «Четвертый номер трамвая идет до моего дома, господин Сосонко». Но тот же самый человек одалживал деньги многим нуждавшимся шахматистам, нередко с очень призрачными шансами получить их когда-либо обратно. Мало кто знает, что все гонорары, получаемые Эйве в немецких шахматных журналах, переводились на счет невесты его друга, рано умершего бельгийского мастера Эдгара Колле, обосновавшейся в Германии.

Эта привычка — помогать всем — выработалась у него с молодых лет. Ботвинник вспоминает, как в Ленинграде в 1934 году Эйве на заключительном банкете после турнира обещал похлопотать, чтобы Ботвиннику

прислали приглашение в Гастингс, и сдержал свое слово. «Тогда он все свои обещания, видимо, хорошо помнил — я не заметил у него записной книжки, в которую он впоследствии заносил все свои дела. О чем только его не просили! Здесь были и приглашения, просьбы поддержать молодых шахматистов, оказать материальную помощь, просили книги, заказывали статьи... Эйве, как правило, никому не отказывал», — вспоминал позднее Ботвинник.

Поездка, о которой пишет Доннер, была, конечно, необычной. Я думаю, что совершенно естественное поведение Эйве в роскошной обстановке королевского дворца в Аммане совсем не противоречит тому, что в Голландии он перед сеансами одновременной игры, стараясь не обременять организаторов, выбирал в меню ресторана самые дешевые блюда. Тогда же, в Аммане, он был гостем короля, и Эйве, очень много поездивший по свету, прекрасно это сознавал. Но, с достоинством принимая знаки внимания и даже привыкнув к ним в последние годы, он во многом оставался сыном простого амстердамского учителя, который здесь и там выглядывал из профессора, экс-чемпиона мира по шахматам, президента ФИДЕ и национальной гордости Голландии.

В 1975 году мы играли короткий матч в студии телекомпании «АВРО» в Хилверсуме. Поначалу предполагалось, что соперником Эйве будет Тимман, но за два дня до начала матча у Яна неожиданно умер отец.

Получив предложение заменить Тиммана, я понимал, что мне предстоит играть с человеком, победившим в матче самого Алехина, но прикосновений крыльев шахматной истории я не ощущал и уж точно не испытывал чувства голландского писателя и шахматиста Тима Краббе: сегодня я играю с Эйве, который играл с Таррашем, который играл с Паульсеном, который играл с Морфи, — значит, и я в каком-то смысле играю с Морфи.

Понятно, была приподнятость и я испытывал волнение, но скорее из-за торжественности обстановки: просторной сцены с огромной демонстрационной доской, большого зала для публики, пресс-центра, журналистов, телевизионных съемок, и всё это только из-за одной — моей — партии. Я знал, что после матча будет выпущена книга (она так и называлась: «Матч Эйве — Сосонко»), но, честно говоря, в тот момент больше думал о выборе дебюта и о том, как построить игру с именитым маэстро.

«Ну, старика-то ты приберешь», — говорили мне молодые коллеги, далекие, как и все молодые и во все времена, от преклонения перед сединами и прошлыми заслугами.

Мне удалось свести вничью первую партию, где я попал в крайне неприятное, вероятно, проигранное положение, и выиграть вторую. В ней мы разыграли вариант славянской защиты, который часто встречался у Эйве в матчах с Алехиным, и мне удалось с успехом применить домашнюю заготовку.



Мы анализировали вместе обе партии, и Эйве был абсолютно корректен и доброжелателен, как, впрочем, и всегда, и слова Фишера, сказанные о нем: «Что-то здесь не так. Этот человек слишком нормален, наверное, за всем этим скрывается что-то загадочное», — говорят больше о самом американце.

В ходе анализа я понял, что Эйве отнесся к матчу серьезно, как и ко всему, что он делал, и был в курсе моего дебютного репертуара. Познания его были огромны; он продолжал работать над дебютной теорией и после того, как оставил практическую игру. Он не только писал книги по различным аспектам шахмат, но и был редактором знаменитых теоретических листков, выходявших в середине прошлого века в Германии. В листках имелись дырочки, чтобы их можно было подшивать в толстые папки, сортируя по дебютам; эти листки явились в известном смысле предшественниками югославского «Информатора» и теоретических книг издательства «Нью ин чесс». Но несмотря на его значительный вклад в теорию дебютов, варианта Эйве в шахматах нет. Хотя схевенингенский вариант в «сицилианке», названный по имени голландского курорта, мог бы быть с чистой совестью назван вариантом Эйве: он первый по-настоящему показал, как следует разыгрывать его черными.

До Второй мировой войны гроссмейстеров было раз-два и обчелся. Некоторые из них совмещали шахматы с основной работой, что нередко вызывало иронические замечания и раздражение профессионалов. К Эйве это относилось в полной степени.

Благопристойный отец семейства, скромный, подчеркнуто строго одетый учитель математики, сражающийся с мировой шахматной элитой только во время школьных каникул, джентльмен и спортсмен, он пользовался, конечно, заслуженной репутацией в шахматном мире, но все-таки настоящим шахматистом в глазах коллег и любителей игры был Алехин, пивший горькую и куривший безостановочно.

Зимой 1934/35 года Эйве играл на рождественском турнире в Гастингсе, собравшем очень сильный состав. Среди участников были Капабланка, Флор и Ботвинник. Последний тур. Эйве встречается с аутсайдером, англичанином Норманом, проигравшим почти все партии. В случае победы голландец занимает чистое первое место. У него подавляющая позиция, но прямого выигрыша не видно, и соперник продолжает игру, хотя все остальные партии уже закончились. Организаторы турнира нервничают: приближается время заключительного банкета. Этот факт не остается незамеченным для Эйве, и он предлагает ничью. В итоге — дележ первого места с Флором и Томасом. Слова благодарности организаторов: вот, мол, настоящий джентльмен! — но и всеобщее удивление. Как? Просто так отдать победу в турнире?!

И постепенно удивление переходит в раздражение: мы, профессионалы, боремся за места и призы, а тут какой-то учитель математики, да еще в женском лицее, единоличную победу в таком сильном турнире считает

менее важной, чем остывший суп на каком-то банкете, который на следующий день никто и не вспомнит! Особенно изумлен Капабланка. Этот факт просто не укладывается в его сознании: как это можно предложить ничью в лучшей позиции в столь важной партии?

Масла в огонь подливал сам Эйве, говоривший: «Играя в турнирах, я чувствую себя ребенком, прогуливающим урок в школе». Чувство, что, играя в шахматы, он занимается чем-то несерьезным, Эйве сохранил до конца жизни, несмотря на то что всегда относился к шахматам серьезно и с большой ответственностью. В канун столетия Королевского Нидерландского шахматного союза в 1974 году Эйве сказал, что главное достоинство шахматной игры видит в том, что она помогает бороться со скукой, а все книги, написанные им о шахматах, он с удовольствием обменял бы на книги, к примеру, о химии — там речь идет хотя бы о реальных вещах.

Мы никогда не узнаем, так ли он думал в действительности, но по его книгам до сих пор учатся молодые шахматисты. Ничего удивительного: за что бы Эйве ни брался, он старался всё делать хорошо.

Несмотря на академические знания и классический стиль, за доской он всегда тяготел к тактике и стремился к атаке при первой возможности. На вид Эйве был спокойным, даже флегматичным человеком, но его нередко переполняли эмоции, просто он умел держать их под контролем. Его мягкость, предупредительность и скромность были известны каждому, но далеко не все знали, что он мог быть отчаянно смелым и даже агрессивным.

Мастер Мюринг был с ним однажды в Южной Африке на сафари. В Парке Крюгера они стали свидетелями погони, в результате которой антилопу окружило несколько львов. Эйве тут же открыл дверцу автомобиля и попытался выйти из него, дабы защитить дрожащее от страха животное. Кто знает, чем могло бы всё кончиться, если бы тяжелая рука шофера не втащила Профессора обратно на заднее сиденье.

Ханс Рей вспоминает, как однажды вечером они возвращались домой из шахматного клуба. Было уже темно, и неожиданно Эйве сказал: «До дома еще порядочный кусок, к счастью, у меня в кармане всегда есть на всякий случай револьвер». Немая сцена: «Револьвер, господин Эйве? У вас? Револьвер?!» — «Да-да, Ханс, никогда не знаешь, кто повстречается тебе в такое время...»

Однажды его машину, несшуюся на большой скорости к аэропорту Схипхол, остановил полицейский. «Кажется, сегодня я слишком быстро еду?» — виновато улыбаясь, спросил Профессор. «Правильнее сказать, что вы слишком низко летите», — ответил узнавший его блюститель порядка, и этот эпизод появился на страницах голландских газет и с тех пор нередко включается в книжки с действительными и придуманными юмористическими историями о шахматистах.

В молодости он был разносторонним спортсменом и учился даже управлять самолетом, но, получив права на вождение автомобиля еще до

войны, за рулем чувствовал себя неуверенно. Эйве предпочитал, чтобы машину водила его жена, потом дочери. Пару раз отправляясь с ним на сеанс одновременной игры в стареньком «фольксвагене» Берри Витхауза, я был свидетелем того, как Профессор предлагал поехать на красный свет, если видел, что нет встречных машин, или увеличить скорость, хотя мы достигли уже предельно допустимой.

Но всё это было позже, а во время войны он, как и большинство голландцев, ездил на велосипеде. Однажды, когда немецкий солдат решил «реквизировать» его средство передвижения, разгорелась жаркая дискуссия, в ходе которой Эйве вскричал: «Тогда стреляй, если осмелишься!» — и был оставлен в покое. «Я посмотрел бы на него, если бы дело дошло до рукопашной, все-таки я одно время занимался боксом», — горячился Профессор, вспоминая тот эпизод.

Военные годы — особая страница в его биографии. Незадолго до того как Голландия в мае 1940 года была оккупирована, Эйве играл в Будапеште в турнире, приуроченном к семидесятилетию Гезы Мароци. Главной причиной, побудившей Эйве поехать в пронацистскую Венгрию, была давняя дружба с юбиляром; кроме того, ему хотелось собственными глазами посмотреть на «новый порядок». В следующем году он играл матч с Боголюбовым в Карлсбаде. Сцена была украшена флагами со свастикой, и многие в Голландии не могли понять, как Эйве мог согласиться играть матч, устроенный с такой пропагандистской шумихой.

Можно ли осуждать его за это? Он был отцом семейства, в котором росли три дочери, и опасался делать шаги, которые могли бы быть расценены как нелояльные по отношению к оккупационному режиму. Эйве сознавал, что в этом случае легко может оказаться в лагере, как произошло с отцом Доннера, известным голландским юристом и политиком. Конечно, этот лагерь мало напоминал концентрационный, но пребывание в нем означало потерю свободы, а в случае любой удавшейся операции Сопротивления экзекуциям могли быть подвергнуты заключенные и такого лагеря.

После матча с Боголюбовым Эйве прекратил играть в шахматы и не выступал в соревнованиях в течение всего военного периода. Ему было непросто в 1942 году отказаться от «чемпионата Европы» в Мюнхене, но в конце концов удалось отговориться, сославшись на занятость по работе.

Шахматные новости из-за океана доходили тогда крайне плохо, и Эйве только с огромным опозданием узнавал о смерти тех, с кем сыграл в своей жизни не одну партию: Ласкера в 1941 году, Капабланки в 1942-м и Маршалла в 1944-м.

О событиях в Европе информацию можно было получить гораздо быстрее — «Дойче шахцайтунг» выходил регулярно. В апреле 1941 года в нем появилась серия статей за подписью Алехина под названием «Еврейские и арийские шахматы», причем по случайному совпадению на

соседней странице была помещена реклама книги Кмоха «Макс Эйве». Имя самого Эйве можно было найти среди членов редколлегии этого журнала вплоть до 1943 года, но оно, как это часто бывает, использовалось издателями исключительно в рекламных целях. «Я настоял, чтобы они вычеркнули меня из списка так поздно, потому что относился к этому слишком индифферентно, — вспоминал Эйве после войны. — Но уже тогда я четко определил свое резко отрицательное отношение к статьям Алехина. В том же году я получил приглашение на турнир в Зальцбург, но написал президенту Германского шахматного союза Эрхарду Посту, что не могу принять участие в турнире, потому что в нем играет Алехин. Тот обещал мне, что вычеркнет Алехина из состава участников, однако этого не произошло. Тогда я сказался больным. Пост не обиделся на меня и засунул нашу переписку подальше, чтобы избавить меня от неприятностей».

Во время войны Эйве оставил профессию учителя и стал менеджером очень большой фирмы, имевшей разветвленную сеть продовольственных магазинов по всей Голландии; что значило продовольствие, особенно после введения в стране карточной системы, не нужно объяснять. По делам фирмы Эйве десятки раз отправлялся с большими фургонами во Фрисландию — провинцию, являвшуюся главным производителем молока, масла, яиц, сыра. Положение его было непростым. Эйве приходилось постоянно быть настороже: он заключил соглашение с немцами, что они закроют глаза на эти полулегальные экспедиции в обмен на часть продуктов, привезенных им в Амстердам. Вечером, стараясь остаться незамеченными, офицеры вермахта собирали «оброк» в условленном месте. Немцы не подозревали, что свою долю продуктов получали также голландские подпольщики. В группу этих патриотов входил молодой студент-славист Карл ван хет Реве, у которого Эйве брал тогда уроки русского языка. Знаменитый впоследствии писатель и профессор, ван хет Реве вспоминал, что Эйве не только щедро расплачивался со своим учителем, но и старался подгадать, чтобы конец урока приходился на обеденное время...

Звучит как курьез, но после войны Эйве должен был предстать перед проверочной комиссией; в первую очередь потому, что по настоянию немцев из названия Королевского Нидерландского шахматного союза (КНСБ), президентом которого Эйве стал во время войны, исчезла буква «К» и союз стал называться просто НСБ, — ту же аббревиатуру имела и национал-социалистическая партия Голландии. По словам Эйве, от него потребовалось немало усилий, чтобы уверить членов комиссии, что речь идет о совсем другой организации: президент НСБ звучало очень зловеще в то время.

По окончании войны Эйве несколько лет пытался вести жизнь шахматного профессионала, колеся с турнира на турнир и играя на всех кон-

тинентах; потом, перед тем как стать профессором Высшей экономической школы в Роттердаме, работал долгое время консультантом в голландском филиале фирмы «Ремингтон».

Но только с избранием в 1970 году на пост президента ФИДЕ он стал настоящим путешественником, проводя в дороге много больше времени, чем в штаб-квартире Международной шахматной федерации в Амстердаме. Однажды, когда они вместе с Ботвинником выступали в Новосибирске и Патриарх заметил, что уже побывал в Тюмени и Сургуте, но до Салехарда, где живут оленеводы, не добрался, Эйве тут же предложил: «Поехали вместе...»

В рассказе о своей поездке с Эйве в Иорданию Доннер очень верно отмечает неутомимость Профессора. Вспоминаю, как в 1978 году он приехал на сбор нашей команды перед Олимпиадой в Буэнос-Айресе. Эйве провел с нами целый день, а к вечеру даже принял участие в волейбольном матче. Вижу хорошо, как он, выставив обе ладони вперед, по-детски пытается отбить мяч и сердится, когда тот попадает в сетку. Ему было тогда семьдесят семь лет. Он был полон энергии, выглядел вечным, и Доннер с Реем не раз шутили о том, что скажет Эйве на их похоронах.

На протяжении десяти лет, начиная с 1982 года, в телевизионной студии КРО в Хилверсуме игрались матчи Яна Тиммана с сильнейшими гроссмейстерами мира. Ян и сам рассматривался тогда как один из кандидатов на шахматную корону, и для его тренировки в маленькой Голландии делалось очень многое. Достаточно назвать имена Корчного, Спасского, Портиша, Таля, Полугаевского, чтобы понять, какого калибра были эти поединки.

Но декабрьский матч 1985 года выделяется даже на этом звездном фоне: соперником Тиммана был молодой Гарри Каспаров, только месяцем раньше завоевавший звание чемпиона мира! Матч привлек небывалое внимание публики и журналистов. Уже задолго до начала первой партии в зале не было ни одного свободного места. Переполнен был и соседний зал, где я демонстрировал эту партию. Зрители сидели прямо на полу перед сценой, в проходах между рядами, наплыв публики был таков, что пришлось устанавливать дополнительные демонстрационные доски в фойе студии.

Когда я, жмурясь от света юпитеров, вышел на сцену, мне подумалось: весь этот ажиотаж — толпы любителей шахмат, десятки журналистов, стрекот телекамер — прямое следствие матча 1935 года, в котором Эйве отобрал у Алехина звание чемпиона мира.

И вдруг меня осенило: ведь сегодня 15 декабря — ровно пятьдесят лет с того дня, когда игралась последняя партия исторического матча, превратившего Голландию из заурядных шахматных стран в одну из веду-

щих в мире. Вспомнил я и о том, что после победы был написан специальный «марш Эйве»; он стал необычайно популярным и часто игрался тогда на улицах Амстердама шарманщиками в старинных национальных костюмах. Пластинку с этим маршем я получил однажды в подарок от самого Эйве и, прокручивая ее иногда, запомнил бесхитростные слова и мелодию.

Когда я, объявив о знаменательной дате, начал напевать первый куплет марша, его подхватили стоявшие рядом со мной Ханс Рей и Ханс Бём. Потом, к изумлению и веселью всех, кто пришел на этот шахматный праздник, нам стали подпевать немолодые зрители, помнящие слова марша еще по довоенному времени...

Это был единственный раз в жизни, когда я пел по-голландски.

## **ИГРА В ШАХМАТЫ ПО ТЕЛЕКСУ**

**З**а несколько дней до начала мемориала Капабланки, который в этом году проводился в Гаване в третий раз, возникли большие проблемы из-за участия Бобби Фишера. За два дня до открытия турнира он сообщил, что не может принять в нем участие, так как государственный департамент Соединенных Штатов запрещает ему пребывание на Кубе. Отказ Фишера сопровождался таким чистосердечным сожалением по поводу этого факта, что организационный комитет предпринял всё возможное, чтобы обеспечить все-таки участие американца.

Блистательная идея принадлежала Баррерасу — кубинскому шахматному диктатору: предложить Фишеру играть по телефону. Фишер мог бы спокойно оставаться в Нью-Йорке, в помещении, где под надзором арбитра делал бы на доске ходы, которые немедленно сообщались бы в Гавану, а его соперник отвечал бы тем же манером.

Это предложение было тут же принято Фишером. Следует добавить, впрочем, что на следующий день, когда весть об этом уникальном событии разнеслась по всему миру, прибыла телеграмма от молодого американца, адресованная лично Фиделю Кастро, в которой Фишер писал, что не желает быть использован в каком бы ни было качестве для коммунистической пропаганды. «Большой лидер» немедленно ответил, что кубинская революция в такой эфемерной пропаганде не нуждается и что ежели мистер Фишер не хочет играть в турнире, то должен придумать какую-нибудь другую отговорку. Но это совсем не входило в намерения мистера Фишера, и он заявил, что с удовольствием примет участие в соревновании.

На игру в шахматы при помощи средств телекоммуникации Международная шахматная федерация никогда не смотрела благосклонно. Прецеденты уже имели место. Так, шахматные федерации стран Восточной Азии — Гонконга, Японии, Индонезии, Филиппин, Монголии в прошлом несколько раз запрашивали разрешения ФИДЕ играть в зональных соревнованиях подобным образом, но всякий раз получали отказ. Отказано было и шахматной федерации Голландии, предложившей в 1960 году гроссмейстеру из ГДР Вольфгангу Ульману, не получившему въездную визу, принять участие в зональном турнире, передавая свои ходы по телефону.

Но мемориал Капабланки не является соревнованием на первенство мира и не связан никоим образом с правилами ФИДЕ. Игра по телефону вполне возможна, но в этом случае все остальные участники турнира должны дать на это согласие. Организаторы объявили общее собрание.

Повестка дня содержала три пункта: 1) все участники соглашаются играть партии с Фишером по телефону; 2) учреждение технической комис-

сии, которая должна привести регламент в соответствие с необычными условиями игры; 3) предложение гроссмейстеров из Советского Союза.

Уже первый пункт повестки дня показал, что решение проблемы будет не таким уж гладким. «Какие стартовые он получит? Если больше, чем я, то, по мне, он может и не играть» или «Сколько стоит эта телефонная затея и не лучше ли поделить эту сумму между теми, кто ее заслуживает?» — по этим часто встречавшимся тирадам было ясно, как раздражены коллеги Фишера тем фактом, что американец снова оказался в центре внимания.

Были и принципиальные возражения. «Я не играю с представителем страны, которая бомбардирует Вьетнам», — раздался громкий чешский голос. Почти все присутствующие согласились с тем, что положительное решение вопроса зависит от предложения советских гроссмейстеров, о содержании которого я тогда ничего не знал.

По первому пункту все проголосовали «за». Кубинцы как хозяева турнира воздержались. После чего принятие второго пункта не вызвало никаких осложнений. Был принят состав комиссии, предложенный Баррерасом и состоящий из четырех человек (возражал только чешский голос, протестовавший против включения в комиссию представителя Голландского Королевства, вашего покорного слуги, «из-за недостаточной политической сознательности»).

Затем началось обсуждение третьего пункта — предложения гроссмейстеров из Советского Союза. Встал Смыслов и с серьезностью, которую я никогда не замечал в нем, зачитал заявление, что участники третьего мемориала Капабланки в Гаване с возмущением ознакомились с противозаконными действиями американского правительства, лишаящими Фишера свободы передвижения. И что мы, шахматисты, рассматриваем свободный контакт краеугольным камнем в борьбе за свободу и дружбу между народами и поэтому протестуем против этого акта агрессии американского правительства.

После чего Смыслов сел, но поднялся человек, которого я до того момента считал одним из кубинских функционеров, но который оказался послан Советского Союза на Кубе. Он сказал, что предложение советских гроссмейстеров настолько само собой разумеющееся и так хорошо выражает чувства всех присутствующих, что не имеет смысла что-либо обсуждать и его следует просто единогласно принять.

После чего мы сразу перешли к голосованию. В алфавитном порядке. Моя очередь, таким образом, подошла очень скоро; признаюсь, что вся эта процедура была совершенно вновь для меня. С покрасневшим лицом, но с решимостью в голосе я сказал: «Против». Кубинцы снова воздержались, но югославы, бельгиец, англичанин и представители Южной Америки, все как один, проголосовали «за». Только Леман из Западного Берлина высказался в том же духе, что и я. Означало ли это, что предложение отвергнуто?

Снова поднялся Смыслов, начал опять читать свое заявление, добавляя, что не может понять, почему оба представителя Западной Европы не под-



держивают его или хотя бы не могут воздержаться. «Ваши имена не будут даже оглашены в прессе», — пообещал он.

Доктор Леман отвечал на хорошем русском, обстоятельно и сильно. Это очень примечательный человек; он родился в бывшей Восточной Пруссии, в Кёнигсберге, который сейчас называется Калининградом и расположен в Советском Союзе. Мать Лемана — русская. До 1951 года доктор Леман был муниципальным советником в Восточном Берлине, после чего перебрался в Западный сектор города, где в настоящее время также занимает очень важный пост в муниципалитете. Он сказал примерно следующее. Нет никакого сомнения, что свободное перемещение является одним из основных прав человека и что в очень большой части земного шара право это не соблюдается, и что находящийся здесь посол представляет именно ту страну, где это право открыто игнорируется. Он добавил, что сомневается в мудрости госдепартамента Соединенных Штатов в отношении Фишера, но организованный совместно с послом Советского Союза протест против этого решения представляется ему таким же бессмысленным и глупым, как взять в союзники тигра для охоты на хорька.

Эта речь произвела очень неприятное впечатление почти на всех присутствующих. Чтобы настроение не было вконец испорчено, я попробовал сказать нечто совершенно аполитичное, а именно: такой протест означал бы, что Фишер абсолютно точно не станет играть в турнире. Потому что я, равно как и все, знающие Фишера, уверены, что он не позволит использовать себя в качестве инструмента пропаганды против своей собственной страны.

Еще раз повторил Смыслов свое заявление, еще раз я повторил свои аргументы; Леман ограничился на этот раз только твердым «нет». И еще раз начал Смыслов защищать свое предложение в тех же самых выражениях, а я свои контраргументы, и еще, и еще раз. По ходу дела многие представители восточноевропейских стран стали на точку зрения, что раз предложение советских гроссмейстеров не прошло, то надо вернуться к первому пункту, то есть о разрешении Фишеру играть по телефону. («В любом случае он не войдет теперь в техническую комиссию», — раздался чешский голос.)

Все эти дискуссии были очень подогреты «баккарди», который Баррерас распорядился принести в большом количестве. Я полагал, что это ошибка, так как ром «баккарди» — очень сильный напиток, который после принятия внутрь только увеличит непримиримость сторон, но выяснилось, что я недооценил Баррераса.

Жаркие дебаты длились уже два с половиной часа, и контакт между собравшимися начал теряться. Одни спорили, разбившись на маленькие группки, другие кричали что-то в пространство, причем очень часто не на своем родном языке: русский почему-то говорил по-немецки, венгр — по-испански, немец — по-английски. Смыслов взобрался на стол.

Наконец вмешался Баррерас. Этот большой человек, переживший двух диктаторов — еще до Батисты он был шахматным функционером, — заявил

коротко и ясно, что решение принято единогласно: Бобби Фишер примет участие в турнире. После этих слов он закрыл собрание и пригласил всех присутствующих проследовать за ним в «Тропикану», где через полчаса должно было начаться шоу.

Балтая без умолку, спотыкаясь и жаждая как можно скорее окунуться в соблазнительный, полный звезд ночной мир «Тропиканы», мы устремились к выходу, и многие, очень многие не могли потом вспомнить, как в ту ночь добрались до дому.

Техническая комиссия должна была собраться на завтра в десять утра, но это, в соответствии со старой как мир кубинской привычкой всегда опаздывать, произошло только в три. Впрочем, легкий перебор здесь был все же налицо.

Нам было сообщено, что ходы из Америки будут передаваться не по телефону, а по телексу. Телефонная связь будет, тем не менее, все время наготове, но только как вспомогательное средство — на тот случай, если возникнут проблемы с телексом. Когда я задал вопрос о стоимости всего этого, официальные лица погрузились в таинственное молчание. Я предполагал, что для этой цели они прибегли к дипломатическим каналам связи с Организацией Объединенных Наций.

Нашу комиссию, однако, это не касалось; мы должны были только составить свод правил, которые предусматривали бы случаи, не упомянутые в регламенте. Что следует делать при откладывании партии? что предпринять, если вдруг прервется связь? должны ли отложенные партии Фишера, учитывая разницу во времени, быть продолжены одновременно с другими партиями? И тому подобные вопросы, которые для нормальных людей, доверяющих друг другу, не должны были бы создать больших проблем.

Но половину комиссии из четырех человек составляли советские гроссмейстеры. Их недоверие не знало границ. Они исходили из предположения, что Бобби Фишер предпримет всё, чтобы играть нечестно, и будет стараться их надуть. «Как мы можем гарантировать, что он не переменит записанный ход на другой?» — вопрошали они. Наше предложение назначить в Нью-Йорке специального арбитра (например, Бисгайера) было встречено саркастическим хохотом. «Это ведь американец, как же ему можно доверять? Нет, мы не должны позволить Фишеру откладывать партии, — считали они. — А если он свой ошибочный ход станет объяснять помехами в связи и, таким образом, возьмет его назад, кто сможет это доказать?»

На таком фундаменте — или, правильнее сказать, на фундаменте, где отсутствует какое-либо обоюдное доверие, — невозможно, конечно, выстроить ничего конструктивного.

В конце концов мы составили протокол, полный сложнейших правил и запретов, который имел больше общего с системой, придуманной в сумасшедшем доме параноиком, чем с регламентом шахматного турнира. Я тут же попросил Баррераса выкинуть этот протокол в мусорное ведро, а глав-

ное — ни в коем случае не ставить в известность о его существовании Бобби, который будет очень оскорблен самим фактом наличия такого документа. К счастью, Баррерас сделал это немедленно, и никто больше не вспоминал о нашей комиссии. К счастью!

Потом произошло нечто очень странное, почти невероятное. Советские хотели дать Фишеру без жеребьевки номер двадцать два — последний в турнире. Для нешахматистов, как и для тех, кто никогда не играл в серьезных турнирах, не так просто объяснить, какие это имеет последствия. В случае если Фишер, например, выбудет из турнира, некоторые участники должны будут играть на две партии больше черными или, наоборот, белыми. Если же Фишеру дать заранее двадцать второй номер, то можно избежать такого рода осложнений.

В действительности же последний номер — не очень приятный; вдобавок этот жест означал бы, что у организаторов имеются сомнения в благополучном исходе всего предприятия.

В протоколе, составленном комиссией и похеренном Баррерасом, фигурировал и этот пункт, и советские вновь начали надоедать с принудительной жеребьевкой. Чтобы покончить с этим, Баррерас волевым решением объявил, что жеребьевка Фишера будет проведена обычным способом.

Когда была названа фамилия Фишера, его номер вытянул Капабланка, сын человека, памяти которого был посвящен этот турнир, образец абсолютного джентльмена. Он вытащил, конечно же, номер двадцать два!

Всё человечество может быть, по моему мнению, разделено на две группы: первая начинает при таком факте весело смеяться, вторая немедленно подозревает, что дело нечисто. Мне приятно сообщить, что огромный зал гостиницы «Гавана либре», вместивший в себя тысячи шахматистов, официальных лиц и просто зрителей, начал давиться от смеха. Только один начал с подозрением что-то ворчать про себя, но его голос потонул в царящем вокруг шуме и оживлении. Я запомнил его, взял себе на заметку и в будущем никогда не буду доверять этому человеку.

Журнал «Эльзевир», сентябрь 1965

## НАЕДИНЕ С ФИЛИДОРОМ

Перед мемориалом Капабланки Фишер не играл в международных соревнованиях в течение почти трех лет. Формула турнира в Гаване — двадцать два участника, где наряду с гроссмейстерами экстракласса участвовали и слабые шахматисты, пришлось ему по вкусу. Наверное, она напомнила ему межзональный в Стокгольме (1962), который он выиграл с разницей в два с половиной очка. Может быть, сыграл свою роль и экстрагонорар, предложенный кубинцами: три тысячи долларов были по тем временам немалой суммой.

Хотя отношения между Соединенными Штатами и Кубой после неудачной высадки в заливе Свиней и ракетного кризиса были почти на точке замерзания, неофициальные контакты все же существовали, и поначалу казалось, что Фишер будет играть в Гаване. Госдепартамент США нередко давал разрешения на посещение Кубы и других «сомнительных» стран журналистам, и Ларри Эванс играл там годом раньше. Но хотя Фишер регулярно писал тогда в «Чесс лайф» и обещал большую статью о мемориале Капабланки для «Сатурдей ревью», не вызывало сомнений, что главной целью американца было участие в турнире и победа в нем, а не писание статей. Разрешение на поездку в Гавану он не получил, тогда и возникла идея об игре по телексу.

Куба, Фишер, Кастро, конфронтация между Западом и Востоком — немудрено, что слово «шахматы» стало почти ежедневно появляться на первых страницах газет. Решение госдепартамента подверглось резкой критике в печати, и не только в коммунистических и прокоммунистических странах. Так, в течение нескольких дней этой проблеме были посвящены редакционные статьи в «Нью-Йорк таймс» и «Уолл-стрит джорнэл», причем весьма негативного характера. Вспоминался эпизод начала холодной войны, когда Сэмми Решевскому в 1950 году также не было дано разрешения на поездку в Будапешт на турнир претендентов, и он выбыл тогда на три года из борьбы за мировое первенство.

Когда Фишер услышал, что его участие в турнире будет использовано Кубой как средство пропаганды, он направил Фиделю Кастро телеграмму:

*Премьер-министру Фиделю Кастро, Гавана*

*Я протестую против опубликованного сегодня в газете «Нью-Йорк таймс» заявления, в котором говорится о какой-то пропагандистской победе, и в связи с этим обстоятельством отказываюсь от участия в турнире памяти Капабланки. Я мог бы принять участие в турнире лишь в том случае, если бы Вы немедленно прислали мне телеграмму с заверением, что ни Вы, ни Ваше правительство не попытаются нажить политический капитал на моем участии в турнире и что в будущем не появится никаких политических комментариев по этому поводу.*

*Бобби Фишер.*

На следующий день американец получил ответ от Кастро:

*Бобби Фишеру, Нью-Йорк, США*

*Только что получил Вашу телеграмму. Меня удивляет, что Вы приписываете мне какое-то заявление, касающееся Вашего участия в турнире. Относительно этого я никогда и ни с кем не говорил ни слова. Мне известно об этом лишь из телеграфных сообщений североамериканских агентств. Нашей стране не нужны подобные «пропагандистские успехи». Ваше личное*

*дело, будете ли Вы участвовать в упомянутом турнире или нет. Поэтому Ваши слова несправедливы. Если Вы испугались и сожалеете о своем первоначальном решении, то было бы лучше придумать другие отговорки или иметь мужество остаться честным.*

*Фидель Кастро.*

Получив эту телеграмму, Фишер дал согласие играть в турнире. Годом позже, кстати, госдепартамент разрешил представителям Соединенных Штатов участвовать в Олимпиаде, проводившейся в Гаване. В выходной день Фишер встретился тогда с Кастро, и, как сообщали корреспонденты, забыв прошлые размолвки, они даже дружески побеседовали.

Все партии турнира американец играл в небольшой, обитой деревянными панелями комнате в шахматном клубе имени Маршалла в Нью-Йорке. Кроме него в комнате находился только судья. Вначале Фишер предложил исполнять эту роль своему будущему биографу Фрэнку Брэди, но потом изменил свое мнение, и судьи менялись в каждом туре. Это решение Фишера, которым он, возможно, хотел избежать каких бы то ни было подозрений в обмане или нечестной игре, привлекло еще больше внимания к необычной форме его участия в турнире, так что в газетах даже появились заголовки: «Chess — si! Referee — no!» Кроме судьи, постоянно находившегося рядом с Фишером и в течение всего процесса игры не произносившего ни слова, за партией наблюдал только Филидор, бюст которого увенчивал стеклянную витрину с выставленными в ней старинными комплектами шахмат.

После того как Фишер принимал окончательное решение, он писал свой ход на листке бумаги, отдавал судье, который в свою очередь вручал его гонцу, а уже тот — оператору, передававшему ход по телексу, расположенному в соседней комнате, в Гавану. Как только оператор получал сообщение с ответным ходом, процедура повторялась в обратном порядке. 26 августа на Кубу ушел первый телекс: «Хелло, Гавана! На проводе Америка. Первый ход белых — e2-e4. Время 3.30. Ждем подтверждения».

Михаил Таль полагал, что это вынужденное затворничество и удаленность от поля боя давали Фишеру некоторое преимущество, так как он «был застрахован от шума в зале, находясь за много километров от места игры и доверяя свои замыслы далекой от их понимания телефонистке». Того же мнения придерживался и английский журнал «Чесс», когда писал, что Фишер, играя подобным образом ежедневно, приспособился к обстоятельствам, в то время как каждый новый его соперник оказывался в непривычном состоянии.

Как посмотреть. Обычно партия Фишера длилась восемь часов, но случались поединки, растягивавшиеся на десять, а то и на двенадцать часов. Игра начиналась в половине четвертого по нью-йоркскому време-

ни и заканчивалась глубокой ночью. Отложенные позиции доигрывались на следующее утро. Перед началом турнира у Фишера спросили, на какой результат он рассчитывает. «Спросите у меня об этом через пару недель», — ответил Бобби. На середине дистанции он сказал: «Весь вопрос заключается в том, как быстро я сломаюсь...» Он сильно похудел, одежда висела на нем, как на вешалке, он выглядел изможденным, почти больным.

В первом туре Фишер выиграл у Лемана, во втором — у Смыслова. Партия была отложена, но экс-чемпион мира сдал ее без возобновления игры. Смыслов вспоминает, что после того как он поздравил американца по телефону, они обменялись мнениями о ходе партии и даже обсудили несколько вариантов. Но в дальнейшем машина Фишера забуксовала, он сделал ничьи с Уэйдом и Хименесом, значительно уступившими ему в силе, в десятом туре проиграл Ивкову, а ближе к финишу — еще и двум советским гроссмейстерам, после чего ему пришлось выиграть несколько партий кряду, чтобы догнать лидеров. Всё решил последний тур.

Вот как описывал Доннер обстановку этого заключительного дня, когда после длительной борьбы Смыслов сломил упорное сопротивление польского мастера Доды и завоевал первый приз, оставив целую группу участников, в том числе и Фишера, на втором месте:

*«Последний тур игрался в воскресенье, в «день посетителей», как мы это называли. Дни, когда амстердамский зоопарк можно посетить, уплатив символический гривенник, собирают меньше народа, чем мемориал Капаланки в Гаване. Повсюду слышится детский плач. Призывы к тишине не имеют никаких последствий. Участники находятся в небольшой игровой зоне, в случае появления за канатами они рискуют быть разорванными в клочья охотниками за автографами. Если гроссмейстеры отвлекаются от партии и бросают взгляд в зал, они тут же встречаются глазами с одобрительно кивающей головой и не отрывающейся от вязания женщиной, готовящейся стать матерью. Бывали дни, когда турнир посещали более десяти тысяч человек. Снаружи были выставлены огромные демонстрационные доски. Телевидение посвящало турниру несколько часов ежедневно. Нет, на отсутствие интереса мы не могли пожаловаться. Разрядка произошла после финального хода Смыслова, означавшего его победу в соревновании. Танцам и крикам не было конца, а победителя пришлось взять под защиту двум дюжам молодцам.*

*Но та же самая публика, без сомнения, пустилась бы в пляс с еще большим энтузиазмом и кричала бы еще громче, если бы турнир выиграл другой гроссмейстер, тот, который благодаря своему отсутствию — а может быть, как раз поэтому! — был наиболее популярным игроком: Бобби Фишер. Это граничило с сумасшествием. Кое-кто из нас получал анонимные письма с предостережением: или вы проиграете Фишеру, или...*

*Я сам явился свидетелем этого идолопоклонства: заговоривший со мной маленький человек представился художником и сказал, что нарисовал портрет мистера Фишера. Так как я знаю мистера Фишера лично, художник предложил мне посетить его, дабы засвидетельствовать сходство с оригиналом. Здесь я должен оговориться: в Гаване совсем не так просто отправиться домой к каждому, кто пригласит тебя. Я сказал поэтому, что не располагаю временем, но что, конечно, оценю его работу, если он принесет ее в турнирный зал. «Это невозможно: размер холста — три метра на пять», — объяснил художник.*

*Я вынужден был тут же отправиться на осмотр картины. На стене старая висел огромный оранжево-зеленый портрет человека с демоническим выражением лица и с шахматной доской перед ним. Иван Грозный, смотрящий на только что убиенного им сына! Захватывающе! Ужасающе! Я сказал, что сходство с оригиналом прямо-таки удивительное, особенно учитывая тот факт, что художник никогда не видел мистера Фишера.*

*Но выиграть турнир Фишеру не удалось. Ему не хватило половинки очка. Несмотря на это, все сошлось во мнении: если бы Фишер присутствовал в Гаване, он бы выиграл. Форз, даваемая им, была слишком велика. Это был интересный эксперимент — игра по телексу, но это никогда не должно больше повториться. Как бы то ни было, Фишер доказал, что он принадлежит к сильнейшим в мире. Принимая во внимание условия, в которых он должен был играть, его достижение следует назвать блестящим».*

Возвращаясь к итогам этого марафонского турнира, нужно сказать, что если проигрыш Фишера в семнадцатом туре Ефиму Геллеру не вызвал особого удивления (это было не первое поражение американца от советского гроссмейстера), то второе поражение кряду стало настоящей сенсацией. В этом туре Фишер стремился к реваншу, тем более что у него были белые фигуры. Ему предстоял поединок с гроссмейстером, не входившим в элиту мировых шахмат и вообще крайне редко выступавшим за пределами Советского Союза. И хотя, без сомнения, Фишер был знаком с его партиями, за доской они еще ни разу не встречались. Гроссмейстером этим был Ратмир Холмов.

## ЧУДО

В мире литературы, музыки, театра имеются имена, мало что говорящие широкой публике, но высоко ценимые коллегами-профессионалами. Есть такие имена и в шахматах. Одно из них — Ратмир Холмов.

За свою долгую карьеру он выиграл немало турниров, а количеству призовых мест, занятых им в соревнованиях самого различного уровня, несть числа. Он побеждал вместе со Спасским и Штейном в чемпионате Советского Союза. У него равный счет с Анатолием Карповым и он выигрывал у Роберта Фишера. В 60—70-х годах он сражался со всеми сильнейши-

ми шахматистами мира, и никто из них не решился бы заявить, что выигрывает у него «по заказу». Он имел репутацию одного из самых лучших защитников, но одной защитой, пусть и высочайшего класса, много очков не соберешь. Холмов являлся и мастером атаки, в которой главная роль отводится импровизации и фантазии.

В сокровищнице шахматного искусства немало блистательных партий, и здесь, как в любом искусстве, нет объективного критерия: одному нравятся комбинации Андерсена, другому — ювелирные кружева Капабланки, третьему — феерические атаки Таля. Но очень часто в списке самых красивых шедевров, созданных на протяжении долгой истории шахмат, можно встретить две замечательные партии «защитника» Холмова: против Кереса (1959) и Бронштейна (1964).

«Это выдающийся природный талант, такой дается свыше, — говорит Виктор Корчной. — Самобытность его таланта видна невооруженным взглядом. Таким был талант Капабланки... Холмов знал о шахматах нечто, совершенно не занимаясь ими. К такого рода игрокам можно отнести, например, перуанского крестьянина Гранда Сунигу или болгарина Кирилла Георгиева. В свое время были такие шахматисты и в Югославии, почти ничего не знавшие, шахматами практически не занимавшиеся, но игравшие, и как игравшие! В том же ряду стоит и архангельский мужик — Ратмир Холмов. Я сыграл с ним около полутора десятков партий. Большинство закончились вничью, какие-то я выиграл, но больше проиграл. Сейчас ему уже почти восемьдесят, но он до сих пор играет с молодыми людьми, и неплохо играет, а ведь теории как не знал, так и не знает. И это в наше-то время!»

Ему всё еще хватает терпения для защиты пассивных, бесперспективных позиций, которых большинство мастеров боятся, как огня. Стремясь получить хоть какие-то контршансы, они предпочитают поскорее вызвать кризис, рвануться, не останавливаясь порой и перед жертвой материала. Другое дело Холмов: он — мастер пассивной защиты, которую может кропотливо вести на протяжении десятков ходов, дожидаясь своего часа. Как развился такой необычный стиль, откуда такое удивительное упорство?

В 1943 военном году подручному клепальщика Ратмиру Холмову было восемнадцать лет. Когда в конце тяжелого, десятичасового рабочего дня, будучи уже не в силах выдержать жару от расплавленного сурика, заливающего его лицо, и безостановочные удары тяжелого молота, отдающиеся через металлическую заклепку во всё тело, он заплакал, взрослый рабочий пристыдил его: «Крепись, Ратмир, на фронте-то — тяжелей!» Это «крепись» он запомнил навсегда, и это слово является ключевым для понимания шахматного стиля Холмова, да и всей его жизни вообще.

Хотя он выигрывал турниры внутри Советского Союза и побеждал самых сильных шахматистов планеты, ему никогда не позволяли играть в капиталистических странах и большая часть мира была просто закрыта для него. «В мире меня не знают», — с горечью говорил на закате своей



карьеры легендарный футболист Эдуард Стрельцов. Те же слова мог бы повторить и Ратмир Холмов.

...В нем заметно еще что-то от того Холмова 50–60-х годов, каким я его помню: крепко сложенного, с крутым высоким лбом, с налитыми желваками на широком лице, бицепсами, заметными под старомодным пиджачком. Разве что в чуть вьющихся, без пробора, зачесанных назад волосах видна седина. Через несколько месяцев ему исполняется семьдесят девять... Пару лет назад он перенес тяжелейший инсульт, но оправился и играет сейчас в «Аэрофлот-опене». Соперники по турниру годятся ему по возрасту во внуки, а кое-кто и в правнуки. Нет никакого сомнения, что большинство из них никогда не слышали его имени. Его сегодняшняя партия закончилась быстрой ничьей, и у нас есть время для разговора.

*— Я родился 13 мая 1925 года в городе Шенкурске. Это на севере России, в Архангельской области. Отец мой работал в НКВД, на Соловках, в знаменитом лагере. Я там и детство провел. Отец был начальником оперчасти, странно, что в книгах о Соловках ни разу его фамилию не встретил. Да и мать тоже там работала, были они оба, конечно, члены партии. Пил отец сильно. В 1929 году его арестовали за связь с какой-то зечкой, послали на строительство Беломоро-Балтийского канала, мы же с мамой вернулись в Архангельск. Я был в семье единственный ребенок, но когда мы приехали домой, обнаружил, что у меня есть брат. Старше меня на пять лет. Оказывается, он родился у матери еще до отца, и она оставила его где-то на селе, отец даже и не знал ничего. Потом, когда отец вернулся, это ему, конечно, мало понравилось. Брат мой с малых лет в лагерях сидел, и на Печоре был, и всюду; потом поговаривали, что во время войны он у немцев полицаем был, кто-то утверждает, что он после войны в Германию ушел, но я ничего о судьбе его не знаю. Вот у нас говорят: родина-мать, родина-мать, да что эта родина для него сделала? Не мать была, а злой мачехой.*

*Мать моя работала тогда в колонии для малолетних правонарушителей. Мы и жили в той же колонии, что и ребята-уголовники. Отвели нам какую-то келью в бывшем монастыре, старуху в прислуги дали, кривая бабка такая была, лицо ее до сих пор хорошо вижу.*

*Варили ребята кашу в общем котле, и мне иногда перепадало. Голодные годы ведь были. Слышу, как сейчас, кричат они: «Эй, братва, кашу хотите?» — это нам, значит, с братом. Ребята те были бедовые, я с ними постоянно общался и всех их хорошо помню. Однажды с Аркашкой Суворовым, тот главой банды был, забор какой-то зимой на дрова растаскивал — холода страшные тогда стояли, печку же надо было чем-то топить... Расстреляли его в 34-м году. Да я и сам шпанёнком был. Часто слышал, о чем они говорили: ну, ограбить кого, ларек взять или еще что. Они же свободно в город*

выходили. Как-то один говорит: «А сторож?» А другой: «Сторожа убрать надо». Тот отвечает: «Что? Мокруха? Нет, я на мокрое дело не пойду». Тогда ведь за убийство расстрел полагался. Это был сдерживающий фактор. Сейчас ведь что делается: по всей Европе смертную казнь за убийство отменили — это же абсурд. Я этого не понимаю. Смертную казнь за такие преступления надо обязательно ввести. У нас в России, если бы ты знал, какой разгул преступности сейчас.

Из школы я ушел с восьмого класса и ни воспитания, ни образования хорошего не получил. Я, когда школу бросил, матери сказал: «Не хочу больше учиться, пойду учеником электромонтера». Она в ответ: «Иди работай, у нас в стране любая профессия почетна». Она ведь свято верила в коммунистические идеи.

В шахматы я научился играть случайно. Мне было двенадцать лет, плыл я с ребятами на пароходе в пионерский лагерь, и кто-то сказал: «Хотите, ребята, нотацию изучить?» Мы: «Какую нотацию?» А он: «Да шахматную». Так я в шахматы научился играть. Сначала с соседом сражался, тот мне слона и коня давал фору и легко выигрывал. Потом пошел в Дом пионеров. Через три года я стал чемпионом города среди взрослых.

В шахматы я играл тогда всё свободное время, да еще с друзьями встречался. Дружки мои тоже в шахматы играли, в блиц главным образом. Да нет, какие там часы? По команде ходы делали: один, два, три, четыре, пять — ход! Поехали! Они и пиво с собой приносили, густое такое, бархатное. Ведрами. И черпали кружкой прямо из ведра и пили. И я пил, тогда же и курить начал.

Потом отец вернулся, ведь бывших партийцев там за своих считали, зачеты — день за три и всё такое. В Архангельске его назначили директором лесобиржи. В 37-м году родители развелись. В 38-м его снова арестовали, и больше о нем не было ни слуху ни духу...

Началась война, весной 1942 года определился учеником машиниста на рыболовецкий тральщик. К концу плавания меня от рыбы просто воротило! Как вспомню эту «крошанку» — свежесвытопленный тресковый жир с крошенным туда хлебом... А осенью того же года оказался в заключении. После болезни не захотел возвращаться на судовой верфь, и особая тройка присудила к четырем месяцам лагерей. Там нам на первых порах давали по 300 граммов хлеба в день. Но комиссовали меня, вернулся в Архангельск, мать глазам своим не могла поверить, когда меня увидела. Когда я в лагере сидел, она всякий контакт со мной прервала — сама ведь в органах работала...

Потом пошел на курсы машинистов, кончил их; пока суд да дело, определили меня в подручные клепальщика. Потом нас перебросили на Дальний Восток, так я очутился во Владивостоке. Там попал на танкер «Советская гавань», идущий в Америку. Прибыли мы в Орегон, в Портленд, жили там с месяц, потом проехали на поезде всю страну и оказались в Сан-Диего. И показалась мне тогда, в 43-м году, Америка настоящим раем. Я настолько

под впечатлением Америки был, что шахматы из моей головы просто вылетели. И только потом я стал думать: почему они живут несравнимо лучше нашего?..

Потом в Россию возвратились, но по пути из Петропавловска во Владивосток в страшный шторм попали, налетели на японскую мину, выбросило нас на японский берег, интернировали нас. Сбежались тогда японцы на нас смотреть, и женщины, и дети. Жили мы месяца полтора на полузатонувшем корабле, совсем недалеко от советского берега, жратвы было вдоволь. Потом за нами пришел танкер «Туапсе», вот на нем жизнь была сказочная: открываешь кран, а из него прямо чистый спирт льется...

В конце 44-го года лишили меня «мореходки» — документа, позволявшего моряку идти в заграничное плавание. Но я еще рад был, что легко отделался, ведь ребят всех после немецкого плена отправляли прямиком в наши лагеря, я таких очень много потом встречал.

Потом определили меня на пароход «Архангельск». Работал я кочегаром, там в котельной пар стоял, как в аду. Потом и трубочистом был, и кем только не работал...

После войны вернулся в Архангельск, стал шахматным инструктором; снова выиграл чемпионат города, поехал в Тулу на всесоюзный турнир первой категории. Там встретился впервые с Люблинским, Кламаном, Фурманом... Занял я в том турнире пятое место.

Потом перевели мою мать в Белоруссию, в Гродно, на партийную работу, была она там заведующей отделом по пропаганде и агитации, немалая должность тогда. Но жили мы в какой-то ужасной мансарде, все удивлялись даже: большой человек, а в такой труппе живет. Но мать была идеалистка, коммунистка, настоящая фанатичка была...

Стал я работать в Гродно спортивным инструктором. В 1947-м выиграл всесоюзный турнир кандидатов, стал мастером. В том же году вышел в финал 16-го чемпионата страны, потом играл в Москве в Чигоринском мемориале. Там я в первый раз с Ботвинником играл, и было чувство: играю с богом. Я помню, тогда весь напрягся во время партии, даже в стул вжался, но не помогло, проиграл, конечно, — классы у нас тогда разные были, да и теории я ведь совершенно не знал.

В следующем году назначили мне стипендию — 1200 рублей, хорошие деньги по тем временам. Так я стал шахматным профессионалом. Мне было тогда 23 года.

Как к партиям готовился? А никак. Вот был у вас в Ленинграде такой Август Ливици, преферансист известный, так он мне советовал: «Ты перед партией брось монетку: орел выпадет — 1.e4 пойдешь, решка — 1.d4». Я так и делал. Мог и 1.c4 начать, мог и 1.♘f3. За модой я никогда не следил, фианкеттированным черным слоном, что Гуфельд пропагандировал, не увлекался; на 1.e4 отвечал 1...e5, либо французскую играл с Каро-Канном. Вот все говорят: защитник, врожденный защитник... Будешь защитником, если теории

не знаешь и получаешь регулярно плохие позиции после дебюта; так и копошишься — черными почти всегда — в собственных окопах.

Шахматами я ведь совсем не занимался, разве на сборах что-то смотрел с Микенасом, с Вистанецкисом, я в Литве тогда жил. Помню, Микенас сказал мне: «Это же в журнале «Шахматы в СССР» написано, там статья была по этому варианту». Так я начал журнал этот выписывать — с 59-го года, точно помню, я уже почти гроссмейстером был.

Что делал тогда целыми днями? Ничего не делал, в турнирах играл да книги читал. Какие? Да всё, что под руку попадет. Фейхтвангера любил, Драйзера, О.Генри, классиков, из русских писателей особенно Лескова высоко ценил.

В 49-м снова играл в первенстве страны. Турнир был очень сильный: Смыслов, Бронштейн, Керес, Лилиенталь, Флор, Болеславский, всех и не вспомню. Игнали и молодые: Петросян, Геллер, Тайманов. Перед последним туром было у меня пятьдесят процентов очков, и должен был я играть черными с Геллером. А тот, на удивление всем, лидировал, опережая Смыслова и Бронштейна на пол-очка, и в случае победы занимал чистое первое место. И вот приходит ко мне перед партией Микенас, мы дружили с ним тогда, и говорит, что Бронштейн предлагает какую-то сумму, не помню уж сейчас какую, если я Геллеру не проиграю. Думаю, он сумму меньшую назвал, чем Бронштейн сулил, Микки ведь хитрый был жук (смеется). Но я тогда не только Геллеру не проиграл, но даже и выиграл! История эта к сплаву, конечно, никакого отношения не имеет, это сейчас партии сплавляют в таком количестве, что уму непостижимо, какой-то поточный механизм пошел.

В 60-м году, когда меня к гроссмейстеру представляли, выступил против этого сам Ботвинник. «Давайте, — сказал Михаил Моисеевич, — подождем немного, пусть Холмов год-два поиграет, докажет свой класс». А я ведь к тому времени призовые места в первенствах страны брал и международные турниры не раз выигрывал. Вот как тогда гроссмейстерское звание-то присваивали! А сейчас посмотри, что делается: это же круглый идиотизм — погоня за гроссмейстерскими званиями. Чушь какая-то. Вот я недавно прочел: Россия получила двадцать два гроссмейстера за один год. Кандидат в мастера за год становится гроссмейстером. И они радуются этому. Здесь плакать надо, а не радоваться.

В 1951 году готовился Бронштейн к матчу с Ботвинником и пригласил меня сыграть тренировочный матч. Игнали мы четыре партии, три закончились вничью, а одну я выиграл. Помню дебют этой партии: староиндийская защита, Бронштейн играл черными систему с ♘с6, я ответил d5 и на ♘e7 — ♘e1, тогда часто так играли. Где сейчас бланки этих партий? А бог его знает, у меня не сохранились, может, где-нибудь у Бронштейна в архиве.

Себя я недооценивал тогда, полагал, что все остальные шахматисты потенциально сильнее. Так и получилось, что Бронштейн в 51-м году матч на мировое первенство играл, а меня в том же году дисквалифицировали. За

что? Дело было на полуфинале первенства страны. Сидим мы, значит, Тарасов, Нежметдинов и я, выпиваем, тут две девки пришли. Ну и получается, что Рашид вроде как лишний, он старше нас с Тарасовым лет на пятнадцать был. Ты магнитофон сейчас выключи, выключи, представляешь, если моей жене на глаза это попадется...

Ну, в общем, разгорячился Рашид (пьяный был, конечно), вышел на балкон, стал посуду вниз кидать, вазы, тарелки. У Нежметдинова, когда он выпивал, психозы всякие бывали, то под трамвай ложится, то еще что выкинет. Может, тогда ничего бы и не было, замяли бы шум с этими самыми тарелками, но делом заинтересовался Котов. Начал он собирать справки, что да как, дебои, милиция, а турнир-то ведь важный был — отборочный к зональному первенству страны. Короче, вызывают нас всех троих в Москву, к Родионову, был такой председатель Спорткомитета. Рашид ему прямо в ножки павалился, и его как члена партии решили помиловать, а нас с Тарасовым на год дисквалифицировали. А с меня еще стипендию сняли, я ведь как член сборной команды страны стипендию получал.

Никогда до перестройки я не выезжал в капиталистические страны. Никогда. Кому я за свою жизнь только заявления не писал, всем писал, и в ЦК даже. Сталину разве что не писал... И никогда ответа никакого не получил. В Югославию посылали, на Кубу тоже, но Куба тогда ведь нашей была. Оформлялся я в капстраны множество раз, но в последний момент отказывали. Поэтому-то имя мое на Западе неизвестно совсем, я ведь там ни разу не играл. В Москве, в Комитете, такая Стриганова была, так она всегда говорила: «Вам, к сожалению, паспорта не выдали...» И иди жалуйся кому хочешь. Как и почему попал я в эту западню, до сих пор не знаю. Правда, я у японцев в 43-м больше месяца сидел, но войны с Японией тогда еще не было. Может, поэтому не выпускали? Может, думали: завербовали меня японцы тогда? Не знаю. В первый раз выехал в 89-м году, был в Германии open какой-то, иди, сказали мне, оформляйся... Однажды, думаю, год был 77-й, иду в Комитет, и та же Стриганова мне говорит: «А вам, Ратмир Дмитриевич, снова отказано. Знаете, сходили бы к казэбешнику, может, он вам объяснит». Пошел я к казэбешнику. Прихожу, спрашиваю: «Почему мне паспорт не дают?» А тот: «Пишите заявление, да не забудьте в нем все ошибки указать, вами совершенные, покайтесь... Тогда, может быть, и получите разрешение, будете кататься по всему миру...» А что он имел в виду? Какие ошибки?

Да, согласен. Наверное, партия с Кересом 59-го года — одна из лучших моих. Ну, и с Бронштейном комбинация из первенства Союза в 64-м красивой получилась. Но, знаешь, стал я недавно проверять эту комбинацию еще раз и обнаружил, что мог Бронштейн опровергнуть замысел, оставался в одном варианте с двумя лишними пешками, но всё предусмотреть было не-

легко, да и вариант этот трудный... А с Кересом? У меня после партии спрашивали: не заготовка ли это всё домашняя? Заготовка! Да я же над 12. ♁х6 пятьдесят минут думал, с этого момента надо было все варианты тщательно просчитать — коню ведь хода обратно нет... Вот тебе и заготовка!

Да, можно сказать, что начиная с Ботвинника со всеми чемпионами мира играл. Кто самое большое впечатление произвел? Ну, Ботвинник глыба был, конечно, гигант. Петросян? Слов нет, замечательный был игрок Тигран, но было в нем что-то жментовское. Что это значит? А скуповато играл, на ограничение, зажимался за доской, нет, не по мне это. Каспаров — выдающийся чемпион, конечно, один из самых выдающихся в истории шахмат. Ну и Карпов, конечно, выдающийся, хотя я лично Каспарова выше ставлю...

Как у Фишера выиграл? Было это в 65-м году на Кубе, тогда Фишер по телефону играл, ходы его из Нью-Йорка передавали. Играл я ту партию с большим напряжением, понимал, что ежели проиграю, на меня всех собак повесят, всё припомнят, и вечер перед той партией — особенно. Отчего? Буфет в гостинице там всю ночь работал, и поднабрался я баккарди как следует, ведь ром этот на Кубе замечательный... Уже совсем поздно было, когда разыскал меня Смыслов. «Пойдем, — говорит, — Ратмир, я тебе вариант покажу, тебе же завтра с Фишером играть. Поднялись мы со Смысловым к нему в номер, и показал он мне в чигоринском варианте испанской новую идею, где ♔d4 все время в воздухе висит, но я в таком разобранном состоянии был, что Василий Васильевич был уверен, что я ничего не запомню...

Сажусь играть на следующий день и думаю: что же ты наделал вчера, с тебя же семь шкур спустят за такое поведение, да еще перед партией с Фишером самим. Вот, скажут, сукин сын, напился как сапожник. Сижу, сжавши челюсти и кулаки сжавши, со стула не встаю. Так, можешь себе представить, весь вариант, который ночью смотрели, и случился! После партии Фишер поздравил меня, но партию не обсуждали. В том турнире в Гаване из двадцати двух участников много сильных гроссмейстеров было, так я там ни одной партии не проиграл и только на пол-очка от первого места отстал.

Кроме Бронштейна да однажды Миши Таля, меня никто в спарринги не приглашал и в тренеры не звал. Да и какой с меня толк — я ж теории никогда не знал. Меня даже Карпов, когда к Корчному готовился, не пригласил, хотя он тогда всех гроссмейстеров использовал. Но, может, и к лучшему это было. Вот, помню, жили мы с Суэтиным в одной комнате на сборах, так Лёха всякий раз кряхтел и жаловался: «Снова в Москву надо ехать, варианты показывать». И так два раза в неделю. Я ему: «Да ты откажись», а он: «Тебе легко говорить, попробуй откажись...» Так что иногда и хорошо оказывалось, что я теории не знал.

*Вот ты говоришь, что Корчной меня с Капабланкой сравнил. Это он, конечно, через край хватил. Помню, как в Ленинграде в 67-м году игрался международный турнир, сильный довольно-таки. И вот там Сабо проиграл мне отложенную позицию, где у него лишнее качество было, так тот же Корчной по сцене бегал и кричал: «Вот везунчик Холмов, везунчик, каких свет не видывал!» Корчной тот турнир выиграл, я же вторым был.*

*На будущее шахмат я смотрю пессимистично. Шахматы постепенно гибнут, интереса к ним нет почти никакого, и компьютер и электроника несут шахматам погибель. Останутся шахматы, наверное, только как любительская, пляжная игра, а ведь когда я Кересу коня пожертвовал, в зале аплодисменты были, да какое там аплодисменты — овация!.. Теперь я что-то не слышал, чтобы такое бывало.*

*Шахматы стали бизнесом. Вот помню, лет сорок назад приехал в Югославию какой-то шахматист из Индонезии, очень хотел гроссмейстером стать, так его побили там, как следует, и сказали: в следующий раз большие долларов привози. А теперь что: за год, имея толстый кошелек, можно гроссмейстерским званием обзавестись... Вот есть у нас, например, Пушков такой. Я сам был на турнире в Азове, когда его гроссмейстером делали. И очень просто делали, да... А вот однажды мне говорят: «Сыграешь в турнире с гроссмейстерской нормой? Гонорар — триста долларов». Я: «Отчего ж не сыграть?» — «Отлично, — говорят, — тебе и играть даже не надо». Я: «Как так?» — «А так: таблицу сделаем, ты свой гонорар получишь, и все дела...» — «Нет, — отвечаю, — это не для меня, не по мне темные дела эти». Они думают, что если я выпить люблю, так я на всё пойду...*

*Что значит выпить люблю? Я ведь в свое время поддавал, и сильно поддавал, но не умно. Вот Нежметдинов, тот по части поддачи был почище меня, но Рашид умнее поддавал. Знаешь, какой стишок Коля Новотельнов про него сочинил тогда? «Среди холмов и черепков я водку пить всегда готов!» (смеется). Но кроме нас с Нежметдиновым и Черепковым были ребята и почище. Вот в Тарту на полуфинале страны в 51-м году был такой Эбралидзе, большой мастер по этой части, но он горячий грузин был, выпьет — и всегда в бутылку лезет... Были бы спортивные успехи выше, если бы не поддача? Думаю, что да, потому что после этого всегда наступает какой-то моральный надлом, где-то внутри сознаешь: что-то не то делаешь. Да нет, дело не в том, что на следующий день голова болит, просто стыдно было перед самим собой, и я клял себя и партию уже неуверенно играл, потому что всем существом своим чувствовал: отхожу от принципов морали.*

*Несколько лет назад у меня гематома случилась. Это сгусток крови такой, он приходит в движение, и дело чаще всего смертью кончается. В больницу привезли меня уже без сознания. Вот видишь, у меня на черепе еще следы той операции остались, вырезали эту самую гематому; операция была сложнейшая, мне потом сказали, после таких выживает один человек из ста.*

Когда со мной это случилось, привела жена домой попа, заплатила деньги, он отходную надо мной прочел — я ведь без сознания был, умирал уже; соборовал поп меня, святой водой окропил, всё как полагается. Я же некрещеный был, отец с матерью ведь у меня коммунисты были, да еще какие. Верующий ли сейчас? Да нет, не был никогда и сейчас не верю. Считаю, что это всё — типичная пирамидка (смеется). Помнишь, у нас в пирамидку играли, ну, как его бишь... да, Мавроди, действительно Мавроди, собрал у людей деньги, а потом смылся. Так и религия примерно такое же. Да, очень интересная беседа у нас с тобой вышла, вот уже и до Бога добрались...

Лежал я две недели в полной коме. Как кукла, не двигался. И все те две недели, что я в реанимации был, жена моя от меня ни на секунду не отходила, прямо с того света меня вытащила; если бы не она, не преданность ее и любовь, не было бы меня уже. Это, конечно, дар судьбы, что жена мне такая замечательная досталась... Из тех двух недель ничего не помню. Нет, видений не было, ни шахмат, ни света в конце туннеля, только однажды увидел себя совсем молодым на корабле, ловим мы рыбу, и сети такие мелкие-мелкие, и крабы в них застряли. И остров какой-то вдали, ранняя молодость моя...

Когда я очнулся, у меня имя мое спросили, фамилию, так я точно сказал, большинство же ничего не помнит. Потом вернулся домой, Новый год на носу, я у невропатолога спрашиваю, можно ли будет хоть шампанского выпить. А тот: ничего нельзя пить... Тогда я хирургу позвонил, тому, кто операцию делал, — и тот же вопрос задал, ведь Новый год же... Так хирург говорит: «Какое шампанское? Хряпни водки стакан и никакого шампанского...» (смеется).

Нет, на ветеранские турниры не езжу, там же надо тысячу долларов за турнир выложить, с дорогой, с гостиницей, со всеми делами, а откуда у меня такие деньги? Илюмжинов мне денег не дает, он же, как хан, властвует: кому хочет — дает, кому не хочет — не дает...

Ты мне лучше скажи, как у вас на Западе относятся к этому теперешнему менталитету: брать, брать, брать, всё большие, большие, прямо патология какая-то... Сам-то ты как к этому относишься? Я вот, например, что имею, то и трачу, а что же еще с деньгами делать? Вот у нас в 98-м дефолт произошел, и, хотя жена у меня сразу всё почувствовала, когда они из роскошного помещения в центре в какие-то конюшни переехали, и заходя почти все деньги из банка забрала, потеряли мы несколько тысяч долларов из-за этого самого дефолта. Ты, старый хрыч, сказал мне тогда сын, раньше получал тридцать шесть процентов с денег, в банк положенных, зато теперь получил свой дефолт. А что такое дефолт? Ты же западный человек, ты мне можешь объяснить, что значит этот самый дефолт?

Сын у меня здоровый мужик, заходит к родителям часто, как полагается. Нет, в шахматы не играет, то есть играет, конечно, я ему фору ферзя



даю, но задачи решает с удовольствием. Внуки, правнуки, всё чин по чину. Внук у меня один — большой бизнесмен. Фирму образовал. Сауны делают для богатых людей, в Финляндию часто ездят.

Вот говорят: высшее образование, высшее образование, а я как посмотрю вокруг, так на кой это высшее образование нужно? А шахматы в школах? Вот Карпов и Каспаров ратуют за то, чтобы повсеместно шахматный всеобщий ввести. Чтобы шахматы в школе обязательным предметом были. Идиотизм круглый. Представь себе: ни кочегаров не будет, ни машинистов на паровозе, ни продавцов — все будут в шахматы играть. Как раньше в школе с уроков физкультуры сбегали, так и с уроков шахмат сбегать будут. Нет, пусть в шахматы играет только тот, кому это действительно нравится.

Знаешь, сейчас, когда на пенсию вышел, я еще большие удовольствия от них получаю, чем когда по-настоящему играл. Тогда неуверенность какая-то была в жизни, волновался всё — стипендию снимут, не пошлют на какой-то турнир, все время суета какая-то была, волнения. Сейчас спокойно занимаюсь для себя, для собственного удовольствия. Да и играю тоже. Вот вчера, например, с поляком играл, с Марковским. У него рейтинг на 150 очков больше моего, и что? Не произвела его игра на меня большого впечатления; всю партию я легко позицию держал, но вот незадача какая случилась: время просрочил. Впервые в жизни! Эти электронные часы — слепые какие-то. На старых всё хорошо было видно: флажок поднимается — цейтнот, моментально пару ходов делаешь, а здесь...

Комсомольцем был в свое время, но членом партии — нет, никогда. У меня с детства невосприятие всего этого коллективизма. С детства. Хотя и отец мой, и мать были коллективисты и коммунисты. А я никогда особенно коммунистического правления не любил, хотя и диссидентом не был, разве что по пьяной лавочке херню порол — может, меня из-за того за границу и не выпускали, не знаю.

Нет, не думаю, что Россия когда-нибудь станет нормальной страной, никогда этого не будет, потому что народ у нас такой, подвластный у нас народ. Ведь последние шестьдесят-семьдесят лет мы жили в тотальном рабстве. И нужен очень большой срок, чтобы его вывести. Вот он и заслуживает власти такой, наш народ, правительства такого. Я сейчас понял, что вся наша Государственная Дума сплошь купленная, и они протаскивают законы, которые выгодны корпорациям, а населению невыгодны. Кто от перестройки выиграл — это интеллигенция, а простой народ проиграл, и некому сейчас жаловаться... Подумал я как-то: в чем-то мы все, русские, ущербны. Вот говорят: у вас Толстой, у вас Лесков, у вас Чайковский, а что с того? И что я еще заметил — это колоссальное обезьянничество перед Западом. Там что заведется, у нас тут же всё и перенимают.

А Путин что? Никого в сортире не мочил, а пока в Чечне наши люди, дети наши и внуки каждый день погибают. Вот сейчас выборы скоро. За кого я

голосовать буду? А очень просто: брошу монетку, как тогда перед партией решал, какой ход первым сделать. Так и сейчас: орел выпадет — за одних проголосую, решка — за других. Безразлично мне, Путин ведь все равно выигрывает.

Мне скоро восемьдесят лет, я скоро умирать буду, я всё сказать могу, что думаю...

Как мой день проходит? Встаю я ровно в восемь часов. Раньше холодный душ принимал, но потом врачи отсоветовали, сказали — может быть опасно для сердца, поэтому сейчас только водой до пояса обливаюсь. Потом завтракаю, селедочкой с картошечкой горячей, чай пью или кофе с молоком. Как без сахара? Что ты имеешь в виду? Ну, конечно, с сахаром, как же чай или кофе можно без сахара пить...

В девять часов иду в уборную с английским словарем и провожу там полчаса. Язык учу. Я его уже шестьдесят лет учу, совершенствуюсь. Дую что? Нет, но андерстенд — литл. Вся штука в том, что, когда англичане говорят, я их ни хера не понимаю, но важнее, что они меня понимают... Действительно? Есть туалетная бумага с уроками английского языка? Во дают! У нас такой бумаги нет, но я вот недавно рекламу по телевизору видел: английский за две недели, и представляешь, есть идиоты, которые верят этому. Слова же забываются, если постоянной практики не имеешь, так что я на эту клюкву не клюну.

Потом сажусь за письменный стол и анализирую до двенадцати часов, и делаю это всегда с большим удовольствием. Компьютер? Какой компьютер, мне же скоро восемьдесят лет стукнет, какой может быть компьютер, на кой хрен он мне нужен, подумай, Генна, о чем ты говоришь? Я вот уже тридцать дней над одним вариантом гамбита Эванса бьюсь, хочешь, я тебе анализы пришлю? Интереснейшие! Единственная партия, этим вариантом сыгранная, Морфи — Андерсен 1858 года, и выиграл тогда Андерсен! И почему-то больше так никто не играл... Никто. Сижу себе, анализирую, потом всё записываю, еще раз проверяю и всё на машинке печатаю. А потом всё в стол складываю. Но нигде не публикую. И не хочу давать никому свои анализы, поверь мне, у меня глубокие очень есть. Да и куда давать-то, теперь «Шахматную неделю» какую-то выпускают, так там шушера одна пишет, статьи длиннющие, а качество? Или вот пишут: как надо преподавать шахматы. Да кто пишет-то? Сам первого разряда не имеет, так начинает, понимаешь, учить, как надо шахматы преподавать. И смех, и грех. Как там говорится? Кто не умеет играть — учит, кто не умеет учить — учит, как надо учить. Нет, не хочу...

В двенадцать часов ровно я ем яблоки. Почему яблоки? Ну, так ведь известно, что яблоки для здоровья очень хороши. Потом снова смотрю что-нибудь на шахматах или читаю. Что читаю? Да чепуху всякую, детективы и всё такое. Вечером ужинаю и телевизор смотрю, вот и вся моя жизнь. Зво-

нит ли мне кто-нибудь из шахматистов? Да никто, никогда. Почему? Да потому что мне восемьдесят лет почти, потому что мой рейтинг 2440, потому что я говно и никому не нужен...

Вот Корчной меня вместе с Капабланкой в гении записал. А для меня чистый гений был Алехин, ведь в его партиях божья искра всегда присутствовала. Моя первая шахматная книжка, случайно мне в руки попавшая, была алехинская: «На путях к высшим шахматным достижениям». А из тех, кого я лично знал, Миша Таль был чистый гений, конечно, да и Лёня Штейн. Ах, Лёничка милый, он ведь ночами напролет в карты резался; бывало, часов в пять ночи стук в дверь в комнате моей гостиничной, я спрашиваю: «Кто это?», а это Лёня в карты свои закончил играть, спрашивает: «Не найдется ли пожрать чего?» — проголодался, значит...

А помнишь, как мы втроем в Риге, когда я с Мишей тренировочный матч играл, каждый вечер вместе проводили, помнишь? И ужинали у Миши или в ресторан какой шли. Какой это год был, 68-й, кажется? Мне тогда сорок с лишним было, а ты так совсем мальчишкой был, помнишь?

Ах, Миша, Лёня... Пусть они и другой национальности, но близки были мне по духу и Таль и Штейн по восприятию жизни, любил обоих. Помню, в Тбилиси мы со Штейном и с одним грузином такое устроили, но... выключи, выключи сейчас магнитофон, что с того, что полвека с тех пор прошло, а что если жене моей этот рассказ на глаза попадет?.. Ах, Геночка, Геночка, милый, а помнишь, как мы в Риге с тобой две недели в гостинице в одном номере жили? Помнишь, как Лёня и Миша принесли тебя пьяного мертвецки, да, правда, и сами не шибко на ногах держались, и положили тебя на стол, и спал ты всю ночь на столе? Почему они тебя на стол положили, а не на кровать, до сих пор не пойму, но ты всю ночь на столе и проспал. Но ты вырежи это, вырежи, если писать будешь, а то люди о тебе бог знает что смогут подумать.

Геночка, да это же воспоминания молодости нашей, милый, молодости...

Когда приезжаю сюда, в «Россию», то за доской сижу с удовольствием, но усталый уже, все-таки полтора часа дорога отнимает. На метро с пересадкой — час с четвертью, да еще пятнадцать минут автобусом, да обратно столько же, да каждый день, вот и считай. Всё бы ничего, если бы не лестницы при выходе из метро, они же обледенели все и скользкие очень, шатает меня на них. Неровен час грохнешься, так костей не соберешь... Я бы с удовольствием сюда в гостиницу поселился на время турнира, черт с ними, с деньгами, но дома у меня же всё под боком. Что с того, что компьютера нет, зато «Информатор» есть. Да и жизнь налаженная, жена обо мне заботится. А ты спрашиваешь, доволен ли я жизнью. Да мне просто повезло: от взрыва котла тогда у Курильских островов не погиб, от тяжелейшей бронхиальной астмы, когда и говорить не мог, задыхался месяцами, не умер, и всех передряг в жизни — не перечесть; но самое главное — жена мне чудесная

*досталась, и семья — сын, внук, теперь вот и правнучка есть — тоже замечательная...*

*Можно ли сказать, что шахматы дали мне всё в жизни? Да, конечно. Всё. Вот сейчас я на пенсии, да еще федерация подбрасывает, да жена что-то еще получает, так что жаловаться не приходится. Но только ли в деньгах дело, ведь у меня занятие есть, и люблю я его. А такое ведь не каждому дано. Другие, кто на пенсию выходит и без всякого дела остается, умирают быстро, потому что не знают, чем себя занять. А у меня — шахматы есть, они до сих пор меня спасают. А ты спрашиваешь, что мне дали шахматы. Но, знаешь, анализы анализами, а играть, играть по-прежнему очень хочется, ведь шахматы — это чудо, конечно. Чудо.*

Морозным днем 30 января 2006 года ему стало плохо в автобусе, и от остановки до дома самостоятельно добраться не мог — помогли, довели до лифта. «Скорую» вызывать не стали, поехали с женой в поликлинику. Шел с трудом, нога уже не слушалась. Врач сразу всё понял, всполошился — немедленно в больницу! Там с каждым днем становилось хуже. Чувствовал, что умирает, сказал жене: «На этот раз мне уж не выкарабкаться...» Напомнил и о том, что хотел бы быть похоронен на Рязанщине, откуда родом жена, там и все близкие ее лежат — дед, родители, сестры. Кладбище — на пригорке, место это солнечное, сухое... 16 февраля впал в беспмятство и через два дня, в восемь часов вечера, не приходя в сознание, Ратмир Дмитриевич Холмов скончался.

## ШАХМАТЫ НА КУБЕ

**П**ередо мной фотография. На ней Фидель Кастро, перед ним шахматная доска. Его сигара потухла. Неповторимым жестом, выдающим начинающего, он показывает указательным пальцем на какое-то поле. Через увеличительное стекло я могу разглядеть, что это поле d5, но, судя по боязливому выражению лица Великого, видно, что самому ему это невдомек. Не нужно быть знатоком, чтобы сразу понять: Великий Лидер и Главнокомандующий — никакой не шахматист.

Когда несколько лет тому назад меня представили ему, я спросил, как он относится к шахматной игре. Он сказал, что шахматам предпочитает бейсбол.

С почтением и безмерным уважением я позволил себе заметить, что после карьеры, поглотившей такое количество энергии, он имеет право на более спокойную игру, нежели гоняться за мячом по всему полю.

«Слишком много правил, — отвечал Кастро, — в шахматах слишком много правил. Чем меньше в игре правил, тем больше у меня шансов выиграть». В его голосе послышались нотки Верховного Главнокомандующего, не знающего сомнений.

Прямых доказательств связи шахмат с политикой нет. Тем не менее имеются политики, с удовольствием играющие в шахматы. В 1950 году Тито на моих глазах выиграл партию у международного мастера Шодде де Силан, играет в шахматы и Янош Кадар. В коммунистическом мире имеются и другие примеры политиков, игравших в шахматы, — скажем, Ленин и Троцкий. О них рассказывают, что во время пребывания в подполье, скрываясь от полиции, они часто играли в шахматы и были довольно приличными игроками.

Что касается Кубы, то шахматы и политика там связаны издавна. Карлос Мануэль де Сеспедес, президент первой республики (1848), «Отец Отечества», как его называют там, был одним из первых шахматных журналистов в стране, и потому в шахматных кругах его до сих пор считают «Отцом шахматной игры на Кубе».

Хосе Марти, кубинский апостол свободы конца 19-го века, после освобождения от испанского владычества указывавший на опасность, исходящую теперь от Соединенных Штатов, тоже был большим любителем игры, и в круг его друзей входили профессиональные шахматисты. Вследствие этой связи шахмат с политикой я получил возможность познакомиться лично с двумя интереснейшими фигурами кубинской революции.

Обоих их уже нет в живых. Интеллектуал-повстанец был убит, а старый вояка умер в собственной постели. Че Гевара и генерал Байо. Когда я первый раз играл в мемориале Капабланки в 1964 году, Че Гевара был мини-

стром финансов. Он частенько заглядывал на турнир, всегда стараясь выкроить для шахмат свободный часок. Он не был начинающим. Однажды мы даже сыграли партию — это был Каро-Канн, — но, несмотря на все мои старания, восстановить впоследствии ход борьбы не удалось.

Я не мог тогда даже предположить, что этот яркой внешности, но кроткий человек после своей смерти будет объявлен святым. Мы говорили с ним по-французски — он, кстати, лучше меня, — и я помню, как мы обсуждали красоты Кубы; для него, выросшего в Аргентине, как и для меня, Куба была заграницей.

Я знал Че Гевару лучше, чем Фиделя Кастро, который пожаловал меня аудиенцией лишь однажды, прямо на бейсбольном поле. Кастро сразу произвел на меня огромное впечатление. В нем можно было заметить глубочайший трагизм революции. Если подумать, то революции всегда трагичны, потому что очень часто оборачиваются против тех, кто с самыми благими намерениями их начинал.

Он впитал в себя трагизм революции и, продолжая двигаться вперед, несет в себе этот трагизм. Поэтому в присутствии Фиделя Кастро я чувствовал себя не в своей тарелке и совершенно не испытывал этого, когда находился в обществе Че. Удивительные парадоксы, из которых была соткана личность Че Гевары, занимают меня до сих пор.

Однажды я написал коротенькое эссе об иронии. Друзья сказали, что я значительно расширил это понятие по сравнению с общепринятым. В своих изысканиях я дошел, в конце концов, до самого Христа, заметив у него очевидные признаки иронии. На самом же деле, когда я писал об этом, у меня перед глазами стоял Че Гевара, но я не осмелился назвать его по имени. Существует ли ирония, которая не только насмехается над реальностью, но идет еще дальше, вторгаясь в самую действительность, взламывая ее и изменяя? Все хитросплетения судьбы человека, с которым я когда-то играл в шахматы, вдохновляют еще многих, где бы они ни находились, даже в нашей безопасной Европе.

Почетным президентом организационного комитета мемориалов Капабланки в 1964 и 1965 годах был генерал Байо, страстный шахматист, игравший в силу примерно кандидата в мастера. Он был рядом с Фиделем Кастро и Че Геварой в той маленькой группе, которая высадилась на Кубу в 1958 году со знаменитой «Гранмы».

Во время гражданской войны в Испании он руководил высадкой республиканских войск на Балеарских островах. Это был очень большой лысый человек, с немалых размеров бородой и черной повязкой на правом глазу. Всю свою жизнь он только и делал, что воевал и писал. Он преподнес мне собственную книгу с дарственной надписью. Она называется «Карманная библия партизана».

В этой книжечке, написанной на основе его опыта, обретенного за годы гражданской войны в Испании, рассматриваются такие вопросы, как, на-

пример, № 66: «Сколько динамита требуется для того, чтобы здание взлетело на воздух?» Или № 73: «Что нужно для изготовления гранаты?» (Из ответа явствует, что жестяные баночки для прохладительных напитков очень хороши для этой цели, за исключением баночек из-под кока-колы.) Неплох и вопрос № 103: «Что нужно делать с предателем?» На него следует самый краткий ответ из всех: «Предатель после короткого суда должен быть расстрелян». На заднике этой маленькой полезной книжки имеется список работ автора, из которых складывается образ человека, не появлявшегося у нас в Голландии на протяжении вот уже нескольких столетий.

В 1911 и 1912 годах Байо выпустил, основываясь на опыте своей студенческой, а потом и юнкерской жизни в военном училище, два поэтических сборника. Через год вышел еще один, потом другой. Десятилетие спустя он написал книгу «Два года в Гомаре» — о войне против берберов. В 1938-м — «Республиканские стихи». В 1958-м появляются «Стихи восстания», потом «Фидель ждет в горах» и, наконец, в 1960 году «Мой вклад в дело кубинской революции».

Генерал Байо умер в 1967 году. Меня уверяли, что он был неутомим до последнего дня.

Журнал «Авеню», январь 1969

## НЕ ЦАРСКОЕ ДЕЛО

В своем рассказе Доннер вспоминает о разговоре с Фиделем Кастро, о встречах с Че Геварой и о партии, которую ему довелось сыграть с ним. Несмотря на симпатию, которую он испытывал тогда к Кубе, Доннер не был бы Доннером, если бы не поведал об этих встречах с присущей ему иронией. В те годы он был не единственным гроссмейстером, симпатизировавшим «острову свободы»: Людек Пахман тоже не раз бывал там и встречался с обоими героями кубинской революции. Он вспоминает, что Кастро действительно играл в шахматы и даже сделал ничьи в сеансах одновременной игры против Фишера и Петросяна, но «каждый понимал, разумеется, что собой представляли эти партии». На самом деле Кастро был, по словам Пахмана, типичным патцером, хотя в регулярно проводимых тогда «чемпионатах кабинета министров» неизменно занимал второе место. Остальные члены кабинета опасались Верховного Главнокомандующего и откровенно поддавались ему. О силе игры Кастро свидетельствует тот факт, что черными он применял всегда одно и то же начало 1.e4 e5 2.♘f3 ♗d6?, прозванное иронически «атакой Фиделя». В тех турнирах всегда побеждал Че Гевара, единственный, кто не боялся Кастро и вообще занимал особое положение на Кубе. Пахман говорил, что это был единственный идеалист-революционер, которого он встретил в жизни; однажды Че Гевара признался ему, что всё, что он хотел бы, это играть в шахматы или устраивать где-нибудь революции.

Не только политики, но и царские особы довольно часто увлекались шахматной игрой.

По преданию смерть застала Ивана Грозного за шахматной доской. Играл в шахматы и Петр Первый, обучившийся игре в Немецкой слободе под Москвой. Увлекались ими французский король Карл Великий, испанский Альфонсо X Мудрый, а Тамерлан вообще считал только две страсти достойными рыцаря: охоту и шахматную игру.

Людовик XIII, враг всяких игр, признавал и любил только шахматы. Часами играя во время своих длительных путешествий, он велел сделать шахматную доску в виде подушки, а фигуры снабдить снизу булавками, сконструировав, таким образом, прообраз карманных шахмат, которые были очень в ходу еще в прошлом веке. Они представляли собой маленькую книжечку с кожаным или картонным верхом, при раскрытии превращавшуюся в шахматную доску с разрезиками на каждом поле, в которые втыкались плоские фигурки. Алехин всегда носил такие шахматы с собой, беспрестанно анализируя: на скамейке в парке, в ресторане или даже в театре. При первой же возможности доставал карманные шахматы и Фишер. Эти шахматы потом усовершенствовались, стали более удобными — магнитными, но и они теперь исчезли, вытесненные компьютером, и молодые шахматисты знают о них только понаслышке.

Список королей и императоров, игравших в шахматы, может быть продолжен, но среди людей, обремененных такой властью, нет и быть не может сильных игроков. К счастью. Ведь еще в древние времена какой-то искусный арфист сказал царю, тоже увлекавшемуся игрой на арфе: «Убереги тебя Господь, государь, от дальнейшего совершенствования в этом занятии. Твое ли это царское дело?»

Среди коммунистических лидеров, кроме упомянутых Доннером Лениным и Троцким, а позднее Тито и Кадара, в некоторых шахматных энциклопедиях, изданных на Западе, говорится и о Сталине. В качестве доказательства приводится партия, игранная им в 30-е годы с главой НКВД Ежовым, которую Сталин, тонко разыграв сицилианскую защиту, выиграл прямой атакой на короля. Это, конечно, фальшивка.

На открытии крупных турниров или олимпиад я не раз наблюдал за партиями между премьер-министром или президентом страны и Карповым или Каспаровым — тогдашними чемпионами мира. Надо ли говорить, что такие партии носили чисто символический характер и не длились дольше нескольких ходов, а иногда заканчивались рукопожатием уже после первого хода. Так было, например, на Олимпиаде в Маниле (1992) в «партии» между Гарри Каспаровым и тогдашним президентом Филиппин Корасон Акино. Несколько дольше продолжалась борьба в партии, сыгранной на открытии турнира в голландском Вадинксвейне в 1979 году, когда премьер-министр страны ван Ахт и Анатолий Карпов согласились на ничью после ходов 1.d4 ♘f6 2.c4 e6 3.♗c3 ♗b4. А прези-



денту Филиппин Маркосу партия с Робертом Фишером, тоже длившаяся три хода, обошлась в двадцать тысяч долларов.

Маргарет Тэтчер призналась в 1986 году, открывая лондонский матч Карпова с Каспаровым, что сама играть в шахматы не умеет. Когда Реймонд Кин, обходя с премьер-министром после процедуры открытия ряды гостей, представил меня ей, добавив, что голландский гроссмейстер жил раньше в советской России, г-жа Тэтчер тотчас же спросила о причинах огромной популярности шахмат в СССР. На раздумья у меня были считанные секунды, и, вспомнив, как отвечал Алехин на аналогичный вопрос, я последовал примеру чемпиона мира. Мой ответ понравился «железной леди», и она, одарив меня благосклонной улыбкой, проследовала дальше. Алехин сказал тогда: «А что же им еще делать?»

Однажды мне самому довелось встретиться за шахматной доской с особой из царствующего дома, причем дебюта, случившегося в нашей партии, не сыскать в теоретических руководствах.

## ОРАНЖЕВАЯ ЗАЩИТА

Прочтя заголовок, читатель может подумать, что речь пойдет о последних событиях на Украине. Это не так: оранжевый — национальный цвет Нидерландов, а королевский дом Оранских правит страной, начиная с 16-го века.

Двадцать лет тому назад мне довелось сыграть партию с принцем Бернардом — мужем Юлианы, тогдашней королевы Голландии. Дебют той партии, быстро ставшей известной моим коллегам-шахматистам, был столь необычен, что они окрестили его Оранжевой защитой.

В мае 1984 года мне позвонили из федерации шахмат. Сообщив, что в спортивном центре Голландии в Папендале через пару дней организуется большая выставка, на которой будут представлены все виды спорта, меня попросили побыть несколько часов в шахматном павильоне. Я не очень люблю такого рода публичные сборища, но дал себя уговорить: функционеры объяснили, что это очень важно для развития шахмат в стране, к тому же ожидается приезд высоких, очень высоких гостей. Возможно, самой королевы.

Был дождливый день, какие часто случаются в Голландии, посетителей на выставке было мало, и я, скучая, почти все время проводил в расположенном прямо напротив баскетбольном павильончике, где непрерывно крутили по видео лучшие матчи НБА. Наконец в дальнем конце зала появилась длинная процессия: бургомистр с массивной цепью на шее — обязательным атрибутом одеяния любого бургомистра во время официальных приемов и торжественных процедур — и внушительная свита, сопровождавшая высокого импозантного человека, лицо которого было

знакомо мне по фотографиям. Это был принц Бернард. Очки с дымчатыми стеклами, клетчатая рубашка, элегантный галстук; в петлицу пиджака вдета большая белая гвоздика. Замыкали процессию многочисленные фотографы и операторы, чтобы увековечить всё происходящее на пленку.

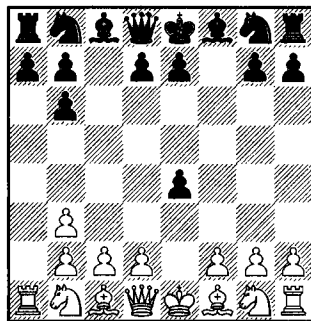
Принц Бернард, немец по происхождению, хотя и стал мужем голландской королевы еще до войны и жил в стране почти семьдесят лет, так и не избавился от немецкого акцента и время от времени вставляемых в речь германизмов. Он был знаком с президентами и премьер-министрами многих стран, состоял в родственных отношениях с представителями всех королевских домов Европы и дружил со многими крупнейшими банкирами и промышленниками. Надо ли говорить после этого о политических пристрастиях принца: он ненавидел коммунизм и не делал из этого большого секрета. Когда меня представили принцу и мы обменялись парой фраз, он сказал: «А вы говорите по-голландски с акцентом, ведь это не ваш родной язык, не так ли?» Я подумал, что его замечание относится и к нему самому, но у меня хватило ума сдержаться и только вежливо подтвердить его слова. «И где же вы родились, позвольте полюбопытствовать?» — продолжал принц. «В Советском Союзе», — честно ответил я, добавив, что это не моя вина, так уж получилось. Принц расцвел, полюбил меня и стал что-то говорить о Солженицыне и о свободе слова, без которой трудно представить себе современное общество.

Шахматный столик стоял внутри павильона, фигуры были расставлены, и бургомистр почтительно осведомился у принца, нет ли у того желания сыграть партию. Через мгновение мы уже сидели за доской; по какой-то причине у меня оказались белые, но перед тем как сделать первый ход, я спросил принца, не хочет ли он сам начать партию. «О, нет, — ответил, улыбаясь, мой соперник, — это не играет абсолютно никакой роли». Так же с улыбкой он отрицательно покачал головой, когда я спросил у него, не предпочитает ли он играть с часами.

Я двинул вперед королевскую пешку, и партия началась. Чуть-чуть подумав, принц взялся за пешку «с». Вспышки магния, стрекот камер. «Попал, — сказал я себе, — ты же никогда не играешь 1.e4. Вариант Найдорфа, там всё может произойти, представь, что партия будет опубликована... какой бламаж...» Пока мысли такого рода обуревали меня, принц, доведя пешку до с5, вернул ее на с6, подумал еще мгновение, после чего резко переставил пешку на соседнее поле. Позиция после 1.e2-e4 с7-b6 стояла на доске.

Я поднял голову: бургомистр, официальные лица и придворные дамы с улыбкой на лице, но с полной серьезностью изучали положение, оценивая шансы сторон. Что делать? Я с тревогой взглянул на принца, тот улыбнулся мне очень подбадривающе. Подумав несколько, я сыграл 2.a2-b3, отметив про себя, что даже в экстремальных обстоятельствах не мог позволить себе такого антипозиционного хода от центра, как 2.c2-b3, и что на стороне белых уже немалое позиционное преимущество.

Принц совсем не удивился моему ответу, было видно, что он заготовил свой ход независимо от того, как сыграю я. Как только моя пешка появилась на b3, принц решительно побил своей пешкой «f» мою центральную пешку: 2...f7:e4! Я не был готов к такому повороту событий, но сразу заметил, что от перевеса белых не осталось и следа, более того, материальное преимущество уже на стороне черных. «Что ж, — подумал я, — в его манере игры есть своя логика: в конце концов, он принц, и кому как не ему определять правила королевской игры». Но здесь мой соперник улыбнулся. «Вы, наверное, уже заметили, что я не умею играть в шахматы», — сказал он и добавил, что Клаус, муж его дочери Беатрикс (теперешней королевы Голландии), играет довольно прилично, а сын Клауса, принц Константин, был в студенческие годы даже членом шахматного клуба в Гааге. Принц поднялся, мы пожали друг другу руки, и через мгновение вся процессия стояла уже у павильона конькобежцев: коньки до сих пор являются одним из самых распространенных видов спорта в Голландии.



Именно тогда дебют моей партии с принцем получил название Оранжевой защиты, и до сих пор кое-кто из моих коллег применяет этот термин, когда видит пешечное взятие от центра.

Партия с принцем принесла мне немалые дивиденды. Перед процедурами открытий или закрытий крупных турниров, при встречах с организаторами и спонсорами мне часто звонят из федерации и просят, чтобы я рассказал что-нибудь о шахматах. Когда я спрашиваю о теме выступления, мне отвечают, что оно должно быть не слишком длинным, не слишком специфическим, не очень утомительным, короче, было бы хорошо, если бы я... рассказал о своей партии с принцем Бернардом.

Когда после десерта и кофе я выхожу к демонстрационной доске и замечаю разом поскучневшие лица спонсоров, я тут же успокаиваю их, предупреждая, что речь пойдет не о тонкостях староиндийской защиты и дебюта трех коней, а кое о чем другом. Вынужден признать, что реакция спонсоров и организаторов не всегда адекватна: когда я, порассуждав немного о преимуществе выстулки и о прелестях первого хода королевской пешкой, перехожу непосредственно к Оранжевой защите, смех в зале раздается не всегда...

Вспоминаю, что во время нашего разговора в мае 1984 года принц заметил, что не всё так плохо в Советском Союзе, вот, например, балет, как он называется, нет, не Большой, другое слово. Да-да, Киров, Киров-балет, который ему довелось видеть, был очень хорош.

Принц Бернард умер первого декабря 2004 года — в семидесятую годовщину убийства Кирова. Ему было девяносто три, и его похоронили, как он указал в завещании, в полной военной форме, при всех регалиях и многочисленных наградах. Еще совсем недавно он вспоминал, что годы войны, которые он провел в Лондоне, были самыми насыщенными в его жизни, а счастливейшим — 1944 год, когда союзники сделали его генералом и главнокомандующим голландской армии.

Незадолго до смерти принца в немецких архивах обнаружили документы, свидетельствующие о членстве в нацистской партии графа Бернарда Леопольда Фридрика Юлиуса Курта Карла Готфрида Петера фон Липпе-Бистерфельда, как звали его до того, как он стал голландским принцем Бернардом. Период этот длился совсем недолго, и, как утверждал принц, его имя просто вписали в партийный реестр вместе с другими именами студентов летной школы, которую он тогда посещал, но к нацистской партии он не имел никакого отношения. Во время войны принц Бернард яростно выступал против режима, установившегося на его бывшей родине, и, сидя за штурвалом самолета, участвовал в бомбардировке немецких позиций. Пятого мая 1945 года в Вагенингене он принимал капитуляцию Германии, и в этот день из года в год перед ним строем проходили увешанные орденами и медалями ветераны, те, с кем бок о бок сражался принц в годы войны. Они гордились принцем, и неслучайно глава десантников говорил, что самым смелым голландцем во время войны с Германией был немец. Принц тоже не забывал никого из старых бойцов Сопротивления, а за день до смерти поздравлял с девяностолетним юбилеем штурмана, летавшего тогда с ним.

В годы холодной войны этот безоговорочный друг американцев, ярый сторонник НАТО и ненавистник коммунизма открыто поддерживал самые лучшие отношения с друзьями Кремля — людьми, стоявшими во главе коммунистической партии Голландии, которых он превосходно знал еще со времен борьбы с нацизмом. В ответ на недоуменные вопросы журналистов принц отвечал, что это его друзья и для него не имеет значения, каких политических взглядов придерживаются его друзья. Бенно, как они его звали, делал для друзей всё.

Принц был прирожденным рассказчиком. В его историях часто фигурировали такие фигуры, как Монтгомери, Черчилль, Эйзенхауэр и де Голль, которых он знал лично и с которыми неоднократно встречался. Он был дружен с иранским шахом и был на короткой ноге с Джоном Кеннеди.

К своим обязанностям принц относился не без иронии: «Официальные приемы — лишь пустая трата времени. Это не что иное, как карнавал с переодеваниями, бесконечное пожимание рук и сплошная обжираловка». Но, обладая согласно конституции Королевства Нидерландов только репрезентативным статутом, принц часто брал на себя много больше, и его поведение не всегда было безупречным. В некоторых газетах уже после его

смерти можно было прочесть, что принц не раз вторгался в и без того «заминированное поле международных отношений, результатом чего являлись оглушительные взрывы, последствия которых до сих пор чувствуют члены королевского дома». Так, в 1976 году правительственная комиссия под руководством известного профессора Пита Хейна Доннера (родного брата гроссмейстера) признала, что принц Бернард зашел слишком далеко в своих контактах с компанией «Локхид» и принял подарки, которые не должен был принимать. За такой обтекаемой формулировкой скрывался факт, что принц получил сумму в миллион долларов за то, что заказы на производство самолетов были отданы именно этой компании. «Я не знаю, какой бес вселился в меня тогда, — чистосердечно признавался принц десять лет спустя. — Денег у меня на счетах в Голландии, Соединенных Штатах и Швейцарии пруд пруди, сейчас я просто не понимаю, что меня толкнуло на это...» Принц вынужден был сложить с себя все официальные функции, и ему было запрещено носить военную форму.

Эта афера с «Локхидом» внесла изменения в жизнь Бернарда: его теперь чаще можно было увидеть не среди самых богатых и знатных людей земного шара, а среди слонов и носорогов. Страстный охотник, он встал на защиту животных, организовав Всемирный фонд защиты природы, президентом которого оставался до самой смерти. Он был заядлым фото- и кинолюбителем и, снимая членов своей семьи, делал цветные фильмы во времена, когда это было еще большой редкостью.

Он обожал гоночные машины, был неутомимым путешественником и большим поклонником верховой езды, а за штурвалом самолета принц провел пятьдесят три года.

Самым большим грехом единожды данной нам жизни он считал не использование ее полностью и до конца. Церковь посещал крайне редко, называя себя «просто христианином, без какой-либо склонности к теологии».

Он не расставался с трубкой и, отпустив к старости бородку, выглядел очень импозантно до самого последнего дня.

Он был бонвиван, и выражение «ничто человеческое не было ему чуждо» присутствовало почти во всех некрологах о нем. Он оставил после себя четырех дочерей, старшая из которых, Беатрикс, является сейчас королевой Нидерландов, и — секрет полишинеля — дочь, родившуюся вне брака в Париже. Правда, наличие двух сыновей в Лондоне, о чем писала время от времени бульварная пресса, принц всегда яростно отрицал.

Он оставался активным до самого конца. За год до смерти принц указал редакции журнала «Форбс», где был опубликован список богатейших людей страны, что состояние королевского дома составляет не два с половиной миллиарда евро, как полагали они, а меньшую сумму, и удовлетворился, только когда было опубликовано опровержение. Тогда же принц публично высказал возмущение денежным штрафом, к которому приго-

ворили двух продавцов большого супермаркета — за то, что они, не дожидаясь полиции, сами решили расправиться с вором, пойманном на месте преступления. Принц заявил, что лично заплатит шестьсот евро, потому что эти люди только выполняли, по его мнению, свой долг.

За день до смерти он сообщил знакомому журналисту, что в последнее время обзванивает своих недругов, чтобы высказать им всё, что о них думает. «И авторам только что вышедшей детской книжки с картинками, где я изображен в форме СС и СД, я позвонил тоже. Нет-нет, я не перешел допустимых границ. Но разговаривал с ними строго. Ах, пусть они думают обо мне всё, что хотят. Ведь через несколько дней я буду лежать в земле».

Принц был знатоком и ценителем вин, обожал розовое шампанское и еще за несколько часов до смерти выпил за обедом стакан белого вина, что делал каждый день. Знакомый уже со своим диагнозом, он, попав в больницу, еще раз подтвердил, что отказывается от лечения, означаящего только временную отсрочку и мучительное продление жизни: под словом «жизнь» принц понимал что-то совсем другое. Он перенес за свою жизнь более пятидесяти операций. В 1937 году в автокатастрофе он сломал шею, несколько ребер и получил серьезные травмы черепа, а четыре года спустя бомбардировщик, которым управлял принц, перевернулся при посадке. В начале 1995-го у него был обнаружен рак, зафиксированы метастазы; дело осложнилось двойным воспалением легких, но и тогда принцу удалось благополучно ускользнуть от смерти, как бы показывая, что если она для кого и существует, то только не для него. «Я слышал уже голос, зовущий меня на небо, но решил про себя: нет, так просто я не поддамся», — сказал он тогда. Хотя официальной причиной смерти принца был объявлен рак, на самом деле я думаю, что это он, он сам смирился с тем, что и его жизнь конечна. Наверное, и саму смерть он рассматривал как начало какого-то нового приключения.

Уже через несколько часов после смерти принца на ступенях Королевского дворца в Суздейке, где он прожил последние шестьдесят семь лет, появились живые цветы, потом еще и еще: хотя к институту монархии в Голландии относятся с некоторой долей иронии, принца по-своему любили, и даже недруги его не отрицали, что принц Бернард был неординарной личностью. У меня даже закралась мысль: не положить ли тоже букет на ступени Королевского дворца в память об Оранжевой защите, изобретенной принцем в нашей партии, но потом я передумал и написал то, что вы только что прочли.

*P.S.* Принц не был бы принцем, если бы и после ухода в небытие не позаботился о сюрпризе. Ровно через две недели после его смерти разорвалась бомба: одна из крупнейших газет Голландии «Фолксскрант» опубликовала разговоры, которые принц Бернард вел с главным редактором и

ведущим журналистом газеты. Условие публикации было оговорено заранее: рассказ может увидеть свет только после смерти принца. Любопытно, что при жизни Бернарда неоднократные официальные просьбы такого подводящего итоги интервью всегда встречали вежливый, но категорический отказ как от Королевской информационной службы, так и от самой королевы.

Журналисты беседовали с принцем на протяжении двух недель, с десяти утра до половины первого дня, в его кабинете во дворце в Сустдейке, причем всем слугам и секретарям принца было дано строгое указание не тревожить его в это время ни в коем случае. Единственными свидетелями бесед были слоны: макеты, изображения, рисунки и фотографии этих животных, к которым Бернард был особенно равнодушен, заполняли весь его кабинет, называвшийся в дворцовом обиходе «слоновой комнатой». Неуверенной походкой и внешним видом принц и сам к концу жизни напоминал старейшего слона амстердамского зоопарка Мурагана, подаренного городу совсем маленьким слоненком еще Джавахарлалом Неру. Когда в августе 2004 года Мураган умер, остальные слоны собрались вокруг мертвого тела и долго в задумчивости стояли вокруг него, нежно лаская хоботами усопшего. Принц пережил Мурагана только на четыре месяца; в завещании он оговорил процедуру собственных похорон до мельчайших деталей, предписав первоначально членам королевской семьи следовать за катафалком на слонах, но потом все же решил, что это будет чересчур.

«Я совершенно равнодушен к собственной смерти и полностью вверяю свою судьбу в Его руки. Посмотрим, что будет дальше», — сказал принц. Когда ему давали знать, что час кого-нибудь из его друзей близится, он с бутылкой розового шампанского приезжал для прощания: последний разговор, последний бокал... На похоронах его представлял только венки — принц терпеть не мог похорон, избегая их, как саму смерть.

В этом последнем интервью принц рассказал об отношениях со своей женой, королевой Юлианой, дал характеристики многим здравствующим особам королевского дома, рассказал и о своих отношениях с премьер-министрами страны за весь почти семидесятилетний период его пребывания в качестве Принца Королевства Нидерландов.

Вновь коснулся он и своей роли в деле с компанией «Локхид», настаивая на своей наивности и неосведомленности. «Я не возражаю остаться в памяти людей бесшабашным человеком, но я не хочу, чтобы обо мне думали как о шабашнике», — сказал принц.

Бернард признался, что на самом деле у него не одна дочь, родившаяся вне брака, француженка Алексия, а две; другой дочери Алисии, живущей в Соединенных Штатах, почти пятьдесят лет. Принц указал в завещании, что его имущество должно быть поделено поровну между всеми его шестью дочерьми, включая двух внебрачных, которые дороги ему не меньше.

«Ах, королева принимала философски все мои эскапады, — заметил принц. — Когда она спросила у меня в Лондоне, есть ли у меня подруга, я сказал — да. То же повторилось и на следующий год, и год спустя. Когда королева поинтересовалась, идет ли речь о той же самой особе, и я подтвердил это, королева заметила, что в этом случае она хотела бы с ней познакомиться, если я так долго нахожу ее привлекательной. На моих похоронах должны исполняться две песни: мексиканская «Ласточка» и другая — «Прощайте все чудесные леди, которых я знал».

Когда утром 14 декабря 2004 года я услышал о посмертном интервью принца и вышел из дома, чтобы купить газету, то увидел в киоске необычное объявление: «Извините, весь выпуск «Фолксскрант» распродан, ожидаем, когда подвезут допечатанные экземпляры».

За добрых три десятка лет, что я живу в Голландии, такое случилось в первый раз.



## ОДИНОЧКА В ВОЙНЕ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

**21** августа 1968 года сразу после полуночи в аэропорту Праги приземлились самолеты с подразделениями Красной Армии. Пражская весна подошла к концу, достигнув в известном смысле своей высшей точки. Семь дней, пока Дубчек со своим правительством «вел переговоры» в Москве, на улицах Праги царил безграничный веселье. Люди просто не верили своим глазам. Когда Дубчек вернулся и обнародовал факты, настроение переменялось на 180 градусов и все впали в совершенную апатию, длящуюся до сих пор. Многие интеллектуалы бежали за границу.

Многие, но не он — Людек Пахман. Он посещал одну фабрику за другой, призывая рабочих бастовать. Он посылал письма протеста в Организацию Объединенных Наций. Он распространял памфлеты, призывающие к сопротивлению. Он один объявил войну всему Советскому Союзу.

Его трагедия заключалась в том, что его никто не поддерживал. Он остался в полной изоляции, потому что никто не доверял ему. Тогда он прибегнул к последнему средству. «Я дойму их так, что они вынуждены будут арестовать меня, после чего я дойму их тем, что они меня арестовали», — говорил он, с трудом сдерживая бушующую в нем ярость. Потом он с легкой улыбкой спросил меня, похоже ли это на «Прово»\*. Я испугался за него, потому что после русского вторжения основные условия для гражданского неповиновения совершенно отсутствовали в Чехословакии. Он был дважды арестован и четырежды объявлял голодовку. Он получил два тяжелых ранения — в голову и спину, но это не было следствием пыток, говорит он сейчас. Не исключаю, что он сам нанес себе эти раны.

Он остался верен идеалам Пражской весны. Он вел себя так, как будто существует правовое государство, и ссылался на статьи Конституции и на права человека. Он возбуждал дела против произвола полицейских чиновников и судей.

В августе 68-го я свел его с голландским телевидением, и в своей отчаянной войне одиночки он стал очень знаменит, во всяком случае в Голландии. Он получал очень много писем из этой страны. Я просмотрел пачки этих писем. Примерно четверть пишущих советовала ему искать утешения в Иисусе Христе. Очень многие сообщали, что они вообще против какой бы то ни было диктатуры. В некоторые письма были вложены десятигульденовые банкноты.

В начале этого года я виделся с ним последний раз у него дома в Праге. Место исчезнувшего портрета Маяковского занял крест: Пахман стал католиком.

---

\* «Прово» — движение левых интеллектуалов и студентов в Амстердаме в 60-х годах, в котором принимал участие Доннер.

Он сказал, что христианство обладало большой силой в истории. И еще он сказал, что все приличные люди должны объединиться, и я сразу вспомнил наши первые разговоры. «Какие там еще цепи, которые нужно потерять?» — лукаво спросил я. И мы засмеялись вместе: цепи приличия, разумеется. Я любил его, но он стал для меня совсем чужим. Он хотел сочетаться браком с будущей женой в церкви, но епископ запретил такую демонстрацию.

И для собственной безопасности, и для борьбы, которую он собирался вести, он нуждался, конечно, в паблисити, но мне кажется, что он искал мученичества добровольно. «Я должен платить за мои грехи. За то, что я сотрудничал с самой сатанинской системой, которая когда-либо существовала в мире», — говорил он. Но все-таки несколько месяцев назад Пахман решил покинуть свою страну.

На прошлой неделе он пересек границу. В субботу его привезли из Германии для выступления по голландскому телевидению. Мы сидели, ожидая его в зале студии, из которой передаются последние известия. Он опоздал на час, и телекамера зафиксировала его ковыляющую походку — следствие перенесенного в детстве полиомиелита — и его храбрую голову, которая за четыре года постарела на двадцать лет. Мне сразу представилась возможность перекинуться с ним словом. Взял ли он с собой книгу о матче Спасский — Фишер? «Господи милостивый, Хейн, у меня сейчас совсем другое на уме!» Быть может, он хочет играть в Хоговен-турнире? Нет, потому что теперь он не желает иметь ничего общего с голландскими шахматистами, сейчас я всё сам услышу в интервью с ним по телевидению. «Но почему же ты все-таки решил уехать?» — спрашиваю я. Он отвечает, что его положение в Праге стало невыносимым. Полиция следила за каждым его шагом, и все, с кем он обменивался хотя бы парой слов, подвергались опасности.

Приезд в Голландию сам он рассматривает как карательную экспедицию. Правда, с учениками школы имени Анны Франк он встретится с удовольствием, потому что они оказывали ему большую моральную поддержку, но Эйве и Голландская шахматная федерация бросили его на произвол судьбы, и он не хочет их больше видеть. На пресс-конференции, где он повторяет эти в высшей степени несправедливые упреки, я пытаюсь объяснить суть дела, хотя и понимаю, что рискую сам быть приговоренным к позорному столбу. На этой пресс-конференции говорит фактически он один. Следует длинный перечень имен. Профессор такой-то — шесть лет, доктор такой-то — восемь, и так далее, и так далее. В настоящий момент в Чехословакии по политическим мотивам в тюрьмах находятся сто человек. Тридцать из них — его друзья. Он говорит о том, что предъявил чешскому правительству ультиматум. Если к дате, которую он называет, заключенные не будут освобождены или, по крайней мере, им не будет предъявлено официальное обвинение, он предаст гласности факты, от которых содрогнется земля у них под ногами.

«Я превосходно знаю, как функционирует эта система, я знаю, кто готовит приговоры, я знаю самых кровожадных псов в Центральном Комитете,

*я всё это обнаружю, если...» Его память всегда была великолепной. К тому же со времени, когда он сам занимал высокие посты в партии, прошло не так уж много лет.*

*Если это интервью, то оно должно растянуться на долгие годы, потому что разговор между Пахманом и мной начался семнадцать лет тому назад в Гётеборге. «Социализм должен приобрести совершенно другой вид. Да, было допущено слишком много ошибок. В течение года можно ожидать больших перемен. Они скажут всю правду о Сталине, такое давление невыносимо. Произойдут изменения в партийной линии, особенно это коснется правосудия. Будет покончено с полным бесправием граждан. В течение одного года!»*

*Как это возможно, спрашивал я. Идеология — это ведь единственное, что сплачивает коммунистический мир. Как они могут покуситься на это?*

*«Ты — скептик, безнадежный западник, ты не веришь в способность социализма к возрождению. Но ты еще сам всё увидишь».*

*Это было в 1955 году. Годом позже состоялся двадцатый съезд партии, где действительно произошло всё, что он предсказал. И я понял, что мой новый друг не рядовой член партии, что он располагает превосходными связями.*

*Когда произошло восстание в Будапеште в 1956 году, он заклеил позором венгров. Они были фашисты, криминальные элементы, которые хотели воспользоваться полученной свободой для своих целей, русские не могли поступить иначе. Иногда его мнения вдруг менялись. «Тито — диктатор, продающий социализм за доллары» и «Путь Тито к социализму идентичен нашему» — были его высказывания соответственно в 57-м и 63-м и в 59-м и 65-м годах, если память мне не изменяет.*

*Я знал его как самого себя: жестко сформулированные мнения, хотя в действительности — он был просто попутчиком.*

*«Хрущев не продержится до Рождества», — сказал он мне в сентябре 64-го, и, когда генерального секретаря через два месяца сняли, для всего мира это было невероятной неожиданностью; я же снова убедился, что мой собеседник имеет доступ к очень секретной информации.*

*В Че Геваре он видел только опасность для человечества. «Без Советского Союза невозможна никакая революция, и все эти рассказы о двух, трех Вьетнамах — преступны». Дортикос был единственным человеком в руководстве кубинской партии, кому он доверял.*

*Мир профессиональных шахмат — очень маленький мир. Это своего рода братство, имеющее филиалы в различных странах, как, например, существует братство гомосексуалистов или охотников на крупную дичь. Действующие гроссмейстеры встречаются друг с другом часто, иногда по нескольку раз в год. В 1967 году мы снова встретились в Праге. Это было время, когда повсюду в мире, в совершенно разных странах, у молодых людей внезапно произошла вспышка коллективного психоза.*

*Мы сидели на террасе на Старомястской площади.*

— Молодежь здесь выглядит ужасно пассивно, — сказал я. — *Может ли у вас случиться то, что случилось в Китае, Америке или у нас в Голландии?*

— *К сожалению, нет,* — ответил он. — *Здесь партия крепко держит в своих руках бразды правления.*

— *Но если и партия сойдет с ума?*

— *Да, тогда возможно, но этого просто не может быть. Партия не может сойти с ума, это исключено,* — отвечал он с каменным лицом. *Мне не дано этого понять, я ведь анархист, начал он насмехаться надо мной, и через пару дней на Кубе, где мы вместе играли в турнире, он представил меня как «анархиста» и многие смеялись вместе с ним. («Вероятно, последний анархист», — сказал двадцатидвухлетний секретарь партийной организации на стройке в деревне, которую мы посетили.)*

*Мы часто видели друг друга в том году. Война на Ближнем Востоке всколыхнула многие умы, особенно в Чехословакии, старом союзнике Израиля. Вместе с парой друзей он написал в Центральный Комитет письмо о том, что международное рабочее движение должно поддержать социалистический Израиль, а не феодальные арабские страны.*

*Это письмо было зачитано с издевкой одним из партийных секретарей на писательском съезде: вот ведь как могут быть глупы некоторые личности. Впрочем, что с них взять: ведь у всех шахматистов мозги набекрень.*

*Но вышло совсем по-другому. Многие члены съезда поддержали авторов письма и захотели тоже подписаться под ним. Гости из Советского Союза в знак протеста покинули зал.*

*Это явилось началом бунта интеллектуалов, всё более разраставшемся в последние месяцы 1967 года. В январе следующего года пал Новотный. К власти пришел Дубчек, функционер среднего пошиба, как и полагается при демократии.*

*Пражская весна длилась семь месяцев. Это было время всеобщего освобождения, и время это не опишешь в двух словах. Весь воздух был напоен свободой; такого ощущения мы не знаем в Западной Европе. Всё казалось возможным, следовало только расщитаться с прошлым — и всё должно было начаться, и существовало только будущее.*

*Он был, разумеется, в первых рядах. Было составлено обращение к правительству, в котором требовалось отменить экономическую зависимость от Советского Союза. Он вынашивал идею об Олимпийских играх в Праге в 1980 году. Это обойдется в миллиард долларов, но крона должна была стать конвертируемой, а немецкие и американские инвестиции в этот проект с лихвой окупятся уже после строительства отелей. Я забронировал комнату в гостинице, которая должна была быть построена к 1980 году.*

*«Но если придут русские?» — спрашивал с опаской не только я, но и другие — шахматисты из Венгрии, Румынии и Болгарии.*

*Он отвечал, что это исключено. Этого просто не может произойти. Со времен восстания в Будапеште произошло столько изменений, и социалистический лагерь превратился в содружество государств, внутренние дела которых решаются ими самими.*

*Журнал «Хаагсе пост», декабрь 1972*

## ПРАЖСКАЯ ВЕСНА

Декабрь 1972 года. Лондон. Открытый турнир в Ислингтоне — мой первый международный турнир. Поезд из Гааги до Хук-ван-Холланда, ночной паром, каюта на четверых, Брайтон в половине седьмого утра, недоуменное поднятие бровей чиновника на паспортном контроле при взгляде на мои не внушающие доверия документы: «Что вы собираетесь делать в Англии? Chess? What do you mean — chess? Я спрашиваю о цели вашего визита в Соединенное Королевство?»

Поезд до Лондона, вязкая каша языка с вдруг понятным словом, цепляясь за которое, пытаешься доплыть до спасительной тверди смысла, водоворот метро с указателями, на которых проступают знакомые названия: Виктория-стейшн, Ковент-гарден, Пикадилли, Гайд-парк; мансарда с крошечным рукомойником на шестом этаже гостинички без лифта.

В турнире играли молодые амбициозные англичане: Реймонд Кин, Билл Хартстон, Майкл Стин, Роберт Беллин, неожиданно для всех выигравший турнир со стопроцентным результатом и получивший сказочный приз — тысячу фунтов стерлингов.

Но всё внимание было тогда приковано к Людеку Пахману: на его доске сделал первый ход спонсор турнира, рядом с его столиком позировала очаровательная блондинка с надписью «Мисс Ислингтон» на широкой ленте, его снимали для телевидения, за ним охотились журналисты. О нем, герое Пражской весны, только что прибывшем на Запад, рассказывалось в газетных репортажах, и только после этого петитом шли сухие цифры результатов. Неудивительно, что Пахману было не до шахмат и он играл неудачно в том турнире.

Мы познакомились и говорили несколько раз: тот, кому тогда удалось уйти на Запад, проскользнув через железный занавес, видел в другом родственную душу.

Его голова на не знающей покоя шее вращалась, как на шарнирах, то в одну, то в другую сторону, он говорил безостановочно, оставляя собеседнику время только для коротких реплик. В наших разговорах он часто употреблял слово «они», и для каждого, жившего в то время в странах Восточной Европы, было понятно, кого он имеет в виду. Я знал, конечно, что еще несколько лет назад Людек Пахман сам входил в эту категорию — «они».

Через три года мы снова встретились, на этот раз в Мангейме на международном турнире. Он был уже целиком в политике, и я постоянно видел его в ресторане или в холле гостиницы с людьми, никак не похожими на шахматистов. Он легко переходил с немецкого на английский, испанский. По-русски он говорил очень хорошо, хотя, как и все чехи, с характерным акцентом.

«Ну как там Доннер, рубит еще сахарный тростник на Кубе?» — спрашивал он у меня пару раз и, не дожидаясь ответа, смеялся, запрокинув голову.

Через несколько месяцев, в августе 1975 года, мы встретились снова, на этот раз на зональном турнире в Барселоне. Это был необычный турнир. За десять дней до его начала в Испании — у власти тогда еще был Франко — были приговорены к смертной казни несколько человек, признанных виновными в убийстве полицейского.

По прибытии в столицу Каталонии выяснилось, что представители стран Восточной Европы — сильные гроссмейстеры из Югославии и Чехословакии не приехали на турнир в знак протеста, в то время как румынские и венгерские шахматисты, хотя и появились в Барселоне, тоже в конце концов отказались от участия в соревновании, опасаясь санкций со стороны властей по возвращении домой. Пахман чувствовал себя в такой обстановке как рыба в воде; нашу партию из первого тура, закончившуюся быстрой ничьей, мы не анализировали: в фойе турнирного зала его уже ждали с микрофонами репортеры из «Радио Каталонии», чтобы он в очередной раз дал оценку вторжению политики в спорт, тем более такой благородный, как шахматы. Людек говорил страстно, на память называя фамилии диссидентов и писателей в Чехословакии и Советском Союзе, приговоренных к длительным срокам заключения за написание писем протеста или публикацию своих произведений за границей.

Слушая его эмоциональную речь, трудно было представить себе, что когда-то Людек Пахман был не только рьяным поклонником системы, против которой сейчас так неистово выступал, но и заметным винтиком этой системы.

...11 мая 1945 года. Прага. Первая мысль Людека Пахмана, проснувшегося после пятнадцати часов беспробудного легкого сна: сегодня мне исполняется двадцать один год, и никого нет рядом, чтобы я мог отпраздновать эту дату. Энергия переполняет его, он выходит в город, бесцельно слоняется по улицам и вдруг замечает надпись на здании: «Районный комитет Коммунистической партии Чехословакии». Он заходит вовнутрь и говорит: «Я хочу вступить в партию. У кого я могу записаться?» Война кончилась только два дня назад, и до молодого человека с упрямым покатым лбом и зачесанными назад волосами никому нет дела. Наконец его замечают и дают лист бумаги. Он пишет: «Я — за мировую революцию и

за социализм, поэтому прошу принять меня в члены Коммунистической партии Чехословакии».

Через несколько лет молодой энергичный коммунист Людек Пахман становится членом комиссии, через которую должны были пройти, подтвердив свою лояльность и знание марксизма-ленинизма, доктора в больницах и профессора в университетах, инженеры и научные работники, и Пахман был суровым экзаменатором. Он выносил окончательный вердикт, из которого профессор узнавал, что ему лучше подыскать работу мойщика окон. Сотни преподавателей и врачей оказались на улице и вынуждены были переквалифицироваться в истопников, сторожей, официантов и подсобных рабочих.

Чешские эмигранты, нашедшие убежище в Германии и Австрии, называли его тогда «полковник Пахман» и говорили, что он был одной из самых зловещих фигур готвальдовского режима.

Впоследствии Пахман стал главой отдела подготовки профсоюзных кадров и занимал эту должность несколько лет. На партийных курсах он читал лекции по диалектическому и историческому материализму; его излюбленная тема — «Империализм как высшая стадия капитализма». Книги Сталина были для него наивысшей мудростью. «Так просто и ясно всё изложено в них...» — думал он тогда.

Борхес, вспоминая друга молодости, мечтателя и идеалиста, писал: «Я хочу рассказать об одной черте X, которая делает ему честь. Он был... ну, в общем, он был коммунистом». Я не думаю, что эти слова могут быть сказаны о Людеке Пахмане. Став коммунистом, он, как и многие в молодые годы, был увлечен идеями равенства и братства. Но, в отличие от большинства молодых людей, он стал воплощать эти идеи на практике, и идеалы юности, отойдя на задний план, уступили место жестким будням партийной дисциплины, безжалостного претворения в жизнь директив ЦК.

В 1952 зловещем году после показательных, поставленных по советскому сценарию, процессов над бывшими руководителями республики Пахман уходит из большой политики, и в последующие пятнадцать лет главенствующую роль в его жизни играют шахматы.

Но в шахматных кругах Людек Пахман все равно имел репутацию человека со связями «на самом верху», и шахматисты из стран Восточной Европы знали, что в его присутствии полезнее прикусить язычок: никогда нельзя было знать, чем обернутся твои высказывания по возвращении домой.

Китти ван дер Мийе вспоминает, что, когда Пахман заговаривал с ней на Олимпиаде в Варне в 1962 году, товарищи по команде предупреждали ее, что с этим типом следует быть поосторожнее. И другие шахматисты, помнящие то время, свидетельствуют, что разговор сразу становился принужденным, а то и вовсе замолкал, когда к компании присоединялся Людек Пахман.

На эти годы приходится пик его шахматной карьеры. В конце 50-х — середине 60-х Пахман был очень сильным гроссмейстером и желанным гостем на всех международных турнирах. Для стиля его игры были характерны высокая культура постановки партии, прекрасное знание теории, прагматизм, вера в себя, оптимизм. Семь раз он выигрывал первенство Чехословакии, впервые став чемпионом страны в 1946 году. Но он не только играл в шахматы, он тренировал, занимался организаторской работой и был плодовитым автором. Им написано более восьмидесяти книг, переведенных на многие языки мира, посвященных различным аспектам шахматной игры — стратегии, тактике, но главным образом дебютам.

В то время Пахман особенно часто бывал на Кубе, где не только играл в турнирах, но и подолгу работал тренером. В его тогдашних политических симпатиях не приходится сомневаться. Виктор Корчной вспоминает, как в 1963 году во время мемориала Капабланки в Гаване Пахман с гордостью говорил ему и Роберту Уэйду: «Я недавно выучился водить танк», а в ответ на их недоуменные взоры пояснял: «Мы должны защищать нашу Кубу!»

Несколько раз он встречался с Фиделем Кастро. «Почему вы не курите, товарищ Пахман?» — спросил его однажды Кастро, большой любитель сигар. Людек ответил, что не курил никогда в жизни. Тогда Кастро взял огромную сигару, вложил ему в руку и сказал: «Если вы друг Кубы, то выкурите эту сигару до конца».

«С присущим мне оппортунизмом, — вспоминал Пахман десятилетия спустя, — я решил показать, что являюсь другом Кубы и начал раскуривать сигару. Я выкурил ее всю, но это было тяжелое испытание; чтобы избавиться от ужасного вкуса во рту, я вынужден был принять потом изрядное количество баккарди. С тех пор у меня появилось такое отвращение к курению, что я старался каждого курильщика наставить на путь истинный и отратить от вредной привычки. Этот случай очень характерен для Кастро, бывшего во многих отношениях настоящим диктатором».

Когда в воздухе повеяло Пражской весной, взгляды Пахмана полностью изменились, а после оккупации страны войсками Варшавского пакта он превратился в страстного и непримиримого борца с новым режимом.

Олимпиада в Лугано состоялась через два месяца после оккупации Чехословакии, и на матч с СССР все участники чехословацкой команды вышли с траурными повязками. Пахмана не было в составе национальной сборной: Людек был уже слишком вовлечен в политику, и ему было не до шахмат.

Но на конгрессе Международной шахматной федерации он присутствовал, и, когда представитель Советского Союза Родионов предложил исключить Южно-Африканскую Республику из ФИДЕ, президент Фольке Рогард прервал заседание и вызвал Родионова для переговоров. «Я



должен показать вам письмо Пахмана, — сказал он. — После ознакомления с вашим предложением он подал заявление, в котором пишет, что если кто и должен быть исключен из ФИДЕ, так это шесть стран Варшавского пакта и Советский Союз в первую очередь. Если вы будете продолжать настаивать на исключении ЮАР, то я вынужден буду дать ход заявлению Пахмана, публично зачитать его на очередном заседании, начать дебаты, не исключая, что и поставить на голосование». Вопрос о членстве ЮАР на конгрессе в Лугано был снят с повестки дня.

Получив разрешение ездить по Чехословакии с сеансами одновременной игры и лекциями, Пахман собирал полные залы. Но публика приходила на его лекции не только для того чтобы узнать о последних шахматных новостях и встретиться за доской с известным гроссмейстером. И вовсе не об экстравагантном поведении Роберта Фишера и его шансах в борьбе за чемпионский титул рассказывал Людек Пахман. Пламенный агитатор и лектор, он говорил о том, что волновало тогда всех в наступившие мрачные времена: о том, что нужно делать, чтобы привлечь внимание всего мира к событиям в стране. Пятью годами позже, вспоминая те дни, Пахман напишет: «Я должен признать, что мне не было безразлично, когда людская масса слушала то, что я говорю». Он действительно умел и любил говорить на людях, и неслучайно Вацлав Гавел называл его впоследствии «лагерным оратором».

Подпольные собрания, распространение написанных ночью и наскоро отпечатанных на гектографе памфлетов, открытые призывы к неповиновению, организация демонстраций, письма протеста, рассылаемые во всевозможные организации и различным политическим и общественным деятелям, — в эти месяцы у него почти не оставалось времени для сна. Ясно, что долго это продолжаться не могло, — он мозолил глаза всем: и новым партийным функционерам, и Большому брату в Москве, пристально следившему за событиями в Чехословакии.

О том, как относились тогда к Пахману в Советском Союзе, лучше всего показывает такой факт: в 1969 году Яков Нейштадт сдал в издательство «Физкультура и спорт» рукопись «Каталонского начала». Через несколько дней оттуда позвонили: «Фамилия Пахмана не может быть упомянута в книге ни в коем случае». Нейштадт был в отчаянии: чешским гроссмейстером было сыграно немало важных партий в каталонском начале, в том числе и с Ботвинником. Автор книги обратился к своему знакомому, занимавшему высокую должность в партийном аппарате и слывшему либералом. «Это глупость, конечно, — сказал тот. — Ну при чем здесь шахматные партии? Впрочем, я должен посоветоваться с Яковлевым». Александр Яковлев, позднее член Политбюро, заведовал тогда в ЦК отделом агитации и пропаганды. На следующий день Нейштадт узнал итоги переговоров: «Фамилия Пахмана должна быть снята отовсюду...»

Летом 1969 года Корчной и Керес играли в Чехословакии в международном турнире. Однажды, вернувшись в гостиницу, Корчной нашел записку эстонского гроссмейстера: я приглашен на встречу с интересными людьми, буду вечером. Это была встреча с Людеком Пахманом. Прямо с трапа самолета в Шереметьеве Керес был отвезен на Лубянку и подвергся многочасовому допросу. Произошло ли это потому, что на него донес присутствовавший на той встрече Эмиль Затопек, как утверждал впоследствии сам Пахман, или просто квартира мятежного гроссмейстера была под постоянным наблюдением, трудно сказать. Ясно одно: каждый, кто входил тогда в контакт с Пахманом, попадал под надзор властей и сам становился подозрительной фигурой.

Его арестовали в августе 69-го. Но и в тюрьме он писал письма протеста — президенту Чехословакии, Фиделю Кастро, в Организацию Объединенных Наций. На следующий год его выпустили, но потом снова арестовали.

В заключении Пахман провел в общей сложности восемнадцать месяцев. В тюрьме он объявлял голодовки; его кормили через зонд — известный прием в те годы, применявшийся к политическим заключенным в странах Восточной Европы. Но и здесь Людек пошел своим путем: он закрыл глаза и не открывал их до своего освобождения. И прекратил говорить, общаясь с тюремщиками и врачами только в письменной форме. Когда жена посещала Пахмана, она что-то говорила ему, но и ей Людек писал ответы на карточках. Опасались за его психическое здоровье, но когда врач спросил, изменится ли его поведение после освобождения, он написал: «Разумеется. Когда я буду дома, я открою глаза и буду говорить».

Сначала он и думать не хотел об эмиграции, но в ноябре 1972 года все-таки покинул Чехословакию и поселился в Золингене, где его друг Эгон Эвертс был патроном местного шахматного клуба, одного из сильнейших в Западной Германии. Через несколько лет Пахман переехал в Пассау, город, расположенный на перекрестке трех стран — Германии, Австрии и Чехословакии.

Эмиграция очень часто делает человека иностранцем по обе стороны границы. Он становится чужим для тех, кто остался, но и не вполне дотягивает до того, чтобы стать своим для новых соотечественников. На Пахмана это правило не распространялось: дома ли, за границей — самым главным был он, он сам, Людек Пахман!

Он добавил в свою фамилию еще одно «н», придав ей жесткое немецкое звучание. В 1978 году Людек Пахманн выиграл чемпионат Федеративной Республики Германии.

Годом раньше на турнире в Женеве я снова играл с Пахманом. Первый раз он предложил мне ничью на выходе из дебюта, потом, когда я

добился большого преимущества, и, наконец, в третий раз, когда позиция стала совсем ничейной. Я что-то сказал ему в сердцах после партии, бросил бланк... Поостыв, понял, что был неправ: если я и должен был сердиться на кого-нибудь из-за того, что не выиграл партию, то только на себя самого.

Когда год спустя на турнире в Лон-Пайне я повстречал его ранним воскресным утром на главной улице этого маленького калифорнийского городка и, протянув руку, стал выражать сожаление по поводу случившегося, он недоуменно посмотрел на меня: что я имею в виду? Сам он считал совершенно нормальным, когда единомышленники, коллеги, друзья, даже единственный родной брат проходили с ним через состояние дружбы и размолвок, ссор и примирений, горячего и холодного.

«Трудно было сказать, когда Пахман считал тебя другом, а когда врагом, — вспоминал Любош Кавалек. — Он любил ссориться и часто менял свои мнения о людях на противоположные».

Поэтому тогда в Лон-Пайне он дружески ответил на мое приветствие, не понимая даже, за что я извиняюсь. Наш разговор, впрочем, был очень короток. «Спешу, спешу, — бросил на ходу Людек, — давайте поговорим через часок, а то я боюсь опоздать на службу в церковь».

Пахман? В церковь? Я не знал тогда еще, что он стал ревностным католиком и даже написал брошюру о своем обращении в католическую веру. Он, конечно, облегчил этим свою душу, потому что, обретя веру, избавился от многих вопросов, ответы на которые безуспешно пытался найти в своей прошлой жизни. Я не думаю, чтобы такой переход дался Людеку трудно и ему пришлось резко переключать свои эмоциональные трансформаторы на иной режим работы: он просто перешел из одной религии в другую. К тому же его новая вера обладала несомненным преимуществом, обещая после смерти вечное блаженство, при условии, разумеется, примерного поведения, в то время как старая — лишь туманное счастье грядущих поколений.

Кое-кто из хорошо знавших Пахмана скептически отнесся к его новому превращению. Один из его старинных друзей заметил, что он всегда должен быть членом какой-нибудь партии. Сам Пахман напишет впоследствии об этом друге скорее с симпатией, равно как и о другом, высмеявшем Людека и признавшемся, что сам Бог не сможет заставить его уверовать в Него. Я думаю, что где-то в глубине души Пахману даже нравились подобные высказывания: он сам мог бы так сказать, вместо того чтобы перечитывать унылые предписания о подставлении другой щеки для удара.

Попав в очередной раз в тюрьму, Пахман писал, что на воле чувствовал себя верующим, но теперь, в камере, не был в состоянии молиться: «Я сказал себе, что был очень грешен, и обещал изменить мою жизнь к лучшему, но в данный момент это невозможно, и я смогу сделать это только

дома». Он вспоминал, что вел тогда долгие дискуссии с Богом. Я думаю, что последний должен был держать ухо востро, ведь полемистом Пахман был превосходным.

Он стал активным членом Христианско-социального союза, примкнув к крайне правому крылу этой баварской партии; Людек Пахман был борцом за идею, а что эта идея представляла собой, было не так уж важно.

В Пассау, в зале Нибелунгов, ежегодно проводились конгрессы Христианско-социального союза и тысячи жителей города приходили в первый день католического поста послушать Франца-Йозефа Штрауса, бесменного лидера партии. Пахман стал личным другом Штрауса, одно имя которого в Советском Союзе вызывало зубовой скрежет.

В 1982 году во время круизного плавания я разговорился с женой этого немецкого политика, когда она заглянула однажды в зал, где игрался шахматный турнир. «Герр Пахманн очень ценим в партии. Он замечательный оратор и полемист», — сказала госпожа Штраус. Действительно, в публичных дискуссиях Людек был очень хорош. Особенно доставалось от него представителям левых партий, любившим ссылаться на классиков.

«Нет, у Маркса сказано совсем не то, что вы говорите, да и Энгельса вы передергиваете...» — возражал Пахман: память его никогда не подводила, крыть оппонентам было нечем, и частенько он выигрывал за явным преимуществом.

Он был человеком необычайного честолюбия, мастером интриги, огромной уверенности в себе, в своем предназначении, видел слабые стороны соперника и умел их использовать. Это черты, конечно, настоящего политика, и в политике он мог бы пойти далеко, очень далеко, если бы поменьше спорил, обладал большим терпением, желанием заключать компромиссы и умением закрывать глаза. Но этих последних, таких важных для политика качеств у него как раз и не было: он не хотел набирать очки, всякий раз стремясь победить чистым нокаутом.

В нем всю жизнь сохранялся юношеский задор, умение и способность обвести противника вокруг пальца, небоязнь игры на его территории, даже если это могло оказаться опасным для него самого.

В начале войны совсем молодой Пахман составил несколько задач и, посвятив их старшему брату, послал в немецкий шахматный журнал, где они и были опубликованы. Людеку было тогда шестнадцать лет, а его старший брат Владимир сидел за свои левые убеждения в концлагере Заксенхаузен...

На первенстве Европы 1977 года он играл в составе команды ФРГ. Чемпионат проводился в Москве, это был разгар холодной войны, и любой представитель Запада должен был считаться с прослушиванием разговоров и постоянной слежкой. В его же случае были возможны и прямые провокации. Быть может, кто-нибудь отказался бы вообще от такой по-

ездки. Но для Людека Пахмана это было только дополнительным стимулом: оказаться в самом логове врага! С особым удовольствием он ожидал встречи с бывшими соотечественниками. Он вышел, разумеется, на матч с Чехословакией, но сыграть ему не удалось. Из Праги было получено категорическое указание — с Пахманом играть нельзя, и через час после начала тура команда Западной Германии получила очко: соперник Пахмана так и не появился в турнирном зале.

Он не любил бессмысленной траты времени, отсутствие работы было для него синонимом скуки, и он полностью подходил, конечно, под понятие «трудоголик». Таким он был всегда, и в молодые годы, и в преклонном возрасте.

«Мы играли в немецкой бундеслиге за один клуб, «Золинген», — вспоминает Любош Кавалек. — Однажды перед партией, сделав заказ, мы сидели в ресторане в ожидании обеда. «Простите, когда будет подано блюдо?» — осведомился Людек у проходившего официанта. «Примерно минут через десять», — ответил тот. «Ясно, — Пахман отложил в сторону салфетку, — я за это время успею написать еще одно письмо», — и направился к выходу».

Четверть века спустя, когда он уже снова жил в Праге, Пахман должен был играть партию в командном первенстве Чехии за свой клуб «Вышеград», но заранее объявленную лекцию в Германии отменять не стал. Днем выехав из Праги, в восемь вечера он прибыл в Пассау — с тем чтобы после лекции немедленно вернуться в Прагу и тут же сесть за шахматную доску. Ему было тогда без малого семьдесят лет.

Он, с таким некоординированным телом, играл в теннис, он говорил на многих языках, музицировал на пианино, был страстным бриджистом, неутомимым оратором и плодовитым писателем. И был, конечно, сильным, в свои лучшие годы — очень сильным гроссмейстером.

Он был автором многих книг, и не только шахматных; им написаны тысячи страниц на политические и религиозные темы. Святой Августин добавлял почти ко всему, что писал: так я думаю сейчас, но вы знаете, конечно, лучше. Людек Пахман всегда знал, как лучше, и если реальность противоречила его мировоззрению, он неодобрительно отворачивался от нее.

Немецкое название мемуаров, вышедших сразу после эмиграции Пахмана, — «Теперь я могу говорить».

«Я сомневался, — пишет автор во вступлении, — следует ли мне писать эту книгу, пока кто-то из моих друзей не сказал, что человеку следует оставить показания правды. Он написал бы слово «Правда» с большой буквы, потому что он верующий христианин. Я не рискну употребить большую букву, потому что я знаю очень мало об этих больших буквах. Но его слова заставляют меня сказать: я пишу мою книгу только о том, что знаю абсолютно достоверно и точно. Всё остальное я исключил из повествования».

Несмотря на патетические слова, в воспоминаниях Пахмана не так трудно найти ошибки и передержки, размытые факты и замолчанные события. Название книги по-чешски — «Это было так». «Это было не так», — говорили остроумцы, ознакомившись с ее содержанием. По-английски мемуары первоначально должны были называться «Как это было». Когда книга была уже почти переведена, издатель сообщил об этом Любошу Кавалеку (тоже покинувшему Чехословакию после пражских событий), предложив ему написать о том же времени. «В таком случае название моей книги будет “Как это не было”», — ответил Кавалек, и на английском книга Пахмана вышла под заглавием «Шах и мат в Праге».

В конце своих воспоминаний Людек пишет: «Революция начинается всегда с песнопений и здравиц, а кончается тем, что пожирает своих собственных детей. Я не хочу теперь иметь ничего общего с какой бы то ни было революцией. Они могут пожирать, кого хотят. При всем при этом у меня есть какое-то тревожное предчувствие, что к старости, если протрубит рожок, я снова буду взбираться на эти идиотские баррикады».

Предчувствие не обмануло Пахмана: когда в 1989 году в Чехословакии произошла «бархатная революция», он тут же вернулся в Прагу и включился в работу. Ему было тогда шестьдесят пять лет, пристойный пенсионный возраст. Для кого-нибудь, но не для Людека Пахмана.

Когда он поселился в Праге, ему сказали: «Людек, вас все знают, ваши книги до сих пор имеют прекрасную репутацию; почему бы вам не сконцентрироваться только на шахматах, тем более что возможности для издания ваших книг сейчас неограниченны?»

«Нет, — отвечал Пахман, — шахматы это только шахматы, меня же интересует политика, события вокруг, сама жизнь».

Он был еще полон энергии и полностью окунулся в политику, полагая, что теперь Чехословакия пойдет наконец по верному пути, где религия, равно как и другие общественные институты, к которым он привык в Германии, станет движущей силой государства. Надо ли говорить, что немалая роль в становлении этой новой Чехословакии была отведена самому Пахману. Но он покинул страну почти два десятилетия назад, и в его идеях никто теперь не нуждался. Дело было даже не в его коммунистическом прошлом; просто прошло его время, и в новой Чехословакии для Людека Пахмана не нашлось места.

Христианская партия, главным советником лидера которой он стал, потерпела поражение на выборах, и для Пахмана это стало огромным личным поражением, одним из самых глубоких разочарований в жизни.

Он не уехал из Чехии, но стал жить на два дома, в Праге и в Пассау, как это делают иногда эмигранты; кто-то — с удовольствием, кто-то — в беспокойстве и чувствуя себя неуютно в обоих местах.

Поначалу он регулярно курсировал между Чехией и Германией, порой не отдавая себе отчета, где находится в настоящий момент. «Траге-

дия, — говорил Людек. — Если я в Пассау, то, как нарочно, подписываюсь Пахман, а в Праге — Пахманн, и не могу получить денег в банке ни здесь, ни там...»

Он занялся проблемой судетских немцев, вынужденных после Второй мировой войны в массовом порядке покинуть Чехословакию. Эта проблема возникла, конечно, не в 1945 году, и о ней, как и о многих других трагических событиях ушедшего века, невозможно писать одной краской, а Людек Пахман умел пользоваться только черным или белым цветом. В конечном итоге он, не получив допуска к архивам, отказался в знак протеста от чешского гражданства и стал постоянно жить в Германии, только время от времени наезжая в Прагу.

Для него, как и для многих эмигрантов, покинувших страны с тоталитарным режимом, с крушением коммунизма была потеряна цель борьбы, а для кого-то и смысл существования.

В этот последний период жизни он вспоминал события шестидесятилетней давности, о встречах и разговорах с Алехиным, хотел написать об этом более подробно, но так и не успел: дела каждого дня казались важнее.

Только в своих мемуарах он говорит вскользь о Рождественских днях 1942 года, Праге, турнире, где Алехин боролся за первый приз с девятнадцатилетним немцем Клаусом Юнге. Деньги, полученные за выигрыш какого-то турнира, Людек потратил на поездку из провинциальной Белы, где жила тогда семья Пахманов, в столицу: он не мог не увидеть великого Алехина собственными глазами.

На следующий год Пахман уже сам играл в Праге. После того как он выиграл хорошую партию у Фолтысы, чемпион мира пригласил молодого чеха к себе. Пахман вспоминал:

«Я показал ему эту партию, Алехин сделал несколько замечаний, похвалил меня, после чего показал свою партию. Он продемонстрировал несколько комбинаций, оставшихся за кулисами, и позволил мне расслабиться в комплиментах. Госпожа Алехина сидела тут же, равно как и два кота, верные спутники четы Алехиных во всех поездках. Мне была предоставлена честь взять одного из котов на руки. Несмотря на то что у меня тут же появилось несколько царапин, этот прекрасный вечер навсегда остался в памяти как одно из самых примечательных событий моей жизни.

Он стал приглашать меня каждый день, и мы анализировали вместе ту или иную партию. С Алехиным можно было говорить только о шахматах. Очень скоро я заметил, что его ужасно раздражает, если кто-нибудь не разделяет его точку зрения. Я считался с этим, не перечил ему и внимательнейшим образом прислушивался к его замечаниям.

Как-то он пригласил меня в кафе «Люксор». Там еще можно было получить настоящий кофе, хотя и по совершенно сумасшедшей цене. Алехин принципиально никогда не оплачивал никаких счетов, и тогда он

тоже позволил мне рассчитывать. Почти всегда с ним был кто-нибудь, кто платил за него. В противном случае он просто покидал кафе. Кельнеры уже знали его и посылали счет организаторам. Директор турнира сам рассказывал мне об этом, и не могу сказать, что он был этим очень доволен. За участие в турнире Алехину был обещан гонорар в сорок тысяч крон, но уже после открытия он заставил организаторов раскошелиться еще на пять тысяч, иначе он угрожал, что не приступит к игре и немедленно покинет Прагу.

Когда в другой раз Алехин пригласил меня в кафе, я находился в состоянии почти полного банкротства. Я использовал уже все карточки и должен был прибегнуть к услугам черного рынка, где всё было очень дорого, но, к счастью, у меня появился меценат. Домовладелец и бизнесмен Сторк одаривал меня не только огромными шматками сала в качестве «награды за мои достижения», как он сам это называл, но также превосходными пирожными и каждодневным приглашением на обед. Этот обед был настолько обилен, что в ужине я уже не нуждался и потому имел возможность оплатить кофе Алехина».

Редактор чешского журнала «ШахИнфо» Бретислав Модр близко знал Людека Пахмана в этот последний период его жизни. Он рассказывает: «Я ожидал увидеть монстра, бывшего фанатика-коммуниста, человека с экстремальными идеями. На деле же Людек оказался очень милым, добрым, отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь человеку, с которым было интересно провести время, поговорить о чем угодно, посмеяться. Хотя за несколько лет до смерти он приобрел компьютер, пользоваться им так и не научился и звонил мне время от времени, спрашивая, не найдется ли какой-нибудь интересной партии из бундеслиги для его рубрики в газете».

Деньги его мало интересовали, и для шахматного журнала он всегда писал бесплатно. Но о чем бы он ни писал, рано или поздно в его повествовании появлялось местоимение «я».

Его не надо было просить дважды, чтобы он дал сеанс одновременной игры или прочел лекцию. И здесь вопрос о денежном вознаграждении был ему безразличен. Он сам, его эго, его появление на людях, его имя и имидж были самым главным для него.

Святослав Рихтер, неизлечимо больной уже, посмотрев фильм, посвященный его жизни, говорит: «Это — я». И после длительного раздумья: «Я недоволен собой». И еще раз: «Недоволен... Я недоволен собой». Думаю, Людек Пахман никогда не мог бы сказать о себе таких слов.

Жизнь подошла к концу, религии были перепробованы, пережиты войны и катаклизмы, на которые оказался так богат 20-й век; оставались лишь бои местного значения.

Пару лет назад он разразился еще гневным письмом. Причина: ужасный шум, поднятый свадебной процессией в городке, где проводился



какой-то опен, и полностью лишивший его необходимой концентрации во время партии. Он обещал никогда, никогда больше не играть в этом городе.

Людек Пахман умер в Пассау 6 марта 2003 года. Он был свидетелем и участником событий, которым трудно найти аналоги в мировой истории; будучи знаком со многими очень известными людьми, он и сам был одной из самых ярких личностей в разноцветном мире чешских шахмат.

Прочтя посмертные слова о нем Любоша Кавалека, люди, знавшие Пахмана всю жизнь, поразились, как он мог извлечь так много положительного из его биографии, в то время как Ханс Рей удивлялся столь мрачному портрету, увиденному им в том же самом некрологе.

В 1967 году во время турнира в Москве, где играл Пахман, в Ленинграде состоялся другой турнир, за день до начала которого умер шведский гроссмейстер Гидеон Штальберг. Пахман, проводивший со Штальбергом немало времени как за шахматным столиком, так и за игрой в бридж, писал тогда: «Шахматные журналы поместят в следующем месяце его портрет в траурной рамке вместе с анализами его лучших партий, но на очередном турнире о нем не будет сказано ни слова. Finito — его прогулка по миру закончена, солнце закатилось». Так случилось и с ним самим, разве что в более пространных некрологах о нем помимо перечисления его шахматных заслуг можно было увидеть два слова: Пражская весна.

## **ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ**

**Э**то что — конец? Так всё и кончается у шахматиста? Не остается ровным счетом ничего? Кажется, что меня относит назад, как будто я борюсь с сильнейшим встречным течением. Как будто сейчас играют в другие шахматы. Как будто всё, что я знаю об этой игре, для них давно пройденный этап. Но что уж точно, так это совершенно другой тип, эти сегодняшние шахматисты. Весь турнир я с ужасом думал, что в последнем туре мне предстоит играть черными с Ульффиком\*.

Таких людей в шахматах раньше не было. Мы, шахматисты старого времени, были большими личностями. Мы были смутьяны и хулиганы, которых боялись и которых уважали в нашей грандиозной битве с истеблишментом.

Сравните улыбочки и смешочки, с которыми этот Ульффик постепенно стирает вас с доски, с грубой силой какого-нибудь Штальберга. Странный, всегда конфликтовавший человек. Он мог назвать пять важнейших событий, произошедших за последние триста лет в любом году на выбор; он умер от белой горячки в гостиничном номере в Ленинграде. Это я могу еще представить себе, но нынешних молодых я понять не могу. Или разница между Штальбергом и Андерссоном заключается только в том, что раньше в моде был алкоголь, а теперь — марихуана?

Мы, шахматисты прошлого, выступали против норм, навязываемых нам обществом, но норм не существует больше. Бандиты выступают в роли судей, а шваль и шпану публика носит на руках. Я был в шоке, когда увидел, что Бём и ван ден Херик\*\*, эти уголовники от шахмат, в настоящее время являются членами отборочной комиссии, и поражен, что какие-то Рей и Лигтеринк публично именуют себя «профессионалами» и никто не выказывает никакого недовольства.

В мое время президент федерации шахмат лично переговорил бы с тобой, чтобы ты раскаялся в такого рода порочных мыслях. Нередко подобный разговор сопровождался грубыми оскорблениями, но функционер делал это главным образом для того, чтобы львиная доля денег, отпускаемых на шахматы, досталась любителям. В настоящее же время создается впечатление, что шахматы — это приличная профессия.

Ну и времечко! Голубые кричат о том, что их дискриминируют, шлюхи пишут мемуары, а совершеннейшие ничтожества заполнили телевизионный экран. Они избалованы, эти шахматисты, и никто из них не спрашива-

---

\* Шведский гроссмейстер Ульф Андерссон.

\*\* Ханс Бём — международный мастер, Яап ван ден Херик — профессор информатики в Делфте, специалист по шахматным компьютерам.

ет себя, по какой причине их так носят на руках. Шахматисты пользуются сегодня плодами общества всеобщего изобилия, но пусть не строят себе никаких иллюзий: если изменится экономическая конъюнктура в мире, они будут первыми, на ком это отразится.

*Вот уже тридцать пять лет, как я на этой работе. Стоила ли игра свеч?*

*Я выигрывал турниры и объездил весь земной шар. В Южной Америке я разговаривал с людьми, находящимися в почти еще первобытном состоянии. В Азии одна женищина прошествовала мимо меня с таким видом, будто она никогда не умрет. В маленькой улочке в Праге, на Градчанах, напротив замка мне явился однажды сам Господь.*

*Шахматная партия когда-нибудь да кончается, но вызывает эмоции и чувства, которые не проходят бесследно. В какой-нибудь другой цивилизации я ушел бы в монастырь. Шахматы — это аскеза, разочарование, саморазрушение, ничего больше. «Откуда это приходит, я не знаю, куда это ведет, я тоже не знаю. Это просто данность», — сказал Парацельс. Но — нет. Нет, non de non, je ne regrette rien\*.*

*Даже теперь, когда налицо все признаки, указывающие на то, что игра уже сыграна, я остаюсь в шахматах, и я счастлив, что не был каким-нибудь футболистом или танцовщиком, потому что о шахматах можно по крайней мере писать.*

*Игра развивается и прогрессирует, в то время как я просто плыву по течению. Я буду продолжать играть в чемпионатах страны до последнего вздоха и по мере сил освещать на журналистском поприще достижения Тиммана.*

*Сеансы одновременной игры тоже приветствуются, хотя это и обман народа, и единственное, чего достойны деньги, — это презрения.*

«Схаакбюллетин», август 1979

## КНЯЗЬ

Нью-Йорк. Бруклин. Солнечный сентябрь 2000 года. На скамейке набережной знаменитого Брайтон-Бича Леонид Александрович Шамкович. Пару месяцев назад ему исполнилось семьдесят семь лет.

*«...Уходит энергия. Исчезает воля к борьбе, уходят силы. Я ведь на ничью никогда не играл, боролся в каждой партии; бывало, до партии соглашался или сам предлагал, но так — нет... Я выдохся, и мне следовало бы уже давно перестать играть. Я, конечно, фанат шахмат и здесь, что и говорить, немногим от Яши Мурья отличаюсь. Играл все время и теперь не могу остановиться. Пару лет назад у меня была операция, а через несколько дней я уже играл в каком-то опене. Почему? Мне позвонили, я и согласился. Но они быстро раску-*

\* Нет, и еще раз нет. Я ни о чем не жалею (фр.). Слова из песни Эдит Пиаф.

*силы, в каком я состоянии, и даже пижоны играли со мной до конца. Наверное, шахматы вошли в мою плоть и кровь, в мое подсознание, и оттого что я сейчас не могу играть, страдаю очень...»*

С игрой, ставшей смыслом всей его жизни, Лёня познакомился в Ростове-на-Дону, где родился и ходил в школу. Он закончил Политехнический институт в Ленинграде, трудный физико-технический факультет, но по складу ума был гуманитарием, и профессией его стали шахматы.

Бессчетное число раз выступал он в первенствах обществ, разного рода чемпионатах, командных соревнованиях и спартакиадах. Гроссмейстером Леонид стал довольно поздно, в сорок два года, но тогда это было много труднее, чем сегодня, причем основной трудностью было даже не выполнение нормы, а просто командирование на международный турнир: конкуренция в советских шахматах была невероятная.

Шамкович был дважды чемпионом РСФСР, чемпионом Москвы, много раз играл в сильнейших турнирах того времени — первенствах Советского Союза, поделив в одном из них почетное пятое место. Когда он начал выступать в этих чемпионатах, в них играли еще Ботвинник, Керес, Бронштейн, потом Спасский, Геллер, Корчной, Петросян, Таль, Штейн, Полугаевский. В базе данных можно найти немало партий Шамковича с этими прославленными корифеями, но еще больше с Арониным, Нежметдиновым, Симагиным, Холмовым, Суэтиным, Фурманом, Багировым, Гипслисом, Васюковым, Лутиковым, Гуфельдом, Либерзоном.

Элитные гроссмейстеры относились к Шамковичу несколько иронически. Может быть, оттого, что в отличие от других гроссмейстеров второго эшелона, которым палец в рот класть было опасно, с Шамковичем можно было позволить себе больше. Они знали, что тот может увлечься какой-нибудь романтической атакой, красивой, но не вполне корректной идеей, будет тратить массу времени на то, чтобы просчитать все варианты, попадет в цейтнот. Однажды в сильнейшем обоюдном цейтноте Полугаевский, сделав ход, побледнел: Шамкович мог объявить ему мат в три хода. «Предлагаю ничью!» — закричал Полугаевский. «Согласен!» — тут же остановил часы Шамкович.

Он имел катастрофический счет с Корчным, выигравшим у него почти все партии. Однажды, когда Шамковичу показалось, что на доске пат, и он уже проставлял желанную половинку в графе результатов, Корчной указал карандашом на доске единственное поле, еще доступное, увы, его королю...

Но гроссмейстером он был настоящим, с собственным лицом и игровым почерком, и не раз становился призером и победителем международных турниров, пусть и не самых представительных. Под настроение и получив свою позицию, был опасен и мог победить кого угодно. На его счету выигрыши у Таля, Спасского, Бронштейна, Ларсена, Тайманова.

Он прекрасно понимал игру и многое знал о ней, равно как и массу историй, приключившихся с ним самим и с теми, кого он встретил за десятилетия пребывания в удивительном мире шахмат.

Шамкович мог играть любые начала, но, как правило, открывал партию ходом королевской пешки, стремясь к открытым позициям и избегая вязкой, длинной игры. Сугубо позиционный стиль Сейравана, нередко избиравшего дебюта типа 1.с4 с5 2.г3 г6 3.♟g2 ♟g7 4.♞с3 ♞с6, был ему явно не по душе. «Ну, ты пошел уже ♚b1?» – спросил он как-то Ясера, встав из-за стола и заметив того тоже прогуливающимся по турнирному залу. «Только что», – отвечал Сейраван, недоумевая, чем такой естественный ход мог заинтересовать Шамковича, тем более что он даже не подходил к его доске.

Он был сильным теоретиком и регулярно писал обзоры для журналов «Шахматы в СССР», «Шахматный бюллетень» и рижских «Шахмат». Над статьями работал тщательно, новые идеи не боялся обнародовать, и неслучайно в 1965 году Михаил Таль пригласил Шамковича помогать ему в претендентском матче с Борисом Спасским. И хотя Таль проиграл тогда, отношения у них остались самые дружеские.

На следующий год оба играли турнир на Мальорке. После пяти туров Таль лидировал со стопроцентным результатом. В те времена советские гроссмейстеры в зарубежных турнирах, как правило, не ломали копья в междоусобных поединках, но субординация все же соблюдалась, к тому же в шестом туре, когда им предстояло играть друг с другом, у Таля были белые фигуры.

Годы спустя Таль рассказывал об их совместной прогулке перед туром. «Миша, – начал Шамкович, – мне приснился ужасный сон. Мы играем в одном турнире и согласились на ничью до игры. Тур начинается, проходит час, другой, а вы продолжаете играть, как ни в чем не бывало. Моя позиция ухудшается с каждым ходом, я на грани поражения. Я говорю тихонько: «Миша, что вы делаете?» Но вы только улыбаетесь и закуриваете сигарету. И здесь я проснулся в холодном поту...» Таль засмеялся, и в принятом ферзевом гамбите гроссмейстеры разменяли к двадцатому ходу почти все фигуры...

В 1974 году Шамкович эмигрировал в Израиль. В Москве он с трудом сводил концы с концами, но уезжать в 51 год?! «С точки зрения многих моих родственников и друзей это был совершенно безумный шаг: в этом возрасте люди уже подумывают о пенсии, а не о том, чтобы коренным образом менять свою жизнь, – вспоминал потом Леонид Александрович. – Но я все же решился. На это были свои причины, отнюдь не только материальные».

Когда на Олимпиаде в Ницце зашла речь о нем и я по привычке назвал его Князем, Либерзон немедленно уточнил: «Бывший Князь, а ныне трудящийся Востока».

Князь. Так звали его за осанку, манеру говорить, жесты. Среднего роста, с едва заметным коричневым родимым пятном у виска, пронизательным взглядом карих глаз, он говорил не спеша; играя или анализируя, передвигал фигуры характерным, несколько высокомерным движением. Его часто называли Князем прямо в глаза, да и он сам участвовал в общей игре, цитируя порой во время анализа строки Высоцкого: «Шутить не можете с князьями...» Правда, и морщился, когда Юхтман в который раз повторял: «Из грязи да в князи...»

Приехав в Израиль, он выиграл открытый чемпионат страны и успешно выступил в нескольких турнирах, но два года спустя перебрался в Америку и с тех пор жил в нью-йоркском Бруклине. У Шамковича, по его собственному признанию, открылось второе дыхание, и он победил в открытых первенствах Канады, Америки, удачно играл и в других турнирах, вышел в межзональный и в пятьдесят семь лет попал в национальную сборную.

Тогда, на мальтийской Олимпиаде (1980), он проиграл белыми Гарри Каспарову. Решив избежать осложнений, Шамкович разменял несколько фигур, потом ферзей и перешел в худший эндшпиль, который семнадцатилетний Гарик провел очень точно. «Нет, ты посмотри, какая техника! — показывал Шамкович всем концовку партии. — А говорят только атака, атака... Да-а, быть ему чемпионом мира». И первый радовался, позабыв о результате. Если он и раньше частенько произносил имя Каспарова, то теперь стал его безоговорочным и горячим поклонником и оставался таковым до конца, проводя массу времени за анализом партий своего кумира.

Был дружелюбный, неконфликтный, легкий в общении человек, улыбка нередко появлялась на его лице, часто смеялся, порой до слез. Любил анекдот, шутку, мог поддеть в разговоре, но и сам легко переносил подтрунивания в свой адрес. «Написано о нем самом», — говорили злые языки о книге Шамковича «Жертва в шахматах», когда он начал очередное первенство страны с пяти поражений. Эта книга посвящена тому, что он больше всего ценил в игре: торжеству духа над материей, и сам Галь, пожертвовавший больше фигур, чем кто-либо, давал ей высокую оценку. Другая его книга, вышедшая уже в Соединенных Штатах, называется «Карманный справочник шахматного террориста». В ней тоже рассказывает об атаке, наиболее интересному для него компоненту игры.

Зла ни на кого не держал, но имел, как и подавляющее большинство шахматистов, легко ранимое эго, ревниво относился к своему репутации. Если я спрашивал его о ком-то, кого он знал лично, то разговор обычно складывался так: «Лутиков? Талантлив был, конечно, слов нет. Но это не мешало мне постоянно прибивать его и опережать в первенствах РСФСР. Вот в одной партии, помню...»

В Вейк-ан-Зее в 1986 году мне черными удалось выиграть у Ника де Фирмиана редким и не вполне корректным вариантом сицилианской защиты. Партия эта повторила до четырнадцатого хода его старую — с Равинским, игранную еще в 1953 году. Шамковичу показалось, что я уделил этому факту недостаточно внимания, и он прислал даже разгневанное письмо в редакцию «Нью ин чесс». Но потом успокоился, когда я в теоретическом обзоре подчеркнул его заслуги первопроходца, и во время нашей очередной встречи мы даже не касались этого вопроса: долго сердиться он не умел.

Шахматы любил беззаветно. Анализировал часами, забыв обо всем, наслаждаясь этим занятием. В отличие от многих гроссмейстеров, тоже увлеченно любящих шахматы, позиции, которые анализировал Шамкович, могли быть совершенно абстрактные, к дебюту никакого отношения не имеющие, и практическая польза от такого анализа была равна нулю. Он мог проводить часы над положением из заинтересовавшей его партии, игравшейся рядом с его собственной на каком-нибудь опене, над позицией из партии Тарасов — Нежметдинов, на которой открылся взятый им с полки ежегодник полувековой давности, или просто над диаграммой, увиденной в только что полученном журнале. Радовался всегда красивой, оригинальной идее: это было для него главным в шахматах, и в своих книгах и статьях он часто обращал внимание именно на эстетическую сторону игры.

Лет двадцать тому назад я задавал некоторым своим коллегам гипотетический вопрос: «Представь себе, что шахмат нет. Ты получаешь каждый месяц две тысячи долларов, но шахмат в твоей жизни — нет. Что скажешь?»

Я получал самые разнообразные ответы. Лев Альбурт тут же спросил об инфляции и налогах. Услышав, что поправка на инфляцию принята во внимание и две тысячи чистыми в месяц гарантировано, он, произведя в уме какие-то вычисления, сделал контрпредложение: «Три!» Эрик Лоброн отказался наотрез, сказав, что шахматы очень любит, но, когда я начал повышать сумму, сломался на двухстах тысячах в год. Другой согласился на предложение, но просил сохранить за ним шахматную рубрику в газете, объясняя, что это ведь не игра... Один голландский мастер был краток — он сказал: «Дай тысячу».

Когда я сделал такое предложение Шамковичу, он только засмеялся, и сколько я ни повышал ставки, дойдя до умопомрачительных, только повторял: «Подумай сам, ну что я буду делать с твоим миллионом, а тем более с десятью? И что я вообще буду делать целыми днями? Пойми, я люблю шахматы, люблю играть и анализировать, и занятие ими приносит мне удовольствие. Радость, можно сказать».

Леонид Александрович свободно говорил на многие темы. Знал толк в искусстве, в его библиотеке было немало художественных альбомов, а в

последние годы мог любоваться шедеврами Эрмитажа и Лувра на экране компьютера, не выходя из дома. Он с удовольствием читал, любил музыку и кино, но больше всего — встречи с коллегами-шахматистами и те бесконечные разговоры, когда анализ хода, пришедшего ему в голову прошлой ночью, сменялся рассказом о довоенном ростовском клубе в центре города с большим портретом «Товарищ Сталин за игрой в шахматы», на котором, присмотревшись, можно было разглядеть, что у вождя, игравшего белыми, сильная атакующая позиция, но в соперники ему предусмотрительный художник выбрал... локоть, который мог принадлежать, понятно, лобому его соратнику. После чего, сделав замысловатый изгиб, разговор переходил к тому, что именно сказал Шамковичу Жора Бастриков в 58-м году, нанеся в сицилианской смертельный удар, позже повторенный Фишером в партии с Решевским. Затем, после крутого виража, разговор мог вылететь на обочину пикантного анекдота, перейти к обзору политической ситуации в мире, выставке импрессионистов в Национальной галерее, спикировать к обсуждению шансов команды США на предстоящей Олимпиаде, неожиданно вырулить к его деду, доктору, который был родом из Таганрога и знавал Антона Павловича Чехова. Плавно перейти к сравнению докторских гонораров тогда и сейчас, сумме пристойного вознаграждения за партию, которую предложили сыграть самому Шамковичу за команду Королевского клуба в Голландии и, вылившись в бурный восторг по поводу последней победы Каспарова, пойти по пути совершенно непредсказуемому.

Все эти и многие другие темы, вспомнить которые я уже не могу, обсуждались нами во время долгих совместных прогулок по Лондону, когда в 1983 году там игрались претендентские матчи, на которых он присутствовал в качестве корреспондента «Радио Свобода» и журнала «Чесс лайф», а я — еженедельника «Свободная Голландия» и Би-би-си.

Там же, в Лондоне, Шамкович гулял иногда со Смысловым, выигрывавшим матч у Рибли и вообще переживавшим вторую молодость. «Ах, Лёня, Лёня... — начинал Василий Васильевич, беря своего собеседника под руку, и, хотя тот был моложе его только на два года, продолжал: — Вы еще молодой человек, у вас, Лёня, вся жизнь еще фактически впереди...»

Четверть века назад я был несколько раз у него в гостях, в бруклинской квартирке, где он жил вместе с женой Милой и ее сестрой-близняшкой, похожей на Милу как две капли воды, что порой вызывало шуточные вопросы его приятелей, но иногда ставило и самого Лёню в затруднительное положение. Дело осложнялось еще и тем, что сестры, прожив до этого несколько лет в Израиле, довольно сносно научились говорить на иврите и частенько, когда хотели сказать что-то, не предназначавшееся для Лёниных ушей, переговаривались между собой на этом языке. «Во, чешут на едрите», — восхищался Лёня, чье знание языка сводилось к привет-



ствию «шалом» и выражению «савланут, ие тов»\*. К тому же Мила была женщиной очень строгих правил, и, если ей казалось, что муж допустил какую-либо словесную вольность, она сразу протягивала руку с одним, двумя или даже тремя поднятыми пальцами, как это делают судьи на баскетбольных матчах. Жест означал, что начиная с этого момента она прекращает с Лёней какой бы то ни было контакт; общение прерывалось на количество недель, соответствующих числу показанных ею пальцев, что, в свою очередь, зависело от фривольности выражения.

«Фу, какая пошлость», — говорила Мила обычно в таких случаях. Только однажды ему сошло с рук, когда тяжесть наказания должна была превысить все мыслимые границы. Проснувшись рано утром и обдумывая программу грядущего дня: походы в банк и страховой офис, посещение организации для эмигрантов «Найана», где настырная сотрудница снова предложит заполнить тысячу анкет, — он, забывшись, сказал в сердцах: «Да пошла она на...» И сжался, осторожно косясь — не проснулась ли жена. Жена проснулась, но, опешив от такой неожиданной, а главное, ничем не мотивированной реакции, только спросила изумленно: «Но почему?!»

Однажды, сев в скоростной поезд, отвозивший его в Манхэттен, он пропустил свою остановку и оказался вечером в одном из небезопасных районов Гарлема. «Я сразу почуял — что-то не то: вокруг ни одного светлого лица. Но пока ориентировался, ко мне сразу один деятель подошел, ты бы только его увидел! Так мало того что пятьдесят долларов отнял, еще и отметелил за милую душу», — говорил Лёня, показывая синяки. Но Нью-Йорк любил и чувствовал себя в Бруклине как дома. «У вас в Амстердаме тоже, конечно, полно сумасшедших, но здесь на Брайтоне такие типы попадаются — паноптикум, прямо Одесса двадцатых годов...»

Шамкович знал массу выражений из лексикона местной публики, иногда и сам употреблял их. «Значит, так, — объяснял мне Лёня, как добраться до его квартиры, — возьмишь сабвей, сделаешь пересадку на Барахолке\*\*, а там по прямой еще минут тридцать пять. Когда выйдешь, иди за любым человеком, говорящим по-русски».

Хотя он прожил в Америке тридцать один год, большинство его воспоминаний и рассказов было связано с Россией. За свою долгую жизнь профессионального шахматиста Леониду Александровичу довелось встретить множество самых разных людей, и он любил и умел рассказывать о них. И не только о шахматистах. В Москве он жил рядом с пошивочной

---

\* Терпение, всё будет хорошо (*иврит*). Выражение, говорящееся обычно новым иммигрантам в Израиле.

\*\* «Wagrow Hall» — станция нью-йоркского метро, на жаргоне русских американцев — «Барахолка».

мастерской и, зайдя туда однажды, стал свидетелем разговора, который потом мастерски передавал в лицах:

— Зазвонил телефон, и поднявшая трубку пожилая приемщица закричала в глубину зала: «Зойка, п..., тебя к телефону!» Пришедшая Зойка, прикрывая трубку рукой, с деланной укоризной: «Ну что вы, Марья Антоновна, всё п... да п...?» Приемщица — примирительно, по-домашнему: «А что ж, не п..., что ли?» Та — соглашаясь с начальством и добродушно: «Ну, п..., п...» Фактически при помощи одного слова они передали целую гамму ощущений, возможно ли такое в английском? — восхищался Князь богатством русского языка.

Английский он начал учить еще в Москве, но ко времени приезда в Америку ему было уже пятьдесят три, и его язык остался на бытовом уровне. Когда говорил по-русски, вставлял то и дело в свою речь английские слова и выражения. Как и многие русские американцы, он говорил lawyer, insurance, appointment. В его письмах ко мне я мог найти выражения please find enclose, fee, expenses, round-robin tournament и другие.

Брак с Милой распался, но в 1989 году, когда Шамковичу было уже шестьдесят шесть, он встретил в Москве, где играл в турнире ГМА, женщину, которую знал еще в школьные годы. Роман, вспыхнувший десятилетия спустя, завершился ее переездом в Соединенные Штаты. Но и этот брак не выдержал испытания временем, и до конца жизни Шамкович жил один в «однобедренной» (как называют русские американцы «one bedroom») квартирке, что в русском эквиваленте означает двухкомнатную, в минутах пятнадцати ходьбы от знаменитой набережной Брайтон-Бич. Но двигался он медленно, часто останавливался передохнуть, и наш путь, помню, занял едва ли не час. Вдобавок он раскланивался направо и налево — как же, гроссмейстер Шамкович! — его многие знали там, особенно у шахматных столиков на набережной, где блицуют в хорошую погоду никуда не спешащие пенсионеры и вэлферисты\*. Публика там действительно своеобразная, и однажды, когда я зашел в гастроном «Москва» на Брайтоне, услышал, как покупательница выговорила продавщице, обратившейся по-русски к американцу, не понимающему, чего от него хотят: «Ну что ты с ним разговариваешь, это же мэстный...»

Одно время он вел рубрику в самой популярной тогда в Нью-Йорке русскоязычной газете «Новое русское слово». Прирабатывал, пока мог, комментариями к партиям, писанием статей, уроками. Наступала, наступила старость.

Когда ему исполнилось восемьдесят, имя Шамковича занесли в Зал Славы американских шахмат. Всё собирался поехать на торжества, но так и не смог — здоровье не позволило. Позвонил ему в тот день.

---

\* Welfare (англ.) — пособие по безработице.

— Шахматы какие-то неинтересные стали... Возможно, я старею, но мне кажется, что сейчас скучнее стали играть в них. Разве что Широу, да еще Полищук, вот его партии недавно смотрел... Как? Да-да, Грищук, а я что сказал?

Анализирую в последнее время партии первенств СССР. Там, знаешь, и в полуфиналах масса интересного было. За турнирами? Нет, не слежу, разве что кто-нибудь позвонит и расскажет, но редко кто звонит. Интернет? Да, слышал, что есть что-то такое, надо бы как-нибудь научиться. А ты не знаешь, выходит ли еще «Чесс лайф»? Что-то мне перестали присылать.

Да нет, ни с кем не общаюсь. Из шахматистов только Борис Крейман иногда заходил, в последнее время и он уже не заходит.

Привожу в порядок записи о творческом пути. Партии свои анализирую. Вспоминаю старых мастеров. Читаю. Особенно одного писателя, я боготворю его... Ну, как его?.. Да как же его? Ну помоги мне, у тебя память лучше, чем у меня... Он еще «Мастера и Маргариту» написал, да как же его?.. Или вот только что прочел о жизни одного художника, понравилось очень, он еще знаменит был усами своими, такими закручивающимися... Как же его?.. Ну, а сам-то ты как? Кажется, недавно какой-то турнир выиграл, мне кто-то сказал. Давно не играешь? Ну, значит, напутали... Прочел, прочел твою книгу... Я ведь тоже многих знал, вот Левенфиша например; могучий был старик. Я редактировал тогда его воспоминания, это мало кто знает... А что, если тебе написать на более конкретные темы: например, шахматы и политика, или шахматы и секс, или чудачки в шахматах? Но тут одним томом не отделаешься...

Почему сам не напишу? Если решусь написать о себе, то это будет книга жалоб. Шучу, конечно. Это не я сказал, это Раневская сказала.

...Здоровье? Неважно, но держусь как-то еще. Мне ходить трудно, ну и эта болезнь, как ее? Ну, как же ее? (Кричит кому-то: «Как называется моя болезнь?») Да, да, Паркинсон, Паркинсон... Ну и букет самых разнообразных других болячек... Мало того что передвигаюсь со скоростью улитки, главное, эта болезнь... как ее, ну как же ее? Да, да, Альцгеймер, кажется...

Был ли на матче Каспарова с машиной? А что, был такой? Когда? Чем закончился? Вот обида-то какая, а я и не знал...

Что делаю целыми днями? Читаю, да теперь всё больше журнальчики местные, по-русски, конечно. До серьезных книг руки не доходят, знаешь, у меня ведь библиотека обширная очень, не знаю, что с ней и делать... Да, русское телевидение смотрю, оно несравнимо интереснее американского, там такую чушь иногда несут... Вот на днях сын придет, вместе русское телевидение посмотрим, у него ведь его нет, вот пусть сам и сравнит. Слушай, а как Каспаров, будет ли играть свой матч на мировое первенство с этим... тьфу, с памятью что-то стало... Ну, как его бишь?.. Гуляю ли? Приходит тут ко мне одна женщина, славная очень, вот мы с ней вместе и гуляем.

*Я вот у Ботвинника спрашивал, когда он в Америку приезжал, бывают ли у него шахматные галлюцинации, видения шахматные, так он сказал, что нет, а у меня вот бывают... Недавно приснилась одна позиция, что я Фишеру в Калифорнии показывал. Непростая очень, там конь с пешкой борется. Задумался Фишер тогда, а я ему – показать? Он засмеялся еще и пальчиком так погрозил: нет, мол, господин Шамкович... А через минуту сам решение нашел. Вот эта самая позиция и приснилась. Постоянно снятся и какие-то партии, но дебют всегда один – Уфимцева. После 1.e4 d6 2.d4 ♘f6 3.♗c3 соперник отвечает обычно 3...сб. Наутро партию не могу восстановить, только контуры – жалко очень. Помню только, что захватываю инициативу, атакую, атакую, борьба идет страшная; откуда у меня такая свирепость, сам диву даюсь, но никогда мата не удается поставить. Чуть-чуть не дотягиваю, не получается, но всякий раз думаю: может быть, следующей ночью удастся?..*

Леонид Александрович Шамкович умер 22 апреля 2005 года в Нью-Йорке на восемьдесят втором году жизни.

## **ПРОРОК ИЗ МУГГЕНШТУРМА**

**У**же по внешнему виду Эмиля Йозефа Димера можно заметить, что он не относится к тем людям, которые время от времени с удовольствием смеются над самими собой.

Худой, облаченный в костюм, по виду которого можно сразу сказать, что его хозяин окончательно расстался с мыслью, будто внешность имеет какое-либо значение, острый, выдающийся вперед нос, сдавленный смешок из беззубого рта, он перемещается странной, несколько танцующей походкой. Он относится к тому типу людей — мы все знаем этот тип, — кто всегда роняет чаши со стола. Во время последнего турнира в Бевервейке он упал со сцены. Случайность, конечно, но если спросить до начала турнира, кто из участников рухнет вниз со сцены, все хором сказали бы: Димер.

Еще до войны Димер — родом из Муггенштурма — был шахматистом и журналистом, до некоторой степени известным в шахматных кругах.

Вместе с невероятно древней конструкции пишущей машинкой он переезжал с одного турнира на другой, к отчаянию своих коллег, полагавших, что абсурдно низкий гонорар, который Димер просит за свою работу, окончательно подрывает рынок. Очевидно, что для него было более важным «находиться при деле», чем зарабатывать деньги. Это всё длилось примерно до 1950 года, когда Эмиль Йозеф Димер был обращен в новую веру.

Он открыл гамбит Блэкмара! Сначала были письма, адресованные к таким известным шахматным теоретикам, как доктор Эйве. В этих письмах Димер указывал на новые, необозримые возможности в старом гамбите 1.d4 d5 2.e4 de — находке шахматиста 19-го века, судьи из Нью-Йорка Блэкмара. Всё это известно. Люди, изобретавшие новые начала в шахматной партии, были всегда. В большинстве своем — это немцы, и их дебют гарантировал, как правило, форсированный выигрыш. В 1948 году появилась книжка о дебюте 1.g2-g4.

Сначала Димеру терпеливо отвечали, что гамбит Блэкмара вполне может быть применен на практике, но кроме этого гамбита есть очень много других начал.

Но когда письма стали превращаться в манускрипты, а тон посланий стал всё более и более резким, их просто стали игнорировать, а его самого — высмеивать. Особенно тяжелые отношения сложились у Димера с немецким шахматным журналом и федерацией шахмат Федеративной Республики, где, вероятно, стыдились выражений типа: «Дьявол бушует над шахматной доской, тевтонская ярость дает себе выход». Когда Димер почувствовал, что повсюду встречает сильное сопротивление, он подкрепил слово делом и, основав «Орден Блэкмара», стал выпускать отпечатанный на

гектографе шахматный журнал под тем же названием. Журнальчик рассылался «Блэкмар-гамбитчикам», помещал их партии, снабженные примечаниями, сделанными рукой самого маэстро. Примечания отличались огромным количеством восклицательных знаков. В этом журнальчике у Димера была полная возможность придать своим идеям и накопленному опыту в разыгрывании гамбита законченную форму. Он пришел к убеждению, что его находка, гамбит Блэкмара, значительно расширила границы ограниченной шахматной игры. «Играйте же Блэкмара, это меняет всю личность человека», — поучал он.

А вот заглавие его статьи в рождественском номере журнала 1956 года: «Для тех, кто смотрит в Абсолют, война имеет смысл, только если это война до полного уничтожения».

Он вдохновил американских приверженцев гамбита на исследование жизни и личности Блэкмара, человека, который так много дал миру. После нескольких месяцев Димер выступил с «сенсацией века», сообщив, что гамбит, вероятно, впервые был применен не Блэкмаром, а его братом, имевшим магазин мужской одежды в Новом Орлеане.

Самым большим противником гамбита Блэкмара оказался Ханс Мюллер из Вены, и на его голову обрушились самые тяжкие проклятия. Этот австрийский мастер с самого начала отрицал корректность гамбита Блэкмара. Каждый анализ Димера был встречаем раздраженными опровержениями Мюллера. Они регулярно обменивались письмами, полными ужасных оскорблений, особенно усилившимися после того, как не только писания Димера, но и ответы Мюллера перестали печататься на страницах немецких и австрийских шахматных журналов. Их великое противостояние в поисках истины продолжается, и кое-кто предполагает, что когда-нибудь, на исходе Всех Времен, Мюллер примкнет к «Ордену Блэкмара».

Эмиль Йозеф Димер опубликовал недавно книгу под названием «От первого хода до мата». Признаться, тон этой книжки довольно сдержанный, что произошло, по всей видимости, под давлением издателя, хотя количество восклицательных знаков могло бы быть и меньше. Я надеюсь, что всем предыдущим изложением я не очень напугал читателя, потому что это — очень симпатичная книжка. Но что мы должны думать об этом Димере и его гамбите Блэкмара?

В шахматах основной объект нападения — неприятельский король. Он должен быть заматован. Разумный игрок приступает к подготовке этой операции терпеливо и «дипломатично» и уж точно не будет следовать девизу Димера: «Играть на мат, начиная с первого хода». Но от партий, где шахматист играет неразумно и все-таки побеждает, исходит огромное очарование.

Во времена Ренессанса, когда шахматная игра в своей настоящей форме была еще очень молода, все играли, как Димер. Джоакино Греко и Рюи Лопес применяли дебюты, довольно глубоко ими проанализированные, в которых с

первых же ходов шли в атаку. Филидор — «рационалист» 18-го века — фактически изобрел позиционную игру. Но в 19-м веке безграничная агрессивность возвратилась вместе с «романтиками». Андерсен со своими гамбитами и комбинациями был наиболее ярким представителем этой школы.

Поэтому Димер может быть пигмеем, но стиль его игры никоим образом не должен быть высмеян, и, что самое важное, он очень поучителен. Каждому, кто хочет лучше играть в шахматы, я могу порекомендовать эту книжечку Димера. В ней не раскрываются секреты борьбы с изолированной пешкой, нет здесь и примеров на использование преимущества двух слонов, зато вы найдете то, что составляет основу каждой шахматной партии: атаку на короля.

В этой книжечке собрано триста партий, где неприятельскому королю был объявлен мат самыми изощренными способами. Каждый шахматист должен научиться этому искусству и только потом думать о пешечных структурах.

В предисловии к книжечке упомянуто и мое имя. Здесь я должен объяснить-ся. Во время турнира претендентов в Амстердаме (1956), впервые встретив Димера, я сказал ему: «Русские вроде начинают играть вашу систему...» Я полагал, что он, покраснев, станет это отрицать, но ничего похожего не произошло; он сказал только: «Они пытаются».

Журнал «Тайд», февраль 1958

## МАНЬЯК ИДЕИ

В прошлом году появилась книга, посвященная Эмилю Йозефу Димеру, с подзаголовком: жизнь, отданная шахматам. Автор этой книги — Ален Домметт в своем рассказе об изобретателе гамбита не упоминает, что Димер (1908—1990) уже в 1931 году стал членом национал-социалистической партии, сохранив симпатии к Гитлеру и после войны. Отсюда, конечно, и «дьявол, бушующий над шахматной доской», и «тевтонская ярость, которая дает себе выход», о которых пишет Доннер. Эти и подобные высказывания, равно как и неоднократные публичные заявления, что немецкие шахматы насквозь пропитаны духом гомосексуализма, привели к тому, что после войны Димер был исключен из членов Германского шахматного союза.

Он был фигурой жалкой, комической, параноидальной и мало вызывающей симпатию, не говоря уже о его политических взглядах. Эти взгляды сосуществовали у него с высокомерием, фанатизмом и безграничной верой в себя, но эти качества, как мы знаем, нередко создавали репутации и имена, навсегда оставшиеся в истории человечества.

Слова «ниграта» на санскрите, «мешуган» на иврите и «мания» по-гречески означают и сумасшествие, и пророчество. Он считал себя пророком, но был, конечно, маньяком, маньяком идеи. Спустя полвека после того как Димер вновь открыл гамбит Блэкмара, мы должны согласить-

ся с мнением австрийского теоретика Мюллера, что это начало некорректно, а безжалостный компьютер уже после нескольких дебютных ходов оценивает позицию как почти проигранную для белых.

Для порядка отмечу, что гамбит Блэкмара–Димера в чистом виде получается после ходов 1.d4 d5 2.e4 de 3.f3. Возможно, конечно, принятие гамбита, но самое решительное здесь 3...e5! Поэтому Димер усовершенствовал гамбит, предложив такой порядок ходов: 1.d4 d5 2.♗c3 ♗f6 3.e4. Но тут возможно взятие пешки конем – 3...♞:e4, что резко снижает атакующие возможности белых. В конце концов Димер пришел к выводу, что самый правильный порядок ходов – 1.d4 d5 2.e4 de 3.♗c3 ♗f6 4.f3. Но и здесь современная практика не подтверждает корректности гамбита. Английский мастер Эндрю Мартин, недавно написавший статью об этом начале, заканчивает ее словами: «По мне, играть гамбит Блэкмара–Димера – все равно что отправиться за покупкой собственного надгробья».

Помимо наиболее распространенных дебютов в шахматах имеется множество самых разнообразных вариантов и защит, о которых, я думаю, не слышали даже гроссмейстеры. Известен ли читателю бруклинский вариант в защите Алехина – 1.e4 ♗f6 2.e5 ♗g8? Так сыграл однажды Петросян в тренировочном турнире в Москве против Болеславского. Или гватемальская защита? Она получается после ходов 1.d4 b6 2.e4 ♗ab. Улучшенную версию этой защиты – 1.d4 e6 2.♗f3 b6 3.e4 ♗ab избрал в партии со мной мастер Бём в чемпионате Голландии 1978 года. Как правило, подобные экзотические начала применяются с одной целью: как можно быстрее сбить противника с теории. Увы, плата за это оказывается слишком высокой. Обе упомянутые партии закончились победой белых.

Той же цели – поскорее увести соперника с проторенных дорог – служит и ход 1...ab в ответ на 1.e4. Его применил Тони Майлс в партии командного чемпионата Европы в Скаре (1980) против Анатолия Карпова. Хотя Майлсу и удалось победить тогдашнего чемпиона мира, популярным этот дебют не стал, но время от времени анализы его появляются в шахматных журналах. После успеха английского гроссмейстера дебют получил название «защита Святого Георгия» – намек на былинного победителя дракона: Майлс был одним из самых ярких исследователей варианта дракона в сицилианской защите.

В России главным разработчиком этого необычного начала является Юрий Ремизов из Читы, регулярно публикующий анализы и партии (главным образом свои), сыгранные защитой Святого Георгия. В одной из статей он пишет, что «к пониманию ценности хода 1...ab в ответ на 1.e4» он пришел «еще в 1964 году и стал его систематически применять».

Примерно в то же время на сравнительно высоком уровне этот ход стал делать английский мастер Майкл Басман. У него тоже были собственные анализы, появились последователи, стала постепенно создаваться теория –



как раз то, чего Басман старался избежать. В конце концов защита 1...аb стала казаться ему слишком пресной, и Басман перешел к расширенному фианкетто королевского слона: 1.e4 h6 2.d4 g5. Позже он, как правило, совмещал обе идеи: первый ход — от ферзевой ладьи, второй — от королевской! Хотя порядок ходов здесь значения, понятно, не имеет. Так Басман начинал игру против гроссмейстеров Адамса, Хебдена, Норвуда. Аналогичным образом развивалась партия чемпионата Голландии 1992 года между мастерами Куиффом и Кноппертом, игравшаяся на моих глазах.

Во многом это начало перекликается с дебютом Уйтелки (двойное фианкетто слонов, расположение пешек по 6-му ряду, вывод коней на e7 и d7 независимо от манеры развития белых), нередко применявшимся Борисом Спасским в 60–70-х годах. Сейчас к этому дебюту прибегают главным образом в «перебоях» нокаут-турниров, когда черным позарез нужна победа. Справедливости ради отмечу, что система Уйтелки выглядит более сдержанно, чем защита Святого Георгия.

Говоря о необычных началах, нельзя не упомянуть о дебюте Андерсена — 1.a3, Гроба — 1.g4, сарагосском начале — 1.c3 или о ходе 1...g5 в ответ на 1.c4, которому Каспаров в дебютной энциклопедии, вышедшей в Англии двадцать лет назад, дал короткий комментарий: шахматы — не кегли! В сравнении с этими дебютами варианты Вузла — 1.d4 c5 2.d5 ♗f6 3.♗c3 ♖a5 и Фаяровича — 1.d4 ♗f6 2.c4 e5 3.de ♗e4 кажутся пресными и сугубо позиционными.

Менее вызывающим, хотя тоже экстравагантным, выглядит выход на первом ходу ферзевого коня — 1.♗c3. Дебют этот назван именем ван Гейта, благополучно здравствующего голландского шахматиста, не без успеха игравшего так в 60-х годах на достаточно высоком уровне и снявшего даже пару гроссмейстерских скальпов. Имеется книжка, посвященная этому началу, с обстоятельными анализами. Сам ван Гейт был довольно приличным мастером; он выигрывал у Тиммана, Бисгайера, делал ничьи со Спасским, Портишем, О'Келли, хотя дело было, конечно, не в дебюте. Ход 1.♗c3 иногда применяли Гулько, Ней, Рашковский, Бенджамин, Уотсон. Переигрывая их партии, угадываешь скрытый смысл такого необычного открытия игры: не только увести соперников от теории, заставив с первых ходов мыслить самостоятельно, но и избежать дебютов, являющихся основными в их репертуаре. Для тех, кто выводит на первом ходу ферзевого коня, эти аргументы более весомы, чем тот факт, что сами они тоже оказываются на незнакомой территории. Впрочем, большинство гроссмейстеров относятся к дебюту ван Гейта скептически или даже пренебрежительно. Так, Властимил Горт, узрев ход 1.♗c3 в одной из своих партий в бундеслиге, ответил 1...♗a6 — и я так могу! — и в итоге добился победы.

Лет пятнадцать назад перед очередным туром дружеского матча с французами голландцы договорились применить на всех шести досках дебют ван Гейта (в тот день они играли только белыми). Кроме шутки здесь име-

ла место быть и журналистская корысть: два члена команды — Лигтеринк и Рей вели рубрики в крупнейших газетах страны, и лучшего материала для читателей нельзя было придумать. Испортил песню я: увидев на пяти демонстрационных досках вышедшего вперед ферзевого коня, я несколько минут сидел в задумчивости, не делая хода, после чего, сказав окружившим мой столик коллегам: «Нет, не могу, рука не поднимается», — принял компромиссное решение, введя в игру королевского коня. Кавалерийская атака голландцев, помнится, увенчалась успехом; товарищи же по команде корили меня потом за нерешительность, впрочем, недолго...

Сегодня дебют ван Гейта на высоком уровне применяет время от времени Александр Морозевич. Так он сыграл против Юдит Полгар на чемпионате мира в Сан-Луисе (2005), а потом в комментариях дал подробное обоснование выбранному дебюту, который вскоре перешел в один из вариантов сицилианской защиты.

В Германии издается журнал «Кайсибер», в котором подвергаются анализу редкие дебюты и варианты. Журнал, главным редактором которого является Стефан Бюккер, издается нерегулярно, примерно три-четыре раза в год. В нем тщательно анализируются всякие экзотические возможности, типа варианта Хакерта в защите Алехина, примененного Иванчуком на финише матча с Пономаревым в 2001 году, когда львовскому гроссмейстеру позарез нужна была победа. Или анализы дебютов, которые могут озадачить даже знатоков игры; например, 1.e4 c6 2.♘c3 d5 3.♚f3 e5 4.ed ♘f6 — это один из самых безобидных вариантов, исследованных в «Кайсибере».

В шахматах много самых разных начал. Наиболее распространенное за белых: пешкой на два поля от короля, что представляется мне самым опасным для черных. Другие солидные открытия игры: пешкой — тоже на два поля — от ферзя или ферзевого слона, а также вывод королевского коня. Все остальные начала тоже возможны, но обещают меньше шансов на захват инициативы.

Выбор дебюта за черных зависит, разумеется, от первого хода белых. Вспоминаю, как юный Каспаров во время Олимпиады на Мальте (1980), рассуждая о дебютах, разделял их на три категории: корректные, полукорректные и некорректные.

Так, абсолютно корректными в ответ на 1.e4 он признавал только встречный ход пешкой от короля на два поля, немедленно создавая противовес центру белых, и защиту Каро-Канн: теперь, как бы белые ни отвечали, удар по их центральной пешке неизбежен.

К полукорректным дебютам он относил любимую им сицилианскую: черные оставляют пешку e4 без внимания, но в дальнейшем другая центральная пешка белых (считается, что наиболее агрессивная манера игры связана с продвижением d2-d4) разменивается на фланговую пешку чер-

ных; к тому же в распоряжении черных оказывается полуоткрытая линия «с». К полукорректным началам Каспаров относил и французскую защиту: здесь также на следующем ходу наносится удар по центру, но у черных остается проблема развития белопольного слона.

Все остальные дебюты будущий чемпион мира зачислил в некорректные, полагая, что у белых сохраняется сильный центр, а черные не получают взамен никаких реальных выгод. Возможно, будущее и покажет правоту Каспарова, но точно ответить на этот вопрос сумеет только компьютер.

У любителя, заглянувшего в шахматный отдел какого-нибудь книжного магазина, могут разбежаться глаза от обилия справочников, пособий и дебютных монографий. Большинство их можно смело отнести к разряду, который Тони Майлс охарактеризовал в рецензии на один такой шедевр словом «барахло»! Особенно следует опасаться книг, в которых ничего не объясняется, а текст состоит только из букв латинского алфавита, цифр и бездушных знаков. Оценка позиции в такого рода книгах, даже если они носят громкое название «Энциклопедия», базируется зачастую на результате партии, порой не имеющем никакого отношения к дебюту. Запутавшись в значках, не объясняющих, какой следует выбрать план, почему у белых немного лучше, на чем вообще базируется такая оценка позиции, любитель шахмат только ужаснется неподъемной работе, предстоящей ему для освоения нового дебюта, или еще того хуже — примется за ее выполнение.

Избегайте также книг с броскими заголовками типа «Как черные выигрывают в голландской защите» или «Атака Маршалла ведет к победе!» Продавцы шахматных книг в Вейк-ан-Зее, раскидывающие свои лотки у входа в турнирный зал, уже привыкли к моему время от времени задаваемому вопросу: «А нет ли у вас книги, где можно было бы найти, как черные выигрывают против любой защиты белых?», но отвечают терпеливо, что нет, такой книги пока не написано.

## **ЖЕНЩИНЫ И ШАХМАТЫ**

**Р**аньше или позже, но об этом должно быть сказано. Как болезненно ни было бы это воспринято, мы не должны бояться заявить со всей прямо-той: женщины не умеют играть в шахматы. Не умеют и, если вы спросите у меня, никогда не научатся. Здесь, на турнире в Бамберге, я был вынужден констатировать это еще раз. Постоянным гостем турнира была молодая и элегантная фройлен Йоргер, по профессии — пилот, к тому же пианистка очень высокого уровня, носящая в шахматном мире почетный титул «чемпионки земли Гессен и Баварии». Я рассмотрел фройлен Йоргер с большим вниманием и с близкого расстояния. Скажу откровенно: я доверился бы ей, окажись она за штурвалом самолета, ее фортепианная техника исключительно высока, но играть в шахматы... нет, в них она ничегошеньки не смыслит, так же как и любая другая женщина.

Почему женщины не могут играть в шахматы? После более чем двадцати двух лет серьезного научного исследования, мне кажется, я нашел этому объяснение. Как известно, женщина в любом своем качестве превосходит мужчину. Физически она выносливее. Вследствие своего невероятного терпения женщина всегда с легкостью выигрывает вечную борьбу у мужчины на длинной дистанции. Женщина может логически думать, что у мужчин встречается довольно редко. Женщина обладает лучшей памятью. Каждый из нас, кому приходилось иметь дело с женщиной, сталкивался с этим. Женщина целенаправленнее мужчины, смекалистей его и понимает окружающих много лучше, чем он.

Чего же не хватает ей, отчего все эти блистательные качества исчезают и становятся совершенно бесполезными, когда женщина занимает место за шахматным столиком?

Во всем женщина превосходит мужчину, не хватает ей только одного: интуиции.

Позвольте мне объясниться, чтобы не быть неправильно понятым. Понятие «интуиция» я употребляю здесь не в затасканном, вульгарном смысле этого слова, в котором оно применяется обычно. Нет, я придаю этому понятию его первоначальный смысл, а именно — «прозрение». Что-то делается или что-то не делается без какого бы то ни было логического объяснения, после чего выясняется, что это и было единственно верным.

Например: в поисках решения какой-то проблемы вы идете по людной улице, заходите в книжный магазин, достаете с полки первую попавшуюся книгу, она раскрывается на странице 84, и именно на этой странице объяснено решение искомой проблемы.

Или: вы упаковываете чемодан, готовясь к трансатлантическому перелету. Внезапно организаторы только что закончившегося турнира ввалива-

ются в вашу комнату и просят задержаться на день, чтобы провести сеанс одновременной игры. Вы переносите полет на завтра и, когда после сеанса возвращаетесь в гостиницу, узнаете, что самолет потерпел аварию и никто не остался в живых. На следующий день вы находите свою фамилию в траурной рамке, потому что она тоже была в списке пассажиров. Какая-нибудь женщина так бы и погибла, но не таков я.

Это, конечно, не более чем примеры, но интуиция не подчиняется ни правилам, ни какому бы то ни было объяснению. Завистливые соглядатаи — в особенности женщины — объясняют обычно всё это «случайностью» или «счастьем», но тот, кто обладает интуицией, только смеется и знает, что посчастливилось ему совсем не случайно.

То же самое и в шахматах. Примечательно, что женщины, играющие в шахматы, в состоянии хорошо считать варианты и комбинировать. Удивительна та логика, с которой они принимают то или иное решение. Здесь тебе и ум, и терпение, и энергия! И всё — впустую.

Мы, «интуитчики», лепим что придет в голову: кто его знает, почему поле f6 нам не нравится и мы предпочитаем с6. Да, черт побери, с6 выглядит ведь так аппетитно. Твердое и в то же время такое мягкое. Большого мы не можем объяснить, но даже этого не так мало для выражения интуитивного хода словами. Через месяц в зарубежных журналах можно обнаружить длинные анализы, в которых доказывается, почему ход конем на с6 был лучшим. Но всё это — потом. Интуиция — это озарение, которое потом выглядит единственно верным решением.

Женщины в своих действиях, как правило, не принимают в расчет ни причины, ни цели. Все же каждый, кто имел дело с женщиной, знает, что интуитивные, бессмысленные на первый взгляд действия случаются и у них. Но никогда это не бывает связано с озарением. Огромная разница с мужской интуицией заключается в том, что такого рода действия всегда кончаются у женщины катастрофой. У нее никогда ничего не получается интуитивно, и в результате можно только констатировать: вот она — женщина.

Отцы и мужья, читающие эти строки, имейте в виду: все положительные качества, которые мы находим в женщине, недостаточны, чтобы она могла сыграть приличную партию в шахматы. Так что с того! Для них остается еще столько всего: религия и искусство, сплетни и политика, вынашивание детей и философия, и, наконец, — рукоделие.

Журнал «Авеню», август 1968

## ГИГАНТСКАЯ ПРОПАСТЬ МЕЖДУ ПОЛАМИ

В конце августа газета «Пароль» попросила меня написать для женской рубрики статью на очень интересную, но довольно сложную тему «Почему женщины не могут играть в шахматы?» Являясь экспертом в этой обла-

ти, я поспешил удовлетворить желание газеты. Следует заметить, что Макс Эйве тоже высказал свое мнение по этому поводу, но его объяснение проблемы очень статично: так как в шахматы играет много меньше женщин, чем мужчин, то и шанс на появление сильной шахматистки неизмеримо меньше. Это обоснование мне очень нравится своей любезностью, но несурзность его бросается в глаза.

«Мое объяснение просто и радикально: разница между полами в шахматной игре очень велика, но, на мой взгляд, не больше, чем в любой другой области культуры. Женщины не могут играть в шахматы, но они также не могут ни писать, ни рисовать, ни сочинять музыку, ни философствовать — фактически женщина не создала ничего, что заслуживало бы внимания. Следовательно, не шахматы тому виной. Что же тогда?»

Причина этого очевидна и заключается в первую очередь в том, что женщины много глупее мужчин. И потому, что они много глупее, они не обладают способностью черпать вдохновение в самих себе. Полезная работа, связанная главным образом с повседневными заботами, — вот область, где женщины чувствуют себя превосходно».

Сразу же после того как я написал эти строки, в газету поступил первый отклик.

Писательница Ханни Михаэльс категорически не согласилась с моим утверждением, что женщины не могут писать, и в доказательство привела несколько имен. Старые перечницы, когда-либо бравшиеся за перо! Симона де Бовуар! Мери Мак-Карти!! Ну, кто там еще? Почему тогда не сразу совершенно нечитабельная Франсуаза Саган?

За другими письмами дело не стало. Меня даже обвинили в дискриминации. «Доннер забыл внести в свой список негров. Список должен был бы выглядеть так: женщины и негры не могут играть в шахматы, потому что они глупее нас», — писала одна читательница из Амстердама. Эта госпожа неправильно поняла меня. Негры могут играть в шахматы, не могут — негрятянки. В этом — разница.

Ах, женщины, ну прямо как дети, думаю я порой.

Приятно порадовал радикально-феминистский ежемесячник: он опубликовал мою статью полностью и без всяких комментариев как призыв к женщинам подписываться на журнал.

Упреки не ограничились эпистолярным жанром. Так как мой номер можно легко найти в телефонной книге, я неоднократно вынужден был выслушивать канонады в свой адрес и через этот аппарат, хотя для меня, не перестающего научным образом исследовать проблему различия между полами, некоторые звонки содержали очень ценную информацию.

«Подумал ли господин Доннер о том, что женщины не могут играть в шахматы, может быть, потому, что мужчины никогда не хотели их научить этому?» — спросила меня одна очень милая дама из Дренте. Нет, я не подумал об этом. Но тот, кто долгое или короткое время имел дело с жен-

щинами, сразу обнаружит здесь последний аргумент, который применяет каждая женщина в перепалке с мужчиной: «Даже если это моя вина, это произошло потому, что это была твоя вина».

К сожалению, раздавались и более агрессивные звонки. И до этого случилось, что разгневанные люди высказывали мне свое возмущение, но это бывали только мужчины. «Слушай меня внимательно, Прово. Сейчас к тебе явятся двадцать человек, и ты костей не соберешь, мерзавец!» Что и говорить, суровые слова, но — сказанные мужчиной. Женщины поступают по-другому. «Нет, господин Доннер, я не скажу вам свое имя, но я прочла вашу статью и должна сказать, что вы не в полном порядке. Вы больны и ваше место в психиатрической лечебнице». Вы почувствовали разницу? Мужчины хотят тебя отколошматить, в то время как женщины — выходить. Лично я предпочитаю, чтобы меня отметилили и дело с концом, но здесь мы и видим гигантскую пропасть между полами.

Без сомнения, ничего более глупого, чем «женщины просто глупее мужчин», сказать нельзя. Но мы должны искать наше убежище в глупости, потому что женщины — они такие другие, такие совершенно другие! Я тоже не могу сказать по этому поводу ничего вразумительного и, если и делаю очередную попытку, то только потому, что моя жена так заразительно начинает над этим смеяться.

Журнал «Тайд», октябрь 1972

## РОЗОВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

— Ах, — вздохнул Доннер однажды, — вот ты говоришь, что я слишком сурово пишу о женщинах. Ты ничего не понимаешь, на самом деле женщины обожают женоненавистников. И вообще, шахматы — это последнее дело, которым они должны заниматься. Когда я был еще молодой и красивый, увидеть женщину в турнирном зале было большой редкостью. Да, так было в моей юности, когда воздух был еще чист, а секс — грязен. Теперь же всё наоборот...

Мы сидели за стойкой бара в «Де Кринге», и было еще очень рано, что-то около полпервого ночи.

— Ты видишь этих приятелей? — продолжал Хейн, поворачивая голову в сторону двух мужчин, сидевших напротив нас за стойкой и ведших неторопливую беседу; в одном из них я узнал известного актера. — Ты, наверное, думаешь, что это просто друзья? Как бы не так. Знаешь ли ты, кстати, жаргонное словечко для гомосексуалистов? — и, не дожидаясь ответа, Хейн пополнил мой словарный запас голландского языка.

Он уже не в первый раз касался этой темы. В кругу его друзей и знакомых были, разумеется, и геи, но к этой стороне их жизни Хейн относился скорее иронически, никогда не принимая ее всерьез.

Когда Доннер рассуждал о своих успехах, сравнивая их с результатами других, вечно подающих надежды голландских шахматистов, он писал: «Может быть, они и славные ребята, но они никогда не знали, что такое успех. А в этом случае игра приобретает для шахматиста совершенно другой характер. Я бы сравнил их с монахами, которых никогда не посетило откровение Господа, с гомосексуалистами, которым никогда не удалось кончить, с женатыми людьми, у которых никогда не было детей. Я имею в виду, что у такого рода ребят отсутствует квинтэссенция игры».

В целом же он относился к проблеме сексуальных меньшинств совершенно спокойно, по-амстердамски, хотя порой, когда Хейн пару раз цитировал отрывки из Библии, посвященные этой теме, проглядывало его строгое протестантское воспитание.

— Ты в курсе дела, конечно, — сказал он однажды, — что в Библии говорится, что ни воры, ни пьяницы, ни мужеложники Царства Божия не наследуют, а гомосексуализм назван мерзостью и скверной и приравнен к скотоложству?

И тут же прочел целую лекцию на эту тему; хотя какие-то фрагменты ее сохранились в моей памяти, приводить их сейчас было бы неуместно.

В другой раз он заметил:

— Ах, эти шахматисты, это — особенный народец. Я был, кстати, первым, кто доказал очевидную связь шахмат и гомосексуализма. Я заметил это еще на Олимпиаде в Варне в 1962 году. Туда прибыло более четырехсот шахматистов со всего мира. Тогда, глядя на всю эту массу, я подумал: быть того не может, чтобы среди всей этой армии передвигателей фигурок не было ни одного гомосексуалиста. Этого просто не может быть! Среди сотен игроков в шахматы их число тоже должно составлять пять процентов, а фактически даже больше, потому что в этой группе асоциальных невротиков их процентная норма должен быть еще выше средней. Разумеется! Это же настолько очевидно, что даже младенец мог бы догадаться. И вот, глядя на такое огромное скопление народа, я подумал, что все они в каком-то смысле гомосексуалисты, потому что шахматы в реальности есть не что иное, как сомнительное, грязное занятие, которым, передвигая грязные же фигурки, мы занимаемся с другими мужчинами. Вот что такое шахматы!

Юность Доннера пришлась на годы радикальной либерализации западного общества, когда принадлежность к меньшинствам — национальным, религиозным и сексуальным — из фактора социальной неполноценности превратилась в средство социального самоутверждения, и в его рассказах не было никаких табу. Не меньшую роль в его полном раскрепощении сыграла и страна, в которой он родился, и город, где прошла вся его жизнь.

Совсем недавно в старейшем английском журнале, консервативном «Спектейоре», появилась статья, где говорится, что Голландия на световые годы опередила все страны в мире по самым гадким проявлениям жизни. Среди многих других проблем, волнующих сейчас человечество,



таких как эвтаназия, свободная продажа легких наркотиков, СПИД и т.д., автор подробно остановился и на теме гомосексуализма.

Действительно, репутация Голландии как одного из центров гомокультуры подтверждается статистикой, ставящей на второе место в Европе Данию, а на третье – Германию.

Хотя Амстердам не может сравниться с такими миллионными городами как Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско или Берлин, он является одной из мировых столиц гомокультуры. В Амстердаме можно посещать кафе, где бывают только геи, покупать одежду в магазинах только для геев, бывать в барах, жить в гостиницах, ходить на дискотеки, где можно встретить только геев. Специально для них здесь издаются газета и журналы. И во многом другом игрушечный городок на воде имеет репутацию самого толерантного города в мире.

Только совсем уж наивные туристы, дивясь непривычному запаху и озираясь в поисках свободного столика, дабы заказать кофе с яблочным пирожным, заходят в кафе-шопы с названиями «Нирвана», «Голландские цветы» или «Дары Памира». Здесь вам предложат меню, где перечислены все имеющиеся сорта легких наркотиков с описанием вкусовых качеств и ожидаемых эффектов. Число таких кафе-шопов в Амстердаме, согласно официальной статистике, достигает трехсот. Главным событием осени является фестиваль, посвященный употреблению этих легких наркотиков, а вручение призов по традиции происходит в зале «Млечный путь», расположенном в самом центре города, напротив здания, где раньше помещался главный офис ФИДЕ.

Однажды Доннер прочел мне целую лекцию о наркотиках, рассказав о разнице между легкими, такими как марихуана или гашиш, и героином, привычка к которому приводит в большинстве случаев к очень тяжелым последствиям; расстаться с этой зависимостью бывает очень трудно, порой и невозможно.

– Так уж исторически получилось, что сигареты с никотином можно купить на каждом углу, тогда как марихуана, вреда от которой значительно меньше, считается пусть и легким, но наркотиком. А ведь к ней совершенно не привыкаешь и получаешь одно только удовольствие, в то время как попробуй-ка бросить курить, – объяснял Хейн, закуривая сигарету. Он рекомендовал мне попробовать ЛСД, бывший тогда в большой моде: – Ты должен испытать это хотя бы раз, но учти, – прищуривая глаза Доннер, – с тобой рядом должен обязательно кто-нибудь находиться: восхитительное ощущение, что ты в состоянии делать всё, даже летать, может увлечь тебя к окну, и ты понимаешь, чем это может кончиться...

Один из самых знаменитых ночных клубов в Амстердаме «iT» первоначально был клубом только для геев. Его девиз – «Здесь можно всё», и чем экстравагантнее это «всё», тем лучше. Постепенно этот популярнейший

клуб стал посещаться всеми желающими, а для геев остался только один вечер — субботний. В «iТ» можно встретить известных актеров и конференсье, журналистов и модельеров, певцов и спортсменов.

Но главным событием года является устраиваемый летом большой праздник (Gay Pride), в котором участвуют многие тысячи голландцев и гостей Амстердама. На каналах города можно увидеть в этот день кораблики и речные трамвайчики, водные велосипеды, баржи, расцвеченные всеми цветами радуги. На многих из них — оркестры и оркестрики.

Первый такой фестиваль был проведен в 1996 году, и с тех пор его популярность неизменно растет. Каждый год принять участие в празднике или просто поглазеть на необычное зрелище в Амстердам приезжают четверть миллиона человек со всего мира. С непривычки можно растеряться от этого вавилонского столпотворения, буйства красок, умопомрачительной одежды, какофонии звуков, косметики, колец и украшений, раскрашенных волос, подведенных бровей, немислимых причесок, а главное — разнообразия лиц: европейских и азиатских, черных и белых, коричневых и смуглых, мужских и женских... И языков: английского, французского, немецкого, испанского, итальянского, голландского. В последние годы — и русского.

В 1998 году в Амстердаме прошли первые Спортивные игры геев, а в апреле 2001-го бургомистр города официально зарегистрировал первую гомосексуальную супружескую пару в мире.

В Амстердаме установлен и первый в мире гомомонумент. Три розовых треугольника, вместе образующие один большой, — память всем гомосексуалистам, подвергавшимся преследованиям, издевательствам и убийствам.

Треугольник — неслучайный выбор. В нацистских концлагерях на полосатой арестантской одежде был нашит треугольник, по цвету которого можно было сразу определить «преступление» заключенного: желтый — для евреев, розовый — для гомосексуалистов и т.д. Поэтому и цвет гранитного монумента — розовый.

Одна из вершин этого треугольника, напоминающая о прошлом, указывает на дом Анны Франк, находящийся совсем рядом на канале, другая — в сторону площади Дам с памятником Свободе в центре площади, третья обращена к зданию, где размещается главный центр сексуальных меньшинств. На этом гранитном треугольнике у Западной церкви Амстердама всегда лежат живые цветы...

## КЛЕЙМЕННЫЙ

В фойе Чигоринского клуба в Петербурге испокон веку висят фотографии чемпионов города. Когда Виктор Корчной остался на Западе, его портрет исчез со стенда, но еще раньше такая же участь постигла и другую фотографию — чемпиона Ленинграда 1966 года.

Из тех, кто знал его, кто-то умер, кто-то уехал, а у живущих хватает своих забот, чтобы вспоминать о мелькнувшей когда-то на шахматном небосклоне звездочке, с именем которой связаны какие-то скандальные истории.

Мои друзья искренне советовали темы этой вообще не касаться. «Что бы и как бы ты ни написал, — говорили они, — тебе не избежать разгневанных реакций и яростных нападок; в лучшем случае — иронических улыбок или недоуменного поднятия плеч. Да и шахматист ведь он был не ахти какой. Ну, сильный мастер, но таких были ведь сотни, а то, что жестоко был наказан при советской власти, так можно назвать десятки не менее жестоких законов того времени, у каждого государства ведь свои законы».

Я сказал себе, что они правы. Тяжело браться за что-либо, чувствуя себя заранее обреченным на поражение. Действительно, какой ни взять тон: трагический, ироничный, презрительный, шуточный, сочувственный или осуждающий, — всё будет плоско, неверно, двусмысленно.

Уже почти отказавшись от замысла, я вспомнил неожиданно Тони Майлса. В Тилбурге в 1985 году из-за боли в спине он играл весь турнир, лежа на массажном столике. Майлс признался, что подумывал о том, чтобы выбыть из соревнования, но превозмог себя.

«Мало вещей в жизни могут меня мотивировать больше, чем преграда, которую нужно преодолеть, — писал он после турнира. — Но есть еще более высокая цель: преодоление непреодолимой преграды».

И я решил рассказать о трагической судьбе забытого чемпиона.

Минск, 1957 год. Спартакиада Дворцов и Домов пионеров Белоруссии. Столице республики предоставлено право выступать в этом соревновании двумя составами, и тренеры из других городов настояли на том, чтобы обе столичные команды играли между собой в первом туре.

— Так, — сказал детям на собрании тренер, — вторая команда ложится первой со счетом 0:4, ну в крайнем случае 0,5:3,5. Все уяснили?

На первой доске за вторую команду Минска играл тринадцатилетний Алик Капенгут. Полностью переиграв соперника, Капенгут остался с лишней фигурой и, насладившись моральной победой, демонстративно подставил ладью... Рядом с ним за команду Гродно играл мальчик, видевший всё происшедшее.

— Ну что, приказали сплавить? — саркастично улыбнулся он. Свою партию кареглазый шатен в больших очках выиграл, так же как и шесть последующих, показав стопроцентный результат на первой доске. Это был Женя Рубан.

Через два года на командном юношеском чемпионате страны в Риге он играл за команду Белоруссии, а я — за команду Ленинграда, но Рубана не запомнил и уж тем более не знал, чем закончился для него этот турнир. У Жени возник конфликт с тренерами, которые расценили поздние воз-

вращения и независимую манеру поведения как нарушение спортивного режима и ходатайствовали перед судейской коллегией о снятии его с соревнований. Под термином «нарушение спортивного режима» в советское время понималось, как правило, пьянство или индивидуальная манера поведения, не вписывавшаяся в нормы, считавшиеся общепринятыми. Рубана дисквалифицировали на год.

Эта дисквалификация не стала последней в его жизни. Он мог заглотить, послать подальше придирчивого, надоедливого судью, высказать свое мнение: Женя был остр на язык и за словом в карман не лез. При просмотре таблиц того времени в графе с его фамилией вдруг натыкаешься на означающий поражение минус, за которым, без всякого сомнения, скрывается та или иная история. Но все истории, выговоры и дисквалификации кажутся детской забавой по сравнению с той главной, которая ему еще предстояла.

Фамилия Рубан может быть и русской, и белорусской, и еврейской. В его внешности было что-то семитское, но сам он утверждал, что к евреям не имеет никакого отношения. «Мои родители — самых простых хохляцких кровей», — говорил он. Альберт Капенгут вспоминает, что, когда Рубан приехал в Минск и спрашивал у его отца, историка по профессии, имеет ли ему смысл избрать исторический факультет, тот, обманутый внешностью Рубана, начал говорить что-то о возможных трудностях при поступлении. Женя сразу всё понял и смутился: «Вы знаете, я — русский...»

Учиться в университете Рубану не пришлось: его взяли в армию. Хотя Женя регулярно играл в армейских соревнованиях, мастером стать ему не удалось, и казалось, что он так и растворится в огромном резервуаре способных, когда-то подававших надежды шахматистов.

Его судьбу полностью переменял Ленинград. Шесть лет, которые Рубан провел в этом городе, оказались самыми счастливыми в его жизни. И самыми трагичными.

В Питере он поступил на философский факультет университета. Тогда же началась его настоящая шахматная карьера. Он выигрывает четвертьфинал первенства города, выполняет мастерскую норму в полуфинале, а в финале становится чемпионом. Я играл в том чемпионате 1966 года (проиграл ему) и помню Рубана очень хорошо.

Он приходил на партии всегда в костюме, подтянутый, собранный и торжественный. В нем было что-то от провинциального парня, способного, энергичного, приехавшего в большой город завоевывать его и — завоевавшего.

Вспоминая сейчас те далекие годы, вижу его всегда ироничным, саркастичным, порой язвительным и циничным. Он выглядел каким-то многозначительным, в то же время расплывчатым, недоговоренным.

После выигрыша чемпионата он изменился, стал более уверенным в себе, высокомерным, почувствовал себя звездой. Мог зайти в Чигоринский клуб при полном параде, когда и при бабочке.

В манерах его было что-то кошачье, лицом он напоминал какую-то большую птицу. Пристальный взгляд круглых глаз создавал сходство с филином и только усиливал это впечатление. На его лице постоянно блуждала улыбка; во время партии, задумавшись, он характерным движением руки время от времени оглаживал бородку. Это было необычно: мало кто из мужчин, особенно молодых, носил тогда бороду.

Он любил порассуждать, переплетая идеи и образы и переходя с одной темы на другую, был многоречив, начиная фразу, загадочно улыбался, предоставляя право собеседнику додумать мысль или высказать ее самому.

Мог съязвить по чьему-либо поводу, и умно, с подковыркой съязвить. И всё это — с милой улыбкой. Нет, не могу сказать, что я любил Женю Рубана.

Кое-кто вспоминает, что он был очень эрудирован и начитан, мне так не казалось; скорее всего, причиной непонимания этой эрудиции и невозможности ее оценить был тогда я сам.

Конечно, мы говорили иногда о том о сем, но я не помню, чтобы уровень наших разговоров поднимался выше обычной болтовни. Как ни напрягаю память, не могу вспомнить ни одной серьезной беседы с Рубаном, за исключением одного, неизвестно почему затеянного в фойе клуба разговора о Распутине, который, как известно, учил, что нужно погрязнуть в грехе, чтобы познать экстаз раскаяния.

Да в другой раз, когда мы столкнулись нос к носу на Невском, он начал вдруг говорить о Байроне, которого читал тогда, о его жизни. Попалась ли ему на глаза байроновская строка: «Меня ты наделило, Время, судьбой нелегкою»?

Когда он приехал в Ленинград, я закончил уже университет и работал в Чигоринском клубе на улице Желябова, как тогда называлась Большая Конюшенная.

Декабрьским днем 1966 года в клубе раздался телефонный звонок. Я снял трубку.

— С вами говорят из Таврического дворца, — произнес голос на другом конце провода. — Скоро Новый год, и у нас, как всегда, ёлка. С танцами, музыкой, лотереей, играми, ну и, конечно, с Дедом Морозом и Снегурочкой. В этом году мы решили устроить что-нибудь шахматное. Сначала думали о сеансе одновременной игры, но процедура эта, в общем-то, скучная. Кстати, — продолжал мой собеседник, — сколько стоит сеанс одновременной игры?

Я стал объяснять, что путевка может быть сдвоенная — лекция и сеанс. В этом случае сумма, выплачиваемая мастеру, составляет двадцать

рублей, ну а если только сеанс, то гонорар сокращается наполовину. Еще не зная, как повернется дело, я рекомендовал сеанс с лекцией, ссылаясь на то, что словесное общение с аудиторией очень оживляет мероприятие.

— Ну, лекция детям ни к чему, — заметил голос. — У нас другая задумка: в течение часа-полтора просто поиграть в шахматы с малышами. Я думаю, что это можно приравнять к стоимости сеанса одновременной игры. Речь идет обо всем периоде каникул с 30 декабря по 10 января, так что всего — двенадцать ёлок. Но дети живут ведь в мире сказки, поэтому мы решили, что мастер должен будет играть свои партии в шкуре медведя. Так что ему придется попотеть, — засмеялся мой собеседник.

Я работал тогда тренером-методистом и, хотя формально должен был спросить разрешения у директора клуба Наума Антоновича Ходорова, счел ёлочные сто двадцать рублей своими. Неписанным правом на все безымянные сеансы и лекции, запросы на которые приходили в клуб, обладал тренер-методист. До меня на этой должности работал Семен Абрамович Фурман, логично предпочитавший лекции с сеансами одинарным выступлением, что дало повод остроумному Александру Геллеру напевать на мотив популярного тогда марша космонавтов: «Заправлены в планшетку путевки и наряды, и Фурман уточняет в последний раз маршрут...»

Ну что с того, думал я тогда: полтора часа в шкуре медведя, зато двенадцать выступлений. К тому же я знал уже из опыта, что помимо Снегурочки на новогодних детских праздниках бывает немало Снежинок, зачастую, а можно сказать и почти всегда, более привлекательных, чем сама Снегурочка.

— Тут, Наум Антонович, из какого-то Дворца звонили, — начал я развязно-бодрым тоном, которым имел обыкновение разговаривать с директором, — у них что-то там сеансовое намечается, я оформлю, когда заявка придет, а с календарем на следующий месяц какая-то неувязка получается: я только что из Спорткомитета, там сказали, что в типографии непредвиденная задержка произошла, так что завтра...

— Ты, Геннадий, мне яйца не крути, — прервал меня Наум Антонович фразой, которую нередко употреблял с подчиненными, невзирая на их пол (завотделом спорта во Дворце пионеров, следующего моего места работы, Зоя Петровна, женщина средних лет, тоже нередко пользовалась ею). — Сегодня уже шестое декабря, и посетители жалуются, что до сих пор на дверях клуба ноябрьский план мероприятий висит, — продолжал он. — К тому же я только что звонил в Комитет, и мне сказали, что календарь у них уже три дня как в проходной валяется и почему-то никто его не забирает...

Полковник в отставке, Ходоров был тем известным типом советского руководителя, который за версту чувствует, что хочет начальство, и действует, исходя из этого. Обладая хорошей памятью, он был мастером устного

рассказа, импровизации, являя собой эдакого барона Мюнхгаузена, прибывшего в Страну Советов и прекрасно там прижившегося. Шахматы он любил, и, когда к нему приходил старинный приятель, тоже отставной военный, старик с густыми седыми бровями, Наум Антонович запирался с ним в своем кабинете и не откликался ни на стук, ни на телефонные звонки, пока они не кончали партии, игравшейся его любимыми утяжеленными фигурами.

У Наума Антоновича был сын Геннадий, и я думаю, что при моем поступлении на работу этот факт сыграл решающую роль: дома Геннадий и на работе Геннадий, здесь и запоминать ничего не надо.

Я уезжал тогда время от времени на соревнования или сборы, и, конечно, Ходоров не был доволен моим отсутствием на работе.

— Да ты только что целый месяц где-то пропадал, как я тебя могу снова отпустить? — качал головой Наум Антонович, читая официальное приглашение из Латвийского спорткомитета на сбор с гроссмейстером Талем М.Н.

— Так ведь Таль, — говорил я, — к тому же я и замену подыскал: хоть и кандидат в мастера, но исполнительный, добросовестный, да и зовут — Геннадий, так что вам и привыкать не надо будет.

При этих словах я вводил в директорский кабинет приятеля, жившего в доме напротив в Басковом переулке. Он стал заменять меня во время моих частых отлучек, поэтому было логично, что, когда я летом 1972 года уехал в вечную, как тогда казалось, командировку, Геннадий Ефимович Несис окончательно заступил на пост тренера-методиста.

В последний раз я видел Ходорова за несколько дней до эмиграции в сквере у Казанского собора у памятника Барклаю-де-Толли. По причине, понятной каждому, кто жил в то время в Советском Союзе, Наум Антонович не хотел видиться со мной в стенах клуба, предпочитая говорить с глазу на глаз.

— Да-а, — протянул он задумчиво, — ты ведь через четыре дня на Западе будешь. Ты же «Брауном» сможешь бриться с двойной головкой, это знаешь ли... Кстати, за тобой еще книга библиотечная числится «Моя система на практике». Екатерина Ефимовна просила напомнить, так что ты уж не забудь вернуть, тем более что на практике тебе придется применять теперь другие системы...

Но в декабре 1966-го до моей эмиграции оставалось еще пять с половиной лет, и Ходоров, обычно мало интересовавшийся заявками на выступления, неожиданно спросил:

— А что там еще за сеансы?

Несмотря на мои сбивчивые объяснения, он сразу уловил существо дела.

— Знаешь что, — сказал он, — у тебя будут еще сеансы, а вот Женя Рубан на студенческую стипендию живет, ему эти деньги нужнее. Надо оформить все выступления на Женю.

Я без особого энтузиазма встретил предложение Ходорова, но возражать было нечего, и я — не в последний раз в жизни — познал на собственном опыте народную мудрость о шкуре неубитого медведя.

Считается, что любовь к деньгам — корень всех бед, но то же можно сказать и об их отсутствии. Рубан и впрямь постоянно нуждался. Он жил в студенческом общежитии, стипендию получал тридцать два рубля, потом тридцать пять. Прожить на такие деньги было невозможно, и, даже получая от случая к случаю что-то от шахмат, Рубан всегда и во всем вынужден был ограничивать себя.

Капенгут играл с ним в 1965 году в Вильнюсе. Он вспоминает, что талоны на питание Рубан постоянно менял на деньги (два с полтиной), перебиваясь целый день кефиром с булочкой. Литва была тогда малой границей, и в Вильнюсе в букинистических магазинах можно было купить немало книг, которых попросту не могло быть в метрополии. И Рубан читал ночи напролет: Бердяева, Шестова, Ильина... Но и не только философов. Читал всё, что попадало под руку, много и жадно.

Не знаю, на что пошли деньги, полученные за игру в шкуре медведя в Таврическом дворце, но уже тогда Женя начал выпивать. В осенние месяцы в Чигоринском клубе по воскресеньям проводилось командное первенство вузов, и, бывало, он приходил к началу тура, плохо держась на ногах: субботние праздники в общежитии рано не заканчивались. В таких случаях кто-то из запасных участников немедленно посылался за пивом, а если позволяло время, Женя сам удалялся на опохмел. Играл он и с перепоя сильно.

На полуфинал чемпионата страны 1966 года Рубан прибыл после сильнейшего загула и поначалу просто приходил в себя: первые четыре партии он проиграл. Такой старт может сломать любого; пессимисты начинают задумываться о целесообразности продолжения шахматной карьеры, а то и о смысле жизни вообще. Рубан продолжал играть как ни в чем не бывало и в итоге разделил четвертое место, недобрав только пол-очка до выхода в финал.

На следующий год в Ростове-на-Дону он играл во Всесоюзном турнире молодых мастеров. Впервые очутившись в такой сильной компании, Рубан чувствовал себя достаточно уверенно и сыграл вполне пристойно — «плюс три». Он хорошо использовал инициативу, планы его были ясны и логичны, и, как это нередко бывает у шахматистов классического стиля, результаты белыми фигурами были у Жени намного выше. Вот и в Ростове он выиграл белыми все партии, но черными сделал только две ничьи.

Обладая дебютной эрудицией, он умело использовал преимущество в пространстве. Вероятно, это было влияние Исаака Ефремовича Болеславского, пользовавшегося безоговорочным авторитетом в Белоруссии.



В 60-х годах на квартире у мэтра нередко собирались сильнейшие шахматисты республики, обсуждая теоретические проблемы и занимаясь дебютными исследованиями. Бывал на этих встречах и Рубан.

Для его игры были характерны прагматизм и прекрасное использование наигранных схем. Неслучайно в том же Ростове среди молодых мастеров бытовало выражение «он сидит у меня на схеме». Если к этим качествам добавить еще довольно высокую эндшпильную технику, здравый смысл в сочетании с волей к победе, то можно сказать, что Рубан был тогда сильным мастером с хорошими перспективами.

Вспоминает участник ростовского турнира Лев Альбурт: «Жене было уже двадцать пять лет, и на фоне более молодых участников турнира он выглядел сравнительно взрослым человеком. В больших роговых очках, при бороде, с проникновенным взглядом карих глаз, он был харизматической личностью, это чувствовали все, кто с ним сталкивался. Известно, чем мы занимались во время турниров в то время: постоянные свидания, встречи, девочки, телефонные звонки... Когда я заговаривал с Женей на эту тему, он смотрел на всё это свысока, посмеиваясь, как старший, опытный человек, для которого всё это давно пройдено и прекрасно известно».

Всесоюзный турнир молодых мастеров, в котором играл Рубан, проводился тогда ежегодно, и в таблицах этих турниров немало имен шахматистов, ставших сильными гроссмейстерами. Из того поколения можно назвать Льва Альбурта, Бориса Гулько, Романа Джинджихашвили, Владимира Тукмакова, Юрия Разуваева, Виктора Купрейчика — список этот далеко не полный. Очень стабильно играли Михаил Подгаец и Альберт Капенгут, но судьба была к ним менее благосклонна, и им так и не удалось завоевать высшее звание.

Были и другие, навсегда оставившие игру, ушедшие в медицину, в науку или просто растворившиеся в жизни, исчезнув с шахматного горизонта. Но даже на их фоне судьба Евгения Рубана выделяется своей необычностью.

Когда в 1970 году Рубан окончил университет, он пытался остаться в Ленинграде. Для этого была необходима прописка. Сноска для иностранцев: *propiska* — запись в паспорте, дававшая разрешение на проживание в больших городах, в Москве и Ленинграде в первую очередь, и Рубан решил фиктивно жениться на счастливой обладательнице паспорта с заветным штампом.

Формула была простой: «жених» платит «невесте» обусловленную сумму, они регистрируют брак, и «невеста» — уже как законная жена — прописывает его у себя. Конечно, «муж» устраивается как-то иначе, но получает право на проживание. После чего «супруги» расходятся.

Из этой затеи у Рубана ничего не вышло. Неудачей кончилась и попытка устроить его на работу в Дом офицеров. Рубан пришел на встречу,

опоздав едва ли не на час, вел себя высокомерно, оставив странное, неприятное впечатление.

Альбурт вспоминает, что уже после окончания философского факультета Рубан приезжал в Одессу: «Я пытался помочь ему устроиться в аспирантуру университета, а Тукмаков — Технологического института; студенческие команды нуждались в сильных спортсменах, а Женя был ведь сильным мастером. Но он внезапно исчез, а через некоторое время мы узнали, что он принят в аспирантуру в Ленинграде».

Одно из моих последних воспоминаний о нем. Ранняя весна 1970 года. Я — дома, в комнате коммунальной квартиры на Басковом. Продавленная оттоманка, радио, тихо бубнящее что-то о предстоящей великой дате — столетней годовщине со дня рождения Ленина. Я перелистываю какой-то журнал, кажется, «Юность». Вдруг где-то на втором плане я услышал голос ведущей: «А сейчас мы с вами находимся в главном здании университета, коридоры которого помнят молодого Ульянова. У микрофона — выпускник философского факультета, мастер спорта по шахматам Евгений Рубан. Женя, не могли бы вы сказать, что значит для вас имя Ленина, что вам наиболее дорого из наследия основателя социалистического государства, юбилей которого мы готовимся встретить?»

Я отложил журнал и, крутанув рычажок радио, достал сигарету из пачки «Памира», крепких и ужасного качества, зато самых дешевых тогда в Ленинграде. «Ну, что я могу сказать, — услышал я знакомый баритон. — Имя Ленина — это особое имя. Его вклад в философию огромен; книги Ленина у меня всегда под рукой, и не будет преувеличением сказать, что я ложусь спать и встаю, советуясь с Владимиром Ильичем. Ленин для всех нас...»

Через пару дней мы встретились в клубе.

— Слышал тебя по радио, — сказал я.

— Ну и как? — метнул Женя острый улыбчивый взор.

— Мебельная фабрика приступила к выпуску трехспальной кровати для молодоженов «Ленин всегда с нами» — еще лучше вписалось бы в твой рассказ.

Юбилейная дата приближалась, и стремительно росло число анекдотов на ленинскую тему.

— А для таких рассказчиков есть и другой: объявлен конкурс на лучший анекдот в честь ленинского юбилея. Первая премия — встреча с юбиляром, вторая — пять лет казенного содержания, третья — путевка по ленинским местам в Сибири: Красноярск и так далее, — не остался в долгу Рубан, не подозревая еще, что через год с небольшим ему самому придется отправиться по этой путевке.

Белой ленинградской ночью в скверике недалеко от станции метро «Московские ворота» Женя Рубан встретился с молодым слесарем Ки-

ровского завода. Бутылка водки, плавленый сырок. Стал склонять рабочего к сексу, предлагая тому десятку. Рабочий в деньгах нуждался. Было совсем светло, и поздние посетители скверика, возмущившись столь откровенным зрелищем, стали призывать молодых людей к порядку. Молодые люди не уgomонились, по пьяной лавочке послали увещевателей подальше. Те вызвали милицию.

По поводу того, что произошло в милицейском фургончике, показания расходятся. Некоторые утверждают, что Женя предлагал милиционерам закончить дело полубовно не только в переносном, но и в прямом смысле; другие утверждали, что слесарь требовал от Рубана обещанный червонец, а Рубан отвечал ему, что тот даже не довел дело до конца и он ничего не почувствовал. Слесарь в свою очередь оправдывался тем, что ему помешали милиционеры. «Вот с милиционеров и получи», — советовал ему Рубан.

Не знаю, какая версия соответствует действительности, думаю, что вторая более правдоподобна и диалог между Рубаном и слесарем не апокриф. Тем более что кто-то присутствовал на заседании суда и рассказал об услышанном там своему приятелю: читай — всему городу.

Абсолютную правду восстановить по прошествии стольких лет едва ли возможно: где эти милиционеры? где слесарь Кировского завода? Вряд ли можно разыскать сейчас это дело в архивах: оно ведь не относилось к числу тех, на грифе которых была выведена грозная фраза «хранить вечно».

В дальнейшем судьбы подследственных разошлись. Слесарь покался, сказал, что всему виной водка, что такого никогда больше не повторится, и был взят на поруки. В то время как Женя ударился в амбицию: вступая в дискуссии со следователями, он ссылался на Сократа, говорил о терпимом отношении к гомосексуализму высших слоев древнегреческого общества, о том, что эротическое отношение к юношам имело и своеобразный интеллектуальный характер, цитировал Платона. Приводил в пример Леонардо да Винчи и Марсея Пруста, но следователям было все равно, что делали древние греки, а Марсея Пруста они не читали.

Судьи никогда, ни в какие времена не любили философов, вступающих с ними в полемику. Не любили высокомерных, ироничных, пытающихся им что-то объяснить, заставляющих думать. Ни Сократ, ни Тот, чьим именем названа одна из основных религий мира, таким своим поведением на суде не смягчили себе приговора. Не смягчил его и Оскар Уайльд, знавший, чем грозит предъявленное ему обвинение, но решивший, что сможет защищаться своими язвительными парадоксами.

В случае раскаяния дело Рубана могли бы спустить на тормозах, его тоже могли бы взять на поруки, или, на худой конец, квалифицировать содеянное как мелкое хулиганство. Но он продолжал гнуть свою линию, и маховик раскрутился; остановить его могло только веское приказание сверху, но такового не последовало.

В порядке вещей было то, что его судили не за образ жизни, который он вел и упорно защищал на следствии и в суде, а за хулиганство. Власти вообще старались пореже применять 121-ю статью и не употреблять слово «гомосексуализм», делая это только в исключительных случаях. Но замалчивание гомосексуализма в Советском Союзе не отменяло его.

На суде Рубан говорил о профессоре, с которым впервые, находясь в бедственном материальном положении, приобрел опыт мужского секса, говорил, и что совсем не жалеет об этом, потому что таким образом узнал, кто он сам есть в действительности. Он не признал свою вину и в отличие от раскаявшегося слесаря прощения не просил. В последнем слове он, как утверждали очевидцы, заявил: «Я благодарен советскому суду, посылающему меня в лагерь. Там такие люди, как я, нужны!» Ему дали полную катушку: четыре года по статье «хулиганские действия, отягощенные крайним цинизмом».

Когда Рубана арестовали, по городу поползли слухи, что его взяли за «политику» и, мстя за это, шьют дело по бытовой статье. Это не соответствовало истине. Знаю доподлинно, что он читал и давал читать другим изданные за рубежом книги, содержание которых подходило под статью «антисоветская пропаганда и агитация». Но никогда не подписывал писем протеста, не малевал антисоветских лозунгов на Клодтовских конях и не встречался с иностранными корреспондентами. Диссидентом он не был, хотя нет никакого сомнения, какие чувства к власти испытывал человек, много читавший других философов, а не только навязшего в зубах Маркса. Но даже не будучи диссидентом в прямом смысле слова, он являлся таковым по существу. Ведь главным в преступлении инакомыслящих было именно это «инако»: всякий «инако» думающий, «инако» пишущий, «инако» действующий или «инако» любящий по определению представлял опасность для страны, где всё должно было всеми делаться одинаково.

Известие о суде над Рубаном и суровом приговоре вызвало в шахматной среде самые разные реакции. Вспоминаю, как Ходоров держал длинную речь, изобиловавшую историческими ссылками и примерами из собственной жизни:

— Видишь ли, в чем дело, Геннадий, — начал он лекцию на тему о мужской любви, — такое встречалось еще у аркадских пастухов. За Женю Рубана же беспокоиться не следует. В лагере Жене только лучше будет, — утверждал Наум Антонович, — такие люди там не работают, за них всё другие делают, а они известно чем расплачиваются. Так что пустили шуку в пруд. Дело это не такое уж необычное. Вот я, помню, служил на Полтавщине в 36-м году, у нас в обозе был паренек, смазливый такой, Грицко звали, и можешь себе представить, однажды уже после отбоя...

Но не все были настроены на фривольный лад. Альбурту, ушедшему в 1979 году на Запад, дело Рубана виделось в другом свете: «Слухи о поведе-

нии Жени на суде, жестокий приговор ему ошеломили и взбудоражили меня и мое окружение, оказали влияние на наше мировосприятие. Думая потом о моем собственном пути в эмиграцию, я понял, что его судьба была одним из толчков, после которого я задумался о том, в какой стране живу. Это стало для меня в каком-то смысле маслом, пролитым булгаковской Аннушкой, после чего всё началось и завертелось. Так и случай с Рубаном, получивший огласку в шахматной среде, взбудоражил умы и вместе с начавшейся в те годы эмиграцией, а потом бегством Корчного и других шахматистов раскачал незыблемый, казалось, монолит советской шахматной школы, а потом и всей системы».

Прошло несколько лет после его ареста. И хотя суд над ним стал постепенно забываться, время от времени имя Рубана всплывало в разговорах, в шутках. «Я Рубаном встану», — нередко восклицали шахматисты за анализом, собираясь защищать бесперспективную, пассивную позицию. Это выражение бытовало несколько лет, но потом умерло, как и большинство выражений на злобу дня: приходит новое поколение, с собственным языком, с новым жаргоном и своими ассоциациями, которые неизбежно ждет та же участь.

Говоря о годах, проведенных им в неволе, хорошо бы ограничиться скороговоркой или поступить, как Людовик XIV, распорядившийся о специальном издании классических авторов для своего наследника, выпустив в книге все острые, опасные, с его точки зрения, места. Написать так об этих годах Рубана — значило бы поступиться правдой, ставшей для него тяжкой, мучительной, порой невыносимой.

Тюрьма и лагерь перетряхивают иерархию. В лагере общего режима не было больше аспиранта философского факультета университета, талантливого шахматного мастера и чемпиона Ленинграда; был только заключенный Рубан Е.Н., и каждый знал, за что он угодил в лагерь, и в этой лагерной иерархии он очутился на самой низшей ступени. Произнося последние, полные бравады слова на суде, понимал ли Рубан, что ему предстоит в лагере? Ведь одно дело проводить время с университетским профессором или в скверике с одноразовым партнером и совсем другое, став абсолютным парией, служить предметом забавы и издевательств нередко десятков человек на дню.

Педерастами (они же «козлы», «петухи» и «гребни») в лагере считают только пассивных гомосексуалистов. Активные не являются таковыми в лагерном значении этого слова. Женя Рубан не принадлежал к активным гомосексуалистам.

Девичья — место под нарами, где живут пассивные педерасты. Презрительные клички их — «баба», «курочка», «пеструшка», «дашка», «пидовка», «зойка». Каждый такой человек обязан безотказно сексуально обслуживать любого желающего, если, конечно, не является исключительной собствен-

ностью привилегированной группы из 5–10 мужчин. Вступившегося за такого «пидера» или рискнувшего дружить с ним самого ждет та же судьба.

Эдуард Кузнецов, прошедший не один год в мордовских лагерях, вспоминал, что «быть активным педерастом — это такая заурядная норма, что для них даже и особого названия нет. Лишь наиболее страстных приверженцев однополой любви зовут «козлятниками», «петушатниками», «глиномесами» или «печниками» — насмешливо, пренебрежительно, иронически или почтительно. Но никогда — презрительно. Иное дело «пидер», «козел» или «петух». Эти суровые лагерные оскорбления давно покинули лагерную зону и нашли свое место в газете, в эфире, на телевидении и в кино постсоветской России, и многие, употребляя их, даже не задумываются об их происхождении и смысле. В то время как в лагере человек, которого называли «козлом», должен потребовать веских доказательств, в противном случае оскорбление должно быть смыто кровью. «Козел» должен жить отдельно ото всех, а если и в общем бараке или в камере, то где-нибудь в уголку, у параша. Его кружка-ложка помечены дыркой. «Козла», посмеявшегося выдать себя за простого «мужика», бьют нещадно, но не до смерти, но если он «канал по первому кругу», то есть прикидывался блатным и ел-пил из одной с ворами миски-кружки, жизнь его под большим вопросом: сотрапезничество с «козлом» — пятно на воровской репутации и, не будучи смыто кровью, может стоить жизни самому вору. «Козел» — безгласное, бесправное орудие удовлетворения сексуальных потребностей, и только в эти минуты прикосновение к нему не оскверняет: днем он — пария, неприкасаемый».

Андрей Амальрик, сидевший в то же время, что и Рубан, правда, по политической 190-й статье, вспоминал, что в оперчасти был список пассивных педерастов — время от времени самых заметных отправляли в другие лагеря, впрочем, их там сразу распознавали. Пишет он и о том, что «активные вели себя по-разному: кто постарше, говорили, что ж, мол, подделаешь, человеческая природа несовершенна, молодые — в духе времени — хвастались этим».

Геннадий Трифонов, так же, как и Евгений Рубан, получивший четыре года и отбывавший срок по 121-й статье, направил в «Литературную газету» письмо, которое, разумеется, никогда не было опубликовано, но оказалось на Западе.

Он писал: «Администрация мест лишения свободы, основываясь на общегосударственной концепции «отношения» к гомосексуалистам, оставляет без всякого внимания их жалобы, позволяя другим заключенным беспрепятственно мучить нас. Подавляющее большинство гомосексуалистов (если только они не молоды, не привлекательны и не подонки по натуре) вынуждены питаться пищевыми отбросами на помойках, им запрещено подходить к общим столам в лагерных столовых, в тюрьмах они вообще голодают. Я, например, за три месяца предварительного след-

ствия — пока меня перебрасывали из камеры в камеру, где я жестоко избивался заключенными и спал на цементном полу по полчаса в сутки, — не ел около полутора месяцев горячей пищи вообще».

Но об этом достаточно. Марк Туллий Цицерон нередко заканчивает так главы своего повествования. Говоря об обстоятельствах жизненного пути Жени Рубана, здесь и там хочется повторить эти, двухтысячелетней давности слова римского философа: «об этом достаточно».

Полный срок Рубан не отсидел: его отправили на «химию». Это была одна из форм советской пенитенциарной системы, означавшая ссылку на поселение. Конечно, эта полусвобода была только другой формой неволи, с обязательным прикреплением к месту работы, которую тоже нельзя было менять без разрешения властей.

Рассказ гроссмейстера, давно живущего вне пределов России, в те годы просто советского мастера: «Я учился в Томске, в аспирантуре, когда в городе неожиданно появился Женя Рубан. До этого я видел его мельком на каком-то соревновании, но по-настоящему знакомы мы не были. Выглядел он неважно, одет был очень плохо. Сначала мы просто встречались, иногда болтали, играли блиц. Женя не скрывал того, что недавно отбыл срок в лагере, куда попал, с его слов, по пьяному делу. Однажды он попросил меня переговорить с руководителем моей диссертации, чтобы тот помог ему устроиться на преподавательскую работу.

С Рубаном встретились мой шеф и ректор университета. В ходе разговора выяснились действительные причины его заключения. «Что же ты меня так подставил, кого ты нам рекомендовал?» — отчитывал меня потом шеф. Приговор ректора был окончательным: “Человека с такими наклонностями нельзя на пушечный выстрел подпускать к студенчеству”».

Когда срок кончился, Рубан вернулся на родину и снова начал играть в турнирах. Его лишили мастерского звания, но не дисквалифицировали, ведь дисквалификация предусматривает объяснение — за что; а о таком ни сказать, ни написать нельзя было ни в каком приказе. С него просто сняли звание; так поступали в России с прощтрафившимися попами, только поп-расстрига все-таки оставался попом, в то время как Женя Рубан лишился звания навсегда.

Так как официально он не был дисквалифицирован, запретить Рубану играть в чемпионате Белоруссии начальство не решилось. Поэтому был принят нелепый компромисс: к участию жителя Гродно допустить, но выступать он будет вне конкурса. Рубан выиграл это первенство; вторым, отстав на пол-очка, был тоже гродненский мастер Владимир Веремейчик. Заседание шахматной федерации республики после победы Рубана было бурным. Многие склонялись к тому, чтобы присвоить ему звание чемпиона, но были и ярые противники. В конце концов возобладало мнение мастера Вересова, заявившего: «Да вы что?! Хотите, чтобы педераст был объявлен чемпионом Белоруссии? Да вы понимаете, как после

этого будут смотреть на нас? И в Комитете, и вообще все? Нет, не бывать этому!» И чемпионом был объявлен Веремейчик.

Рубан собрал документы и направил запрос в Ленинград, с тем чтобы шахматная федерация города, где он стал чемпионом, поддержала ходатайство о восстановлении его в мастерском звании. Необходимые бумаги были заверены месткомом завода карданных валов, где тогда работал Рубан. Обсуждение письма происходило в кабинете Ходорова.

— Что будем делать, товарищи? — спросил Наум Антонович. — Все же рабочий коллектив просит, нужно что-то отвечать.

Повисло молчание.

— Так какие есть мнения, как будем поступать с этим запросом? Не знаете? А вот так! — воскликнул Ходоров и, скомкав письмо, бросил его в урну.

Через пару месяцев Рубан сам объявился в городе и зашел в клуб, где был принят Ходоровым, причем, по свидетельству очевидцев, весьма радушно. Приближалась Спартакиада народов СССР, последние доски сборной команды города выглядели слабовато, и Рубан поинтересовался, не найдется ли ему места в команде. В устном фольклоре сохранился ответ Ходорова, данный Рубану при свидетелях: «Во-первых, Женя, вы четыре года были начисто лишены игровой практики, во-вторых, вам до сих пор не вернули мастерского звания, ну а в-третьих, я не уверен, не ебут ли вас еще и сейчас».

В то время Рубан не раз бывал наездами в Ленинграде. Хотя пребывание в лагере не могло не сказаться на его внешнем виде, держался он достаточно уверенно, порой бывал весел, шутил. Однажды он разговаривал с чемпионом Европы среди юношей, будущим гроссмейстером Александром Кочиевым, поступившим на философский факультет университета.

— Слышал, что ты идешь по моим стопам? — заметил ему, улыбаясь, Рубан.

— Лучше я пойду по стопам Анатолия Евгеньевича, — со смехом рассказывал об этом разговоре Кочиев коллегам-шахматистам. И вскоре перевелся на экономический факультет, который к тому времени Карпов уже закончил.

Рубан снова предпринимал попытки остаться в Питере, хотел устроиться на работу сторожем, чтобы на первых порах получить хотя бы временную прописку. Снова рассматривался вариант женитьбы (фиктивной, разумеется). Но и на этот раз всё кончилось неудачей, и Рубан вынужден был окончательно вернуться в Белоруссию. «Придется доживать век в нашем болоте», — вздыхал Женя по возвращении в Гродно.

В мастерском звании его так и не восстановили. В «Справочнике шахматиста», вышедшем в 1983 году, имя Рубана попросту отсутствует: шахматиста с такой фамилией никогда не было. На работу его нигде не бра-



ли: несмываемое пятно лежало на таком человеке, и устроиться на работу было легче вышедшему по амнистии бандиту или отбывшему срок заключения убийце. На нем было выправлено клеймо, и на свободе он тоже оставался изгоем и парией.

В конце концов он получил работу санитаром в морге, потом удалось устроиться осветителем в Театр русской драмы. Редким знакомым он говорил, что написал пьесу. Другие утверждают, что Рубан писал детективы. Вполне возможно, ведь еще будучи студентом, он, собирая материал по вокзалам, пивным и прочим значным местам, намеревался писать историю петербургского «дна».

Хотя в театре понимали, что софиты на сцену наводит философ и писатель, и относились к нему уважительно, между ним и его окружением всегда сохранялась дистанция, и близких друзей у него не было. Тесное общение и тем более дружба с таким человеком бросала порочащую тень и ничего хорошего не сулила. Порой он сталкивался с презрением, смешками и ухмылками, когда и открытыми.

«Затравленность и умученность ведь вовсе не требуют травителей и мучителей, для них достаточно самых простых нас, если только перед нами — не свой: негр, дикий зверь, марсианин, поэт, призрак. Не свой рожден затравленным». Это — Марина Цветаева.

Где-то в конце 70-х годов он получил новый срок, два года, и опять отправился в лагерь. Потом его сослали в очередной раз. Всюду, где бы ни жил тогда Рубан — в Чите, Костроме, Волковыске, — он играл в шахматы и становился чемпионом города. Помимо связей, протекавших где-то в тайной жизни Евгения Николаевича, в своей повседневности он был до конца связан с шахматами.

Вернувшись в Гродно, он поначалу работал инструктором в шахматном клубе, но продержался там недолго: его выгнали за пьянство. Но он все равно приходил в клуб и, просиживая там целыми днями, читал книги, взятые в городской библиотеке. По философии, по искусству, детективы — всё подряд.

Молодые белорусские шахматисты вспоминают, что по уровню развития, знанию философии, литературы рядом с ним в республике поставить было некого; выделяясь на общем сером фоне, Рубан казался им кладезем знаний.

Но не все думают так, можно услышать и диаметрально противоположные суждения. Здесь нет противоречия. Одни говорят о блестящем эрудите, интересном собеседнике, яркой личности, другие — об эксцентричном, грязном, спившемся нищем; это известный случай сидящих в одной тюремной камере: один видит грязь на решетке, другой — звезды на небе.

В те редкие моменты, когда перепали деньги, он ходил на концерты классической музыки или в местный театр, но случалось это нечасто: алко-

голь был главной статьей расходов. Очевидцы вспоминают, как на каком-то турнире после крепкого застолья, когда вечер вошел уже в ту стадию, когда громкость сказанного играет гораздо большую роль, чем смысл, а ненормативная лексика вплетается сама собой в любую фразу, кто-то хватился: куда-то делись два собутыльника — Рубан и калининградский мастер Олег Дементьев, тоже уже покойный. Волновались, впрочем, недолго: оба обнаружили на балконе, где вели дискуссию о поэзии раннего Манделштама.

Он не был брезглив и никогда не отказывался от подарков: поношенного костюма, старых башмаков... Гордо благодарил, хотя мог тут же пропить дареное. Он пил каждый день. И помногу. Хорошо если водку, но, бывало, и напитки, не продававшиеся в винных отделах гастрономов. Пил с каждым, кто подносил ему: одни расплачивались таким образом за уроки, другие — за партии блиц, третьи — просто за разговор со знаменитым когда-то шахматистом. Однажды, выиграв приз в Минске, он купил матери подарок, но до дома не довез: пропил и деньги, и подарок...

Владимир Веремейчик, живший с Рубаном в одном номере гостиницы во время какого-то турнира, вспоминает: пока не были пропиты все деньги и талоны, ежедневной нормой Рубана были две бутылки водки. Случалось, пил и до партии и во время ее. Очень скоро не осталось ни денег, ни талонов, и его рацион стал предельно прост: вода из-под крана и буханка хлеба. Но когда Веремейчик попытался провести параллель с лагерем, Рубан, никогда не распространявшийся о своих годах в заключении, только усмехнулся: «Нет, в лагере было хуже».

Нервная система его была совершенно изношена, он был подвержен перепадам настроения и нередко был попросту не в состоянии владеть собой. Как-то, зайдя в Минске в шахматный клуб, начал скандалить и, вспомнив прошлое, обругал непечатно мастера, причастного к его первой дисквалификации в далеком 59-м году.

Это был уже сильно изменившийся, неряшливо одетый, грязноватый, помятый и подопустившийся человек. Таким увидели его в Гродно люди, помнившие Рубана по студенческому времени. Он мог часами расспрашивать о городе, где прошли самые светлые его годы, вспоминал шахматы — вернее, шахматных знакомых.

В годы перестройки ситуация несколько изменилась, в конце 1989-го в Москве была создана первая Ассоциация сексуальных меньшинств, но в Белоруссии многое оставалось по-прежнему, да и медленно доходили перемены до его гродненского далека. Он жил в двухкомнатной квартирке со старухой-матерью на ее крошечную пенсию в полнейшей, беспроглядной нищете.

Неверен слух о его участии в этот период в каком-то бизнесе; разве что считать таковым продажу на рынке привезенной кем-то из Польши утвари, с тем чтобы уже вечером пропить свою долю от выручки.

Пару раз он ездил на какие-то опены в Польше — ведь от Гродно до границы рукой подать, но лучшие годы давно остались позади, здоровье было разрушено окончательно и, хотя ему было только слегка за пятьдесят, жизнь была почти уже прожита.

Согласно Спинозе, важнейшей движущей силой в человеке как единстве духа и тела является «стремление упорствовать в своем собственном существовании в продолжение неограниченного времени». В эти последние годы жизни, когда не было уже ни советской власти, ни ее карающих законов, так мешавших Рубану «упорствовать в своем существовании», функции этой жестокой власти взяли на себя ужасающая нищета, болезни, алкоголь.

Пьяный, он попал под машину. Больница. Две недели состояние его оценивалось как критическое, потом он пошел на поправку, но неожиданно умер. «Три креста, — качал головой врач, производивший вскрытие, — три креста, застарелый, залеченный сифилис in recto...»

Денег на похороны у матери не было; их дала женщина, сидевшая за рулем машины. Некому было и хоронить: ни у кого из бывших собутыльников времени не нашлось, и гроб с его телом несли Владимир Веремейчик, пятнадцатилетним подростком сыгравший свою первую в жизни партию с мастером, местной знаменитостью, чемпионом Ленинграда, да три ученика Веремейчика, воспитанники гродненской шахматной школы.

Официальная дата его смерти, проставленная на справке, выданной в домоуправлении, — 17 ноября 1997 года, но она не заслуживает доверия: по воспоминаниям Веремейчика, это был теплый день ранней осени и деревья стояли еще совсем зеленые. Похоронили его за чертой города, километрах в тринадцати от него, так что блюстители библейских традиций могут быть спокойны. Названия у этого места нет, все зовут его просто «кладбище». Есть табличка с именем, но памятника нет, конечно.

Уже после его смерти приезжал в Гродно бывший режиссер местного драмтеатра, ныне американский житель, говорил, что пьеса Рубана была напечатана в Америке и даже вроде где-то поставлена; хотел отдать гонорар матери Жени, но отдавать было уже некому...

В Петербурге на углу Большой Конюшенной и Волынского переуллка, напротив и чуть-чуть наискосок от Чигоринского клуба, где так часто бывал Рубан, расположена ассоциация «Крылья». Так назывался роман Михаила Кузмина, посвященный «скользкой» теме и вызвавший в начале прошлого века большие пересуды. Эта организация занимается проблемами сексуальных меньшинств.

У Гесиода есть фраза: «Прежде бы мне умереть или позже родиться». Кто знает, как могла бы сложиться судьба Жени Рубана, родился он в другой стране или в той же самой, но тридцатью, скажем, годами позже.

Тридцать лет — мгновение нескончаемого Хроноса, но и почти всё, когда речь идет о жизни взрослого человека.

Стал ли бы он философом? Историком? Писателем? Шахматистом? Кто может знать это. Питерский поэт писал: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Не выбирал своего времени и он.

## GOOD AS YOU!

До сегодняшнего дня ученые спорят о причинах гомосексуализма. Некоторые из них полагают, что гомосексуальность изначальна, как личная судьба человека, в которой только реализуется заложенное природой или сформированное в раннем детстве. Другие объясняют проблему воспитанием и социальной средой: перенесенными в детстве психическими травмами, семейными условиями, совращением подростка. Существует и мнение, что гомосексуальность — результат сознательного выбора, индивидуального саморазвития.

Так что же это? Каприз природы? Извращение? Биология? Разврат?

Само слово «гомосексуализм» появилось только в 1869 году. В России в первой половине 19-го века говорили: «человек известного вкуса». Вяземский писал Пушкину, как про одну девушку сказали, что она хороша, как роза. «“Что вы говорите, как роза, она даже хороша, как розан”, — отвечал человек известного вкуса». В обществе к таким людям относились избирательно. Когда речь шла о друзьях, Пушкин говорил об этом иронически-весело, чему свидетельством его стихотворное послание Филиппу Вигелю, слабость которого к юношам была общеизвестна.

Иным было отношение поэта к тем, кто ему неприятен. При советской власти издатели Пушкина испытывали немалые трудности в связи с его известной эпиграммой о назначении на должность вице-президента Академии наук князя Михаила Дондукова-Корсакова:

*В Академии наук  
Заседает князь Дундук.  
Говорят, не подобает  
Дундуку такая честь;  
Почему ж он заседает?  
Потому что жопа есть.*

В наиболее пуританские времена последняя фраза печаталась так: «От того, что можно сесть», что, конечно, много слабее, да и смысл эпиграммы теряется. В более либеральные периоды «жопа» попросту заменялась многоточием, заставляя волей-неволей вспомнить концовку известного анекдота: как же так, слово есть, а жопы нет?

А эпиграмму на князя Нессельроде в связи с возведением его в камергеры вообще не печатали, и только благодаря устному творчеству был сохранен для потомства этот блистательный образец фривольной пушкинской поэзии.

*На диво нам  
И всей Европе  
Ключ камергерский, золотой  
Привесили к распутной жопе,  
И без того всем отпертой.*

В царской России слово «гомосексуалист» не было в ходу; таких людей называли, как правило, содомитами. Розанов писал в «Людах лунного света»: «Пока не найдено средства пробудить в содомите влечения к женщине (вот пусть работают юристы и медики), — оставьте им совокупление, какое они имеют...»

Современников шокировали гомосексуальные стихи и образ жизни Михаила Кузмина. Его повесть «Крылья» была понята исключительно как прославление «порока», хотя Блок и писал: «Имя Кузмина, окруженное теперь какой-то грубой, варварски-плоской молвой, для нас — очаровательное имя». В этой повести один из героев ее, Штрупп, разъясняет юноше, что тело дано человеку не только для размножения, что оно прекрасно само по себе, что однополую любовь понимали и ценили древние греки.

На протяжении 20-го века отношение к сексуальным меньшинствам в России менялось не раз. Если до 1917 года осужденный по статье «мужеложство» подвергался лишению всех прав и отдале в арестантские роты на срок от четырех до пяти лет, то после революции положение изменилось.

Поначалу законов против добровольного мужеложства в СССР не было, и на всех зарубежных конгрессах советские сексологи резко критиковали фарисейский Запад, где всё должно было оставаться за кулисами, в «рамках приличия». В Большой советской энциклопедии 1930 года гомосексуализму посвящена огромная статья, в которой приводятся имена многих выдающихся людей. Покритиковав действующие за границей «законы о нравственности», автор утверждал, что «законодательство, направленное против биологического отклонения, является абсурдным само по себе и не дает реальных плодов, оно действует крайне вредно на психику гомосексуалистов».

Но уже с 1933 года гомосексуализм стал преследоваться по закону. 24 мая 1934 года «Правда» и «Известия» одновременно публикуют статью Горького «Пролетарский гуманизм». В ней он писал: «В стране, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм, развращающий молодежь, признан социально преступным и наказуем, а в «культурной стране» великих философов, ученых, музыкантов он действует

свободно и безнаказанно. Уже сложилась саркастическая поговорка: «Уничтожьте гомосексуализм — фашизм исчезнет»».

Горький имел в виду Германию, где к власти уже пришел Гитлер, но гомосексуалисты еще не были отправлены в концлагеря. Впрочем, ждать пришлось недолго, и вскоре они, как и евреи с цыганами, оказались за колючей проволокой. Очевидно, что запрет добровольных гомосексуальных актов между взрослыми людьми был проявлением растущей нетерпимости ко всякому нонконформизму, от политического до бытового, к любой непохожести вообще, и неслучайно введение наказания за гомосексуализм совпало с ужесточением тоталитарной системы в Советском Союзе и утверждением нацизма в Германии.

Нарком юстиции РСФСР и глава советских шахмат Николай Крыленко объяснил этот шаг правительства следующим образом: «В нашей среде, среди трудящихся, которые стоят на точке зрения нормальных отношений между полами, которые строят свое общество на здоровых принципах, нам господчиков этого рода не надо... Кто же главным образом является нашей клиентурой по таким делам? Трудящиеся? Нет! Деклассированная шпана. (*Веселое оживление в зале, смех.*) Деклассированная шпана либо из отбросов общества, либо из остатков эксплуататорских классов. (*Аплодисменты.*) Им некуда податься. (*Смех.*) Вот они и занимаются... педерастией. (*Смех.*) Вместе с ними, рядом с ними под этим предлогом в тайных поганых притончиках и притонах часто происходит и другая работа — контрреволюционная работа. Вот почему этих дезорганизаторов наших новых общественных отношений, которые мы хотим создать среди людей, среди мужчин и женщин, среди трудящихся, этих господ мы отдаем под суд и устанавливаем для них наказание до пяти лет лишения свободы...»

Гомосексуализм был, таким образом, прямо увязан с контрреволюцией. Но хотя 121-я статья в Уголовный кодекс была введена, уже тогда власти стремились по возможности избегать ее. Поэта Николая Клюева осудили по совсем другой статье, и наказание оказалось значительно тяжелее. Любопытно, что в книге о Клюеве, вышедшей в 1995 году, довольно подробно описываются его мытарства, но нет ни слова о гомосексуальности поэта, без всякого сомнения, известной автору книжки.

В Большой советской энциклопедии, выпущенной уже после войны, объясняюще-советующий тон сменился другим: «Буржуазные ученые считают гомосексуализм психопатическим явлением, они расценивают гомосексуализм как врожденную аномалию, как биологический вариант. В советском обществе с его здоровой нравственностью гомосексуализм, как половое извращение, считается позорным и преступным». Далее высказывалось сожаление, что в буржуазных странах, где гомосексуализм является выражением морального разложения правящих классов, он фактически ненаказуем, и подтверждалось наличие в СССР статьи в Уголовном кодексе за подобное преступление.

В 1966 году, когда Евгений Рубан выиграл чемпионат Ленинграда, число осужденных по этой статье составило 0,1 процента от всех заключенных, но советской статистике особого доверия нет: Рубан ведь тоже был осужден по другой статье — за хулиганство.

В современной России слово «гомосексуалист» постепенно выпало из обихода, будучи замененным на «гей» или «голубой». Часто употребляющееся в разговорном языке «гей» на первый взгляд не что иное, как английское «gay» — веселый, беспутный. На самом деле это слово было сконструировано в недрах организаций, борющихся за права сексуальных меньшинств, и является аббревиатурой GAY — Good As You, что можно перевести как «ничем не хуже тебя» или «такой же, как и ты».

Не менее распространен термин «голубой». Одни полагают, что он идет от выражения «голубая лента», обозначавшего на лагерном аргосе пассивного гомосексуалиста; другие ссылаются на сказочную Мальвину, девочку с голубыми волосами; третьи объясняют якобы имеющимся у гомосексуалистов пристрастием к нижнему белью голубого цвета. Известна шутка бывшего гомосексуалиста, называвшего свое прошлое «моим голубым периодом» по аналогии с творчеством Пабло Пикассо. Когда перестройка была уже в разгаре, «Комсомольская правда», не зная, как определить сексуальные предпочтения Микеланджело, назвала его «голубеньким».

Среди жаргонных словечек и выражений, употребляемых в этой области, в том числе самими геями, есть немало и остроумных. Фонд Чайковского пытался одно время наладить выпуск журнала с веселым названием «Гей-славяне». «И здесь, и там, и в Роттердам через Попенгаген» напоминает, в числе прочего, и о голландско-скандинавской толерантности в этом вопросе.

Немало заимствований из музыкального и балетного мира: «па-де-буре», «па-де-де», «па-де-катр», «даже скрипку не успел настроить», «не устраивай мне мизансцены», а хореографическое училище имени Вагановой в Петербурге, известное своими вольными нравами, называется на этом специфическом жаргоне «Педролрочилищем».

Училище это, которое закончил и знаменитый Рудольф Нуриев, находится в самом центре города, буквально в двух шагах от Екатерининского садика. Здесь же — Аничков дворец с его шахматным клубом, из которого вышло немало именитых гроссмейстеров. Садик, где стоит памятник Екатерине Великой, — традиционное место встречи геев (и шахматистов!) и давно получил игривое название «Катькин садик». Еще большую игривость придавало ему изменение глухой согласной на звонкую в слове «садик». Хотя с тех пор прошло немало лет, популярность Катькиного садика, особенно в светлые летние вечера, ничуть не меньшая, чем сто лет назад: и сегодня на его скамейках можно увидеть играющих в шахма-

ты, а ближе к ночи встретить молодых людей с ярко накрашенными губами и явными следами косметики на лице...

В то время, когда Рубан уже отбывал свой срок в лагере, вышел в свет «Курс советского уголовного права». Его авторы утверждали, что «в советской юридической литературе ни разу не предпринималось попытки подвести прочную научную базу под уголовную ответственность за добровольное мужеложство, а единственный довод, который обычно приводится (моральная развращенность субъекта и нарушение им правил социалистической нравственности), нельзя признать состоятельным, так как отрицательные свойства личности не могут служить основанием для уголовной ответственности, а аморальность деяния недостаточна для объявления его преступным».

Но с точки зрения тоталитарного сознания гомосексуалист был опасен для советской власти уже тем, что отличался от других. Общество принудительного единообразия, пытающееся контролировать не только мысль, но и ширину брюк и длину волос, не могло быть сексуально терпимым. Уже после того как Рубан вышел из заключения, в прессе появилось несколько статей, в которых впервые за долгие годы упоминался гомосексуализм, но всегда в таком контексте, что он отождествлялся с преступностью, безумием и антисоветскими взглядами.

В начале 80-х годов в первом в СССР учебном пособии по половому просвещению, выпущенном миллионным тиражом, гомосексуализм определялся как опасная патология и «посягательство на нормальный уклад в области половых отношений», а в 1986-м замминистра здравоохранения публично заявил: «У нас в стране отсутствуют условия для массового распространения заболевания: гомосексуализм, как тяжелое половое извращение, преследуется законом».

В конце 1989 года, когда перемены во всем становились очевидными, на вопрос, как поступить с гомосексуалистами, 33 процента опрошенных ответили — ликвидировать, а 30 — изолировать; отношение к ним было не лучше, чем к проституткам, наркоманам, неполноценным от рождения, больным СПИДом, не говоря уже о бродягах и алкоголиках.

Хотя уже тогда в Москве была создана первая Ассоциация сексуальных меньшинств, заявившая: «Мы никого не стремимся обратить в свою веру, но мы таковы, какими нас сделала природа. Помогите нам перестать бояться. Мы — часть вашей жизни и вашей духовности», процесс декриминализации гомосексуализма в России затянулся до 1993 года, когда был опубликован указ, отменивший 121-ю статью. Сделано это было главным образом под давлением международного общественного мнения и осуществлено без широкой огласки в СМИ. Но даже если бы об отмене статьи кричали на каждом углу, вряд ли бы в обществе изменилось отношение к «голубым». Выросшим в атмосфере запретов перестроиться очень трудно, даже если объявить о перестройке во всеуслышание.



И сейчас, когда уже никого ничем не удивишь, когда имена знаменитых модельеров, танцовщиков, актеров и певцов нетрадиционной ориентации у всех на слуху, а лица — на стекляшках телевизоров, отношение к таким людям в России мало изменилось. В сентябре 2005 года 67 процентов опрошенных отнеслись к гомосексуализму отрицательно. Недавно в Госдуму был даже внесен законопроект о восстановлении 121-й статьи в том виде, как она существовала при советской власти. Правда, он был отклонен, хотя Владимир Жириновский призывал карать гомосексуализм смертной казнью.

Понятия и принципы морали в обществе постоянно меняются. Так же как фотографии человека, начиная с младенческих лет и до старости, являют нам совершенно разные физические обличья его, так и отношение человека к различным вопросам бытия меняется по ходу жизни, и порой кажется, что речь идет о разных людях, настолько отличны суждения одного и того же человека. Нет нужды говорить, что время, в которое выпало жить человеку, оказывает огромное влияние на его взгляды в вопросах морали и нравственности.

Критик пушкинской поры, читая «Руслана и Людмилу», находил, что «невозможно не краснеть и не потуплять взоры» от таких строк:

*А девушке в семнадцать лет  
Какая шапка не пристанет!  
Рядиться никогда не лень!  
Людмила шапкой завертела;  
На брови, прямо, набекрень  
И задом наперед надела.*

От чего здесь следует потуплять взоры, сегодня представляется загадочным. Я начал даже вдумываться в последнюю строку, но бросил бесполезное занятие, устыдясь порочных мыслей.

В 50-х годах в Московской консерватории разразился скандал — несколько преподавателей и студентов были обвинены в гомосексуализме. Дело разбиралось на открытом партийном собрании. Особую пикантность событию придали слова тогдашнего министра культуры Н. Михайлова, который с гневом заявил, что эти мерзкие люди занимались своими гнусными делами здесь, в стенах консерватории, носящей святое имя Чайковского!

Факт, который в советское время тщательно скрывался, стал сегодня общеизвестным и изменил у многих представление о великом композиторе. «Я был в шоке, когда узнал, что он был «голубым», — сказал один из почитателей музыки Чайковского. — Он был моим кумиром. Как и Фредди Меркьюри».

Лет пятнадцать тому назад в поезде из Амстердама в Брюссель я разговорился с мамой одного известного молодого гроссмейстера из Советского Союза. Он только недавно женился, молодые жили вместе с родителями, и мама, как положено, жаловалась сыну на невестку, впрочем, перепадало и самому сыну.

Я слушал вполуха, пока она не обратилась ко мне с вопросом:

— А правда ли, я слышала, что у Тиммана жена черная?

— Правда, — ответил я.

— Господи, батюшки святы, как же это так? — задала мне мама на этот раз больше риторический вопрос.

— Вот вы свою невестку ругаете, а представьте себе, что ваш сын — он ведь тоже мог выбрать себе черную жену или подругу, тогда что?

— Инфаркт, — сказала женщина, — у меня случился бы инфаркт...

— Вот видите, всё в жизни относительно, — тоном старого резонера произнес я. — Ну а если бы у него появился друг?

— У него есть друзья, — не поняла женщина.

— Да нет, я не о том — если бы он привел домой не жену, не подругу, а друга?

У мамы стало дергаться веко, смысл вопроса открылся ей, но ответила она не сразу. Пока женщина размышляла, я приготовился выйти на следующий рубеж, приготовив «черного друга» сына, но хватило и просто друга.

— Смерть, — сказала она просто, — смерть.

— Как смерть? — на этот раз уже не понял я.

— А вот так: мы не перенесли бы такого позора, мы с отцом бросились бы под поезд...

Конечно, отношение к этой проблеме, равно как и к теме секса вообще, зависит во многом от человека. Где-то в середине 70-х годов молодой аргентинский гроссмейстер женился на филиппинке, и после пышных торжеств на родине свадьба должна была продолжиться на Филиппинах.

Многочасовой перелет из Аргентины был нелегким, и сын решил провести пару дней в Амстердаме, чтобы дать возможность передохнуть родителям, вместе с ним летевшим на торжество. Его родители, немолодые уже люди, были родом из маленькой деревушки, говорили только по-испански и впервые в жизни путешествовали по воздуху. Прodelав днем всю обязательную программу с катанием на пароходике по каналам и посещением Рийкс-музея, они вместе с сыном отправились вечером в район «красных фонарей».

Остановившись у первого же кинотеатра, сын предложил родителям зайти вовнутрь, благо знание языка для просмотра фильма было совершенно не обязательно. Сам жених остался ждать их у выхода, отчасти потому, что уже не раз бывал в Амстердаме, но главным образом для того, чтобы не смущать «предков». Когда те вышли, первое, что сказала мама, обняв отца, было следующее:

— Ну, теперь ты понимаешь, старый дуралей, сколько мы всего потеряли в нашей жизни?

Когда я разговаривал с друзьями и знакомыми, жившими когда-то в Союзе, а теперь обитателями разных стран мира, кое-кто из них вспоминал слова Старого Завета по отношению к гомосексуалистам, перешедшие потом в Новый Завет: «выведи за город и побей камнями». Некоторые подчеркивали, что, хотя и не являются верующими, их мнение полностью совпадает с библейским. Нелишне отметить, что все они без исключения не только люди с высшим образованием, но и специалисты в своих областях.

В суждениях тех из них, кто не придерживался радикальной точки зрения, все же ясно слышались отрицательные интонации, когда иронические, но чаще презрительные. Даже сейчас, вспоминая те времена, Женю Рубана, они стеснялись факта знакомства и общения с ним и на всякий случай просили не называть их имен. Испорченный длительным пребыванием в одной из самых толерантных стран в мире, я спрашивал: «Почему?» — но вразумительной формулировки получить не мог. «Мне просто неприятно, если мое имя будет упомянуто в таком контексте», — говорили они в ответ.

Ленинградский кандидат в мастера, эмигрировавший еще до ареста Рубана, сказал, что если бы он знал тогда о наклонностях Евгения Николаевича, то просто не мог бы сосредоточиться на партии с ним, настолько само присутствие Рубана было бы ему неприятно.

Не столь категоричен Борис Липовский, доктор медицины, тоже бывший питерец. В юношеские годы он увлекался шахматами и уже четверть века живет в Соединенных Штатах:

«Хотя я был в России кандидатом медицинских наук, я относился к этому, безусловно под влиянием советской пропаганды, однозначно: грязь, стыд, жуть, и правильно делают, что пятерку дают, и надо сажать. Но в принципе, если и заходила об этом речь, всё звучало больше абстрактно, мы все старались об этом не думать, отодвигать куда-то на задворки мышления, поскорее перевести разговор на другое... Мой взгляд на эту проблему после эмиграции резко изменился, и, хотя, может быть, в глубине души я и сейчас испытываю какой-то дискомфорт, на отношения это никак не влияет, и моими друзьями могут быть люди различной сексуальной ориентации.

История с Рубаном — частный случай большой комплексной проблемы, и чем больше наука узнаёт об этом, тем в больших догадках она теряется. Здесь всё переплелось: физический, психологический, медицинский аспекты... Мой отец, уважаемый человек, профессор медицины, в первый год своего пребывания в Америке писал в газете «Новое русское слово» о способе, радикально решающем проблемы преступности: поставить в центре Нью-Йорка виселицы и публично вздергивать на них

убийц. Мы никогда не говорили с ним о гомосексуализме, но его точка зрения по этому вопросу не подлежит ни малейшему сомнению и очень характерна для людей, выросших при советской власти».

Лев Квачевский, питерский кандидат в мастера по шахматам и диссидент, получивший в одно время с Рубаном четыре года тюрьмы по политической статье, вспоминает: «Без сомнения, Рубан не понимал, что его ждет. Вероятно, он полагал, что в заключении встретит людей такой же судьбы, идеализируя лагерь. Выйдя на свободу и уже готовясь к эмиграции, я встретил Рубана в Екатерининском саду. Я не знал тогда, за что он сидел, и, когда общался с ним до ареста, снабжая всякими книгами, даже не подозревал об этом. Когда мне рассказали о причинах его заключения, я не мог больше относиться к нему по-прежнему. Я смотрю на таких людей сквозь призму лагеря: мне кажется, что таким людям ни в чем нельзя доверять, их легко взять, я видел это в лагере не раз. Признаю, что это очень сложная вещь, но я не хотел бы иметь другом такого человека».

Лев Альбурт, подчеркивая, какое влияние Рубан оказал на его судьбу, говорит, что принимает сексуальную ориентацию кого бы то ни было как данность, хотя и признаёт, что гомосексуальность человека является для него скорее отрицательным фактором.

У моего амстердамского знакомого, уехавшего из Союза пятнадцать лет назад, отношение к проблеме двойственное: «Конечно, мой взгляд на этот вопрос очень изменился после моего пребывания в Голландии. Тем не менее, если бы я узнал, что мои сыновья вырастут геями, для меня это стало бы трагедией. Но не для моей жены, голландки, которая думает: только бы они были счастливы, а как — их дело...»

Вырвавшись из клетки, однополая любовь оказалась такой же дикой и неуправляемой, как и многое в современной России. Сегодня уже никого не удивляют открытые форумы геев, с экрана телевизора идет реклама элитарности гомосексуальных отношений. Пропаганда сексменьшинств, переходя нередко в эпатаж, обрушивается на кидающуюся из одной крайности в другую Россию с такой назойливостью, что вызывает резко негативную реакцию общества.

Часть вины лежит, как мне кажется, на самих геях. Известно, что в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Берлине и Амстердаме существуют особые гей-гетто. Конечно, они не имеют ничего общего с еврейскими кварталами, так называемыми *Ebreo Borghetto*, имевшимися в средние века в итальянских городах, наименование которых сократилось позже до *ghetto*. И уж тем более в понятие гей-гетто не вкладывается того зловещего смысла, какой приобрело это слово во время Второй мировой войны: улицы гей-гетто доступны, разумеется, для всех жителей города, равно как и расположенные там магазины, кафе, бары и дискотеки.

Но получается парадокс: с одной стороны, геи хотят быть равноправными членами общества, с другой — сами с удовольствием отгораживаются от остального мира, подчеркивая свое отличие. В тайных, а теперь и явных братствах гомосексуалистов имеется некий комплекс отверженности и элитарности.

В начале 21-го века отверженность ушла, но чувство элитарности — осталось. Мысль, что кто-то «наш», неизменно присутствует не только в кругах российских геев, но и у их куда более раскрепощенных западных собратьев. Это понятие «наш», свойственное «голубым», только способствует их добровольному отчуждению. В России довольно распространено мнение, что «ими всё схвачено», и шутка о цветах государственного флага России: красные боролись с белыми, а победили голубые — отражает взгляд очень многих в стране.

В Амстердаме в доме напротив моего живет средних лет пара. Они не женаты, хотя и подумывают об этом, но только на случай, «если с одним из нас что-нибудь произойдет, чтобы не было юридических проблем». Приветливые, разговорчивые, оба любители классической музыки, довольно правые в своих политических убеждениях. Обычная семья, средний класс. Детей у них нет. Раньше хотели усыновить ребенка, но потом эта идея как-то растворилась, а теперь уже и поздно: обоим за пятьдесят. Они вместе уже двадцать четыре года. Одного зовут Виллем, другого — Ханс. Виллем работает в банке, а Ханс занимается домашним хозяйством и исправно ждет к ужину своего Виллема, зажигая свечи и расставляя повсюду свежие цветы. Надо ли говорить, что они не делают секрета из своих отношений и все соседи прекрасно о них осведомлены.

Общепринятая сегодня позиция сексологов и психиатров Запада — признание безоговорочной, безусловной нормальности гомо- и бисексуализма, что еще несколько десятилетий назад казалось вызывающим и невозможным. Но ведь в средневековье левша тоже считался человеком, помеченным чертом. И еще совсем недавно в Советском Союзе полагали, что от этого можно отучить, как от вредной привычки, вроде ходов h3 и a3, нередко делающихся в дебюте новичками, дабы избежать связки.

Почти всегда неприятие относится к какой-то определенной группе людей. Человек порой испытывает чувство злости по отношению «к этим голубым, жидам, иванам, фрицам, макаронникам...» Но ему и в голову не придет простая невежливость, если он оказывается лицом к лицу с каким-то конкретным представителем этой группы.

Немало людей впадают в ярость и совершенно не приемлют чужого мнения, если оно не соответствует их собственным взглядам или хотя бы в чем-то не совпадает. Надо ли говорить, что различное отношение людей к проблеме однополрой любви делает мнения еще более полярными и очень часто — непримиримыми.

Тема гомосексуализма давно перестала быть в России запретной, являясь предметом дискуссий и споров. Тем не менее она и поныне воспринимается многими как низменная и неприличная. Понимая это, я не захотел все же капитулировать перед мнением знакомых и незнакомых пуристов и отказаться от размышлений на этот счет. Несмотря на возможную иронию, а то и враждебность со стороны немалой группы читателей, я решил следовать тому, что считаю правильным, даже если это противоречит моей натуре или идет вразрез с моими вкусами. Я помнил, что об одиозных вещах, когда они становятся предметом обсуждения, следует говорить без утайки и каких-либо церемоний, и старался следовать этому принципу.

В «Приключениях Гулливера» война между тупоконечниками и остроконечниками вспыхивает из-за разногласий, с какого конца разбивать вареное яйцо. Слова Свифта, что яйца следует разбивать с того конца, с какого удобнее, а какой более удобный, должно быть предоставлено совети каждого, справедливы и в данном случае.

## БЛИЦ

**Ш**ахматная партия длится долго и является нелегким испытанием для игроков. Но каждый любитель шахмат знаком с удивительным фактом, когда соперники, закончив серьезную партию, тут же начинают играть блиц. Чтобы расслабиться после напряженного поединка, шахматист начинает... играть в шахматы!

Блиц — полная противоположность турнирной партии: здесь разрешается подтрунивать над соперником, стоящие рядом коллеги комментируют ход событий на доске, правило «тронул — ходи» выполняется не столь строго, а поражение не является катастрофой, потому что проигравшая сторона немедленно получает возможность реванша.

Только редчайшие шахматисты не играют блиц. Никто не видел, например, за молниеносной игрой Ботвинника: он смотрит на шахматы слишком серьезно, чтобы предаться тому, что является в его глазах чудовищной профанацией. Я принадлежу к тем редким счастливым, которым довелось сыграть партию блиц с Эйве (и, должен признать, он делал это очень хорошо). Но это — исключение. Шахматисту ничто не доставляет большего удовольствия, чем легкие партии. Есть, конечно, и другая категория шахматистов: те всегда заняты поисками четвертого партнера для игры в бридж.

Директора клубов во всех странах мира жалуется на то, что им не так просто найти участников для серьезных турниров, в то время как вечерний блиц привлекает огромное количество желающих. Лица, отвечающие за инвентарь в этих клубах, ведут вечную борьбу с блицорами, спасая шахматные часы от поломки, — следствие жестоких ударов, обрушивающихся на часы во время игры. Они ведут неравную борьбу: заветным желанием каждого шахматиста является изнасиловать саму музу шахмат Каиссу.

На всех международных турнирах блестящий блицор — гость, которому все рады. Блестящим блицором является тот, кто искусство блицевать и одновременно говорить довел до совершенства. На ум сразу же приходит Найдорф. Его нелепые жесты, полный абсурд его восклицаний, его ужасающий смех — незабываемо! Как-то, играя с ним блиц, я подставил фигуру и тут же начал причитать: «Ну не идиот ли я, ну почему я такой болван, почему?» Найдорф отказался продолжать партию: «Вы оскорбили моего друга!»

Или возьмите Бронштейна, который изумляет соперника, постоянно напевая по-русски детские песенки. Или Петросян, не только чемпион мира по шахматам, но и, без сомнения, лучший блицор в мире. Он не говорит на иностранных языках, но делает из блица настоящую клоунаду. Печаль и глубокое сострадание к сопернику написаны на его лице, так же как и удивление его непроходимой тупостью. Когда Петросян думает, обе его руки парят над

доской, над фигурами, как будто он заклинатель духов. Весь его вид говорит о том, что он полностью контролирует события в партии.

Особенно он хорош, когда играет с Фишером. Лицо Бобби выражает смертельную озабоченность; на нем легко можно прочесть все неприятности, на него свалившиеся. Фишер — второй по силе блицор в мире. Против других русских он сражается не без успеха, но Петросяну проигрывает партию за партией. Бобби это очень не нравится, и он с трудом сдерживает ярость. Он просто не может признать, что он слабее, а Петросян всё больше и больше заводит его. Он качает головой едва ли не после каждого хода Бобби и с осуждением насвистывает что-то сквозь зубы. Поучающе поднимает указательный палец, осуществляя свои блистательные маневры. Бобби отчаянно сопротивляется, но в конце концов проигрывает. С белым, как обычно, лицом он, тем не менее, снова отправляется на гильотину. Так продолжается до тех пор, пока кто-то не занимает место Фишера, чтобы самому стать жертвой Петросяна.

Не только часы являются жертвой блица. Стулья тоже порой не выдерживают нагрузки зрителей, и случается, что спинка стула ломается, когда кто-нибудь от изумления слишком резко откидывается назад.

В настоящее время имеются специальные правила для соревнований по молниеносной игре. Во время международных турниров стало привычным проводить в свободный день блицтурнир, но после войны нередко такие турниры организовывались и как отдельные соревнования. В Саарбрюкене, например, два года подряд — в 1953 и 1954-м — были проведены двухдневные блицтурниры, в которых приняли участие сильнейшие игроки Западной Европы и Югославии.

Журнал «Эльзевир», 6 ноября 1963

## «БЛИЦ! БЛИЦ!»

Любовь Доннера к молниеносной игре зародилась еще в те далекие времена, когда он в конце 40-х годов приехал в Амстердам, чтобы учиться в университете, но пропал с утра до глубокой ночи в кафе за игрой блиц.

Играли тогда на громоздких часах, где вместо кнопок были деревянные рычажки; в начале 70-х я еще видел такие старинные механизмы, хотя в блицтурнирах, а тем более в серьезных партиях, все пользовались уже кнопочными часами.

Сражения в кафе шли всегда на деньги, пусть и маленькие. С контрами и реконтрами, то есть с удвоением и учетверением ставок по ходу игры. Партия блиц означала почти всегда пятиминутку, не могу припомнить, чтобы Доннер играл трехминутки, не говоря уже о «буллитах», которыми увлекается молодежь сегодня, когда техника нажатия на кнопку (или на мышь) зачастую оказывается важнее качества ходов.



Доннер частенько блицевал во время турниров, но больше любил наблюдать за поединками лучших блицеров своего времени: Бронштейна, Таля, Петросяна, Фишера, Штейна. В голландских блицтурнирах Хейн почти никогда не принимал участия: для него они начинались очень рано, обычно часов в двенадцать дня, да и призы были не так велики. К тому же, хотя блицор он был и неплохой, ему не хватало жесткости и «кладки», а зевок или грубый просчет часто сводили на нет усилия всего дня.

В клубе «Де Кринг» всегда имелись в наличии шахматные часы и комплект фигур; одна сторона доски, с шестьюдесятью четырьмя клетками, использовалась для шахматной игры, другая — десять на десять — для стоклеточных шашек. Впрочем, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь играл в стоклетки, хотя Тон Сейбрандс тоже был членом клуба. Однажды, когда Тон отказался от игры в турнире из-за предложенных ему нищенских условий, Доннер опубликовал «Письмо молодому шашкисту», в котором писал: «Мы, профессионалы, сделаны из другого теста. Мы — реликты еще рыцарского времени, и деньги для нас — не плата за работу, а символ уважения к нашему таланту. Этим мы отличаемся от организаторов турниров, и они никогда не поймут нас...» В качестве примера Хейн почему-то приводил графа Вронского, который совсем не спешил с выплатой тысячи рублей своему портному, но считал делом чести отдать в течение двенадцати часов карточный долг богатому помещику.

Иногда поздним вечером в том же клубе Доннер, прервав горячую дискуссию, предлагал внезапно: «Ну что, пару партиек?» — и мог часами играть с соперниками, значительно уступавшими ему в силе. Не припомню, чтобы в такого рода партиях он, даже находясь «под градусом», допускал какие-нибудь вольности: игра всегда открывалась ходом ферзевой пешки, да и дебюты избирались те же самые, что и в турнирных партиях.

Постоянным партнером Доннера в этих ночных сражениях был журналист Макс Пам, игрок силы первого разряда или даже кандидата в мастера. Макс рассказывал, что иногда, примерно в час дня, в дверь его квартиры раздавался нетерпеливый звонок. Это был Доннер, живший неподалеку. Гость еще поднимался по лестнице, а Макс уже слышал его голос: «Блиц! Блиц!» Это означало, что Хейн недавно проснулся и, перед тем как начать дневную деятельность, решил разогреться партийкой-другой...

В последний период жизни, когда пальцы не слушались его, блицевать Доннер уже не мог, поэтому друзья, составив график, по очереди приходили к нему, чтобы поиграть легкие партии без часов. Игра, как и во времена его молодости, шла на ставку, пусть и символическую: «квартель» — так называлась голландская монетка в двадцать пять центов...

## ЧИП

Чемпионат Ленинграда по блицу 1958 года выиграл Виктор Корчной. Второе место разделили Борис Спасский, Марк Тайманов — и перворазрядник, победивший в личных встречах всех гроссмейстеров. Его звали Генрих Чепукайтис.

Он родился в 1935 году в Ленинграде. Война, блокада, эвакуация. В шахматы Чепукайтис научился играть, когда ему было четырнадцать лет. Зимой сорок девятого голодного года уличного мальчишку привели в отделение милиции, где случайно оказался студент Юридического института Борис Владимиров. Чепукайтис вспоминал, что сопротивления будущему международному мастеру он оказать не смог, хотя тот давал ему в качестве форы весь ферзевый фланг.

Во время армейской службы он занимался в Баку у Владимира Макогнова, а вернувшись в Ленинград, посещал иногда занятия Фурмана и Борисенко, но на этом учеба и кончилась.

Он признавался: «Мне было скучно овладевать всеми премудростями, скоро я оставил эти занятия. Классического шахматного образования так и не получил, моим единственным и великим тренером стал блиц, и рука сама научилась в считанные секунды находить правильные поля для фигур».

Блиц! Он стал его страстью, за бесчисленными блицпартиями Чепукайтис проводил дни, недели и месяцы и, хотя в серьезных турнирах успехи его были довольно скромные, в молниеносной игре ему было мало равных.

Впервые он стал чемпионом Ленинграда по блицу в 1965 году, опередив многих известных шахматистов. Формально Чепукайтис не был тогда даже мастером. Хотя он и выполнил уже мастерский норматив, квалификационная комиссия после просмотра его партий решила звания пока не присваивать: сыроват, пусть еще поиграет... Вдохновленный ленинградским успехом, Чепукайтис решил сыграть в чемпионате Москвы по блицу, но в финал его не пустили. Пришлось идти «окольным путем»: приезд в столицу ночным поездом, выигрыш полуфинала, ночевка на вокзальной скамье и на следующий день — блистательная победа впереди многих корифеев!

В те годы он неоднократно и с успехом участвует в московских чемпионатах, с особой гордостью вспоминая тот, в котором не принял участия Тигран Петросян. Вето было наложено женой Петросяна Роной: «Ты чемпион мира. Кто тебя похвалит, если ты выиграешь? А если проиграешь? Хорошо еще, если победит Бронштейн, Таль или Корчной, ну а если Чепукайтис?» Итоги того чемпионата Москвы: первое место — Таль, второе — Чепукайтис, третье — Корчной.

Но главным и любимым полем сражения для него оставался Чигоринский клуб его родного города. Он играл в чемпионатах Питера по блицу

47 раз. Сорок семь! Шесть раз побеждал в них, последний раз в 2002 году, когда ему было уже далеко за шестьдесят.

Если вдруг не выходил в финал, то получал персональное приглашение, потому что чемпионат Ленинграда по блицу без Чепукайтиса был немыслим, как футбол без «Зенита». Зрители в этот день стояли на столах и подоконниках клуба, и не только потому, что в турнире принимали участие прославленные гроссмейстеры, — играл Генрих Чепукайтис, который был в состоянии победить — и побеждал! — этих самых гроссмейстеров: Корчного и Спасского, Таля и Тайманова. Для него самого этот день был праздником, его личным праздником, он появлялся в клубе чисто выбритым, в белоснежной рубашке и при галстукке. В старых подшивках «Вечернего Ленинграда» можно найти фотографии легендарного блицора и кричащие заголовки статей: «Опять Чепукайтис!» В этот вечер в клубе можно было увидеть его коллег — рабочих семьдесят девятого прессовочного цеха оптико-механического завода, и неважно было, что они едва знали ходы шахматных фигур, предпочитая «забывать козла» в обеденный перерыв, — пропустить такое зрелище они не могли: их Чип шел громить гроссмейстеров!

Чип. Так его называли все, и хотя в последние годы для кого-то он стал Генрихом, а для молодых и Генрихом Михайловичем, между собой все по-прежнему звали его Чипом.

За свою первую победу в чемпионате города Чепукайтис получил приз — телевизор. Этот телевизор, как и все последующие телевизоры и фотоаппараты, врученные ему в качестве призов, неизбежно оказывались на прилавке комиссионного магазина. Равно как и кинокамера, полученная за победу в памятном московском чемпионате. «Надо обмыть такое дело с ребятами в цехе», — сказал тогда Чепукайтис.

Чип не был профессиональным шахматистом. Всю жизнь, до выхода на пенсию, он проработал электросварщиком: спецовка, защитный шлем от снопа разлетающихся искр — всё, как полагается. Знающие люди утверждали, что он был сварщиком высокой квалификации. Он вставал в пять утра, если вообще ложился, чтобы поспеть вовремя к заводской проходной, и можно только удивляться, как он выдерживал такой ритм: все вечера, а очень часто и ночи, были до краев заполнены игрой.

Игра! Это было то, чем он жил. Он играл всюду: в Чигоринском клубе, в клубах различных Дворцов и Домов культуры, летом — на Кировских островах, в парках, в Саду отдыха. Вокруг его партий всегда толпились болельщики и почитатели; он любил играть на публике, любил, пока соперник задумывался над ходом, перекинуться с кем-нибудь словом или не спеша размять очередную папиросу, не обращая внимания на повисший грозно флажок. Оружие работы — деревянные шахматные часы — он нередко носил с собой в сумке. В пулеметном перестуке часов последний выстрел всегда оставался за ним: случалось, что часы не выдерживали

такой сумасшедшей пальбы и кнопка вылетала из тела механизма. Бывало, от неосторожного движения часы сдвигались с места, как ворота в хоккее, сметая фигуры и пешки, и вместо атакующей позиции на доске оказывалась груда хаотично валяющихся деревяшек.

Хорошо помню его в то время: невысокого роста, с короткими мускулистыми руками, маленькие глазки, веселый, с хитрецей, взгляд, черные всклокоченные, слегка вьющиеся, с ранней сединой волосы, ямочка на небритом подбородке. Вид почти всегда усталый, помятый. Стираная рубашка, темный, выдавший виды пиджачок. Чипа мало кто принимал всерьез: в самой фамилии его было что-то чепуховское, несерьезное, как и шахматы, в которые он играл.

Он мог плутовать во время игры, но делал это весело и беззлобно. Один из его приемов: в мертво-ничейным эндшпиле с разноцветными слонами неожиданно «перейти» в одноцвет. «Здесь ни в коем случае нельзя спешить, — объяснял Чип свою стратегию. — «Поменяв» цвет слона, надо сделать им десяток-другой бессмысленных ходов, для того чтобы соперник не заметил столь резкой перемены обстановки на доске. И только «приучив» партнера к новому положению дел, надо перейти к решительным действиям». Если ошарашенный соперник, потеряв все пешки, сдавался в недоумении и, восстанавливая ход событий, говорил: «Погоди, погоди, но ведь сначала...» — Чип, поупиравшись для вида, весело соглашался и расставлял фигуры для новой партии.

Формул для игры блиц было немало: классические пятиминутки, трех- и даже односторонние, немало было и самых различных фор. Чаще всего встречающаяся фора, которую давал Чепукайтис, — минута на пять. Он играл с такой форой с кандидатами в мастера, причем нередко они требовали, чтобы минута на часах Чипа ставилась не на глазок, а шестьдесят секунд отмерялись строго по секундомеру, — электронных часов тогда не было и в помине. Когда я четверть века спустя слушал Ботвинника, учившего молодых: «Цейтнот — это когда на последние десять ходов остается пятнадцать минут, а не минута на пять ходов, как думаете вы», — мне вспоминался Чепукайтис 60-х годов, успевавший за минуту отщелкать целую партию. Однажды в Ленинграде проходил полуфинал первенства страны, в котором играли опытные мастера. Он и с ними пытался играть — минута на пять, потом перешел все-таки на две. В другой раз я присутствовал на матче Чепукайтиса с кандидатом в мастера, которому он давал фору ладью; в качестве компенсации соперник должен был снять у себя пешку «с» — по мнению Чипа, имеющую исключительную важность, так как центр может быть подорван только при помощи этой пешки.

Его вера в себя была безгранична. Неслучайно он говорил: «Вы должны быть абсолютно уверены в себе. Когда вы играете партию, вы должны отдавать себе отчет в том, кто самый находчивый за доской. Это — вы. Вы сами».

Помимо времени на обдумывание имелась и другая немаловажная деталь, которую следовало обговорить до начала партии: с какой стороны от играющего находятся шахматные часы? Для непосвященного вопрос этот праздный и не играет никакой роли. На деле же в блице решающую роль могут сыграть даже доли секунды, которые тратятся на более длинный путь руки к часам. Оговаривались и другие условия. Например, будут ли партии играть по правилу «тронул — ходи» или ход будет считаться сделанным только после того, как пережата кнопка часов. Надо ли говорить, что игра всегда шла на ставку, причем ставки эти бывали совершенно фантазмагорическими, как и вся тогдашняя жизнь. Случалось, за один присест им проигрывались или выигрывались суммы, в несколько раз превышавшие его месячный заработок.

Наблюдая со стороны за его игрой, я видел, что он не очень любит позиции, в которых имеется одно-единственное решение, предпочитая оставлять за собой, применяя карточный термин, «отходы в масть»: несколько возможных продолжений. Он и играл в самые разнообразные карточные игры — преферанс, покер, буру, секу, двадцать одно. Любил домино и шмен — не слишком трудную игру, где побеждает угадавший бóльшую сумму цифр на зажатой в кулаке купюре. Он мог «катать» в любую игру, где, когда и с кем угодно; таких, как он, и называли — «катала».

Контроль времени в шахматах в те времена располагал к раздумью, и я видел иногда Чипа в каком-нибудь закутке, прямо во время партии «заряжающего» в шмен, пока соперник-тугодум размышлял, поставить ли на d1 королевскую ладью или, наоборот, ферзевую.

Иногда его можно было найти в «ленинской комнате» завода в компании шахматистов — Усова, Дёмина, Гриши Петросяна, всех уже тоже покойных. Тогда убирались со стола комплекты «Правды» и «Известий», дверь запиралась на ключ, доставался лист бумаги, расчерчивалась пуля для игры в преферанс, открывалась бутылка... Процесс игры происходил под внимательным взглядом Ленина, бюст которого являлся непременным атрибутом любого красного уголка.

Лето 1965 года, Ленинград, гостиница «Октябрьская», полдень. Чепукайтис и молодой грузинский мастер Роман Джинджихашвили решили сыграть парочку трехминуток, и я оставил их за этим занятием. Когда наутро я снова заглянул в гостиницу, то уже в коридоре услышал отчаянный перестук часов: соперники по-прежнему сидели за столом, только время от времени выходя в ванную комнату, чтобы подставить голову под непрерывно льющуюся из крана струю холодной воды. Дебютные позиции у них возникали на доске со сказочной быстротой. Неудивительно: эти позиции встречались уже множество раз в предыдущих партиях и — опытные блицеры поймут, что я имею в виду, — расставлялись обоими без особых раздумий, как нечто само собой разумеющееся.

«Где-то часам к пяти утра я вел «плюс одиннадцать», но потом у Чипа открылось второе дыхание, и он не только сравнял счет, но и вышел вперед, — жаловался Джин. — Но ничего, еще не вечер, у меня снова “плюс четыре”...»

Поздно вечером того же дня я зашел в Сад отдыха на Невском проспекте. Было темно, играла музыка, разнося из всех репродукторов модную тогда песенку «Домино», а в шахматной беседке Чип как ни в чем не бывало играл минута на пять со Слюсом — своим постоянным партнером тех лет по фамилии Слюсаренко.

Джинджихашвили, сам незаурядный близор, вспоминает, что это был далеко не единственный случай такого длительного единоборства: «Однажды я играл с ним пятьдесят часов кряду. В моей жизни было только три человека, с которыми я играл такие марафоны: Карен Григорян, Чепукайтис и сравнительно недавно — Арбаков».

Марк Цейтлин утверждает, что как-то, встретившись с Чипом в пятницу, блицевал с ним трое суток подряд: «Счет колебался в районе «плюс трех» в ту или иную сторону, ставка была — полтинник за партию, но, начав играть, мы завелись и просто уже не могли остановиться».

Случаи эти не являются такими уж исключениями, и самозабвенных, одержимых игрой шахматистов можно встретить в разные времена и в разных странах. Назову только несколько имен. Яков Юхтман и Юрий Коц на Украине, Янис Даудзвардис в Латвии, австриец Йозеф Клиндер, оставивший шахматы и полностью переключившийся на покер, шестикратный чемпион Германии по молниеносной игре Карл-Хайнц Подзельны. Таким был и умерший в 2004 году москвич Валентин Арбаков: хотя он и стал гроссмейстером, в серьезных шахматах ничем себя особенно не проявил, а вот в блице гроссмейстеры с мировым именем зачастую вынуждены были признавать его превосходство.

Чепукайтис не раз рассказывал о своих единоборствах с Михаилом Талем. Самое первое произошло в Ленинграде, в гостинице; пожилой человек, которого Чип повстречал там и принял сначала за Мишиного дядю, оказался Рашидом Нежметдиновым. Чепукайтис выиграл у мастера комбинаций со счетом 5:2, после чего в дело вступил появившийся Таль. Он тоже сыграл семь партий и, по свидетельству Чипа, почти все их проиграл, хотя на следующий день взял убедительный реванш. Каждый раз Чепукайтис называл, правда, другой счет в своем победном матче, и сейчас уже невозможно проверить абсолютную точность рассказа, но я могу подтвердить, что борьба Чепукайтиса с Талем в других поединках шла с переменным успехом. Так было и на чемпионате страны в Харькове в 1967 году. Чип играл, как всегда, с ураганной скоростью и, быстро освободившись, слонялся по залу в ожидании Талья. Когда Миша заканчивал свою партию, начинался блиц — нередко при большом скоплении зрителей. Свидетельству: счет был примерно равным и скучных партий не было.

Одни люди создают моду в шахматах, другие — ей следуют. Чепукайтис не вписывался ни в одну из этих категорий: у него была своя теория дебютов, полностью построенная на собственных партиях. Вспоминать в начале партии, что написано в дебютных справочниках или как именно было сыграно в этой позиции на последнем турнире в Линаресе, для него значило расписываться в собственной слабости и бесталанности.

Он говорил: «Есть два вида дебютов: один — который вы играете хорошо, другой — который вы играете плохо». Сам Чип любил уже в дебюте создавать иррациональные позиции, хаос на доске, который называл «базаром».

Восточная мудрость гласит: у каждого начала есть свое начало. Излюбленное начало Чепукайтиса с выходом слона на g5 после первого хода ферзевой пешки. Это было его любимой стратегией: вывести слона за цепь пешек, после 1.d4 только очень слабо обозначенную, и, тут же разменяв этого слона, начать прорубать просеки для другого.

В искусственном мире шахмат все фигуры были для него живыми существами, но любимым был конь. Он признавался не раз: люблю коней, без коней шахматы были бы просто скучны. Как он их только не называл: и элита фауны доски, и горбунок, и лошадь, и скакун, и мерин, и кляча. Надо ли удивляться, что, увидев размен слона на коня, предпринятый «Дип Блу» на четвертом ходу в партии нью-йоркского матча с Каспаровым (1997), Чепукайтис был в восторге: «Наконец-то компьютер начал понимать что-то в шахматах!»

Одну из своих статей Петросян озаглавил «Дебют на свой вкус, или Почему я люблю ход ♗g5». Речь шла о ходах 1.d4 ♘f6 2.♗f3 e6 3.♗g5. «Петросян пропагандировал выход слона на третьем ходу, я же предпочитаю делать это на ход раньше», — говорил Чепукайтис и сокрушался, что вывести слона-камикадзе на g5 на первом ходу нельзя по правилам игры. Он называл этот выпад слона «беспородным началом», полагая, что в других дебютах «набивших оскомину табий несть числа».

С наибольшим эффектом выявилась идея этого хода в партии Чепукайтис — Тайманов в одном из чемпионатов города по блицу, когда соперник после 1.d4 d5 2.♗g5, одернувшись, сыграл 2...e6?? В то же мгновение ферзь черных исчез с доски, как будто Чепукайтис и не ждал другого ответа, а гроссмейстер, смешав фигуры, бросил в сердцах: «Вам пивом торговать, а не в шахматы играть!»

Чепукайтис полагал, что тысячи партий, которые он открыл таким образом, являются достаточным основанием, чтобы назвать дебют его именем. «Что с того, что какой-то Тромповский делал этот ход еще до войны? Все идеи в этом беспородном начале только мною и разработаны», — утверждал он. Но всерьез его дебют никто тогда не принимал, а часть посвященной ходу 2.♗g5 теоретической статьи, написанной Борисом Гулько после турнира 1967 года в Ленинграде, где Чип много раз применил этот ход, была безжалостно вычеркнута редактором журнала «Шахматный бюллетень».

ть». Любопытно, что выход ферзевого слона на втором ходу применял еще выдающийся игрок прошлого — Давид Яновский, потом русский мастер Степан Левитский, играл так и Карел Опоченский в 30-х годах, но очевидно, что эти партии были неизвестны Чепукайтису.

Черными он играл различные системы с фианкеттированием чернопольного слона, но излюбленным его дебютным построением была система Уйтелки. В этой системе, где черные добровольно отдают инициативу сопернику, белые лишены каких-либо конкретных рекомендаций теории, но если действуют шаблонно, пружина позиции черных может раскрутиться сама собой. Под настроение он мог применить эту систему и белыми, вызывая огонь на себя. Получив как-то на жеребьевке против него белые, я жалел о потерянном цвете: не в дебюте решались партии Генриха Чепукайтиса.

Однажды, после того как он в ленинградском варианте защиты Нимцовича на пятом ходу черными пожертвовал Заку ферзя за две легкие фигуры и разгромил его, Владимир Григорьевич, сдавая партию, нервно спросил Чепукайтиса: «Вы так пошутили, конечно?» Еще годы спустя Зак, один из первопроходцев этого варианта, с удивлением и недоумением анализировал позицию, случившуюся в той партии с Чепукайтисом.

В одном из туров Спартакиады Ленинграда 1967 года я играл по соседству с Чепукайтисом. Во время партии с Рубаном он постоянно выходил в фойе покурить, поговорить с приятелями, возвращаясь в зал только для того, чтобы быстро сделать очередной ход.

— Ты видел, какое я сегодня шоу исполнил? — слышал я голос Чепукайтиса где-то в кулуарах, после того как Рубан сдался.

— И всё было корректно? — спрашивали его.

— А кто его знает? Без полбанки ведь не разобраться, — улыбаясь, отвечал Чип любимой присказкой. Фантастическая партия эта, отданная сегодня на растерзание компьютера, не выдерживает испытания на корректность, но все равно восхищает каждого, кто ценит в шахматах не только логичную игру в дебюте и реализацию маленького преимущества в окончании.

Виктор Корчной прекрасно помнит свою первую партию с Чепукайтисом в первенстве Ленинграда 1957 года: «Хотя мне и удалось выиграть, это была очень запутанная и долгая партия. Это верно, теории он не знал, зато у него были свои схемы, он беспрестанно что-то выдумывал за шахматной доской, и с ним всегда надо было держать ухо востро. Мне вообще играть было с ним очень непросто, особенно блиц».

Выдающимся мастером блица называют Чепукайтиса Рафик Ваганян и Александр Халифман, не раз мерившиеся с ним силами.

Несколько лет назад Анатолий Карпов сказал, что «если дойдет до блица, то и Чепукайтис может стать чемпионом мира». «Да, может, — заметил Давид Бронштейн, — и я не вижу в этом ничего зазорного. Генрих Чепукайтис великолепный стратег и блестящий тактик. Его бесчислен-



ные победы в блицтурнирах объясняются тем, что он на редкость искусно создает сложные ситуации, в которых соперники, привыкшие к «грамотной» игре, просто теряются».

Не так давно Чепукайтис выпустил книгу о блице, о ведении борьбы в цейтноте. *«Вам совсем не обязательно играть хорошо. Важно, чтобы партнер играл плохо»*, — утверждал он в ней. *«Существует фигура еще более значимая, чем все остальные. Семнадцатая по счету. Это ваш противник. Именно с ним надо считаться при выборе ходов. Попробуйте перенести риск принятия решения на партнера. Пусть думает противник! Не помешайте. Если нужно сыграть как хуже, он найдет. Шахматист — только человек и рожден, чтобы делать ошибки, «зевать» фигуры и допускать просмотры»*.

Он писал и о том, что *«в игре недопустима доброта. Разве что в целях конспирации истинных намерений. Необходимы же — напор, нахальство, блеф, авантюра. Мнительность, неуверенность, академичность, паника — недопустимы. Помогите противнику сбиться с ритма. Растерянность за пожертвованную фигуру — достаточная компенсация. Ищите активный ход пешкой. Если найти не удастся — делайте длинный бестолковый ход. Это шанс. Ваше поведение в начале партии должно подчиняться простому светофору: ясность в дебюте — важнее материального перевеса»*.

*Ходить надо ближе к кнопке. Это — очень важно! Помните: движения ваших рук должны опережать мысль. Не ходите туда, куда смотрите. Не смотрите, куда пойдете. Это шанс. Если партнер забыл перевести часы, сделайте «умное лицо», задумайтесь. Пока часы противника ходят, вы приближаетесь к победе. Добравшись до эндшпиля, ходите как попало, соблюдая единственное правило: все ходы должны быть как можно ближе к кнопке часов — так называемая «кнопочная теория Чепукайтиса». Основной принцип, соответствующий моему пониманию шахмат, — русское «авось»*.

Читая эти строки, в которых перемешано всё: здравый смысл и эпатаж, улыбка и банальности, своеобразная философия и скоморошничанье, психология и трюизмы, — читатель может подумать, что автор ратует за бездумные шахматы, королем которых не без кокетства объявлял себя не раз сам Чепукайтис. Это не так, конечно.

Неправда, что он играл в бездумные шахматы, неправда и то, что все успехи его могут быть объяснены только фартом или «кнопочной теорией Чепукайтиса». Правда же, что, обладая незаурядным и очень своеобразным шахматным талантом, он построил всю свою игру на рефлексам и интуиции и, презрев какую-либо подготовку и исследование, развивал свой замечательный талант исключительно практикой.

Для Чепукайтиса процесс мышления означал способность мгновенно ориентироваться в непредвиденных обстоятельствах. Во время игры он постоянно находился в том эмоциональном состоянии, которое ученые называют поисковой доминантой. Но в отличие от ученых он не стре-

мился к поиску абсолютной истины. Она меньше всего интересовала Чепукайтиса. Не истину искал он в игре, предоставив это занятие супергроссмейстерам и так не любимым им компьютерам, а только и исключительно собственную правоту, называемую победой. На поиски этой собственной правоты в его распоряжении были считанные секунды, и я полагаю, что ответ авиадиспетчера на вопрос психологов, о чем он думает в экстремальных ситуациях: «Здесь думать некогда, здесь видеть надо», — пришелся бы очень по душе Чипу. И если бы у него спросили, что есть правда в шахматах, он мог бы ответить словами героя Агаты Кристи: правда — это то, что расстраивает чьи-то планы.

«Его не особенно интересует, у кого перевес и надежна ли его собственная позиция. Главное для него — найти удар, такой эффектный прорыв, который принесет ему победу», — сказал молодой Фишер после одной из побед Таля над Смысловым в турнире претендентов 1959 года. Под этими словами мог бы подписаться и Генрих Чепукайтис.

Глава каспаровской книги «Мои великие предшественники», посвященная Михаилу Талю, называется «Блеф как оружие победы». В комбинациях великого чемпиона «дыры» порой находили сразу после партии, в других — после кропотливого анализа, длившегося месяцами. А некоторые комбинации удалось опровергнуть лишь десятилетия спустя, когда они были поставлены на оценку безжалостного компьютера. Сам Таль никогда и не претендовал на абсолютную корректность своих замыслов. «В том-то и отличие шахматной борьбы за доской от неторопливого домашнего анализа, что аргументы надо находить немедленно!» — говорил он. Но если соперники Таль могли задуматься над решением поставленных перед ними проблем на час, а то и дольше, то партнеры Чепукайтиса имели на всё про всё десяток-другой секунд.

Он сам признавал, что ему так никогда и не удалось залатать значительные пробелы в дебюте и эндшпиле, разве что умело камуфлировать их. «Я не понимаю серьезных шахмат и как серьезный шахматист представляю из себя ноль», — не раз говорил Чепукайтис. Это, конечно, преувеличение, но, действительно, разница между результатами Чепукайтиса в блище и в турнирных шахматах разительна: рейтинг его никогда не превышал скромной отметки 2420. Выдающийся игрок, гроза гроссмейстеров в молниеносной игре — и рядовой мастер в серьезных шахматах. Почему? Причин, я думаю, здесь несколько. Конечно, недостатки шахматного образования более заметны в партиях с классическим контролем: здесь куда большую роль играет конкретное знание дебюта, повышается цена хода, ошибка очень часто бывает непоправимой. Примечательно, что негативную роль может играть и запас времени, позволяющий погружаться в раздумья, порождающий самокопание и колебания, вносящий в процесс мышления губительные сомнения. Как картине, созданной художником в порыве вдохновения, далеко не всегда идет на

пользу исправления и улучшения, так и Чепукайтису избыток времени шел только во вред.

Симптоматично, что в начале 70-х годов, когда кривая его успехов в турнирах поползла вверх, ухудшились результаты в блице. Он признавался тогда: «Раньше я ничего не понимал и не боялся, а теперь я знаю, что так нельзя играть и так тоже...»

К тому же ему было просто скучно долго сидеть за доской и в ожидании хода соперника оценивать, по совету Ботвинника, позицию, уточнять план или делать какие-то другие вещи, далекие от того, что было для него интереснее всего, — самого процесса игры. Потерпев поражение в турнирной партии, он, в отличие от блица, был лишен возможности тут же взять реванш и нередко, теряя интерес к турниру, начинал «плыть». Так, в одном из чемпионатов города он проиграл одиннадцать партий!

Понятие «режим» для него не существовало: Чип мог опоздать на игру почти на час, прийти на тур после бессонной ночи, а с папиросой вообще никогда не расставался. Но у него, как и у других людей богемного образа жизни, была защитная реакция организма: он мог отключиться, пусть на несколько минут, где угодно — в метро, на скамейке парка или в кресле в фойе шахматного клуба.

Хотя в графе «профессия» Чип писал «электросварщик», в действительности был он, конечно, шахматистом, а жизнь шахматиста — это в первую очередь его партии. Из совершеннейшего сора партий Чепукайтиса росли иногда оригинальные планы и удивительные комбинации. За свою жизнь он сыграл сотни тысяч партий, почти все они канули в вечность, как у художника, писавшего новую картину поверх старой, чтобы сэкономить деньги на холсте. Сам Чип не очень заботился о сохранности своих партий, подобно венгерским магнатам, ходившим на балы в сапогах, расшитых жемчугом, закрепленным столь небрежно, что жемчужинки осыпались во время вальса.

Он был человеком беспокойного, своеобразного ума, совершенно лишенного созерцательности и находившегося в постоянном движении. Знал необычайное количество баек, историй и побасенок, правда в них была перемешана с вымыслом, недаром он сам признавался, что в своих историях взял немножко от барона Мюнхгаузена. Нередко рассказы его повторялись, уже через четверть часа слушать Чипа становилось утомительно, и его не прерывали только из вежливости.

Он писал стихи — длиннющие поэмы, отрывки из которых читал всем желающим; слушал эти поэмы и я во время моих приездов в Питер. Хотя в них попадались смешные, а то и грустные строки, было это типичным рифмоплетством, и полностью его последнюю поэму я прочел только тогда, когда сам автор уже не мог прочесть ее кому бы то ни было. При чтении Чепукайтис обильно пользовался мимикой и помогал себе инто-

нацией — было видно, что этот процесс доставляет ему удовольствие. Иногда в водопаде его речи проскальзывали вдруг необычные строки, оказывавшиеся на поверку тютчевскими или блоковскими.

Поэмы эти о шахматах, о его любимой фигуре — коне, о «беспородном начале», о гроссмейстерском звании, но главным образом — о нем самом. Иногда он писал о себе в третьем лице, называя себя «легендарным Чепукайтисом»; наиболее часто встречающееся слово в его поэмах — Я.

*Моя уверенность от бога.  
Мой рейтинг сказочно высок.*

*Секрета нет: Я просто гений,  
Немыслим мой потенциал.  
Но дома Я простой неряха,  
Тупица, лодырь и нахал.*

*Я уповаю на момент.  
Я знаю всё, что сам не знаю.  
Мне трудно подыскать фрагмент,  
Где Я еще не побеждаю...*

*Отдать ладью для нас пустяк,  
Ферзя для дела тоже можно.  
На Капабланку Я похож,  
Но он, пожалуй, осторожней!*

Это отрывки из его поэм. В последнем Чип называет кубинца Капабланкой, обычно же он для него — «Дон Хосе» или просто «Хосе».

*Я удивительно способен  
Ходить туда, куда не все.  
Что позволял себе на Кубе  
В далеком прошлом Дон Хосе.*

Показательны и завершающие строки поэмы:

*В бездонных безднах бытия,  
Где есть лишь шахматы и Я.*

Хотя всё здесь облечено в шутовскую форму, эта потребность в самоутверждении и собственном превосходстве для психолога явилась бы, наверное, очевидным доказательством обиды человека на непризнание его заслуг, действительных или воображаемых. В глубине души он считал

себя сильнее многих мастеров и гроссмейстеров, этих «тупиц», «зубрил», выучивших какие-то форсированные варианты и воображающих, что это и есть шахматы. И он был в особом настрое, встречаясь за доской с этими шахматными «хорошистами», аккуратными и прилежными, боящимися сойти с накатанной дебютной дороги, вехи на которой обозначены в линаресах и дортмундах.

Хотя он выполнил несколько раз норму международного мастера, а однажды был близок к покорению гроссмейстерского норматива, — вожделенного звания гроссмейстера, такого поблекшего, растиражированного и девальвированного сегодня, он так никогда и не получил и чувствовал себя несправедливо обойденным.

Эта обида за свой непризнанный талант читается в последней, жирно выделенной строке его книги: **Мастер спорта СССР Генрих Чепукайтис.**

И в обращении на экземпляре книги, мне подаренном: «Товарищу и гроссмейстеру».

И в строках одной из его поэм:

*Гроссмейстера пока не дали,  
Посмертно, видимо, дадут  
И в Книгу Гиннеса, наверно,  
Вперед ногами занесут.*

И можно представить, как сладко было видеть ему в таблице чемпионата мира среди сеньоров в Германии — GM Cherukaitis, когда инициалы Генриха Михайловича организаторы турнира приняли за титул.

За несколько дней до моей эмиграции из Советского Союза, теплым августовским днем 1972 года столкнулся с ним в людском водовороте у Московского вокзала. В ответ на дежурный вопрос о делах, он вздохнул: «Слушай, со всех сторон...» — здесь Чип прибегнул к сильной физиологической метафоре, начав перечислять неприятности, случившиеся с ним в последнее время. Потом, вдруг вспомнив что-то, сказал: «Я слышал, ты уезжаешь. Жаль, а я вот остаюсь — буду звать Русь к топору...» Это было, конечно, только красивой фразой, до которых он был очень охоч.

Чепукайтис был далек от диссидентских кухонь, слушания зарубежных «голосов», чтения запрещенных книг. Он жил, как и большинство людей в то время, приспособясь к существующей системе, привыкнув к ее законам, научившись лавировать и обходить их. Так же как и в шахматах, комбинации прокручивались у него в голове с необыкновенной скоростью, и он постоянно находился в деятельном состоянии. Носился по заводу, доставая по дешевке спирт у мастера смены, и, перепоручив свою работу напарнику, потом продавал этот спирт по более высокой цене; был знатоком марок, именно знатоком, а не собирателем, ибо только

покупал и перепродавал их; обладая кругом знакомых в самых различных сферах, мог помочь достать дефицитный товар. Был период, когда книги продавались только на талоны, выдаваемые в обмен на сданную макулатуру, и у Чипа постоянно на руках имелись книжные талоны, которые он продавал или менял. Он «вертелся», как и многие другие тогда, так что не поворачивается язык назвать эту деятельность мелкой спекуляцией, — ведь все эти операции лишь в малой степени компенсировали то, что недоплачивало своим подданным советское государство. В те редкие моменты, когда у него вдруг появлялись деньги, он не считал их и был скорее склонен к мотовству, что характерно для всех бедняков, кем он, конечно, и был.

Но несмотря на постоянную нехватку денег, в действительности он был далек от материальной стороны жизни. Ситуация в стране летом 1998 года была беспокойной, все опасались резкого падения курса рубля. «Ребята, рубль упал!» — сообщил своим коллегам Чип в фойе Дворца молодежи в Петербурге, где шел чемпионат России по шахматам. Возбуждение, вопросы: когда? что? как? Выяснилось, что он имел в виду гроссмейстера Рублевского, только что потерпевшего поражение, и по городу еще долго ходил рассказ о Чепукайтисе, предугадавшем тот августовский дефолт.

Так же как к деньгам, он относился и ко времени: большую часть своей жизни он прожил, когда слова «время — деньги» были всего лишь метафорой, и он, привыкший считать время на секунды, углывающие с циферблата шахматных часов, был абсолютным транжирой обычного, каждодневного времени.

Среди шуточных сентенций, которыми наполнена книга Чепукайтиса, есть и такая: «Я заметил, что если женишься, то всегда не на той, так же как и на шахматной доске — ходишь тоже не туда: ошибок не избежать!» Чип знал, о чем говорил. Сам он был женат пять раз, но цифра эта может быть неверно истолкована: просто он был очень застенчив и влюбчив, а влюбившись, предлагал всё оформить «законным» образом. Но в жизни, как и в шахматах, он был легкомыслен: когда они со второй женой решили расстаться, то он просто выкинул паспорт. При оформлении третьего брака выяснилось, что предыдущий не расторгнут, и Чип едва не попал под суд за двоеженство. Последняя жена — Таня Лунгу, шахматистка из Кишинева — была моложе его на тридцать три года.

Книга его называется «Спринт на шахматной доске». На самом деле спринтом была вся его жизнь, и он не очень обращал внимание на фальстарты. Он признавал, что был плохим отцом для двух своих детей, но когда несколько лет назад в шахматный кружок Аничкова дворца пришел мальчик по фамилии Чепукайтис, подтвердивший, что он внук того самого знаменитого Чепукайтиса, дедушка, узнав об этом, был несказанно горд.

Когда рухнули границы запертой на замок страны, он несколько раз выезжал на ветеранские чемпионаты мира и Европы. Многие, с кем он провел долгие годы за шахматным и карточным столами, уехали в Израиль, в Германию, в Америку. Некоторое время он тоже подумывал об эмиграции по еврейской линии в Германию. Чепукайтис — фамилия его матери, в паспорте которой в графе «национальность» было написано: полька. Те, кто знал ее, запомнили женщину с характерным лицом, орлиным носом и выощимися седыми, когда-то черными волосами. Поляк — стояло и в паспорте самого Генриха Михайловича. Документы его отца, Пикуса Михаила Ефимовича, еврея, работавшего до войны мастером на Кировском заводе и погибшего под Сталинградом в 1942 году, сохранились. Но брак его родителей не был зарегистрирован, доказать что-либо через шестьдесят лет не представлялось никакой возможности, и идея эмиграции постепенно растаяла.

У него было множество знакомых — партнеров по блицу, собутыльников, карточных приятелей, тех, для кого он был просто Чипом, — но близких друзей не было.

В компании он рассказывал без умолку смешные истории, большей частью из собственной жизни, и имел любимые, сильно заезженные пластинки. Он и в молодые годы был склонен к длинным монологам, с годами же его многоречивость заметно усилилась, речь текла нескончаемым водопадом, делая общение с ним нелегким занятием; впрочем, он нуждался скорее не в собеседнике, а в слушателе. В быстронесущемся потоке его речи всегда присутствовали шахматы, но главным образом — он сам, нетитулованный и непризнанный, на самом же деле легендарный и великий.

Реакция наступала потом. Таня Лунгу вспоминает, что дома уже не было той искрометности, он был погружен в свой мир, в свои мысли и часто бывал замкнут и неразговорчив. С ним — таким неприхотливым в еде, в одежде, в быту — было нелегко: он требовал постоянного внимания, потому что по-настоящему был сосредоточен только на себе. Он читал всё подряд, довольствуясь, главным образом, пустяками — газетами и журналами с яркими обложками, но если попадались под руку, читал и книги по истории, романы, детективы. Своей шахматной библиотеки у него никогда не было, но после переезда жены в Петербург он с интересом прочел ее книги по шахматам.

Когда у Чипа появился компьютер, он стал ночи напролет играть блиц. Обычно под именем SmartChip; завсегдатаи ИСС могут подтвердить, что поздним вечером, перед тем как выключить компьютер, они видели, что SmartChip находится в игровой зоне, а если утром они снова включали машину, то замечали, что Чип всё еще в игре. Хотя и здесь он нередко побеждал известных гроссмейстеров и его рейтинг, как правило, превышал отметку в 3000 единиц, результаты Чипа в игре по интернету были

ниже, чем в обычном блице. Неудивительно: впервые он сел за компьютер, когда ему было уже под шестьдесят, и вместо привычной кнопки часов палец вынужден был нажимать на странный предмет, называемый мышью.

Последние несколько лет он давал уроки в шахматной школе Халифмана на Фонтанке. Очные и по интернету. Когда попадались ученики из-за границы, его приходилось переводить — иностранными языками Чип, понятно, не владел. Уроки эти были своеобразные: он почти всегда показывал свои выигранные партии и комбинации. Из него исходил поток идей, но он не настаивал на их строгом исполнении. «Если вас не устраивают эти идеи, у меня есть много других», — как бы говорил он.

Чепукайтис не мог, конечно, объяснить тонкости современных дебютных построений, зато он заражал подопечных энтузиазмом и любовью к игре, открывая перед ними не ведомые им раньше стороны шахмат. Он советовал не избегать риска и смело бросаться в неизвестное: «Только тогда к вам придет фарт!»

Любому импонировал один из основных постулатов его теории: «Ошибки делает каждый, гроссмейстеры и чемпионы мира, и в этой игре особой премудрости нет. Постепенно приобретаешь опыт, знания, умение, вы с удивлением узнаете, что у вас талант. Талантом обладают все, вопрос заключается только в том, чтобы извлечь и продемонстрировать его».

«Не уверен, прибавилось ли у меня мастерства, но уверенность уже появилась», — был первый отзыв благодарного ученика, полученный им из Аргентины. Комментарий Чепукайтиса: «Отрадно, приятно, незабываемо...»

У него были почитатели, увидевшие в его партиях нечто, что отличало их от многих тысяч партий, играющихся ежедневно в турнирах и по интернету. «Особенные шахматы» — называлась посмертная статья мексиканского мастера Окампо Варгаса, посвященная творчеству Чепукайтиса, а голландец Херард Веллинг составил даже маленькую книжечку его партий.

Чепукайтис рекомендовал собственные методы развития, иллюстрировал их своими партиями, расцветчивал всё образными сравнениями и шутками, но тому, чем он обладал сам, научить, конечно, невозможно. Это то, чем поставил в тупик судью Савельеву в Дзержинском народном суде Ленинграда в 1964 году Иосиф Бродский, когда на вопрос, в каком именно институте он учился на поэта, будущий Нобелевский лауреат растерянно ответил: «Я думаю... это... Это от Бога...»

Расставание с женой в ноябре 2003 года он перенес тяжело, они были вместе без малого тринадцать лет. После развода и отъезда Тани за границу он остался один в маленькой запущенной однокомнатной квартире; на Западе такие обычно называют студией. Это жилье было скорее бивуаком, куда он возвращался только ночевать; раз в неделю заходили сест-



ры бывшей жены, чтобы присмотреть за хозяйством одинокого мужчины: постирать, заполнить пустой холодильник, потому что сам для себя он не покупал ничего. Нужно ему было мало, и даже из этого малого ему нужна была только самая малость. Он как-то сник, совсем перестал обращать внимание на свой внешний вид, проводя почти все ночи в яростной карточной борьбе.

Конечно, в картах всегда бывали игроки нечистые на руку, но в последние годы они стали еще безжалостнее: с первого же дня неуплаты долга шли проценты с неотданных денег, и немалые, и никогда нельзя было знать, чем кончится дело в случае длительной задержки. Для них он был «сладким», «клиентом», и его «кидали» не раз. Но даже когда он понимал, кто сидит рядом за карточным столом, все равно продолжал играть, полагая, что, несмотря на все их трюки и приемы, мгновенный счет и сообразительность приведут его к счастливой развязке. Увы, это были только иллюзии, и, случалось, партнеры, считая его лохом, едва ли не в глаза смеялись над ним. Еще десять лет назад у него была приличная двухкомнатная квартира, но он был вынужден обменять ее; большая часть полученной суммы пошла на оплату карточных долгов.

Во время игры алкоголь присутствовал почти всегда; бывали компании, где ему подносили с особым радушием, и, когда на следующий день сообщали о сумме проигрыша, он уже не мог в точности восстановить события прошедшей ночи.

Несколько лет назад он по настоянию жены отправился в больницу, состояние его определили как предынфарктное и рекомендовали покой и отдых. Нужно ли говорить, что он пренебрег этим советом полностью.

Чепукайтис продолжал до самого конца играть в разнообразные карточные игры, а в последние годы оставлял свою крохотную пенсию в игровых автоматах, едва ли не в день ее получения. Там же оседали заработки от уроков и призы за победы в блицтурнирах.

Игра была для него всем, и тем, кто никогда не был подвержен этой страсти — или, если хотите, наваждению, недугу, — трудно понять такого человека.

Блиц он играл каждый день. Конечно, он стал быстрее уставать, замедлилась реакция, но он и не помышлял о том, чтобы оставить шахматы, и даже не из-за тривиального вопроса, что бы он стал делать целыми днями, а просто потому, что шахматы и были его жизнью.

До самых последних дней он посещал Клуб на Петроградской, где регулярно играл в турнирах с денежными взносами. Его стандартная фора при игре с мастерами (речь идет об игроках рейтинга порядка 2400) была три минуты к пяти. С кандидатами в мастера — две.

Продолжал играть и в обычных турнирах. Ускоренный контроль с добавлением времени после каждого хода пришелся Чипу по душе: случалось, соперник в преддверии цейтнота нервно поглядывал на часы, а у

него самого времени было немногим меньше, чем до начала партии. Но компьютер не любил, называл «бестолковой личностью», считал, что с приходом «железяки» в игре исчезли блеф и риск и все стали играть так, как советует машина.

Уже после того как Чепукайтис перевалил за шестьдесят, у него был второй всплеск: он хорошо выступил в нескольких турнирах, в одном из них совсем близко подошел к званию гроссмейстера. В 2000 году он принял участие в чемпионате города, сражаясь с молодыми наигранными профессионалами. Хотя Чип был самым старым участником и единственным, не имевшим международного звания, он достойно провел турнир, набрав пятьдесят процентов очков. Ему было тогда шестьдесят пять, почтенный пенсионный возраст, но, глядя на него, думалось об ошибке календаря по отношению к душе: до самого последнего дня он совершенно не воспринимался как старик, всегда оставаясь Чепукайтисом. Сменялись поколения, он играл с родившимися в самом начале прошлого столетия и с появившимися на свет в конце его, годившимися ему во внуки. Образ жизни его совершенно не изменился: то, чем он занимался в двадцать, он делал и полвека спустя, и старость Чипа не слишком отличалась от молодости.

В родном городе Чепукайтис был понятием, символом, и, хотя и доверил книжной бумаге свои мысли о шахматах и какую-то толику партий, в памяти он останется скорее как явление, как дух. Как миф, явившийся в шахматы во второй половине двадцатого века и улетучившийся в начале следующего.

Видел его в последний раз за два месяца до смерти. Чип играл на сцене Чигоринского клуба, на том самом месте, где почти сорок лет назад я играл с ним в первенстве города. Единственную партию в турнире, которую я проиграл.

Он заметил меня, мы вышли в фойе. Чип сильно раздался, погрузнел, «перец» в шевелюре почти совсем уступил место «соли», лысина на лбу еще больше поползла вверх, но все равно он выглядел моложе своих лет. Обрадовавшись, что какой-то голландский почитатель мечтает брать у него уроки, начал искать ручку, потом клочок бумаги, чтобы записать адрес. Чиркнул зажигалкой, закурил.

— Слушай, я тут новую поэму написал, хочешь послушать? — спросил он и, не дожидаясь ответа, начал декламировать рифмованные строчки последней выделки.

— Твой ход, Чип, — сказал кто-то, проходя мимо. Даже не обернувшись, он с увлечением продолжал читать, минуты оттикивали на его часах, но их было еще так много, что за оставшиеся он мог бы сыграть десятки партий, по качеству ненамного уступавших той, которую он играл в этот момент.

Может быть, он и выглядел так молодо потому, что время существовало для него только на циферблатах шахматных часов, и только бесполезным приложением к нему было заполненное обычными житейскими заботами глупое реальное время, каждые двенадцать часов начинающее на идиотских часах свой бесконечный бег. Это время остановилось для него в ночь с пятого на шестое сентября 2004 года.

Он умер в Паланге, где играл свой последний в жизни турнир, во сне, от сердечного приступа. В потрепанной спортивной сумке остались дискеты с собственными партиями, которые он пытался продавать, но большей частью раздаривал, как и свою, ставшую уже раритетом, книжку. Да двадцать пачек взятых с собой впрок дешевых питерских папирос «Беломорканал» — единственные, которые он только и признавал.

## **ИГРА**

**В**опрос «почему женщины не могут играть в шахматы?» снова в последнее время находится на повестке дня. Старое объяснение — «потому что они просто глупы», судя по всему, уже недостаточно. От феминисток можно теперь услышать, что на протяжении веков женщина находилась в подчинении у мужчины, который никогда не представил ей возможности развить в полном блеске ее интеллектуальные способности. Утверждая это, они не замечают, что именно угнетение очень способствует интеллектуальному развитию, и, рассматривая вопрос в такой плоскости, было бы правильнее заметить, что именно угнетение мужчины женщиной толкнуло его в объятия шахматной игры. Но это всё социологические объяснения, которые не затрагивают существа дела

Меня всегда удивляло, что никто из феминисток, этих яростных борцов за права женщин, обычно не останавливающихся на полумерах, не дал, по моему, единственно верного ответа на этот вопрос: «Потому что шахматы ничего из себя не представляют!»

Когда мне пришло в голову такое объяснение, я подумал: тот факт, что женщины так слабы в шахматах, уже несет в себе обвинительный приговор самой игре. Но тогда я предпочел дать другое, относительно случайное объяснение, так как не хотел быть столь жестоким к шахматам.

В такого рода вопросах следует подходить к делу без сентиментальности, и печально, что даже самые страстные защитницы прав женщин проявляют слишком большое уважение к игре, выискивая отговорки, наподобие того, что в шахматы на протяжении веков играли исключительно мужчины. И не стыдно, девочки? Нет, здесь надо быть еще решительней!

Суть проблемы коренится в ответе на вопрос: что именно, достойное только глубокого осуждения, заключено в шахматной игре, что женщина, этот венец мироздания, не в состоянии научиться в нее играть на должном уровне? Проблематика этого вопроса занимает меня вот уже много лет, и я пришел к следующему открытию: игра являет собой противоположность человеческому общению. Под игрой понимается здесь любое времяпрепровождение, связанное с перемещением каких бы то ни было предметов: шахматы, шашки, го, нарды, домино, карты и т.д. и т.п.

Я пришел к этому открытию примерно двадцать лет назад после на первый взгляд ничего не значащего события. В то время я был завсегдатаем кафе «Эйндерс» на Лейденской площади в Амстердаме, где минимум пять дней в неделю, обычно часов с десяти утра до закрытия кафе, проводил время за совершенно ничтожной карточной игрой. Всегда с одними и теми же посетителями, которых знал только по их прозвищам и с которыми за исключе-

нием терминов: «шесть бубен», «пас» или «семь без козыря» — не обменялся и фразой.

Однажды — я думаю, что мне было лет тридцать, — я стоял где-то в центре города на остановке трамвая, поджидая первый номер. Неожиданно ко мне подошел человек, лицо которого мне показалось знакомым, но я не мог припомнить, откуда я его знаю.

Когда он грубовато кивнул мне, я сразу вспомнил: это был «Сосед» из моей карточной компании, с которым я играл еще вчера, и позавчера, и на прошлой неделе, и в прошлом году, и последние десять лет. Впервые он предстал передо мной при дневном свете. Так как было бы нелепо сказать ему: «Тоже вист», я произнес пару слов о погоде, и завязалось нечто похожее на беседу. К моему глубокому изумлению, «Сосед» оказался крайне неприятным субъектом, вставляющим через каждое слово бранные выражения и обливающим грязью всё и вся. Один из тех типов, которым хочется как можно скорее сказать «до свиданья». К счастью, мой трамвай подошел очень скоро, и я был избавлен от его общества, но удивление от этой встречи осталось.

Годы я провел с человеком, которого, как выяснилось, абсолютно не знал! И я понял тогда, что именно поэтому и проводил время за игрой, чтобы не было нужды кого-либо знать, чтобы только имитировать человеческое общение.

Я никогда больше не зашел в «Эйлерс» и чисто случайно, много позже услышал, что «Сосед» покончил жизнь самоубийством, но я знал это уже тогда: игра является противоположностью общению между людьми.

То же самое мы видим и в шахматах. Во время партии шахматист не имеет контакта ни с кем, он заключен в собственную тюрьму. То, что происходит в его голове, может быть названо нарциссическим самоудовлетворением, имеющим мало общего с реальной действительностью, — это бессловесный поиск и перебор в огромной бездонной яме. Женщины терпеть не могут такого занятия, и можно ли за это обижаться на них?

В играх, где имеется контакт между партнерами, как, например, в бридже, они хороши. Построение моста между тобой и партнером, общение играет там большую роль. Но в абсолютном одиночестве шахматной игры женщины не могут найти себя. Происходящее может заинтересовать их, только если оно будет им рассказано. Неразрешимые загадки шахмат мало привлекают их.

Журнал «Холландс дип», апрель 1972

## ШАХМАТЫ И БРИДЖ

Шахматисты не всегда играют только в шахматы. Посвящая им все время, мы, конечно, придерживаемся строжайшей дисциплины, но иногда позволяем себе немного расслабиться.

Турнир в Германии, в Бюзуме, обернулся полным фиаско. Организаторы с большим удовольствием наблюдали бы за яростной борьбой гладиаторов, чем

за конгрессом лауреатов Нобелевской премии мира, во что вылилось это соревнование.

Клаус \* победил, и все сочли это вполне справедливым: он так старался, а главное — не дал себя затянуть в паутину миролюбия, опутавшую всех нас.

Уже через два дня после начала турнира разразилась настоящая бриджевая эпидемия, сопротивляться которой почти никто не был в состоянии. Первые две пары образовались сразу же, две другие, в одну из которых вошел и я, немедленно последовали их примеру.

Шахматы, ради которых мы прибыли на этот турнир, отошли на второй план. Некоторые из нас пытались еще, избегая малейшего риска, играть на выигрши, с очевидным, как вы понимаете, результатом. Как только двое из подхвативших бриджевую инфекцию играли друг с другом, партия в редчайших случаях длилась дольше часа: оба соперника дрожали от нетерпения как можно скорее вновь оказаться за карточным столом.

Директор турнира, с большим трудом добившийся от местных властей финансирования соревнования, был вне себя. «То, что вы делаете, к шахматам не имеет никакого отношения», — говорил он и был прав, потому что мы играли не в шахматы, а в бридж. Впрочем, реприманды директора турнира никому из нас не нравились. Очень скоро мы выяснили, что во время войны он был гауляйтером какой-то области, а теперь пытается зарабатывать на хлеб в качестве организатора шахматных турниров. Удивительно, как люди из самых разных стран находят общий язык, когда речь заходит о неприязни к какому-нибудь мофу\*\*.

Бридж, в который мы играли, ни в коем случае не был бриджем высокого класса, но по своему шахматному опыту я знаю, что удовольствие, приносимое игрой, никак не связано с уровнем играющих. Я слышу уже голоса пессимистов, утверждающих, что правильно, скорее, противоположное, но это совершенно не так. Все известные мне гроссмейстеры очень любят шахматы. Однако утверждение, что для получения полного удовольствия от игры необходимо владеть ею в совершенстве, тоже не имеет под собой никаких оснований и абсолютно неверно.

Мы наслаждались нашим беспомощным бриджем, но при этом стали жертвой явления, нередко встречающегося и в шахматах: чем хуже человек играет, тем более убежден, что всё, что он делает, является абсолютно правильным, а ходы других — полная чушь. Один из нас был отлучен от бриджевого сообщества именно из-за этого. Никто не хотел играть с ним из-за его постоянных оскорблений, закатываемых глаз и разрывающих душу вздохов. Замена была быстро найдена среди болельщиков, наблюдавших за нашей игрой.

Современная цивилизация обязана англосаксам наряду с «Алисой в стране чудес» еще и бриджем, и это является одной из их величайших заслуг. В

---

\* Клаус Дарга — немецкий гроссмейстер.

\*\* В Голландии бранное прозвище немцев.

бридже бессмертным образом воплотились все добродетели и премудрости английских философов.

Шахматы выросли на ниве многих цивилизаций. Тысячелетия позаботились об этом культурном памятнике. Но между истиной в шахматах и истиной в бридже есть большая разница. Если правилами шахмат строго обусловлено, что конь ходит буквой «г», слоны стреляют по диагоналям, а пешки передвигаются на одно поле вперед, то из этого вытекает некий непреложный факт, и истина здесь находится в отношениях человека с существующей действительностью. А это никогда не было философией англосаксов. Они всегда были по-глупому уверены, что любимая ими истина является истиной, основанной исключительно на отношениях между людьми. Следствием этого явилась созданная ими игра, где два человека играют против двух других.

Первоначально в бридже три четверти является неизвестным, невидимым. Квинтэссенция игры состоит в том, чтобы посредством переговоров и логических умозаключений сделать невидимое видимым. Именно при помощи этих логических выкладок должна быть обнаружена истина. В этом смысле в шахматах нечего обнаруживать, потому что ничто не скрыто от взора, всё на виду и существующая действительность полностью открыта взору исследователя. Но тому, что ищет шахматист, не так просто дать определение. Неизвестное, на которое он взирает, обдумывая ход, есть не что иное, как будущее, то есть то, чем позиция станет через один ход или через двадцать ходов. Но возникнет ли это положение на доске, абсолютно неизвестно, потому что напротив сидит другой шахматист, который не только старается воспрепятствовать планам соперника, но и проводит в жизнь свои.

В этом и заключается гигантская разница между шахматами и бриджем, разница, делающая сравнение между двумя этими играми на редкость интересным. Шахматист весь устремлен в будущее. Как получилось положение на доске в настоящий момент, не должно его интересовать ни в малейшей степени. Его совершенно не должно волновать, что представляла собой позиция ход назад. Думая, он рассчитывает ход за ходом, идет от одной новой позиции к другой, тоже совершенно новой.

Бриджист же, напротив, должен все время исходить из предшествующей ситуации. Он последовательно разыгрывает свою игру, открывая карты до тех пор, пока всё невидимое не станет явным. Даже поверхностный наблюдатель, никогда не задумывавшийся о таком феномене как «время», сразу увидит разницу между шахматами и бриджем.

Партия в шахматы занимает значительно больше времени, чем партия в бридж. Взор шахматиста устремлен в другие миры. Он может блуждать в этих мирах до бесконечности, и для того, чтобы это предотвратить, были изобретены шахматные часы. Бриджист играет быстро. Его решение базируется на логическом умозаключении, после чего он приходит к выводу и тут

*же делает ход. Эта быстрота настолько естественна в этой игре, что, насколько я знаю, в спортивном бриджэ никогда еще не прибегали к помощи часов с целью ограничить время игроков на обдумывание.*

*Без сомнения, такая быстрота в бриджэ является для шахматиста чем-то очень привлекательным. настолько привлекательным, что он может изменить шахматам. Но ненадолго, потому что очень скоро самым главным для него снова станут наслаждение и мучение, приносимые его собственной игрой. Игрой, о которой кто-то, кто ее очень любил и порой ненавидел, сказал: «Шахматы слишком игра для науки и слишком наука для игры».*

*Журнал «Авеню», октябрь 1968*

## БОЛЬШОЙ ШЛЕМ

«Геннадий Борисович, не узнаете меня?» — услышал я таинственный шепот. Лицо стоявшего рядом высокого молодого человека с бородой мне решительно ничего не говорило. «Давайте выйдем в фойе, здесь слишком много глаз...» — предложил незнакомец, не поворачивая головы в мою сторону.

Время действия — 1984 год, место — Шахматная олимпиада в Салониках. Когда мы вышли из игрового зала, бородач представился: «Я — Илья Левитин. Прилетел из Америки, специально чтобы повидаться с Ирой...»

Неудивительно, что я не узнал его: в последний раз я видел брата знаменитой шахматистки лет двадцать назад в ленинградском Дворце пионеров, когда он был совсем маленьким мальчиком. В Салониках Илья старался никому не попадаться на глаза, и такая конспирация не была излишней: встреча с близким родственником, да еще из Соединенных Штатов, грозила Левитиной немалыми неприятностями.

До ее собственной эмиграции из Советского Союза оставалось семь долгих лет.

В шахматы Иру научил играть отец. В доме Левитиных в Ленинграде царил культ игры, и она всегда помнит себя играющей. В любые игры — самые разнообразные карточные, домино, шашки, шахматы. В семье было трое детей — сестра двумя годами старше и брат полутора годами моложе, и дети устраивали соревнование из всего. Ира вспоминает, что, когда ей было восемь лет, они, совсем как взрослые, важно расписывали на даче пулю преферанса. Родители рано позволяли им гулять одним, и Ира с братом, уходя из дома, тут же заключали пари: кто первым доберется до определенного пункта, пользуясь любым видом транспорта. Они часто ходили на футбол: трамваем до кольца, а там еще с полчаса пешком до



стадиона Кирова. По пути им встречалось немало аттракционов, и дети перепробовали их все, а однажды прыгнули с парашютной вышки. Ире было тогда одиннадцать лет...

Годом раньше она начала серьезно заниматься шахматами. Ее первым тренером стал мастер Василий Михайлович Бывшев. Шахматный клуб размещался тогда в главном здании Аничкова дворца, а занятия теорией проводились в другом помещении — по соседству с шашечным кружком, и Ира между делом с удовольствием решала шашечные задачи.

Живая, общительная, не по годам развитая девочка, симпатичная, смешливая, с большими черными глазами, похожая чем-то на Анну Франк, она обожала играть блиц; рот ее при этом никогда не закрывался, и Ира обзванивала за игрой всех и каждого. До сих пор, сорок лет спустя, в ее речи нет-нет да и прозвучит интонация или вылетит словцо из того далекого времени.

В пятнадцать лет она впервые приняла участие во взрослых соревнованиях. В одном из первых туров чемпионата Ленинграда Ира встретилась с Людмилой Владимировной Руденко. Силы оказались неравными: если Левитина была уже чемпионкой страны среди девушек, а еще через год выиграла взрослое первенство СССР, то бывшая чемпионка мира, любительница самиздата, карт и дружеских застолий, никогда шахматами по-настоящему не занималась. К тому же Руденко была ровно на пятьдесят лет старше своей соперницы.

Ирина разыграла черными ленинградский вариант голландской защиты и уже после дебюта получила сильную атакующую позицию. В этот момент Людмиле Владимировне стало плохо. Часы были остановлены, и Руденко с посеревшим лицом и накинутой на плечи вязаной шалью, удивительно похожая на Ахматову в последние годы ее жизни, прилегла, закрыв глаза, в комнате за сценой. Я работал тогда тренером в Чигоринском клубе и сразу вызвал «неотложку».

— Да что же это такое, — раздался голос Левитиной, как только я положил трубку телефона, — когда будет продолжена игра?

Врачи прибыли довольно скоро и, измерив Руденко давление, немедленно увезли ее в больницу.

— Взгляните на позицию, Геннадий Борисович, — снова обратилась ко мне Ирина, — после эф-четыре, же-эф, конь аш-пять у черных сильнейшая атака по черным полям...

— Ира, как тебе не стыдно, может быть, Людмилы Владимировны нет больше, вообще больше нет. Ну при чем здесь черные поля? — пытался я вернуть ее к мрачной реальности.

— А если не брать, — стояла на своем Ира, — грозит эф-три: как вы защищаетесь?..

После окончания школы Левитина, хотя и не без приключений, поступила на матмех Ленинградского университета. Поначалу запись в пя-

той графе явилась аргументом более сильным, чем знания Ирины Соломоновны, — ей поставили двойку по математике, и только аргументированная апелляция вынудила комиссию пересмотреть решение. Хотя Ира и окончила четыре университетских курса, почти всё свое время она отдавала тогда шахматам. С восемнадцатилетнего возраста Левитина непосредственно участвует в борьбе за первенство мира. Межзональные турниры, матчи и турниры претенденток, наконец матч на мировое первенство. Сборы, соревнования, снова сборы.

В 70—80-х годах она успешно боролась со всеми представительницами грузинской шахматной школы, и только самая верхняя ступенька не покорила её. Хотя однажды, в 1984-м, Левитина оказалась в обжигающей близости от шахматной короны: победив в претендентских матчах Гаприндашвили, Александрию и Семенову, она после первой половины вела в матче с чемпионкой мира Майей Чибурданидзе и... сорвалась, проиграв несколько партий. Трижды она становится чемпионкой мира в командном зачете (1972, 1974 и 1984) и трижды кряду (1978—80) повторяет свой первый успех, выигрывая первенство Советского Союза.

Василий Михайлович Бывшев, Семен Абрамович Фурман и Павел Евсеевич Кондратьев работали с Ириной на разных стадиях ее карьеры, и, хотя на соревнования с ней нередко ездили другие мастера, именно эти три замечательных питерских тренера сформировали Левитину как шахматистку. Ее шахматная культура была очень высока, память — великолепна, стиль — впечатляющ. Но главной составляющей таланта были замечательные игроцкие качества. Она относится к той категории людей, которые рождены с геном игры; такой человек может научиться любой игре в течение получаса, а на следующий день уже давать фору своим учителям.

Чтобы превзойти других в любой игре, помимо таланта необходим целый набор качеств, и главные из них — честолюбие, безграничная уверенность в себе и немалая толика эгоцентризма. К шахматам это относится в не меньшей степени, чем к другим играм, и все без исключения выдающиеся игроки, которых я видел, обладали этими качествами, даже если они бывали порой камуфлированы показной скромностью или хорошими манерами.

В игре неизвестен конечный результат, для нее свойствен элемент удачи, риска, случая, и по мере того как напряжение возрастает, игрок уже более не сознаёт, что он играет. Являясь дополнением, украшением жизни, игра переносит человека в другой мир, где существуют свои правила. Удар гонга, взмах руки рефери, зажегшееся табло, свисток судьи, мат на шахматной доске снимают все чары игры, и повседневный, реальный мир в тот же миг вступает в свои права.

Игры знакомы каждому человеку, но только у настоящих, прирожденных игроков участие в игре может оказаться привлекательнее реальной действительности, а то и определить направление всей жизни. Игра — это их стихия.

«Мне легко даются игры. Все. Любые. Даются не в том смысле, что я легко научаюсь в них играть, — это доступно каждому. Говоря «научаюсь играть», я имею в виду победоносную игру со стабильным превосходством, с верным выигрышем. Огромное большинство людей под игрой подразумевают только участие в ней и соблюдение правил. Первое — пассивно, второе — послушно. Так можно победить разве что случайно. Либо таких же неумех. Истинный игрок, впервые узнав игру, в первых же партиях как бы раскладывает ее по винтику, познаёт всю внутреннюю механику и, когда начинает играть по-настоящему, способен в любой ситуации, сложившейся в игре, выжать максимум». Эти слова Анатолия Карпова относятся в полной мере и к Ирине Левитиной.

В начале 70-х в ее жизнь вошла новая игра, которой она стала отдавать не меньше времени, чем шахматам. Это был бридж.

Когда-то в бридж играли все шахматисты. О нем часто писал Эмануил Ласкер и даже опубликовал две книги на эту тему. Одна, «Умные карточные игры», вышла в 1929 году, другая — двумя годами позже и так и называлась «Игра в бридж».

Охотно и часто играл в бридж Капабланка, утверждавший, что «спортивный бридж — это прекрасное развлечение, которое доставляет даже больше эмоций, чем шахматы». Бывая в Париже, он иной раз заглядывал в кафе «Режанс», но никогда не задерживался у шахматных столиков, предпочитая бридж, в который играли на втором этаже.

С удовольствием играл в бридж Алехин. Во время турниров — по вечерам в баре или в холле гостиницы, зачастую с партнерами, с которыми был в натянутых отношениях, но никогда, разумеется, с Капабланкой.

Лев Любимов, хорошо знавший Алехина, свидетельствует, что «он и в бридже хотел (впрочем, тщетно) достигнуть самого высокого класса». За столом для бриджа в парижской квартире Алехина можно было увидеть немало шахматистов; иногда он играл в клубе или в кафе. Там попадались и сильные бриджисты, и «сапоги» — так называли очень слабых игроков, это словечко перекочевало потом в шахматный жаргон.

Большим любителем бриджа был и Керес. Турнир в Таллине 1936 года двадцатилетний Пауль выиграл шутя: девять очков из десяти. Он был тогда настолько увлечен бриджем, что в одной из партий попал в цейтнот, решив обязательно доиграть роббер, начатый прямо по ходу партии.

В заграничных турнирах Керес обычно играл в паре с Гидеоном Штальбергом. После войны компанию шведскому гроссмейстеру чаще всего составлял Мигель Найдорф. Пара эта распалась, когда однажды спор по

поводу заключенного контракта достиг такого накала, что партнеры на годы прекратили вообще какой бы то ни было контакт, и даже предложение ничьей в шахматной партии передавалось ими через судью.

Часто играл и Доннер. «Шахматы и бридж» — не единственная его зарисовка, посвященная этой игре; тема бриджа возникает здесь и там в его статьях и заметках. В одном из репортажей с мемориала Капабланки (1972) Доннер жалуется на зевки и просмотры, после чего вдруг переходит к описанию случившегося у него бриджевого расклада, как это делается на страницах книг и журналов, посвященных этой игре: Юг, Север, Запад, Восток, и радуется редкой удаче — сыгранному Большому шлему.

Еще совсем недавно за игрой в бридж можно было увидеть Пахмана, Ларсена, Штейна, Ульмана, Карпова, Корчного, Парму, Горта, Любоевича, Майлса и многих других гроссмейстеров. В последнее время популярность бриджа среди шахматистов резко пошла на убыль. Сначала он был вытеснен более простыми, скоротечными карточными играми, а теперь и их нечасто увидишь на турнирах.

С профессиональных шахмат снят налет богемы: соблюдение режима сегодня в этой игре не менее важно, чем в других видах спорта. Да и приход компьютера с обязательным пополнением базы данных, просмотром партий, играющихся едва ли не каждый день в различных точках земного шара, наконец, постоянный прогон в памяти и корректировка собственных, зачастую сложнейших анализов — всё это отнимает массу времени. Тут уж не до вечерних карт во время турнира.

Хотя в многовековой истории шахмат можно найти немало славных имен, чьи обладатели отдавали свой досуг бриджу (или его предшественнику висту), только один достиг высочайшего класса в обеих играх — Александр Дешапель (1780—1847).

Он слыл одним из лучших шахматистов в мире и даже с сильнейшими соглашался играть, только давая пешку и ход вперед. Французский мастер имел репутацию и замечательного игрока в вист, зарабатывая 30—40 тысяч франков в год — целое состояние по тем временам. Он первым применил в этой карточной игре маневр, названный его именем (удар Дешапеля).

Игнорируя книжную науку, он утверждал, что всему, что нужно знать о шахматах, можно научиться в три дня, и, сравнивая обе игры, говорил, что «шахматы, в сущности, содержат лишь одну-единственную идею, которую организованный ум может легко освоить. В то же время вист настолько сложен, что требуются долгие годы лишь на то, чтобы понять, насколько он сложен».

Участник многих походов Наполеона, потерявший руку в одном из сражений и вышедший в отставку в генеральском чине, Дешапель прекрасно играл на бильярде, а обучившись шашкам, уже через три месяца

победил чемпиона Франции. Он был настоящим Игроком и увековечил свое имя в шахматах и в картах, покорив самые высокие вершины.

Полтора века спустя не менее выдающихся результатов удалось добиться Ирине Левитиной. Став международным гроссмейстером в обеих играх (bridge world-grandmaster), она не только играла матч за чемпионский титул по шахматам, но и выиграла первенство мира по бриджу! Достигнуть этого ей было неизмеримо труднее, чем Дешапелю: шахматы в первой половине 19-го столетия были исследованы гораздо меньше, чем в наши дни, да и карточные игроки во Франции не подвергались гонениям, в отличие от 70-х годов прошлого века в СССР, когда начинала играть в бридж Левитина.

Между бриджем и шахматами в Советском Союзе была огромная разница. В то время как шахматы собирали полные залы, всячески пропагандировались и поддерживались государством, бридж в глазах властей был игрой декадентской, чуждой. В 1972 году Спорткомитет осудил «порочную практику различных соревнований, несущих вредную социальную направленность», а ЦК КПСС принял постановление «о некоторых фактах извращения в развитии отдельных видов спорта», среди которых, наряду с йогой, культуризмом, женским футболом и карате, упоминался и бридж.

Если на окраине гигантской империи, в Прибалтике, на бридж смотрели сквозь пальцы, то в больших городах власти вставляли бриджистам палки в колеса. Когда в 1983 году под Киевом должно было проводиться первенство Украины, срочно прибывший наряд милиции задержал всех игроков для установления личности. Некоторых отпустили через пару часов, других – спустя несколько суток, но турнир был сорван. Такая же история произошла и в Москве двумя годами позже: судью турнира отвели для допроса на Лубянку, а участников переписали. Аналогичные случаи бывали и в Питере. Но ворчание и укусы властей только сплачивали бриджистов; это был своего рода орден, братство, где все друг друга знали и помогали, как могли.

Бриджем увлекались в основном интеллигенты, и, хотя они оперировали в процессе игры карточными терминами, нетрудно было догадаться, что от расклада мастей на Западе и Востоке разговор может легко перейти к сравнению вполне конкретных Востока и Запада. Что, кстати, очень часто и происходило, и неслучайно в кругу бриджистов 70–80-х годов было так много отказников. Шахматы были одним из занятий, где евреи в Советском Союзе могли выразить себя без каких-либо ограничений; среди практиковавших бридж их процент был тоже очень высок, и команду «Юность», за которую выступали Левитина с мужем, сами игроки именовали «Юдость»...

Когда Ирина только начинала играть, ее постоянными партнерами были одноклубники по ЦСКА: Семен Абрамович Фурман, Владимир

Карасев и Марк Цейтлин. Фурману было уже за пятьдесят, но в бридж он играл с юношеской страстью. Еще живы свидетели, утверждающие, что однажды он провел за карточным столом сорок четыре часа кряду; партнеры менялись, уходили перекусить, поспать, отдохнуть, но Фурмана ничто не могло заставить покинуть поле сражения.

Нередко игра происходила в шахматном клубе ленинградского Дома офицеров на Литейном. Вечером, после того как последний шахматист покидал помещение клуба, дверь запиралась на ключ, и кто-нибудь из заговорщиков тут же предлагал: «Ну что, почитаем книжку в 52 листа?» Но и без иносказаний всё было ясно: колода карт уже лежала на столе.

Играли без всяких денег, но сражались самозабвенно: спорили до хрипоты, очки подсчитывали скрупулезно, запись после каждого роббера вели тщательнейшим образом. Время летело незаметно, и гулко звучали шаги в пустых коридорах Дома офицеров, когда в полтретьего ночи направлялась к выходу странная процессия: пожилой, профессорского вида человек в очках, два молодца среднего возраста и юная девушка, засидевшиеся допоздна за изучением шахматной теории. До принимающего ключи вахтера только доносились отрывки их басурманской речи:

— Какие у вас, Семен Абрамович, были основания «контра» объявлять с одними фосками в красных мастях? Да и каково мне было это слышать с голым королем в бубнах? А даму трэфовую, кстати, кто пронес, когда они «реконтрой» ответили? Папа римский?

— А как же я мог на «контре» продолжать инвитуировать и гейм форсировать, ты об этом, Карась, подумал? Да и у тебя, Ира, задержка в червях ведь была. А когда ты, Гаврила, с одиннадцатью пунктами — «одна пика» кричишь, это как?..

— А то, что вы, Семен Абрамович, до Большого шлема без всяких на то оснований дошли, и мы без трех взяток сели?

— При чем здесь Большой шлем, чудак? Ты вообще о конвенции Блэквуда слышал когда-нибудь? Я же тебя валетом разблокировал, а ты мою даму проигнорировал...

В середине 70-х Левитина уже имела репутацию очень сильной бриджистки. «Ни Фурман, ни Штейн, ни Полугаевский, ни Карпов, ни я ей в подметки не годились, — полагает Виктор Корчной. — Думаю, что она играла сильнее не только всех шахматистов в Союзе, но и зарубежных, я ведь часто наблюдал за игрой моих коллег в заграничных турнирах...»

Регулярно виделся тогда с ней на различных соревнованиях Юрий Разуваев. Он вспоминает: «После того как Ира научилась бриджу от Фурмана, она очень скоро переросла его, а потом сама стала его учить. Ведь у Сёмы, так же как в шахматах, за игрой в бридж случались тактические просчеты. Фурман и Левитина часто играли в паре, и была эта пара довольно странной: солидный мужчина, где-то за пятьдесят, и совсем юное

прелестное создание — здесь даже и мысли всякие возникали... Сёма рассказывал, что, когда они играли однажды с Ирой против двух кинорежиссеров, она после какого-то его неосторожного хода в сердцах заявила: «Ну почему вы, Семен Абрамович, меня все время омаром ставите?», шокировав тем самым соперников. На самом же деле это был стандартный жаргон, которым Ира, наслушавшись всего на сборах и соревнованиях, владела в совершенстве. А знатоков и любителей всяких выражений, включая самого Фурмана, было тогда пруд пруди.

Их шахматные отношения — особая статья. Когда у Семена Абрамовича появился Карпов, он поставил условие, чтобы Фурман занимался только с ним. Сёма обожал Ирину, видел в ней будущую чемпионку мира, переживал и скорбел очень, что прекратил с ней работать».

Все, кто сталкивался с ней, говорят о человеке исключительно ярком, брызжущем энергией и талантом. Но и ранимом. Очевидной неприспособностью к системе, бесшабашностью она напоминала Таля. Равно как и абсолютной незаземленностью, отстраненностью от всего материального, вещественного.

«Иру трудно было представить за кухонной плитой, — вспоминает Разуваев. — После ее свадьбы я при встрече всегда подтрунивал над ней: научилась ли она готовить что-либо, кроме яичницы? Потом с удивлением узнал, что она ухаживает за слепой свекровью, всё делает по дому, куда-то ездит, что-то достает...»

В лучшие годы, когда Левитина трижды кряду выигрывала чемпионаты страны, после эмиграции брата в Соединенные Штаты ее лишили стипендии, не выпускали за границу. Даже на турниры, где она имела право играть. Ира сносила всё стоически, и создавалось впечатление, что это не ее касается, а кого-то другого.

Она никогда не занималась никаким видом спорта, но обожала смотреть спортивные состязания. Любые. И помнила имена футболистов, хоккеистов, баскетболистов, результаты матчей, турнирные таблицы. Однажды она поразила игрока ленинградского «Зенита», назвав полный состав ереванского «Арарата», включая дублеров, а все штаты Америки могла перечислить без запинки задолго до того, как поселилась там сама.

Она рано начала курить и до сих пор не расстается с сигаретой; гулять не любила, и прогулки, даже во время турнира, ей заменяла открытая форточка. Тогда она торжественно объявляла секунданту: «Гуляем!», после чего распахивалась настезь форточка, а то и окно, чтобы после четверти часа и новой команды: «Прогулка закончена!» снова быть захлопнутой.

Марк Цейтлин вспоминает, как однажды секундировал Левитиной на каком-то ответственном соревновании: «Мы никогда не готовились к партиям. Ира предпочитала раскладывать какие-то сложные пасьянсы и почти все

время проводила за модной тогда игрой под названием «ямб», в которую играла сама с собой, записывая результаты в специальную тетрадку».

У нее очень конкретный, аналитический ум, поэтому книжным описаниям природы, красоте стиля или мысли она предпочитала, да и сейчас предпочитает, конкретные действия, фабулу, преимущественно такую, где от самого читателя требуется решение загадки или проблемы, предложенной автором. Независимость от общепринятых понятий и суждений она сохранила до сих пор, хотя сейчас живет в другом, совсем другом мире.

New York. Manhattan. 157 West 57 Street. Это последний адрес Хосе Рауля Капабланки. 7 марта 1942 года он ушел отсюда играть в бридж в Манхэттенский шахматный клуб и уже больше не вернулся домой. Если пройти от этого дома пару сотен метров — клуб бриджистов, где работает Ирина Левитина.

В поисковой программе, выстукав Irina Levitina, можно найти полтора упоминаний этого имени на шахматных страницах, все без исключения относящиеся к прошлому веку. Зато ссылок на то же имя в публикациях о бридже окажется во много раз больше: победительница олимпиад в составе американской команды на Родосе (1996) и в Маастрихте (2000), выиграла чемпионата мира в Монреале (2002), победы во многих других турнирах.

Сравнивая две эти игры, Доннер пишет, что бридж порой оказывается настолько привлекательным, что шахматист может ненадолго оставить ради него собственную игру, но потом все равно вернется к шахматам. С Ириной Левитиной этого не произошло. Новая любовь, поначалу мирно уживавшаяся со старой, в конце концов одержала безоговорочную победу.

Где пролегла граница, обозначившая в ее жизни конец шахматной игре? Почему так всё повернулось? Как всё началось?

*— Как началось? В бридж привел меня Семен Абрамович Фурман в начале 70-х годов. После пары часов занятий шахматами и обеда Фурман предлагал обычно: «Ну что, позвоним Марку Аркадьевичу?» Это являлось эвфемизмом, потому что Марк Аркадьевич уже ждал нашего звонка, приезжал со своим напарником, и мы тут же доставали колоду карт.*

*В то время настоящих бриджистов в Ленинграде было человек двадцать. Мы все друг друга знали и играли между собой, только потом начали ездить на турниры в Прибалтику, где бридж имел полуофициальный статус. Там принимали, размещали в гостиницах, снимали зал для игры. В Эстонии большим любителем бриджа был замминистра, в Латвии — проректор университета, в Литве тоже кто-то...*

*В Ленинграде и Москве играли на квартирах. Позже, когда у меня уже были две большие комнаты, в них набивалось порой до тридцати человек; правда, столы стояли вплотную, и пространства свободного не было вооб-*



ще. Дом у нас был очень открытый, но правилом было: до 11 утра — бесполезно звонить, все равно никто не откроет; после третьего прихода — ты уже больше не гость в доме: помой посуду, предложи хозяйке кофе, можешь взять в холодильнике всё, что хочешь, но и принести что-нибудь в дом иногда не забывай.

Были ли это уход от действительности? Может быть, не знаю. Мы были просто фанатиками бриджа, одни поездки в Прибалтику на автобусах чего стоят. А поездом, когда и на третьей полке общего вагона? Однажды целая группа решила поехать на турнир в какой-то маленький эстонский город. Наняли автобус, но, как это часто бывало в Советском Союзе, что-то сломалось, и автобус не пришел. Добирались до Пскова часов девять на почтово-товарном поезде, приехали поздно вечером, как-то удалось договориться в ресторане, чтобы покормили. Официанты нас обслуживали на кухне, ели мы стоя...

Подобных историй было много, но нас ничто не могло остановить. В Ленинграде, случалось, и в милицию забирали. Однажды в конце 70-х милиция приехала сразу на нескольких машинах, выводили всех по одному под ручки, меня там по случайности не было, а так тоже могла бы оказаться. Всё это происходило на глазах соседей, и их комментарии еще долго служили у нас предметом шуток. Продержали всех в отделении несколько часов, потом отпустили. Кое-кто после этого бросил игру, но большинство осталось.

Среди бриджистов было немало врачей, кандидатов наук, доцентов и профессоров, потом пошли аспиранты, студенты. В одной паре постоянно играли два профессора, причем довольно слабо.

— Ну что, профессура, опять в лужу сели? — говорилось им после очередной грубой ошибки, и профессора, поправляя очки, только смущенно моргали.

Примерно в то же время к бриджу приобщились и другие шахматисты. Помню, как в 1975 году во время командного чемпионата страны в Риге перед выходным днем Корчной, Фурман, Марк Цейтлин и я решили немного поиграть в бридж.

— Ну что, последний роббер? — предложил кто-то через пару часов. На том и порешили. Из-за стола мы встали ровно через сутки...

Литературы по бриджу не было никакой. Если удавалось достать какую-нибудь книжечку, ее зачитывали до дыр. Во время матча с Козловской я прочла книгу, мою вторую в жизни книгу о бридже, и сразу стала играть на несколько порядков выше.

Когда приезжала на шахматные соревнования в город, где были бриджисты, все приглашали в гости, да и у меня дома в Питере сколько их останавливалось. Участь многих из них трагична. Некоторые умерли, когда я еще в Союзе жила, помню, на похороны ездила и в Москву, и в Таллин, и в Киев. Один из таких рано умерших мальчиков был моим постоянным партнером на протяжении нескольких лет. Покончил жизнь самоубийством в середине 90-х. Другие спились.

Особые отношения у меня были с грузинскими бриджистами, сколько раз в Тбилиси была — и не сосчитать! Принимали всегда по-царски — знаменитые грузинские застолья, болели за меня во время шахматных турниров, это в Грузии-то... Бриджистам там тоже доставалось; один из них, Нико, был диабетиком, однажды забрали его в милицию и шприц с инсулином, который у него всегда при себе был, отобрали. Всякое бывало. А тут вот увидела, что на прошлой олимпиаде по бриджу играет команда Грузии, порадовалась за них...

Моя основная работа — клубные турниры. Что это значит? Предположим, вы играете в паре с шахматистом 3–4-го разряда и делаете ходы по очереди — это и есть клубный бридж. Каждый понедельник у меня один партнер, вторник — другой, и так далее. Сессия длится обычно с часа до четырех, изредка играю и вечернюю — от шести до девяти. Пятница — самый тяжелый день: работаю в две смены директором. Директор — это человек, который проводит турнир. Нужно всех рассадить, следить, чтобы всё было по правилам, принимать решения в спорных ситуациях, ввести результаты в компьютер. Денежных призов нет, разыгрываются какие-то очки, для чего они разыгрываются — непонятно, но мои партнеры, вернее партнерши, относятся к ним трепетно; честолюбивы они невероятно, хотя средний возраст спортсменов — лет восемьдесят. Нет, если и преувеличиваю, то не сильно. Ведут они часто себя как дети, а я, соответственно, исполняю роль воспитательницы в детском саду. Попадают разные, у каждой свой характер, но со мной они ведут себя прилично. Если все-таки кому-нибудь попадет вожжа под хвост, то отношусь к этому с юмором, оберну всё в шутку, и опять всё спокойно. Да-а, если бы лет тридцать назад мне кто-нибудь сказал, что моими качествами будут терпение и сдержанность, посоветовала бы срочно обратиться к врачу — вот как в жизни всё меняется, удивительно даже.

Положительный момент, кроме денежного вознаграждения, — я делаю то, что хочу и когда хочу, и никаких начальников надо мной нет. Владелица клуба — американка, моя самая близкая приятельница, в некоторых отношениях приближается к русскому «подруга». Живу я в Нью-Джерси, а работаю в клубе в Нью-Йорке. Если пробок нет, доезжаю туда минут за тридцать. С этим городом у меня отношения сложные: Манхэттен долгое время ассоциировался с бесконечными пробками и наглыми водителями, но вот как-то поехала там с недельку в гостинице во время турнира и начала воспринимать Нью-Йорк по-другому, хотя это еще и не любовь.

В настоящий бридж играю на крупных турнирах. Первые два дня приходится особенно тяжело: надо перестраиваться — медленней играть и думать. Фактически это та же самая, но и совсем другая игра под тем же названием — «бридж».

В бридже другой вид профессионализма, чем в шахматах. Призов на турнирах нет никаких, зато есть клиенты, в Европе их называют спонсорсами.

Это состоятельные люди, которые играют не так хорошо, но у которых много денег. Нью-Йорк — единственный город, где клиентов больше, чем профессионалов, нам тут хорошо. Клиенты нанимают себе в партнеры профессиональных игроков, платят, как удастся договориться, хотя для профессионалов и существует определенная такса. Занятие это, может быть, и менее почетное, чем выигрыш призов в шахматных турнирах, зато заработок более надежный.

Как это конкретно происходит? Предположим, кто-то хочет выступить в чемпионате Америки или даже мира. Он или она набирает пять профессионалов, которые образуют команду; профессионалы, естественно, играют не бесплатно. Очевидно, что сила команды резко меняется от сессии к сессии в зависимости от того, кто играет в данный момент. Каждый должен сыграть как минимум половину сдач, это правило было введено как раз из-за клиентов.

Кому-то достается самая тяжелая работа — играть в паре с клиентом. В нашей команде это делаю я и, как выяснилось, без особого отвращения, а часто даже получая удовольствие от игры. К тому же я играю со спонсором нашей команды и в парных турнирах. В паре важно взаимопонимание, и мы должны тренироваться. Проблем с этим не возникает: хотя моя пара живет в Калифорнии, мы постоянно общаемся с ней по интернету. Друзьями при этом быть совсем необязательно. Некоторые пары действительно близкие друзья, другие — иногда общаются, у третьих — чисто профессиональные отношения.

Каждый год проходят три национальных первенства — весеннее, летнее и осеннее. Мировые чемпионаты тоже проходят осенью, а отбор к ним в конце мая. В прошлом году не отобрались — проиграли в финале. Правда, особого значения это не имело, так как все равно не поехали бы. Чемпионат должен был проходить в Турции, американцы же не горят желанием посетить мусульманскую страну. По условиям отбора необходимо, чтобы четверо были готовы ехать, а нас, смелых или глупых — как посмотреть, оказалось только трое.

А вот недавно играла во Флориде. Было два парных турнира и два командных. Результат отдельно взятого турнира может оказаться случайным, но слабая пара выиграть не может, зато любая хорошая пара может сыграть плохо. Чем дольше длится соревнование, тем более закономерен результат. Мы выиграли женский командный турнир, что очень даже замечательно.

Турнир каждый выбирает сам — какого уровня и сколько дней играть. Осенью проходят четыре турнира национального уровня, короткие, по два-три дня, с ежедневным отсевом примерно половины участников. Не вышел, а есть желание еще играть — можно на следующий день принять участие в однодневном турнире. В нем играют больше тысячи человек, в основном любители. Обстановка очень напоминает шахматный опен, только люди здесь более нормальные.

*Игра с половины второго до половины шестого, потом с полвосьмого до полдвенадцатого, после чего еще часа два общения в барах и холлах гостиницы. Устаем, конечно, но совсем не так, как шахматисты.*

*Некоторые приезжают семьями, имеется даже детский сад, родители сдают туда детей и идут играть в бридж. Организуется много экскурсий, особенно если место интересное, но это не для нас — профессионалов. Я, например, отыграла все одиннадцать дней, хотя обычно выпадает денек-другой свободный; тогда тоже езжу на экскурсии, а уж если город совсем скучный, можно сходить в зоопарк или аквариум. Бывали очень интересные поездки, но на этот раз из гостиницы выйти не удалось, разве что победить. И хотя играли мы в Орlando во Флориде, правильнее будет сказать — в некоторой гостинице, в некотором городе, куда лететь часа два с половиной, да еще минут сорок от аэропорта добираться.*

*А вот на курорте я больше двух дней выдержать не могу, скучно. Всегда завидовала брату: он ездит отдыхать только в те места, где есть казино, там и проводит все вечера. Вспомнились вдруг шахматные олимпиады, давно это всё было...*

*Что за люди бриджисты? В Америке бридж — игра людей среднего и выше среднего класса, много адвокатов, врачей (в основном почему-то дантисты), менеджеров, просто богатых людей. Большое количество трейдеров, сделавших деньги лет двадцать-тридцать назад, когда эта профессия только начиналась. Два бриджиста, в то время совсем молодые ребята, разработали статистическую систему торговли, потом стали нанимать других бриджистов для работы на себя, те в свою очередь через два-три года нанимали следующую группу бриджистов и так далее. Лафа постепенно кончилась, появились конкуренты, стало всё труднее и труднее делать большие деньги, профессия начала изживать себя. Эти люди в основном не слишком интересные, но есть и исключения.*

*Интереснее ли шахматы бриджа? Я, может, и признала бы, что шахматы интереснее, но там все время приходит один и тот же расклад. Нет, если бы я снова имела выбор, я никогда не стала бы играть в шахматы, учитывая, сколько времени нужно сейчас заниматься теорией, сколько всего нужно знать и запоминать. Ведь импровизация играет сегодня подчиненную, значительно меньшую роль, чем когда я начинала. Особенно отчетливо осознала это однажды на турнире в Сочи, а ведь компьютера в то время еще в помине не было. Партия двух гроссмейстеров: 33 хода по теории, после 40 ходов партия отложена. Получается, что они «играли» семь ходов — при этом по меньшей мере по разу ошиблись, чтобы потом приступить к анализу отложенной позиции. Разве же это игра?!*

*Вот вы о Чепукайтисе написали. Чип был не только потрясающий блицор, он был игроком, игроком в первую очередь; неважно во что, где, как, почем, главное — играть. Шахматы постепенно утратили это качество. А ведь настоящие игроки хотят играть, а не кропотливо изучать и анализиро-*

вать дебюты дома. Они не способны или не желают делать этого, им это скучно. Может быть, я понимаю их лучше, чем вы, я ведь сама из той же породы. Вот блиц — другое дело, особенно если не в турнире, а просто так. Интересно, азартно, весело! Проиграл партию — можешь тут же взять реванш. Это настоящая игра, игра в буквальном смысле слова, причем играешь против определенного соперника, пытаешься использовать не только его шахматные слабости. Поэтому идея рэндом-чесс мне очень нравится; шахматам, во всяком случае, будет возвращен их первоначальный игровой смысл, и не будет этой чудовищной дебютной подготовки. Но даже если и начнут играть в такие шахматы, плохо себя представляю когда-либо за шахматной доской...

Шахматы вообще не свойственны женской природе, как и непрерывная борьба, характерная для этого вида спорта. Для шахмат необходимы многие силовые качества, которые у прекрасного пола встречаются гораздо реже, чем у мужчин, — желание играть, постоянно доказывая что-то, напор, азарт. Возможно, поэтому женщины в целом играют слабее мужчин. Шахматы — очень жестокая вещь, и трагизм шахмат — в цене ошибки. Можно несколько часов прекрасно играть, возводить здание, но одна ошибка всё сводит на нет, и здание рушится. Эти моменты создают дополнительное нервное напряжение. У большинства женщин просто не остается сил на такие психологические подвиги. К тому же у них большие боязнь поражения. Те же, кто равнодушен к проигрышам, никогда не станут спортсменками высокого класса. И еще: в шахматы играют молча, разговоры во время игры запрещены, и несколько часов кряду надо находиться в таком состоянии. Знаю, знаю, что правило это сплошь и рядом нарушается, но все же. А в бридже вся игра построена на разговорах, общении, и чувство партнера здесь не менее важно, чем остальные качества, и у женщин это чувство развито, может быть, даже больше, чем у мужчин.

Что я последние годы делала в Союзе? А ничего не делала, просто жила как придется, в бридже играла. Когда в 1979 году меня не пустили на межзональный турнир в Бразилию, помню, совершенно не огорчилась: нет, так нет, еще большие времена для бриджа будут. Конечно, вокруг меня все уезжали, а сама я раньше не уехала потому, что вообще тяжела на подъем, да и жизнь текла как-то сама по себе и текла...

Последние два года перед отъездом отказывалась от всех соревнований, потихоньку завершая шахматную карьеру. Много лет назад я участвовала в турнире, где играла Валентина Борисенко. Прекрасно помню, как готовила подруг к партиям против нее; образ этой пожилой женщины, позиции которой на пятом часу игры превращались в руины, часто возникал у меня перед глазами, я и сейчас ее отчетливо вижу.

Тогда я дала себе зарок, что играю до тридцати пяти лет и всё, на этом кончаю, чего бы это мне ни стоило. И эта мысль меня неотступно преследовала. Когда играла с Юдит Полгар на Олимпиаде, ей было тогда тринад-

цать лет, мне — почти в три раза больше. Единственная наша партия, она ничью закончилась. Помню, сижу и думаю: я старше этой девочки почти в три раза. В три раза!

Когда приехала в Америку, мне было тридцать шесть, и я понятия не имела, что буду делать, но точно знала, что в шахматы играть не буду. Не получилось. Один турнир подвернулся, другой, так и пошло. Я трижды побеждала в чемпионатах страны, но играла там в основном из-за денег. Мою последнюю партию сыграла на турнире претенденток в Шанхае в 92-м году; хотя после этого играла еще в одном первенстве Америки, но это уже нельзя назвать игрой: предлагала всем ничью сразу по выходе из дебюта.

Если судить по позициям после 30-го хода, тот турнир претенденток был по качеству игры моим лучшим в жизни, но потом происходило замыкание в сети и на доску мог выплеснуться любой ход. Совершенно произвольный. Случайный. И в партии могло произойти и происходило всё что угодно. И я поняла, что надо кончать. Потому что эти случайные ходы — не случайны. Что-то дает сбой. Последние турниры были для меня настоящей пыткой, и постепенно я стала ненавидеть шахматы. Сейчас очевидно, что я ненавидела не саму игру, а себя в ней, но тогда было не до таких тонкостей.

Была в Китае еще дважды, оба раза на бриджевых турнирах. Хотя турниры те, честно говоря, были больше похожи на показательные выступления. Самого Дэн Сяопина, большого любителя бриджа, не было, зато играли другие высшие чины китайской администрации. Для китайского бриджа характерен феномен, свойственный и шахматам: местные бриджистки достигли в игре значительно больших высот, чем мужчины. Объяснение может быть только одно: общий уровень в женском бридже ниже, чем в мужском, потому и достигаем легче. Точно так же, как в шахматах.

Борьба за выживание в Америке длилась четыре года, но в конце концов врожденные оптимизм и упрямство сыграли свою роль, хотя основным, думаю, было другое: доказать что-то себе и, возможно, другим. Два раза готова была сдаться, стать такой, как все, пойти работать программистом, тем более что дело это несложное; через год-другой иметь дом, хорошую машину и всё, что к этому прилагается. Оглядываясь на то время, честно скажу: горжусь, что сумела выдержать.

Восемь лет назад Дина Тулман и я открыли шахматную школу. Дина — мастер из Молдавии, училась в ленинградском Политехническом институте. Начинали с нуля, постепенно разрослись, теперь много учеников, да и учителей. Всеми организационными вопросами занимается Дина, она очень энергичная, я этого просто не умею. В школе предпочитаю работать с детьми, чей рейтинг примерно 1000—1200, иногда и с более сильными, но это я меньше люблю, потому что родители порой вмешиваются, среди них попадаются очень уж честолюбивые.

На уроках чувствую себя уверенно. Мордашки умные, видно, как глаза загораются, когда идея приходит в голову. Шахматистом никто из них, слава богу, не

станет, а для общего развития полезно. Несколько раз в году приезжают заморские гроссмейстеры, чтобы с более сильными поработать: Саша Чернин, мой любимчик Артур Юсупов, общаюсь с ними с удовольствием.

Школа в Нью-Джерси, в десяти минутах езды от дома. Работаю там раза три-четыре в неделю, график у меня свободный, в любой момент могу пропустить урок или перенести, но этим не злоупотребляю. Могу взять и неделю-другую отпуска и поехать на турнир. Бриджевый, разумеется. А вот на днях, например, вместо школы отправилась на US Open по теннису. Атмосфера там отличная, особенно в первую неделю, когда матчи играют-ся на всех кортах.

Несколько лет назад я отдала все свои книги и последний комплект шахмат в нашу школу. Две тетрадки с партиями, правда, оставила, не выбросила, хватило ума. Со временем чувства притупились, со словом «ненависть» по отношению к шахматам я погорячилась; со мной это еще случается, хотя, к счастью, всё реже и реже. Но до чтения шахматных журналов мне еще далеко, если что и получаю, отправляю нераспечатанным прямым в мусорную корзину.

Конечно, с тем, что с возрастом энергия уходит, спорить трудно; смешно отрицать, и что мозг стареет, иначе мы бы до сих пор играли в шахматы на прежнем уровне. Однако это вовсе не означает, что человек не может думать; скорее — не хочет, ленился, ему нужно просто проявлять большие усилия, чтобы заставить себя вообще что-либо сделать. Большинство шахматистов становятся интеллектуальными и эмоциональными стариками в относительно молодом возрасте, когда успехи и уважение остались в прошлом. Но трудно вырваться из этого болота, возможности уж больно ограничены.

В бридже возраст тоже имеет значение, но не такое, как в шахматах. В бридже нет и быть не может такого понятия как вундеркинд. Очень молодым вообще не рекомендуется играть в бридж, и раньше восемнадцати никому не удастся достигнуть более-менее приличного уровня. Неслучайно ведь юниорский возраст в бридже считается до двадцати пяти лет, а раньше так вообще тридцать был. Да и сдавать бриджист обычно начинает в более пожилом возрасте и не так резко, как в шахматах. По моей оценке, у женщин — лет в шестьдесят, у мужчин — в шестьдесят пять. Поэтому в бридже, я имею в виду спортивный бридж, можно играть много дольше, чем в шахматы. В мужской команде Франции, например, выигравшей олимпиаду в 1996 году, четверым участникам было под пятьдесят, а одному — шестьдесят восемь!

Вот вы сказали о профессиональных шахматах: «всю жизнь деревяшки передвигать». Если заменить слово «шахматы» на «карты», то это и будет как раз то, что я сейчас делаю и собираюсь делать еще лет десять-пятнадцать.

Человек должен приспосабливаться к среде своего существования, но ему никто не может запретить думать. Мы все там были нищие, деньги не

играли никакой роли, имели их только жулики, людей же мы оценивали по человеческим качествам и интеллекту. Телевизор практически не смотрели, разве что только спорт, оставалось общение, разговоры. И разговоры не о том, куда лучше поехать в отпуск — на Бермуды или на Багамские острова. Чтение и обсуждение книг, в более узком кругу — и политики. Хотя я лично, что и говорить, была больше игроком, чем читателем.

Были там, конечно, ущербные... большинство были ущербными, но я общалась не только с ними. С пятнадцати лет я играла во взрослых соревнованиях, и то, что я слышала, было совсем не похоже на то, чему меня учили в школе. Среди шахматистов было немало высокоинтеллектуальных, интеллигентных людей, которые в любой нормальной стране занимались бы чем-нибудь другим. Особенно заметно это стало в Америке; играла, помню, в каком-то шахматном клубе, оглянулась вокруг — одни иммигранты да чокнутые...

Отлично, что вы защищаете шахматистов, когда говорите, что среди них встречается не меньше интересных людей, чем среди прочей публики, но, может быть, в этом нет необходимости? Я прекрасно понимаю, чем обязана шахматам и людям, которых там встретила. Были среди них пьяницы, боссяки, стукачи, были и просто подонки, но были и люди, общение с которыми определило, кто я есть сейчас, как живу, о чем думаю, кто мои друзья. Я не идеализирую жизнь, и у меня нет ностальгии, но было там и что-то хорошее, чего здесь нет. Возможно, у меня нет категорического отрицания всего, что было там, оттого, что уехала я в более зрелом возрасте, а главное — при других обстоятельствах, чем мой брат. Когда Илья уезжал, была боль, расставание навсегда, а во время моей отъездной разговоры типа: «Вот когда ты в гости приедешь...»

Компьютер не покупала несколько лет, предполагая, к чему это может привести, но потом все-таки решилась. Провожу перед ним довольно много времени, давая уроки бриджа и играя во всевозможные игры. Среди них попадают очень интересные, но шахматы, воспитывая логику и приучая мысль к дисциплине, стоят на особом месте. Есть еще одна игра, к которой я, зная себя, не прикасаюсь. Прочла о ней как-то книжку, но тут же захлопнула и сказала себе: «Это всё, в эту игру ты играть не будешь!» Речь идет о бекгемоне.

Курю немного, может быть, пачку в день, но, когда сажусь за компьютер, сразу автоматическая реакция — сигарету. К еде совершенно равнодушна, но имею одну слабость: шоколад. Если дорываюсь, могу целую коробку съесть...

Первые годы в Америке следила за европейским футболом, но потом это сошло на нет. Я поняла, что если не с кем поделиться впечатлениями, то и удовольствие уже не то. Хоккей остался. Его можно обсудить, ведь спорт этот и американский тоже. Нет, любимой команды нет, нравится просто красивая игра. То же и с игроками. Хочу вот посмотреть на Овечкина, при-



ехавшего из Москвы, говорят — большой талант, и еще на одного молодого совсем канадца, нет, фамилия вам ничего не скажет.

Телевизор не очень люблю, а вот книги читаю. Идет это у меня периодами: бывает — запоем читаю, книг пять подряд, бывает — ничего не читаю совсем. Какого жанра? Детективы, почти всегда детективы. По-английски и по-русски. По-английски — Стенли Гарднера и Дика Фрэнсиса. Нет, с языком проблем нет, в последнее время даже думаю по-английски, по-русски иногда только. По-русски прочла всего Акунина, что-то понравилось, что-то меньше, что-то совсем нет; пыталась читать Маринину. Интересно, что в детективном жанре очень много женщин-писательниц. Но вот Элизабет Джордж хуже писать стала в последнее время.

Вашу книгу прочитала с огромным интересом. Замечательно, что вы находите хорошие черты даже у очень несимпатичных людей. С грустью узнала о смерти Гипслиса — вечного капитана женской команды. Самая запоминающаяся поездка и, наверное, самая интересная вообще в моей жизни была в 74-м году — на Олимпиаду в Колумбию. Это последняя женская Олимпиада была, остальные проводились вместе с мужчинами. Летели туда втятером: Нона Гаприндашвили, Нана Александрия и я, тренерами Константинопольский и Гипслис. Провели мы три недели в Медельине, потом неделю в Боготе с ежедневными экскурсиями, да две остановки в Нью-Йорке по дороге туда и обратно. Мне тогда только-только двадцать исполнилось...

Всё так привычно и стабильно было в шахматном мире: стройная система, чемпионы мира — действительно сильнейшие шахматисты своего времени, всё как должное воспринималось, и в мыслях не было, что по-другому может быть. И вот как всё перевернулось! Нам дико, а молодым уже и не понять, как это можно играть без компьютера, для них мы — динозавры, игравшие в игру под названием «шахматы», но имеющую мало общего с игрой, в которую они сейчас играют. А ведь много лет назад мы были такими же. Я, по крайней мере, с высокомерием молодости смотрела на так называемых стариков, а те, наверное, испытывали чувства, похожие на мои теперешние.

Каждый год в Европу езжу, у меня в Берлине мама живет, сестра, племянник. Европу я вообще люблю, чувствую себя там в толпе на улице прекрасно; правда, в Берлине хуже, чем, например, в Париже.

С Россией меня ничего не связывает. В последний раз была там в 1996 году и не вижу себя в этой стране в ближайшее время. Да и зачем? Все или умерли, или уехали; кто в Америку, кто в Германию, кто в Израиль.

Бридж в России сейчас абсолютно легален, доступен всем, но ездить на турниры дорого. Хотя появилось много новых русских, молодых ребят с хорошей головой и с мешком денег. С некоторыми я встречалась на чемпионатах мира и на олимпиадах. Попадают среди них всякие, есть и симпатичные, есть и противные, как и везде, впрочем.

*В Турции в 2004 году олимпиаду по бриджу выиграли женщины России. Это первый, неожиданный и огромный успех. Честно признаюсь, сильно за них болела, когда они играли в финале с моими американками. Посмотрим, не начнется ли там всё в бридже, как в женском теннисе. Маловероятно, но кто знает...*

В ноябре 2005 года в португальском Эшториле, где шестьдесят лет назад провел свои последние дни Александр Алехин, состоялось очередное первенство мира по бриджу. В составе американской команды была и Ирина Левитина.

## **ОТПУСК**

**Ш**ахматы — это призвание, не профессия. Это не работа в прямом смысле этого слова. У нас, шахматистов, поэтому, к счастью, не бывает отпуска.

Отпуск — это чувство абсолютной свободы, но чувство это — совершеннейшая иллюзия, которую целый год лелеют все граждане.

Само слово «работа» включает в себе что-то нежеланное, неприятное, что должно быть сделано и прекращение чего предполагает блаженство. Но этот перерыв имеет освежающий и обновляющий эффект, только если он неожидан и нерегулярен. Отпуск, сроки которого известны за год вперед, становится ужаснее любого принуждения.

Каждый год я с удивлением наблюдаю поразительное явление: друзья и знакомые внезапно исчезают. Солнце сверкает над городом, это лучшее время в Амстердаме, молодежь стекается сюда со всего мира, но сами жители отправляются в эти чудесные дни на раскаленную гальку пляжей Средиземного моря. Я понимаю еще, если бы страну покидали зимой: в Голландии в это время бывает холодно и ветрено. Но тогда все сидят дома, и только самые богатые ломают ноги на зимних курортах.

Я думаю, что люди на самом деле не хотят отпуска. Один мой друг ощутил это на собственном опыте. Вздыхая, он захлопнул за собой дверь своего дома и на автомобиле, до отказа забитом туристским снаряжением и детскими, покатил в направлении какого-то французского пляжа.

Всё началось сразу же после отъезда, когда они попали в ужасную пробку и его жена начала сомневаться, выключила ли она в спешке газ на кухне. Если бы мой друг хоть что-то понимал в женской психологии, он должен был, разумеется, немедленно вернуться домой в Амстердам, но, по всей вероятности, раздраженный нескончаемыми пробками, он продолжил путь. Первую ночь, которую они провели где-то в Бельгии, жена не могла сомкнуть глаз. Стоит ли еще на месте их дом? Или вырвавшийся на свободу газ получил доступ к огню и превратил в золу половину квартала? В конце концов мой друг прибыл к месту назначения, но состояние жены стало к тому времени настолько отвратительным, что вскоре они вынуждены были пуститься в обратный путь. Ровно через четыре дня после отъезда он вновь проворачивал ключ в замочной скважине своего дома. Что его больше всего поразило, так это облегчение жены, что дом целехонек. Ни единого слова сожаления или стыда, ни намек на извинение.

Но что самое интересное: она и не хотела отпуска, но осознала это, только очутившись на вакациях. Со сколькими еще такое случалось? Но как же тогда человек должен отдыхать и расслабляться, слышу я уже вопрос, задаваемый мне милыми читательницами.

Мой собственный распорядок дня, полагаю, должен рассматриваться как идеальный. Во время последней переписки в ответ на вопрос о количестве часов рабочей недели я после долгих расчетов вывел цифру 10. В этом смысле я — труженик будущего.

Как же выглядит мой обычный день? Не буду здесь касаться тех коротких периодов, когда я играю в шахматных турнирах и призвание зовет меня к ратным подвигам, связанным с лишениями, превышающими все мыслимые, — нет, я буду говорить только о счастливом времени между этими периодами.

Итак, приступим. Утро я провожу в полнейшей неге. Затем после плотного завтрака в час-полтора отправляюсь в ближайшее кафе, где, читая газеты, знакомлюсь с последними известиями и новостями биржи. После чего наношу визит к парикмахеру, который приводит в порядок мою бороду. Остаток дня я провожу в размышлении; в зависимости от погоды — в прогулках или дома, слушая хорошую музыку. В половине седьмого я ужинаю. После чего читаю вечерние газеты.

Когда процесс пищеварения после трапезы завершен, я выхожу в город, чтобы встретиться с друзьями, пропустить стаканчик в «Де Кринге» или посетить театр. После полуночи перекусываю. Я знаю из опыта, что тогда голова моя наиболее ясна, и потому провожу несколько часов в глубоких размышлениях. Обычно занимаюсь этим, вернувшись домой, уже в постели. Часов в пять я начинаю дремать, нередко за чтением какого-нибудь хорошего детектива.

Вы понимаете, конечно, что я отношусь к числу людей с солнечным настроением. У меня всегда для каждого припасено доброе словцо. Моя жена говорит, что она никогда не хотела бы иметь мужа, который возвращался бы по вечерам с работы выжатый как лимон. Она очень довольна такой жизнью, но у нас есть одно условие: и у меня случаются дни, когда душа страждет, а тяжесть бытия ощущается особенно тяжело.

Так как мы с женой верим в равные права мужчины и женщины, то условились, что три дня в месяц я могу быть не в духе. «У него критические дни», — сообщает она тогда нашим знакомым, чувствующим перепады моего настроения. Эти три дня каждый месяц я могу выбрать сам, и поэтому мы — счастливы. Но мы никогда не уезжаем в отпуск.

Журнал «Авеню», март 1971

## ОШИБКА В АНАЛИЗЕ

Только что в голландском переводе вышла книжка советского шахматного журналиста Вайнштейна «Комбинации и ловушки в дебюте». Книжка эта относится к легкому жанру. Все трюки, с которыми должен быть знаком шахматист, стремящийся к совершенствованию, снабжены короткими

комментариями. Начиная с мата в два хода и кончая самой короткой партией, сыгранной когда-либо.

Детский мат, мат Легаля и много других различных возможностей получить быстрый мат методично излагаются автором. Как можно потерять ферзя уже через несколько ходов после начала игры или проиграть партию, несмотря на колоссальный материальный перевес, — здесь можно найти всё. Книжечка расцвечена смешными рисунками, где шахматные фигуры предстают перед нами в человеческом обличье. Приятная маленькая книжица.

Но для экспертов, я имею в виду настоящих экспертов, эта книжечка — сенсация. Это первая шахматная публикация на русском языке, в которой имеются ошибки! Очевидные ошибки! Это нечто совершенно новое.

Каждый месяц я просматриваю журнал «Шахматы в СССР», и мне еще ни разу не удалось увидеть что-нибудь, что было бы похоже на очевидную ошибку. Случается, что в анализах дебюта или эндшпиля не рассматриваются некоторые продолжения, на которые надо было бы обратить внимание. Но не ошибки! Я был даже несколько раздражен. Надо знать ту тщательность, с которой в России относятся к делу, перед тем как написанное уйдет в типографию. Священный трепет перед печатным словом.

У составителей турнирных сборников поэтому нелегкая жизнь. Как игроки комментируют свои партии? «Если он пойдет так, то я отвечу эдак», или: «Я не был уверен, правильно ли это, но решил рискнуть». Составитель такого сборника тщательно записывает всё, что сообщает гроссмейстер после окончания партии, и обещает выслать ему книгу, как только она выйдет из печати.

— Что? Вы собираетесь это печатать? Нет, я должен сначала как следует проанализировать всю партию.

— Как долго будет длиться ваша работа?

— По меньшей мере неделю.

Такой ответ у русских в порядке вещей. Кто погружается в анализы какого-нибудь Ботвинника или Бронштейна, понимает, что на них ушли месяцы углубленной работы.

В книги Авербаха по эндшпилю уже долгие годы никто не заглядывает, но изумительные анализы ладейных окончаний, должно быть, стоили ему многих лет труда. И ни одной ошибки, насколько я могу судить. У Вайнштейна же несколько более легкий подход.

Речь идет о моей партии с Найдорфом на турнире в Амстердаме в 1950 году. Не могу сказать, что это была партия, о которой я вспоминаю с удовольствием.

Вот что пишет Вайнштейн: «Доннер решил отдать слона за пешку, с тем чтобы тотчас же отыграть фигуру, напад на пешкой одновременно на слона и коня. Однако Найдорф рассчитал дальше и, сделав тонкий промежу-

*точный ход, успел увести обе фигуры из-под удара черной пешки». После чего Вайнштейн приглашает читателя найти ход, спасающий обе белые фигуры. Далее следует решение.*

*Но автор не увидел, что черные довольно простым ходом коня на последнюю горизонталь отыгрывают пожертвованную фигуру. Я не сделал этот ход. Может быть, я думал, что было бы неразумно, играя против гроссмейстера, отступить фигурами назад. Или по какой-нибудь другой причине. Почему мы не делаем того или иного хода? Я был молод тогда, я не помню этого. Но Вайнштейн даже не видел этой возможности!*

Журнал «Тайд», 26 июля 1965

## АМСТЕРДАМ

Книжка, о которой идет речь, адресована начинающим и принадлежит перу известного шахматного деятеля и литератора Бориса Самойловича Вайнштейна, частенько выступавшего под псевдонимом Ферзьбери. Я не знаю, как эта книжка попала на глаза Доннеру, но в ней действительно приводится комбинация из его партии с Найдорфом, после которой голландец уже в дебюте остался без фигуры.

Говоря о составителях турнирных сборников и о примечаниях к партиям, Доннер, без всякого сомнения, имеет в виду советских гроссмейстеров, участников традиционных турниров в Амстердаме и Бевервейке. После тура они попросту надиктовывали комментарии к своим партиям мастеру Берри Витхаузу, который мог с грехом пополам изъясняться порусски.

В послевоенный период Витхауз состоял в оргкомитетах всех голландских турниров и неутомимо писал о шахматах. С сеансами одновременной игры он объехал всю Голландию. Особенно популярным было турне, спонсором которого являлся один из крупнейших супермаркетов страны «Фром и Дрейсман». Турне это всегда проходило в феврале, сразу после окончания турнира в Бевервейке, и длилось почти месяц. Шахматный караван из пяти-шести гроссмейстеров и мастеров колесил по всей стране, останавливаясь каждый вечер на новом месте.

Берри Витхауз был членом компартии, общества дружбы Голландия — СССР, регулярно бывал в Советском Союзе и писал в газету «Вархейд»\*. Неслучайно поэтому, что советские шахматисты нередко оказывались гостями Витхауза в Амстердаме. В его доме провел целый месяц Лев Полугаевский — секундант Смыслова на межзональном турнире 1964 года.

Коммунистическая партия была довольно популярна в стране после 1945 года, в первую очередь благодаря победе Советского Союза во Вто-

---

\*«Правда» (голл.).

рой мировой войне. Хотя Голландию освободили канадцы и американцы, имя Сталина было символом победы, и один из самых больших бульваров Амстердама был назван тогда его именем (сейчас — аллея Свободы). Во время войны многие голландцы, тайно слушая сводки Би-би-си из Лондона, следили за событиями на восточном фронте, и им были известны не только крупнейшие военные операции, но и имена всех маршалов Красной Армии. Писатель и шахматист Тим Краббе, родившийся в 1943 году, получил, казалось бы, довольно часто встречающееся имя (голландский вариант русского Тимофея), но на самом деле был назван в честь маршала Тимошенко. Кое-кто, по слухам, изготовлял уже плакаты с текстом: «Тимошенко! Остановись — это уже Голландия!», но до конца войны оставалось еще два долгих года.

Популярность компартии резко пошла на убыль после доклада Хрущева на 20-м съезде партии и венгерских событий осенью 1956 года. Танки на улицах Будапешта, тысячи беженцев, прибывших в Голландию, резко изменили отношение населения к коммунистам. По стране прошли антикоммунистические демонстрации, в магазине левой литературы «Пегасус» на центральной улице Амстердама были выбиты стекла и сломана мебель. В командном первенстве страны многие подвергли бойкоту Витхауза, отказываясь садиться с ним за шахматную доску. Куба Фиделя Кастро зажгла было снова интерес к социалистическим идеям, но после подавления Пражской весны количество членов коммунистической фракции в парламенте стало уменьшаться с каждым годом. Последний удар нанес коммунистам распад Советского Союза: после очередных выборов они не получили ни одного места в парламенте, и партия вынуждена была самораспуститься. Закрылась и газета «Вархейд».

Витхаузу сейчас за восемьдесят, и он крайне редко появляется на шахматных турнирах, ведя уединенный образ жизни. Берри не очень любит вспоминать прошлое и несколько лет назад согласился на разговор со мной, только когда узнал, что речь пойдет об Эйве и Доннере.

Публикация Доннера помечена 1965 годом. Когда я семь лет спустя познакомился с ним, он вел еженедельные рубрики в журнале «Тайд» и газете «Фолксскрант», а я выписывал советские шахматные журналы, откуда он мог всегда выудить что-нибудь интересное для своих публикаций. Партии закончившихся турниров становились доступными тогда только спустя несколько недель, а то и месяцев, ничуть не теряя при этом своей актуальности. Ах, это блаженное, двигавшееся черепашным шагом доинтернетовское время!

Помимо шахматных изданий я получал также «Советский спорт». Хотя газета была ежедневной, поступала она ко мне оптом, раз в три-четыре дня; каждый экземпляр был обернут грубой коричневой бумагой, намер-

тво скрепленной с газетой застывшим канцелярским клеем, тоже коричневого цвета, поэтому вместе с бумагой сдиралась обязательно и какая-то часть самой газеты.

Хейн всегда записывал то, что я переводил ему, мелким характерным почерком. Этот почерк хорошо знали в редакциях газет и журналов, где сотрудничал Доннер: он наотрез отказывался учиться печатать на пишущей машинке, к помощи которой прибег только после случившегося с ним несчастья, когда не мог уже писать и после длительных тренировок научился выстукивать свои рассказы одним пальцем.

Он владел несколькими языками, но познания в русском, который Доннер часто слышал во время турниров, были весьма скудные. Он мог почти без акцента произнести все шахматные термины, названия фигур, цифры от единицы до восьми, слова «большевик», «хулиган», «политбюро». Ну, и еще два, известные каждому иностранцу: «спутник» и «погром».

После того как мы разыгрывали партии, появившиеся во время крупных турниров в шахматных обзорах газеты «Советский спорт», Доннер просил меня перевести призывы ЦК КПСС по случаю какого-нибудь праздника или передовицу, печатавшуюся на первой странице. Иногда, за неимением лучшего, я переводил статью из рубрики «Письмо позвало в дорогу». Мне было интересно, а порой и забавно слушать, как интерпретирует события и вещи, ему совершенно непонятные, человек Запада.

Он поднимался ко мне на третий этаж по узкой лестнице, совсем не удивляясь ее крутизне: ведь и в его доме была точно такая же. Мебель по этим лестницам поднять невозможно — хорошо, если два человека разминутся, — поэтому под крышей каждого амстердамского дома и сейчас можно увидеть немалых размеров крюк, при помощи которого поднимают на верхние этажи шкафы, кровати, столы и прочую громоздкую утварь.

Мы никогда не играли в шахматы. И потому, что беседовать нам было более интересно, и потому, что Хейн, как мне кажется, побаивался меня. Может быть, истоки этого надо искать в августе 1973 года, когда в небольшом турнирчике с участием опытных мастеров Крамера, ван Схелтинги и признанных олимпийцев Рея, Баумейстера и Куйперса я не отдал соперникам и половинки очка, а несколько дней спустя сыграл с самим Доннером показательную партию в Эйндховене, оказавшуюся очень короткой.

Был теплый субботний день, и на площади, где игралась партия, собралось довольно много публики, глазающей на диковинное зрелище. У меня были длинные, по тогдашней моде, волосы, и внешне я мало чем отличался от зрителей. Ходы воспроизводились на большой демонстрационной доске, и комментатор, увидев мой девятнадцатый ход, сказал:



— Такое впечатление, что гроссмейстер Доннер теряет фигуру...

— Действительно, — усмехнулся Хейн, сдаваясь, и, посмотрев немного партию, мы начали говорить о последнем заявлении Солженицына, текст которого он прочел в утренних газетах. Впрочем, говорил по обыкновению только он. Мне нелегко было следить тогда за его словесным водопадом, запомнилось только, что, когда нам вручали подарки по окончании шахматного праздника, он, знакомя меня с женой, сказал:

— Посмотрим, посмотрим, что в этих пакетиках. Не знаю, как в России, но вот Марьяна, которая прожила несколько лет в Японии, получив там в первый раз запакованный презент, почувствовала интуитивно, что нельзя открывать его при всех, что потом и подтвердилось... Правда, Марьянушка? — И, не дожидаясь подтверждения своих слов, зашептал: — У нас же в Голландии полагается прилюдно развернуть и (*совсем склоняясь уже к моему уху*), какая бы ерунда там ни оказалась, восклицать: «Большое спасибо! Замечательно! Это как раз то, что мне всегда хотелось иметь!»

Весной 1974 года, спустя несколько месяцев после того как я выиграл чемпионат страны, в Амстердаме был организован матч-турнир в четыре круга с участием Тиммана, Доннера, Рея и меня. Доннер писал тогда: «Сосонко доказал, что по праву выиграл национальный чемпионат. Узнав о новом состязании, он ворчал, что матч-турнир организован только для того, чтобы поставить его на место, и был не так уж неправ. Это явилось, конечно, тяжелым ударом по нашей национальной гордости: никому не известный шахматист из России прибил всех нас, так тяжело пашущих голландских работяг, — я, во всяком случае, нашел это ужасным. Но будем честными: всё самое лучшее, произведенное этой страной, пришло к нам из-за границы». После чего Доннер, перечислив имена иностранцев, натурализовавшихся в Голландии и получивших известность в стране и за ее пределами, заключил сентенцию словами: «Генна Сосонко, милости просим. Пожалуйста, оставайся тоже в этой стране».

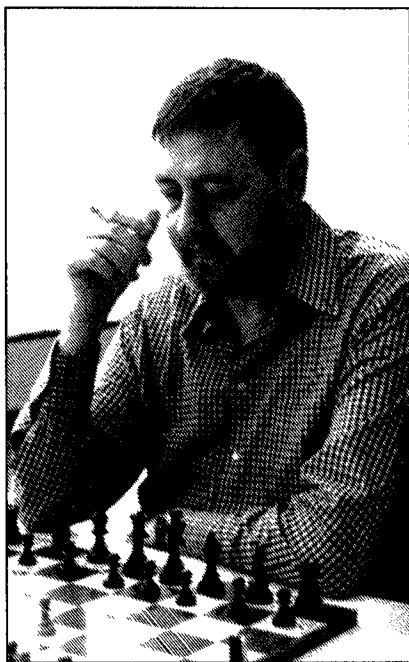
Моя партия с Доннером длилась меньше двадцати ходов. В его карьере эта миниатюра была отнюдь не единственной. Хотя Хейн относился по-философски и с юмором к своим молниеносным поражениям, однажды он заметил: «Нет слов, чтобы описать отвращение к самому себе, овладевающее шахматистом, когда он проигрывает партию нелепым просмотром...»

Турнир в Амстердаме 1950 года, где игралась его партия с Найдорфом, был самым сильным в только начинавшейся карьере Доннера. За полгода до этого он победил в Бевервейке, добившись первого большого успеха, но тот турнир был далеко не таким представительным, как амстердамский, в котором участвовали Эйве, Пильник, Глигорич, Штальберг, Пирц, Трифунович и другие сильные шахматисты.

В партии с Найдорфом он потерял слона на девятом ходу. Хейн пишет, что был молод и не может припомнить, почему он не сделал хода, спаса-

ющего фигуру. Вполне возможно. Ему было тогда только двадцать три года, и жизнь его состояла не только из шахмат. Ведь каждый вечер перед ним лежал чудный город на воде, самый свободный в мире, с цветами, продающимися на каждом углу, нескончаемой вереницей велосипедистов и множеством открытых допоздна кафе, в которых уже тогда можно было купить всё, чем славится этот город сегодня. С его жителями, употребляющими в своей речи словечки, известные только здесь, и с характерным юмором, который не перепутаешь ни с каким другим.

Его Амстердам.



Часть 2

ЛЕСТНИЦА ЖИЗНИ



## **О СЛАВЕ**

**В** последнем турнире вновь улыбнулась удача \*. Второй в компании чемпионов мира! К тому же в родном отечестве. Пусть в далеко лежащем Лейдене, но все газеты были полны сообщениями об этом. Хотя мой результат был в известном смысле омрачен смехотворным достижением «Фейенорда» \*\*, все же такой выдающийся успех был отмечен всеми средствами массовой информации.

Несколько недель я мог снова нежиться в лучах славы. Самое удивительное в славе то, что так же, как и в случае с виной, ее совершенно не ощущаешь; слава должна исходить от твоего окружения. Процесс поклонения не подчиняется какой-либо логике и имеет совершенно иррациональный характер.

Я думаю сейчас о том симпатичном человеке, который в кафе рядом с площадью Дам в Амстердаме с широко открытыми глазами и дрожжа нервной дрожью устремился ко мне.

Это я — Доннер? Тот самый Доннер? Собственной персоной? Он ведь знает меня так давно, но ни разу не решился заговорить со мной. Он читал обо мне в газете. И на прошлой неделе, когда турнир был в самом разгаре, он видел меня на улице, когда я прошел мимо... Он стоял тогда на углу рядом со своим мотоциклом, и вдруг я прошел мимо.

Он хотел еще поприветствовать меня, но не решился: я ведь не знал его. Но он рассказал об этом своей жене и друзьям. О том, что видел меня в тот день, когда я должен был играть с этим самым русским. И он думал об этом. Было ли это случайно? Было ли это совершенно случайно, что я прошел именно мимо него в тот самый день? Нет, это не было случайно, подумал он.

Бедняга совершенно потерял всякое самообладание, и я уже опасался, что он даст волю слезам, но в это время в кафе вошел его знакомый, приветствовавший моего собеседника самым сердечным образом, крайне распространенным в амстердамских кафе: «Здорово, старый мудила, ты что, сегодня не работаешь?»

Реакция того была необычайно резкой: «Что ты себе думаешь? Не можешь ли ты немедленно заткнуть поддувало? Ты что, не заметил, с кем я только что разговаривал? Да или нет?» Вошедший смущенно замолчал. По внешнему виду моего почитателя было заметно, что такого рода реакция совершенно необычна для него. Менее всего он был похож на рыкающего буль-

---

\* Четырехкрутовой турнир в Лейдене 1970 года. В нем принимали участие тогдашний чемпион мира Спасский, Ботвинник, Ларсен и Доннер.

\*\* Футбольный клуб из Роттердама, завоевавший во время турнира Европейский Кубок.

дога. Я понял, что здесь имеет место пришедший в действие механизм, совершенно элементарный, но почти не описанный в психологии и называемый излучением славы. Излучающий славу человек принимает размеры огромного зонта, под которым в радостной зависимости от этого известного человека ищут защиты от серости и обыденности повседневного существования заурядные личности. «Я так рад, что наконец-то тоже кого-то знаю», — сказал мне в трогательной простоте один из людей такого сорта.

Потому что — ах, как мало почитателей знают свое место! У одних это ограничивается подобострастным приветствием, робким опусканием глаз. Таких много, это верно, но есть и немало, совсем немало — других.

«Ну, как там дела в шахматной мафии?», или: «С тобой я хотел бы как-нибудь сыграть партию», или: «Ха, этот старый шашист» — оскорбительные замечания, которые я слышу в последнее время всё чаще.

На это следует реагировать с улыбкой и мягким юмором, потому что почитание имеет тенденцию очень быстро переходить в злобу. Нередко я должен был спасаться поспешным бегством. Отсутствие добродушия — иногда ведь тебе просто не хочется разговаривать — очень часто может быть расценено как заслуживающее порицания высокомерие. И в вышеописанном эпизоде в кафе я быстро простился со своим собеседником и ушел, предвидя большие осложнения. Если бы я, например, распил с ним бутылочку пива, он мог бы возвыситься в собственных глазах, совершенно потеряв контроль над ситуацией. Ему было бы непросто справиться с шоком от внезапного открытия, что я тоже всего лишь обычный человек. Я знаю из опыта, что почитателям нельзя давать больше фаланги своего мизинца.

Всё это касается славы вообще. Особый аспект шахматной славы — огромная притягательная сила, которую она имеет для ненормальных. Есть веские основания полагать, что все шахматисты немного тронутые, и совершенно очевидно, что психически неуравновешенные люди очень завидуют «блестящему уму» шахматиста. В амстердамских кафе можно встретить немало принадлежащих к кругу моих близких знакомых личностей, которых от пребывания в психиатрической лечебнице отделяет только весьма символическая черта. С большим терпением и пониманием нашего глубокого душевного братства выслушиваю я их жалобы, сводящиеся обычно к тому, что их представление о мировом правопорядке не соответствует жестокой действительности, в которой им приходится существовать.

Именно шахматной славе я обязан полученным совсем недавно письмом, которое я рассматриваю как самую высокую честь, которая может выпасть на долю человека!

Я не изменил в нем ни буквы.

Так называемому гроссмейстеру, чемпиону.

Удайтесь же добровольно, фальшивый доннер, потому что ваш обман не может противостоять Правде! Низкими трюками вам удастся внушить

*миру, что вы являетесь настоящим гроссмейстером, чемпионом. Но это не будет долго продолжаться. Потому что в самое ближайшее время я откроюсь миру! Я — НАСТОЯЩИЙ! ГРОССМЕЙСТЕР! ЧЕМПИОН! E4 N8 G3 F6 A3!!!*

*Подписано: Ян Хейн Доннер, Сантпорт\* отделение III зал 12*

Только одно короткое мгновение длилось чувство, что бремя, тяжелое как мир, свалилось с моих плеч. Я был пронзен лучами ослепительного света. Могло ли бы это действительно оказаться правдой?.. Увы, я понимал, что этого не могло быть. Ведь человек, находящийся в психиатрической лечебнице, не может быть прав, не так ли?

Однако слава имеет не только теневые стороны. случается, что в магазине тебя обслужат раньше других, а в кафе поднесут стаканчик бесплатно.

Самой большой неприятностью, которую приносит слава, было и остается: интервью. Как только имя кого-нибудь приобретает известность, газеты и журналы посылают на его голову репортера, для того чтобы провести со знаменитостью как можно более откровенную беседу.

Внимание: здесь требуется чрезвычайная сдержанность! Отношения между журналистом, берущим интервью, и его жертвой носят очень аморальный характер.

В этом случае одному человеку предоставляется возможность вынести на суд читателей мнения и суждения от имени другого человека, а самому остаться совершенно к этому непричастным. Хотя интервью не всегда являются безмянными и частенько имя репортера напечатано тут же, полную чушь, написанную журналистом, простодушный читатель припишет не ему, а его жертве.

Давая интервью, надо всегда считаться с тем, что читатель никогда не прочтет того, что было сказано, в лучшем случае это будет то, что было понято журналистом.

К тому же репортер очень часто для «оживляежа» добавляет в интервью пару выигранных выражений и ударных абзацев, которые он просто выдумывает за столом редакции на следующий день. Это всё больше и больше входит в моду и называется жестким интервью.

Здесь следует опасаться в первую очередь журналисток. Нет никакого сомнения, что женщины понимают жизнь лучше мужчин. Но это положительное качество репортеров женского пола перекрывается вмонтированным в них самой природой злопыхательством. Именно поэтому женщины-журналистки много опаснее.

В словесной конфронтации, в этой игре ума, они совершенно безжалостны. Во время разговора им удается при помощи улыбочек, делания глазок, мягкой и милой неназойливости разговорить своего собеседника, зачастую заставив того оседлать своего любимого конька. Они охотно и с большим

---

\* В Сантпорте находится известная психиатрическая лечебница.

*почтением выслушают вас. Но месть их будет страшна. «Это действительно написано той киской, с которой я разговаривал вчера?» — с удивлением вопрошаете вы себя с пунцовым лицом, читая газету на следующий день. Это случалось со мной слишком часто, и каждый раз снова и снова я принимал решение, не делаясь ни с кем, величественно, одиноко и молча продолжать свой жизненный путь. Но я ничего не могу с собой поделать.*

*Журнал «Авеню», август 1970*

## ГЕННА АДОНИС

Имя Доннера было очень популярно в Голландии. И не только как шахматиста, способного после серии жутких провалов выиграть турнир с участием чемпиона мира, разгромить самого Фишера или победить в сильнейшем международном состязании. Доннер был известен и как журналист, не боявшийся, постоянно эпатажуя обывателя, сказать то, о чем другие не осмеливались и думать. Он никого не оставлял равнодушным, вздыхая порой, что «все меня ненавидят за то, что все меня любят». Его действительно знали все, он привык к своей популярности и относился к ней как к чему-то само собой разумеющемуся. Он жил в маленькой стране, в лексиконе которой есть ироническое выражение «известен на весь мир в Голландии», и Хейн Доннер тоже обладал в Голландии такой «всемирной известностью». Конечно, Голландия была страной в первую очередь Макса Эйве, но Эйве был известен как шахматист, в то время как Доннер был известен как Доннер.

С огромным, под два метра ростом, рано округлившимися формами, брюшком, с каждым годом увеличивавшемся в размерах, с бородкой и вечной сигаретой в желтых от никотина пальцах Доннер был излюбленным объектом для различного рода шаржей и карикатур. Много лет в «Схаакбюллетине», где он вел рубрику, рядом с его именем был нарисован немалых размеров мешок, с пешечкой в виде головы, символизировавший самого автора. Однажды я спросил его, как он относится ко всем этим рисункам и шаржам. «Что ж, — отвечал Хейн, — это ведь тоже в своем роде слава». В другой раз, будучи как следует подшофе, он начал клясться, будто только что видел некролог на самого себя, гордо объясняя, что на всех известных людей некрологи написаны еще при жизни и хранятся впрок в редакциях газет, ожидая своего неминуемого часа.

О стремлении к славе, к признанию писали еще древние. Хрисипп и Диоген говорили, что из всех наслаждений нет более губельного, чем одобрение со стороны. Они, да и другие философы, утверждали, что слава целого мира не заслуживает того, чтобы мыслящий человек протянул к ней даже палец. Полагали, что стремление к славе и забота о добром имени из всех призрачных стремлений нашего мира является самым рас-



пространенным заблуждением. В погоне за этой призрачной тенью, этим пустым звуком, неосязаемым и бесплотным, мы жертвуем и покоем, и жизнью, и здоровьем, и богатством — благами действительными и существенными. «Молва, которая своим радостным голосом чарует исполненных тщеславия смертных и кажется столь пленительной, — не что иное как эхо, как сновидение или даже тень сновидения; она рассеивается и исчезает при малейшем дуновении ветра».

Впрочем, такое мнение было тогда не единственным. Известно, что другие философы, наоборот, очень высоко ценили стремление к всеобщему признанию, а Цицерон, утверждая, что сама добродетель желанна только ради почета, неизменно следующего за славой, был абсолютно поглощен страстной жаждой ее. Да и Аристотель отводил славе одно из первых мест среди остальных внешних благ, хотя и оговаривался, что следует избегать как неумеренности в стремлении к славе, так и в уклонении от нее.

Но даже те из философов, кто презирал славу, полагая, что трудно найти другой предрассудок, чью суетность разум обличал бы столь ясно, нередко отказывались от славы с большой неохотой. Презрению к ней учил и Эпикур, но уже на смертном одре продиктовал письмо, в котором заметно желание славы, так порицаемое им в его учениях. И как заметил однажды Цицерон, даже те, кто считает славу ничего не стоящей мишурой, стремятся к ней, ибо, написав о том, что следует презирать славу, они хотят прославить себя именно тем, что презрели ее. Человек может пожертвовать очень многим, но уступить свою честь, подарить другому свою славу — такое увидишь нечасто. Так было в прежние времена, то же можно наблюдать и сегодня.

Нет никакого сомнения, что Роберт Фишер стал чемпионом мира благодаря своему выдающемуся таланту. Но не только. Огромное честолюбие и желание доказать всем, что он, именно он — первый и лучший, его страстное стремление к победе, признанию и славе сыграли здесь не меньшую роль. Фрэнк Брэди вспоминает, как в 1959 году, когда шестнадцатилетний Фишер испытывал финансовые трудности с поездкой на турнир претендентов в Югославию, он уговорил Бобби встретиться с нью-йоркским бизнесменом, заинтересовавшимся юным талантом и выразившим желание помочь ему. Когда Брэди и Фишер оказались в фешенебельном офисе бизнесмена, Бобби сначала терпеливо и с улыбкой отвечал на его общие вопросы. Всё шло превосходно, и, заканчивая беседу, бизнесмен сказал долговязому подростку: «О'кей, Бобби. Ты мне нравишься. Ты славный парень, и я готов оплатить твою поездку в Югославию и все твои расходы, только одна маленькая деталь: если ты выиграешь этот турнир, то в интервью журналистам ты должен будешь сказать коротенькую фразу: «Эта победа была бы невозможна без помощи Сэма Бланкера»». Здесь, вспоминает Брэди, что-то изменилось в лице Фишера, он поднялся со

своего стула и произнес: «Я не смогу сделать этого, сэр. Если я играю в турнире и выигрываю его, я выигрываю его сам. Благодаря моему собственному таланту. Я делаю это сам и никто больше. Я сам». С этими словами Бобби вышел из комнаты.

Жажда славы может принимать самые различные формы, и характер, пол или страна проживания человека, стремящегося добиться признания, не играют никакой роли. Один голландский мастер, пару раз выступавший в чемпионатах страны, без особого, впрочем, успеха, в повседневной жизни обычный служащий, спокойный, уравновешенный человек, вздохнул однажды: «Если бы мне сказали: завтра ты победитель главного гроссмейстерского турнира в Вейк-ан-Зее, — я согласился бы умереть на следующий день», заставив меня вздрогнуть и посмотреть на своего собеседника совсем другими глазами, чем теми, которыми я смотрел на него в течение нашего двадцатилетнего знакомства.

Привыкнув к славе и знакам почитания, человеку порой бывает не просто обойтись без них. Среди членов амстердамского клуба «Де Кринг» можно было встретить журналистов, писателей, шахматистов. И актеров. Некоторых — в уже преклонном возрасте. Давно сошедшие с подмостков, они не могли забыть огней рампы, но главное — сладостных звуков, которые слышали всю жизнь. Раз в месяц, в заранее оговоренный день престарелые актеры встречались в клубе и после совместного ужина по очереди выступали друг перед другом. И каждое такое выступление заканчивалось бурными аплодисментами, создававшими иллюзию успеха и признания.

Хотя и здесь случаются исключения. В Соединенных Штатах известен синдром Шерри Стрингфилд, ушедшей на пике популярности из шоу Эн-би-си и начавшей преподавать в актерской школе. «Слава разрушительна, и мне не нравится, как устроена эта индустрия славы», — объяснила она свое решение. Впрочем, к тому времени Шерри была уже финансово независима, в отличие от Вильгельма Стейница, сказавшего после проигрыша матча Ласкеру: «Слава? Слава у меня уже есть. Теперь мне нужны деньги».

Доннер полагал, что негативной стороной известности являются интервью, давая которые, надо все время быть настороже. Я испытал это на собственном опыте. Свое первое интервью я дал в октябре 1972 года: тогда любой, вырвавшийся из-за железного занавеса на Запад, считался если не героем, то уж точно заслуживающим внимания прессы.

Журналисты, записав мое имя со слуха, интерпретировали его по-разному. Один сделал из меня Генну ди Сосонко, в другом я превратился в Гемну, и редактор, на стол которого легло это интервью, поняв из текста, что речь идет о персоне женского пола, так и выстроил весь рассказ. После того как я выиграл чемпионат страны, такие ошибки больше не повторялись, но беды стали приходить с других сторон.

Я столкнулся с нередко встречающимся приемом интервьюеров: выудить из ответов наиболее выигрышные куски и, вложив их в свои собственные уста, оставить тебя самого с более прозаическим повествованием. Развернув однажды субботнее приложение к одной из центральных газет с моим интервью на всю полосу, я увидел, что журналист, давеча разговаривавший со мной и имевший очень отдаленное представление о шахматах, спрашивал: «Тарраш говорил, что недостаточно быть сильным игроком, надо еще хорошо играть. Что вы думаете по этому поводу?» Предоставляя мне что-то вякать в средне-серой тональности, после чего он же, продолжая беседу, небрежно ронял: «А вот м-сье Пьер в «Приглашении на казнь» у Набокова утверждал, что хорошие игроки долго не думают», — снова оставляя за мной право робко комментировать цитату, похищенную из моего же ответа.

В этом столкновении умов я напоминал зайчонка из детской книжки, безмятежно занятого рыбной ловлей, а интервьюер — медведя, стоящего за спиной зайца и извлекающего из ведерка весь улов. Правда, в отличие от книжного медведя, журналист сортировал рыбу, бросая обратно в зайчишкино ведерко плотву и пескарей, а себе оставляя лосося и белугу.

Не без некоторого удовольствия, правда, я констатировал несколько раз, что журналисты, подготовившись к интервью, оперировали сведениями, почерпнутыми из предыдущих бесед со мной их же коллегами. Случалось, я говорил тем первое, что приходило в голову, но, переписанные в еще одном интервью, сведения обрастали новыми подробностями и становились уже общепринятыми фактами.

Во время одного из турниров в Голландии, в котором играл Василий Иванчук, журналисты спросили меня о странной манере украинского шахматиста, обдумывая ход, смотреть не на доску, а куда-то вдаль, оторвавшись, как, во всяком случае, казалось непосвященным, от шахматных фигур.

«Видите ли, — отвечал я, — когда Вася был совсем маленьким, он каждый день отправлялся на поезде из своей деревни во Львов на тренировку. Дорога была неблизкой, примерно два часа в один конец, и мальчик, одержимый шахматами, беспрестанно анализировал в уме позиции и рассчитывал варианты. Таким образом, когда он оказывался за доской, шахматы ему были особенно и не нужны, и привычка эта сохранилась до сих пор». Это была чистая импровизация с моей стороны, но ведь для журналистов, да и для публики, рассказы такого рода много интереснее рассуждений о тонкостях сицилианской защиты. После того как эта история была переписана еще раз и еще, она стала фактом биографии Иванчука.

«Занятно, — прокомментировал сам герой рассказа, когда его пару лет назад спросили об этом, — но совершеннейшая чепуха...» Это заявление журналисты пропустили мимо ушей, и совсем недавно я снова увидел в

испанском шахматном журнале свою версию привычки Иванчука. Так пишется история.

Мне пришлось столкнуться и с беззастенчивой перелицовкой сказанного, когда приходится краснеть, совершенно не узнавая собственных мыслей, положенных на бумагу. Испытав пару раз это чувство стыда, я стал соглашаться на интервью только при условии неопременного прочтения его перед отправкой в печать. Надо ли говорить, что условие это сплошь и рядом нарушалось, но даже в том случае, когда листки, полученные от журналиста, возвращались к нему испешренные моими пометками, это тоже не гарантировало верного переноса мысли на бумагу.

Я знал, что существует еще более жесткое правило, которого придерживался Владимир Набоков. Именно: все вопросы поступали к нему в письменном виде, и ответы на них он возвращал тоже в форме машинописного текста. Такие интервью превращались в до блеска отточенные самостоятельные произведения, читающиеся и сегодня с не меньшим интересом, чем романы прославленного писателя. Я даже не предпринял попытки к такому трудоемкому процессу: помимо того что у меня не было ни таланта, ни амбиций для того, чтобы писать для вечности, было просто жаль времени для газетной бабочки-однодневки или даже для журнальной публикации.

К лукавой формуле, применяемой иногда звездами футбола и экрана в ответ на просьбу об интервью: «У меня совершенно нет времени», намекая прозрачно на материальное вознаграждение, я не прибег ни разу, и не столько из-за отсутствия меркантильных соображений, сколько из сознания того, что настольная игра не может настолько заинтересовать какое-либо издание, чтобы интервью с шахматистом было бы еще и оплачено. Если твое имя не Бобби Фишер, разумеется.

Поэтому я принял единственно разумное решение: прекратить давать вообще какие-либо интервью, а мое последнее, напечатанное пару лет назад в российском журнале «64», вряд ли может быть причислено к этому жанру, потому что я не только ответил на вопросы, но сам же их и придумал, вынеся себя на читательский суд, в котором являлся одновременно истцом и ответчиком.

В отличие от Доннера, я не могу сказать, что женщины-журналистки отличались от мужчин какой-то особой изощренностью и хитростью и что в моих контактах с представительницами второй древнейшей профессии я должен был быть особенно настороже.

Хотя... Однажды милый женский голос, представившийся по телефону журналисткой популярного в Голландии еженедельника, сообщил, что у них готовится большой материал на тему: «Секс накануне ответственного соревнования» и что она уже имела беседы на эту тему с футболистами и конькобежцами (при этом журналистка упомянула несколько очень известных имен). А что думают по этому поводу шахматисты? Са-

мым верным здесь был, конечно, ответ: «No comments», — но я ввязался в разговор, заметив, что, в отличие от других видов спорта, в шахматах секс возможен не только в канун матча или забега, но и в самом процессе партии, пока соперник думает над ходом. Моя собеседница очень ожидалась, начала расспрашивать о моем собственном опыте на этом поприще, но я, одумавшись, быстро свернул разговор и повесил трубку. Тем не менее в вышедшем через несколько дней номере еженедельника один из броских подзаголовков гласил: «Гроссмейстер Сосонко рекомендует секс во время партии», а на фотографии, бог знает где ими найденной, я сидел почему-то с кошкой на коленях, многозначительно улыбаясь.

Впрочем, нельзя забывать и о том, что заголовки всех статей и интервью даются выпускающим газету редактором, в спешке пробегающим текст глазами и выхватывающим оттуда какую-нибудь выигрышную фразу, чтобы привлечь внимание читателя, а за неимением таковой он придумывает ее сам. После того как я официально объявил, что не поеду на Олимпиаду в Элисту (1998), журналист крупнейшей вечерней газеты страны проинтервьюировал остальных членов команды. «Нам хотелось бы узнать у Генны, почему он принял такое решение, хотя это, конечно, его личное дело», — был основной смысл всех ответов. Интервью вышло под шапкой: «Шахматисты категорически требуют ответа от Сосонко», так что друзья, звонившие мне и не заставшие дома, решили даже, что я, опасаясь расправы коллег, переменял номер телефона...

В Голландии шахматы очень популярны, и после первых успехов я быстро привык к тому, что мое имя стало регулярно появляться на страницах газет, звучать по радио и телевидению. Во время традиционных январских турниров, где всегда играли сильнейшие гроссмейстеры мира, прямо напротив станции в Бевервейке развешивались огромные портреты участников, и меня, приехавшего на поезде из Амстердама, чтобы продолжить путь до Вейк-ан-Зее, встречал многократно увеличенный и погруженный в раздумья над шахматной доской я сам.

Во время турнира в Тилбурге 1977 года один из лучших ресторанов города составил специальное меню, блюда которого были названы именами участников этого соревнования. Меню открывалось омаром по-карповски со спаржей и различными соусами, были в нем и свиная отбивная по-гортовски, политая сливовицей и украшенная ветчиной, и огромная чаша мороженого по-исландски с горячим шоколадным соусом — «Олафссон». На мою долю выпало экзотическое блюдо «Лягушачьи лапки “Сосонко”», в коньяке и со сложными специями, названия которых я не мог найти даже в очень толстом французском словаре. Как-то я решил поужинать в этом ресторане и, заказав, не без корыстных, признаний, соображений, эти самые лягушачьи лапки, признался в конце обеда, что я и есть это самое блюдо. Но ожидаемого эффекта это не принесло, разве что я должен был подписать десяток-другой ресторанных карт вместе с поданным счетом.

После переезда на Запад я испытал некоторые проблемы со своим именем. В русском языке существует имя Геннадий, Гена. Оказавшись в Голландии, я остановился на последнем, кратком варианте. Но, произносимый по-голландски, Гена звучал, образуя открытый слог, как Хейна: в голландском языке вообще отсутствует буква «г» и есть склонность к горловым, хриплым звукам. Пару лет я откликался на имя Хейна, пока не решил для твердости и правильности произношения добавить в него еще одно «н», тем более что с одним, с двумя ли «н» было крайне маловероятно, что имя это будет вообще когда-нибудь напечатано по-русски в те славные времена Советского Союза. Случилось по-другому. И если в публикациях на русском я сохранил свое краткое имя с непривычным двойным «н», то ничего не имею против обращения старых друзей, знавших меня еще Геной. Как коротко написал в Питере Виктор Топоров на книге своих переводов, мне подаренной: «Генне, которого помню еще Геной...»

Двенадцатого августа 1992 года я увидел в отделе объявлений сообщение о рождении в семействе Ховелинг в городе Гронингене первенца, нареченного Генной Адонисом. Я не поверил своим глазам! Разъяснение пришло на следующий день, когда я получил письмо от отца ребенка, большого любителя шахмат, сообщавшего, что мальчик назван в мою честь. Отец знал, что имя Геннадий в переводе с древнегреческого означает «благородный», но что значит имя Генна по-русски? Мое прозаическое объяснение, связанное с особенностями произношения в голландском языке, как мне показалось, несколько разочаровало отца Генны Адониса.

Прочтя письмо о новорожденном Генне, я был тогда польщен и вспомнил, что Керес при получении очередного сообщения, что родившегося младенца в его честь назвали Паулем, немедленно переводил десять рублей на счет родителей. Я подумывал, не поступить ли и мне по примеру Кереса, но не зная, на какой сумме остановиться, так и не сделал подарка своему тезке. Как бы то ни было, на свете есть два человека с именем Генна: я и крепко сбитый мальчик с льняными волосами на севере Голландии.

Когда я бываю теперь в России, молодые люди нередко называют меня совсем непривычно — Геннадий Борисович. В некоторых случаях я говорю, что достаточно просто Генна. Обычно это приводит к тому, что они не решаются перейти на краткое имя, но и не говорят больше Геннадий Борисович, обращаясь ко мне безлично.

Известность может принимать различные формы. Однажды на амстердамской улице человек, шедший мне навстречу, остановился, пристально посмотрел мне в лицо и, вопросительно покрутив пальцем одной руки у виска, другой произвел жест, который должен был означать передвижение шахматной фигуры. Я утвердительно кивнул головой, и человек, удовлетворенный тем, что зрительная память его не подвела, пошел своим путем.

К тому же периоду относится и проживание двух котов — Доннера и Сосонко в семье одного амстердамского любителя шахмат. Доннер умер сразу после смерти самого Хейна; впрочем, Сосонко ненадолго пережил его. По рассказам, они обладали совершенно разными характерами.

Примерно раз в год мне звонит мама одной девочки, играющей в шахматы (сейчас ей двенадцать лет). Они приехали в Голландию из Минска и живут уже лет восемь где-то в Лимбурге. «Вы извините меня, — начинает обычно мама, — но мою Леночку снова обидели: она выиграла первенство провинции, а кубок ей дали какой-то заваливающий, его и в руки-то стыдно взять. Не думает ли знаменитый гроссмейстер, что это просто дискриминация? И не мог бы он позвонить в шахматную федерацию страны и замолвить словечко за талант, не получающий заслуженного признания? Это ведь уже семнадцатый кубок, так что Леночке будет что показать внукам, когда она станет бабушкой...»

Я отвечаю вежливо, но твердо, что сам в шахматы уже не играю, к федерации не имею никакого отношения и о системе детских шахмат в стране ничего не знаю. Пусть это и неполная правда, но зато такой ответ — единственно правильный. Когда в нашем первом разговоре я попытался объяснить, что не в кубках дело, то натолкнулся на полное непонимание. В ответ на недоуменный вопрос: «Что же вы делаете тогда с полученными наградами и что собираете вообще?» — я неосторожно ответил: «Воспоминания», что вызвало сначала длинную паузу, а потом и другие вопросы.

Я вынужден был признаться, что храню, да и то в сарае, только один приз — за победу в барселонском турнире 1975 года; о пальмовую металлическую ветвь кубка я, набирая однажды зимой дрова, чтобы разжечь камин, порезал палец и, рассердившись, засунул его подальше с глаз долой. Потом, не к месту вспомнив Горация: «Прожил не худо и тот, кто безвестным родился и помер», я перевел разговор на неправильную философскую стезю, выбраться из которой оказалось не так-то просто. Поэтому я согласен с Доннером: краткость и жесткость абсолютно необходимы при разговорах подобного рода.

Человек привыкает ко всему, и в какой-то момент я прекратил собирать собственные фотографии из газет, статейки из журналов, привык к интервью, перестал удивляться, когда на паспортном контроле служащий в окошечке, возвращая мне паспорт, спрашивал: на турнир или просто отдохнуть? Привык к тому, что время от времени получал письма от любителей, хотя никогда не ленился, поставив подпись на листке бумаги или на собственной фотографии, отослать письмо по адресу, указанному собирателем шахматных автографов.

Всё это, конечно, шекотало самолюбие, однако настоящая известность заключалась не в упоминании моего имени, а в полном игнорировании его. Когда я в 1973 году выиграл чемпионат Голландии, московский остроумец Яков Исаевич Нейштадт заметил: «Сосонко овладел Голанскими

высотами». Не до шуток было советской шахматной федерации: увидев на следующий год мое имя в списке участников главного турнира в Вейк-ан-Зее, ее руководство решило на всякий случай вообще никого не посылать на турнир. Об этом мне сообщил взволнованный директор фестиваля, а Виктор Корчной, игравший тогда еще под советским флагом и позвонивший с какого-то заграничного турнира, поощрительно-язвительно посоветовал поскорее начать играть и в других турнирах, чтобы тоже закрыть их для советских гроссмейстеров. Но до этого дело не дошло, и в январе 1975 года Геллер и Фурман уже играли в Вейк-ан-Зее как ни в чем не бывало.

Мое имя на протяжении почти всего периода до перестройки не появлялось на страницах советской печати, и сейчас, когда эмиграция из России является больше географическим перемещением в пространстве, трудно представить, как относилась тогдашняя власть к тем, кто решился навсегда покинуть социалистическое отечество. Оборачиваясь назад, я понимаю, что запрет на имя в той, не существующей сейчас стране являлся для меня очень сильным стимулом и приносил какое-то тайное удовлетворение, которое я не могу выразить словами.

Теперь из *persona non grata* я превратился в России в *persona gratissima*, но я знаю точно, что тот, кем я стал сейчас, появился именно в тот период, когда я был там *persona non grata*.

В своем рассказе Доннер пишет и о маленьких преимуществах, которые иногда приносит известность. Это верно, конечно. В 1977 году после турнира в Сан-Паулу я, возвращаясь в Европу, решил остановиться на несколько дней на Кюрасао. Разместившись в гостинице и найдя телефон президента федерации шахмат этой бывшей голландской колонии, я позвонил ему и представился. «Не морочь голову, ты уже мне надоел со своими шутками», — ответил он и повесил трубку. Когда я снова набрал номер, выяснилось, что он принял меня за секретаря федерации, склонного к таким розыгрышам и на этот раз представившегося голландским гроссмейстером.

Вероятно, услышав мой неподдельный акцент, президент понял, что это не шутка, принес тысячу извинений, через полчаса был уже у меня в гостинице и сделал всё, чтобы мое пребывание на острове было как можно более приятным. Здесь следует отметить, что известность шахматиста распространяется в основном на круг людей, которые в состоянии оценить его искусство, то есть бескорыстных любителей игры. Действительно, если бы в мире шахмат существовали только чемпионы и гроссмейстеры, то некому было бы и оценить их искусство по-настоящему. Поэтому я очень удивляюсь, видя, как известные шахматисты порой заносчиво и пренебрежительно разговаривают с любителями, в среде которых в первую очередь и ценятся их мастерство и талант.

Блестки славы, пусть однодневной, для меня странным образом никак не связаны с шахматами. Вот одно из самых памятных воспомина-



ний. В конце 1991 года кончалась эра Михаила Горбачева. В тот день, когда в его резиденцию в Кремле должен был официально въехать Борис Ельцин, мне позвонили из редакции новостей голландского телевидения и попросили сказать несколько слов о Горби, которого очень любили на Западе. Выступление предназначалось для вечернего восьмичасового выпуска, который обычно смотрит вся страна.

— Что-нибудь коротенькое, минуты на две-три, — сказал мне режиссер. — Сегодня у нас большая программа, посвященная отцу перестройки.

— Миша — это уменьшительное русское имя от Михаила. Но мишей в народе любовно называют и бурого медведя, — начал я издалека, после того как оператор включил камеру. — В старой России в праздничные дни по ярмаркам водили медведя, ставили его на задние лапы напротив подвешенной к дереву большой колоды и начинали потихоньку раскачивать ее. Колода ударяла медведя, тому, естественно, это не нравилось, и он давал сдачи. Колода, получив ускорение, ударяла медведя еще сильнее, безропотно принимая на себя ответный, еще более тяжелый удар от несчастного животного. Действо это повторялось, медведь распался всё больше, сила ударов колоды увеличивалась, народ веселился.

Здесь я сделал короткую паузу, чтобы дать телезрителям возможность представить наглядно картину народного гуляния. Я знал уже, что если хочешь рассчитывать на успех у публики, надо не скупиться расцвечивать общие места красивыми сравнениями, и подумывал, не сказать ли еще, что медведя приучали стоять на задних лапах, ставя передними на раскаленные угли; но не сделал этого, решив, что это уведет слушателя от главной темы, тем более что в Голландии очень болезненно относятся к жестокому обращению с животными.

— Шесть лет назад, — продолжал я, — молодой и энергичный Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев, Миша, начал раскачивать колоду гласности, свободы и демократии...

Здесь я снова выдержал паузу и сказал:

— Тогда же Горбачев заявил: «Жизни моей не хватит, чтобы вывести из спячки эту сонную страну».

Оператор дал мое лицо крупным планом, и я, глядя прямо в камеру и по-доннеровски сощуриив глаза, медленно произнес:

— Хватило, Михаил Сергеевич...

Я не был уверен, что мое описание народной забавы на Руси точно соответствовало действительности, еще меньше — в словах Горбачева, но успех был полным, и на следующий день незнакомые люди на улице, взглянув мне в лицо и на мгновение задержав на нем взор, поднимали кверху большой палец, как это делают футболисты, получившие хороший пас от коллеги по команде.

Нельзя не сказать и о том, что популярность и слава очень часто граничат с тщеславием. За несколько месяцев до Олимпиады 1998 года я побывал в Элисте со съемочной группой голландского телевидения, всё видел своими глазами, и многое мне не понравилось. Не понравились портреты президента республики, которые можно было увидеть на каждом перекрестке; не понравилась клеть в центре города, где на всеобщее обозрение были выставлены пьяные, подобранные милицией на улице накануне вечером; не внушали особого доверия и постройки под названием *Sity Chess*, равно как и огромный котлован, на месте которого еще только должен был быть выстроен игровой зал... Я решил не ехать на ту Олимпиаду. Убийство журналистки единственной оппозиционной газеты в республике за два месяца до ее начала вызвало большие дискуссии повсюду, в том числе и в Голландии, но в конце концов федерация решила все же направить команду в Калмыкию: ах, если ориентироваться только на страны, где совершенно не нарушаются права человека, тогда скоро и играть будет негде...

Все эти события происходили на фоне очень важного для меня медицинского обследования, результаты которого должны были дать окончательный ответ о состоянии моего здоровья. В день, когда на первой полосе одной из крупнейших голландских газет была опубликована статья, в которой говорилось, что в такой шахматной стране как Голландия нашелся только один шахматист, принявший достойное решение, я сидел в приемной доктора, еще раз перечитывая лестные строки. Наконец доктор вышел из кабинета и, протягивая мне руку, произнес с улыбкой: «Поздравляю вас!» Будучи уверен, что врач уже просмотрел утреннюю прессу, я склонил голову, с притворным смущением принимая его похвалу. Когда мы оказались в кабинете, он подвел меня к пюпитру с подсветкой, на котором были развешены рентгеновские снимки.

— Взгляните сами, — продолжал врач, — картина идеальная, всё в полном порядке, результаты превосходны. Опасения, высказанные на прошлой неделе, оказались беспочвенными. Так что еще раз поздравляю, вы совершенно здоровы...

Через минуту, выйдя из кабинета доктора, я подумал: «Вот — суета и тщеславие. Еще вчера в мучительных раздумьях ты ворочался всю ночь, размышляя о жизни и смерти, обуреваемый одной мыслью: а что если?.. Сегодня же, забыв обо всем, радуешься дешевому газетному комплименту, который завтра будет забыт начисто, если вообще кто-нибудь, кроме твоих близких друзей, обратил на него внимание. Воистину прав был философ, знавший людскую природу: мы теряем с радостью даже жизнь, лишь бы об этом говорили...»

И так ли далеко отстоял этот сентябрьский амстердамский день от такого же ленинградского 1957 года? Мелкая осенняя морось, улица Восстания, стенды, на которые наклеивались тогда газеты для публичного

чтения. Хотя большинство мужчин изучают «Советский спорт», есть читатели и у «Смены». Вглядевшись, среди читателей этой молодежной питерской газеты можно заметить и подростка, одетого в демисезонное пальто, которое через пару месяцев в связи с наступающими холодами он будет называть уже зимним. Мальчик снова и снова перечитывает коротенькую заметку о традиционном шахматном празднике во Дворце пионеров, о сеансах одновременной игры, проведенных бывшими его воспитанниками, а ныне известными гроссмейстерами Корчным и Спасским. Корчной, играя с часами на десяти досках с сильными перворазрядниками, проиграл одну партию и сделал две ничьи, и об этом мог прочесть сейчас каждый. Мальчик исподволь поглядывает на читающих, и, когда их взоры переходят, как ему кажется, на эту шахматную заметку, ему хочется закричать: «Да это же я, тот самый, о котором вы читаете в газете, который сделал ничью с самим Корчным! Вот он стоит рядом с вами, вот же он!..»

С того дня прошла жизнь. Сегодняшние турниры сплошь состоят из людей, по возрасту годящихся мне во внуки. На сцене новые герои, как и положено в шахматах и в жизни. Фамилию мою помнят только люди в возрасте, хотя бывают и исключения, конечно. Совсем недавно, когда я примерял очки с понравившейся оправой и попросил отложить их на несколько дней до принятия окончательного решения, продавец, записывая мою фамилию, поинтересовался, не из семьи ли я известного шахматиста. Услышав, что я и есть тот самый шахматист, молодой человек очень удивился, полагая, что Сосонко давно умер. Я счел это нехорошим знаком, очков не заказал и вообще больше не заходил в тот магазин.

Я привык к латинскому написанию своего имени, видел его напечатанным на китайском, иврите, индонезийском. Но самое лестное упоминание его относится к 19 февраля 1976 года, когда оно появилось в рубрике знакомств еженедельника «Свободная Голландия», и этот пожелтевший от времени номер журнала я храню до сих пор. Вот это коротенькое объявление, набранное очень мелким шрифтом:

«Молодая женщина тридцати шести лет из хорошего общества принимает мужчин за вознаграждение. Предпочтительнее тип Генны Сосонко и Нила Даймонда».

Увидев свое имя рядом с именем исключительно популярного американского певца, чьи пластинки заполняли витрины всех музыкальных магазинов, я понял: какие бы вершины мне ни удалось еще покорить, выше этого пика мне уже не подняться. Несмотря даже на то что после наших имен в тексте была еще одна фраза: остальные тоже не будут отвергнуты...

**Хейн ДОННЕР**

## **АГРЕССИЯ**

*Д*олжно быть, это произошло зимой 1942/43 года. Я выступал в роли полузащитника третьей команды ПУШ, хоккейного клуба\* гаагской протестантской гимназии, и, когда мы играли против четвертой команды ВСЛ, мне представилась уникальная возможность.

После скоростного дриблинга я выхожу один на один с вратарем команды соперников. Он в отчаянии бросается мне навстречу, но спотыкается и падает, и я легко обвожу его. Ворота пустые, достаточно легкого щелчка, чтобы забить гол, но внезапно налетевший порыв, которому я не могу сопротивляться, заставляет меня принять мяч на клюшку и элегантно дугой послать его выше ворот. Жест законченного благородства: такой гол я забивать не хочу.

Зрители, стоящие у кромки поля, в смятении, но как только они понимают — дрожит от аплодисментов холодный зимний воздух, а немного позже рука учителя классических языков на моем плече только усиливает сознание собственного огромного благородства. Дважды благословенный, предвкушение небесного блаженства.

Мои товарищи по команде думали об этом, разумеется, совершенно по-другому. Результатом моего эгоцентризма явилась ничья против ненавидимой и презираемой ВСЛ, а это не понравилось никому. Они не сказали ничего, но их ворчание было слышно в тех же сферах, где я купался в эйфории.

Моя хоккейная карьера закончилась быстро: я был выведен из состава клуба за неуплату членских взносов, — но жизнь в суровом мире профессиональных шахмат научила меня: там, где должно свершиться правосудие, милосердие неприемлемо.

Недавно что-то похожее произошло в турнире на Бермудский Кубок, чемпионате мира по бриджу. Итальянцы — Беладонна и Питтала оказались при заключении контракта в катастрофической ситуации: один не слышал, что сказал другой, и представитель Венесуэлы Хамаои мог на последней руке просто спасовать, чтобы обеспечить солидный выигрыш. Но он понял причину этой ужасной ошибки и дал своему сопернику возможность все-таки продолжать игру и в итоге заключить правильный контракт.

В бюллетене турнира этот жест был оценен очень высоко: «Для всех бриджистов Стив Хамаои — настоящий спортсмен и герой», но вслед за комплиментом были высказаны и совершенно противоположные мнения, и такое поведение Хамаои расценили скорее как «неэтичное». Американцы и итальянцы конкурировали в борьбе за первое место, и Хамаои нанес ущерб не

---

\* Речь идет о хоккее на траве.

столько себе, потому что его команда все равно не имела никаких шансов, сколько американцам.

В его жесте, бесспорно, было что-то высокомерное. Даровать пощаду — прерогатива царей, но спорт — демократичен, шансы равны у всех, и каждый должен расплачиваться за свои собственные ошибки. В этом жестокость любого спорта, и в тех его видах, где человек использует свой мозг, жестокость может восприниматься еще болезненнее, чем там, где для победы требуется прилагать физические усилия. Пощада же привлекательна, а выигрыш всегда, в сущности, некрасив.

Сам я всегда испытывал трудности, когда надо было добить: почему я должен еще выигрывать, если я уже доказал, что сильнее? За такое отношение всегда приходится расплачиваться, особенно встречаясь со слабыми игроками.

Почти каждый шахматист сталкивался с этим явлением. «Нет ничего труднее, чем выиграть выигранную позицию», — сказал Тарраш, и у многих, даже выдающихся чемпионов мира, можно заметить эту слабость. Карпов может отпустить соперника, не используя всех шансов, то же самое может быть сказано о Ботвиннике. Этот недостаток свойствен и Тимману.

Я знаю только одного чемпиона, для которого эта проблема была совершенно чужда: Бобби Фишер. Абсолютная точность в добивании поверженного соперника была даже наиболее ярко бросающейся гранью его таланта, и именно этим он запомнился многим.

Объяснялось это очень просто: противник для него попросту не существовал. Я думаю, что шахматы были для Фишера не состязанием, а чисто деловым занятием в этом искусственном мире, где имел место быть только он, он сам, его эго. При таких обстоятельствах добивание уже не является больше банальностью и выигрыш даже приобретает красоту.

Но великодушие в спорте — не добродетель. Где же тогда? В литературе!

Усилие настоящего писателя не направлено на то, чтобы выиграть. Писатель — это споткнувшийся вратарь, оставивший позади себя незащищенные ворота. И это он — не расслышал, что было сказано при заключении контракта в бридже...

«Хандельсблад», январь 1980

## ИНСТИНКТ УБИЙЦЫ

Старинная китайская мудрость гласит, что не все люди есть в зверях, но все звери есть в людях. Из этого, однако, вовсе не следует, что «зверь в человеке» с самого начала являет собой нечто злое и опасное, по возможности подлежащее искоренению. Выдающийся австрийский ученый Конрад Лоренц дал своей книге «Агрессия» подзаголовок: «Так называемое "зло"». Он утверждает, что агрессивность является древним врож-

денным инстинктом, свойственным всем высшим животным, включая человека, и доказывает это на множестве примеров. Само понятие агрессивности нельзя рассматривать односторонне. Да, агрессия может быть отрицательная, переходящая в озлобленность и жестокость. Но агрессия может быть и позитивная, созидательная, помогающая добиваться высоких результатов.

Известно, что соревнования, к какому бы виду спорту они ни относились, предотвращают социально вредные проявления агрессии. Спорт дает выход эмоциям, сдерживаемым в повседневной жизни, и наибольших успехов в спорте добились люди азартные, стремившиеся, опередив конкурентов, во что бы то ни стало добиться своей цели. Спорт не может искоренить агрессию, но учит людей сознательному контролю над своими естественными боевыми инстинктами.

Случается это, увы, не всегда. В физических видах спорта агрессия и эмоции нередко выходят из-под контроля. Чаще всего это бывает в игровых дисциплинах, где имеется непосредственный контакт с соперником. Иногда такое случается и в шахматах. Каждый шахматист может припомнить состояние, когда ему стоило больших трудов сдержать свои эмоции, а некоторым это не удавалось вовсе.

В своем труде «Человек играющий» Йохан Хейзинга пишет о «нередких в 15-м веке ссорах юных принцев за шахматной доской, где, по словам Ла Марша, “и наиразумнейший утрачивает терпение”».

Перенесясь в ту же Францию 20-го века, можно припомнить партии с участием международного мастера Жиля Андруэ, нередко заканчивавшиеся потасовками, как это было, например, с Башаром Куатли или с Жан-Люком Сэрэ. Из самых свежих примеров — происшествие на чемпионате Европейского союза в марте 2005 года в ирландском Корке. Четырнадцатилетний международный мастер из Англии Дэвид Хоуэлл, узнав, что приз лучшему юниору будет вручен не ему, вызвал директора турнира «на разговор». Не удовлетворившись объяснением, что приз (175 евро) по положению должен быть присужден участнику без титула, Хоуэлл отправил директора в нокдаун мощным апперкотом справа.

Слово «агрессия» происходит от латинского *aggressio* — нападение и означает враждебность с угрозой нападения. На страницах газеты «Правда» советского времени термин «агрессивный» встречался нередко в контексте: «американские агрессоры, грозящие войной всему прогрессивному человечеству». Неудивительно поэтому, что в словаре русского языка тех лет в качестве примера агрессии тоже приводилось «вооруженное нападение одного или нескольких империалистических государств на другие страны с целью захвата их территорий и подчинения своей власти». Но и в обычной, обиходной речи это слово носит очевидный негативный оттенок: он разговаривал в агрессивном тоне, не веди себя так агрессивно и т.д.

Совсем другое значение приобретает этот термин в спорте. «Агрессивная игра» в отчете о любом спортивном состязании звучит очень положительно. Стереотипная фраза из отчета о шахматном турнире: «Агрессивно проведя всю партию, белые развили сильнейшую атаку и заставили своего соперника сложить оружие уже на 29-м ходу» — очевидный комплимент победителю.

«Обладающий агрессивным стилем, уличный забияка, всегда готовый вступить в драку, он является украшением любого турнира», — писали, характеризуя манеру игры Тони Майлса, охочие до цветастых сравнений журналисты. А попробуйте назвать уличным забиякой и драчуном кого-нибудь в обычном контексте.

К состоянию подъема, воодушевления, агрессии один шахматист должен готовиться до начала поединка, другому это дано от природы и переход к такому состоянию естествен. Понятно, что речь идет о настрое на игру, а не о пинках ногами под столом, уничижительных гримасах и ударах по часам во время партии. Это состояние постоянной заряженности на борьбу каждый шахматист поддерживает своим собственным способом. Одному нужна аутогенная тренировка, у другого это является чертой характера. В конце 70-х, в годы безоговорочного царствования Анатолия Карпова, он, проигрывая на каком-то турнире коллеге-гроссмейстеру в одну из скоротечных карточных игр, все время стремился к реваншу — и в конце концов добился своего.

— Зачем тебе это было надо? — удивлялся столь нелепой, как он полагал, трате времени и сил секундант тогдашнего чемпиона мира Михаил Подгаец.

— А затем, — ответил Анатолий Евгеньевич, — чтобы ему не казалось: сегодня я выиграл у Карпова за карточным столом, а завтра одержу победу и в турнирной партии.

Вспоминаю, как в Тилбурге тот же Карпов мог часами играть во флиппер, а когда не было партнера, сражался с машиной в одиночку, стараясь побить собственный рекорд, установленный предыдущей ночью. Пустая трата времени? Как сказать. Соревнуясь, он еще более оттачивал игровой момент, поддерживая боевой настрой, необходимый для игры в шахматы.

Постоянную нацеленность на победу, агрессивную манеру ведения борьбы шахматисту следует, если это не дано от природы, тренировать с детства. Четверть века назад перед одним из турниров в Тилбурге Борис Спасский сказал мне: «Ты же понимаешь, что происходит на доске, ты получаешь сочные позиции. Дай слово, что ни в одной партии ты не предложишь ничью, за исключением, разумеется, очевидных случаев. Где-то ты потеряешь пол-очка или даже очко, но в конечном итоге приобретешь больше». Я обещал. Но манеру мышления, выработанную за долгие годы, оказалось невозможно изменить: до сих пор помню дис-

комфортное состояние, в котором я играл тот турнир, один из самых худших в моей карьере.

В своем рассказе Доннер касается очень важного компонента шахматной партии: умения добывать. Действительно, переиграть соперника — еще не значит положить его на лопатки. В истории шахмат можно найти немало замечательных игроков, успехи которых не соответствовали их огромному природному таланту именно из-за отсутствия этого умения.

Для того же чтобы стать чемпионом мира, доказать, что ты не просто один из лучших, а единственный, умение добывать абсолютно необходимо. Неслучайно Спасский говорит: «Чемпион мира должен быть немножко варваром, у него должен быть развит инстинкт убийцы». Этим инстинктом обладали все без исключения чемпионы, независимо от их характера и стиля игры. Когда они достигали позиции, где победа была близка, в них просыпался запах крови, и они, как правило, уже не отпускали свою жертву.

Неверно было бы думать, что Михаил Таль, милый и симпатичный вне шахматной доски, не обладал этим качеством. В шахматах ему было совершенно не свойственно милосердие, и добряком, как это может показаться человеку, далекому от игры, он не был. Выражение «у картишек нет братишек», услышанное им в детстве, Миша запомнил накрепко. «Братишек» нет и в шахматах, а если нет — значит, есть только ты, ты сам, кто должен победить, потому что шахматы — это соревнование двух людей, в котором задействована немалая часть эго, а передвижение деревянных фигурок по доске на самом деле означает борьбу характеров, где должно торжествовать твое собственное я.

«Талантов много, мало характеров», — говорил Фрейд. Это утверждение относится, без сомнения, и к шахматам: недостаточно иметь природный талант, надо обладать постоянным желанием доказать, что ты лучше, сильнее своего соперника. Очевидно, что одним из компонентов успеха является и наличие агрессивности, и, может быть, разница в уровне игры мужчин и женщин объясняется именно различной степенью агрессивности, свойственной им от природы.

В борьбе двух эго порой обнаруживаешь в себе чувства, о существовании которых раньше и не подозревал. Ханс Рей вспоминает, как однажды, сделав сильный ход и отойдя от столика, стал наблюдать за партнером, погруженным в раздумье. К своему удивлению, Ханс вынужден был признать, что озабоченный вид соперника, состояние нервного беспокойства, его охватившее, покрасневшее лицо, тревожные взгляды, которые тот время от времени бросал на часы, наблюдая за стрелкой, приближающейся к роковой отметке, доставляли ему глубокое удовольствие. Уверен, что это чувство в той или иной степени знакомо каждому шахматисту.

Макиавелли советовал государям и политикам «научиться не быть добрыми». Уинстон Черчилль тоже знал кое-что о достижении цели, когда —



так ли уж с улыбкой? — советовал: «Если вы хотите достичь цели, не старайтесь быть деликатным или добрым. Пользуйтесь грубыми приемами. Бейте по цели сразу. Вернитесь и ударьте снова. Затем ударьте еще — сильнейшим ударом плеча...»

Те же советы применимы и к шахматам, если, конечно, речь идет не о пляжной партии в перерыве между купаниями. Опытный профессионал знает, что на время партии о доброте, предупредительности и радушии надо забыть и что понятию «милосердие», означающему готовность помочь кому-то, проявить сострадание, сочувствие, не должно быть места в спорте.

У Набокова имеется персонаж, у которого слишком хорошие глаза для писателя; слишком добрых глаз не должно быть и у шахматиста. «Писатель должен быть сукиным сыном», — говорил Эзра Паунд, но «сукиным сыном» должен быть и шахматист.

Борис Гулько дает время от времени уроки шахмат своему знакомому, врачу, пожилому интеллигентному человеку, любителю музыки и шахмат, играющему на клубном уровне. Тот нередко получает хорошие позиции, но добивание дается ему с трудом; ничего, напоминающего инстинкт убийцы, в нем не просыпается. Желая помочь ученику преодолеть недостатки стиля, Гулько сказал ему однажды: «Поймите, шахматы — это игра для хулиганов». Доктор внял совету гроссмейстера, заиграл в следующих турнирах чрезвычайно агрессивно, и успехи его резко возросли. Вспоминается Зоценко, говоривший, что жизнь устроена проще, обиднее и не для интеллигентов. Может быть, шахматы тоже устроены проще, обиднее и не для интеллигентов.

Еще в девятнадцатом веке, когда правила джентльменства играли значительно большую роль, чем сегодня, Эммануил Шифферс писал: «В серьезной партии (когда замешан крупный или денежный интерес) любезности должны ограничиваться строгой справедливостью и взаимным уважением партнеров, без всякого ложного великодушия». А один из пунктов программы петербургского турнира 1909 года гласил: никто не вправе оказывать снисхождение своему противнику при нарушении последним правил игры.

В десятом туре чемпионата Европы 2003 года игралась партия Малахов — Азмайпарашвили. Оба гроссмейстера боролись за лидерство, и спортивное значение встречи было очень велико. В благоприятном для себя окончании Зураб взялся за слона и намеревался сделать им ход, забыв предварительно разменять ладьи. Малахов вспоминал: «Увидев, что ладьи еще находятся на доске, он сказал что-то вроде: «Ой, сначала же, конечно, размен...», поставил своего слона обратно, взял мою ладью, и партия продолжалась. Не знаю, как в такой ситуации поступили бы другие — кто-то на месте Азмайпарашвили, может, сразу бы сдался, кто-то на

моем месте потребовал бы сделать ход слоном, — я же не хотел нарушения логичного развития поединка и поэтому не возражал, чтобы Зураб переходил: ошибка была явно не шахматного свойства! Когда уже подписывали бланки, Азмайпарашвили предложил мне считать партию закончившейся вничью. Но... в тот момент я уже сдался, и признавать ее ничьей было поздно. После партии у меня остался неприятный осадок, но связано это было главным образом с моей игрой».

Этот инцидент вызвал большой резонанс. Кое-кто говорил, что на месте Азмайпарашвили тут же сдал бы партию, как поступил Корчной в аналогичной ситуации с Багировым на чемпионате СССР 1960 года. В сложной позиции, где многие отдавали предпочтение Корчному, произошел размен, и будущий чемпион страны должен был сделать очевидный ход слоном, побив неприятельскую ладью. Погрузившись в раздумье, Корчной импульсивно взялся за другого слона и немедленно сдал партию.

Многие утверждали, что поступок Малахова, давшего фактически переходить своему сопернику, не имеет ничего общего с *fair play*, и надо не хвалить Малахова, а осудить его за нарушение правил игры, которые следует строго выполнять. Они резонно напоминали, что от исхода партии зависит не только твой конечный результат, но и классификация остальных участников соревнования.

Такого рода инциденты, как в партии Малахов — Азмайпарашвили, по моему наблюдению, почти никогда не оплачиваются сторичей. Более того, они наносят немалый психологический урон стороне, проявившей милосердие, слабость или нерешительность, внося дискомфорт и оставляя неприятный привкус и саднящую рану в разбереженной душе. И не только оттого, что возможности «вернуть свое» почти наверняка никогда не представится, но главным образом потому, что такое поведение противоречит принципам самой игры.

Наказуемы должны быть не только ошибки, совершенные на доске, но и любые другие — «не шахматного свойства», как их охарактеризовал Малахов. И кто знает, может быть, успехи московского гроссмейстера после того случая стали менее впечатляющими потому, что Каиссе не понравилось, что ей предпочли какую-то другую богиню. Каисса этого не любит. Она любит тех, кто полностью переходит в ее царство и живет по ее времени. Времени, отсчитываемому шахматными часами и не имеющему ничего общего с настоящим. В этом царстве действуют свои правила и законы, которых надо придерживаться неуклонно, и только после партии возвращаться в обычный мир, узнавая о нем так же, как рыба узнаёт про воду только тогда, когда оказывается на суше.

Целиком уходил в мир шахмат Роберт Фишер. Отличавшийся безукоризненным поведением во время партии, он с юных лет неукоснительно придерживался правил. Играя с Вольфгангом Унцикером на турнире

в Буэнос-Айресе (1960), он дотронулся до пешки, полагая, что она стоит рядом с доской, и тут же заметил, что это его собственная пешка «h» и что любой ход ею ведет к катастрофе. Будущий чемпион мира, которому было тогда только семнадцать, мог сказать: «Поправляю», как сделали бы очень многие на его месте, тем более что, кроме Унцикера, наблюдавшего за происходившим со стороны, этого не видел никто. «Я бы даже не решился протестовать, если бы Фишер сделал другой ход», — вспоминал потом немецкий гроссмейстер. Бобби сделал ход пешкой и, разумеется, проиграл партию. Возможно, если бы американец не закалил свой характер с юных лет, ему не удалось бы стать сильнейшим и бескомпромиссным игроком в мире.

«Отец кибернетики» Норберт Винер говорил, что «правила игры, в корне отличные от норм доброжелательства, просты и безжалостны. Это не вызывает сомнений даже у тех одаренных детей, которые способны уловить дух этих правил, мимолетно прослеживая события, развертывающиеся на шахматной доске. Игрок порой может испытывать сильные сомнения относительно выбора лучшего пути к победе, но у него нет ни малейших сомнений в том, нужно ли выигрывать или проигрывать».

Еще более категоричен писатель Юрий Нагибин: «В игре необходимы ожесточение, беспощадность в использовании любого преимущества, умение подавлять порывы благородства и жалости, выдержка и хоть маленькая толика жульничества, ну хотя бы не отводить глаза, если противник дает возможность заглянуть в свои карты...»

Далеко не всем нравятся эти качества. Альберт Эйнштейн, например, говорил, что ему «чужды присущие шахматам формы подавления интеллекта и дух соперничества».

Духом соперничества проникнуто любое спортивное соревнование, и если уж ты решил участвовать в нем, необходимо полностью следовать правилам, не пренебрегая любой возможностью, пусть случайной.

В жизни ведь тоже почти всегда человеку представляется случай, хотя далеко не каждый может его распознать. И пока в шахматы играют люди, случай представляется не так уж редко: подставленная соперником фигура, которую надо тут же забрать, грубая ошибка, которой следует воспользоваться без зазрения совести. Всё это встречается и на высшем уровне, и осознанное пренебрежение такой возможностью идет вразрез с духом шахмат. Потому что если в морали важны лишь намерения, то в спорте принимаются во внимание только результаты.

У римлян была поговорка: победители любезны богам, а побежденные — сердцу Катона. Теперь Катонов нет. В наши дни мы видим безоговорочную капитуляцию перед победой и безграничное восхищение успехом у публики и прессы. В конечном итоге всё решает очко — победа в турнире, в матче, завоевание титула, приза. Поэтому старинный фило-

софский постулат: предпочтительнее сетовать на свою судьбу, чем стыдиться победы, — на спорт 21-го века, увы, не распространяется.

В 2005 году перед встречей с Ллейтоном Хьюиттом на Нью-Йорк-опене американский теннисист Тейлор Дент жаловался: «Он ведет себя неспортивно: откровенно радуется двойным ошибкам при подаче соперника, равно как и его невынужденным ошибкам». «Меня совершенно не интересует, что Дент думает об этом, — отвечал австралиец. — Я всегда стремлюсь к победе, и на пути к ней дозволено многое...»

Известно, что перед последней партией матча на первенство мира 1935 года Эйве, которому ничья гарантировала чемпионский титул, сказал Алехину: «Доктор, в любой момент я согласен на ничью...» Когда после 40-го хода партия должна была откладываться в позиции, где у Алехина не хватало двух пешек, он принял предложение голландца. По общему мнению, проигранный матч-реванш Эйве играл не хуже, чем первый матч, но, может быть, от него просто отвернулась Каисса, припомнив то «неспортивное» предложение двухлетней давности.

Владимир Григорьевич Зак рассказывал, как Алексей Суэтин, молодой тогда кандидат в мастера, полностью переиграл его в четвертьфинале первенства страны. К победе вело много путей, но Суэтин, разволновавшись, зевнул качество и тут же заметил это. Слезы навернулись ему на глаза, и Зак дал сопернику взять ход назад. Через несколько ходов Суэтин выиграл прямой атакой. Можно ли удивляться после этого, что Зак так никогда и не стал мастером.

Закончив свою партию в женевском турнире 1977 года, я подошел к столику, за которым играли Ульф Андерссон и Роман Джинджихашвили. Джин имел уже две лишние пешки, вдобавок соперник находился в сильном цейтноте. В этот момент Джин подставил слона, и его позиция сразу стала совершенно безнадежной. Пока он пытался осознать весь ужас происшедшего, Андерссон предложил ничью, которая, разумеется, тут же была принята.

«Я просто не мог выиграть эту партию...» — сказал Ульф, после того как соперники подписали бланки. Излишне говорить, что, какие бы чувства ни переполняли симпатичного шведского гроссмейстера, такой поступок противоречит самой природе игры. И как иначе мог поступить Бронштейн, который безжалостно забрал ферзя Петросяна на турнире претендентов в Амстердаме (1956) в позиции, где он оказался почти в цугцванге, на протяжении последнего десятка ходов ходя конем взад-вперед?

В Рождественском турнире 2004/05 года в Реджо-Эмилии украинский гроссмейстер Дмитрий Комаров, играя с итальянским шахматистом, значительно уступавшим ему в рейтинге, добился большого преимущества, но в поисках форсированного выигрыша попал в цейтнот и на контрольном ходу просрочил время. «Хочешь ничью?» — предложил он сопернику, который за несколько ходов до этого не мог и мечтать о таком результате. Тот, поколебав-

шись, согласился, хотя по всем законам безжалостного спорта должен был подзвать судью, чтобы тот зафиксировал поражение своего партнера.

Вывод ясен: всё, что не понял бы скучающий раджа, когда визирь пришел объяснять ему правила открытой им замечательной игры, должно быть исключено из практики современных шахмат. Как бы далеко ни отстоял от нас шатрандж и то роскошное время, неторопливо просыпавшееся сквозь песочные часы.

Напор и агрессия — прерогатива молодости. И это проявляется не только в спорте и не только у человека. У некоторых коралловых рыб кричаще-яркая окраска бывает только в совсем юном возрасте. Например, «самоцвет» и «синий черт» с наступлением зрелости превращаются в тусклых сизо-серых рыб с бледно-желтым хвостовым плавником. Еще более примечателен факт, что эти коралловые рыбы демонстрируют такую же корреляцию между окраской и агрессивностью: в молодости они яростно защищают свою территорию, но с годами становятся несравненно более спокойными, уживчивыми и покладистыми.

В определенном смысле это проявляется и в спорте: с возрастом исчезает агрессия, мотивация; много чаще, чем в молодые годы, случаются дни, когда пропадает желание играть. У профессионала, занимающегося физическим видом спорта, есть мощный союзник — физиология, которая подсказывает, а порой и вынуждает к уходу из активного спорта. Шахматисту труднее: нередко создается иллюзия — еще рано, еще могу. В шахматах старение означает в первую очередь потерю энергии, агрессивности и снижение реакции. Нервная система истощается, так как расход энергии — чудовищный. Шахматист, прошедший десятки лет за шахматной доской и накопивший огромный опыт, должен, тем не менее, постоянно следить за собой, чтобы не допустить сбоя в процессе мышления, просмотра, нелепой ошибки.

Утрата напора, агрессивности очень часто сопутствует появлению страха. Страх оступиться, совершить ошибку был бы, возможно, не столь велик, если бы шахматист не понимал, как безжалостно его ошибки будут оценены другими. Проигравшие получают клеймо неудачников, безжалостно подчеркивающее, что они относятся к категории людей, которые не могут рассчитывать на симпатии окружающего мира (в лучшем случае им могут сострадать). В шахматах, как и вообще в спорте, такое отношение окружающих еще более заметно, чем в других областях человеческой деятельности.

Чемпионат США 2005 года выиграл шестнадцатилетний Хикару Накамура. В интервью, данном им сразу после турнира, одно из наиболее часто встречающихся слов — агрессия. «Да, я играю очень агрессивно и всегда стремлюсь к победе», «у меня агрессивный дебютный репертуар», «желание выиграть, быть агрессивным — вот менталитет, который мне

нравится». Действительно, переигрывая партии молодого чемпиона, первое, на что обращаешь внимание, — это колоссальная энергия и агрессивная, нередко связанная с немалым риском, манера игры. В конечном итоге это явилось более важным фактором, чем понимание позиции и опыт более умудренных и значительно превышавших его возрастом соперников.

Эпикур полагал, что при философской дискуссии больше выигрывает побежденный — в том смысле, что он умножает знания. К шахматам, увы, это не относится. Сегодня! Слова «завтра», придуманного для детей и нерешительных людей, просто не существует. Завтра — нет! Вот принцип шахмат 21-го века.

Настоящий профессионал, обдумав положение на доске, действует со всей решительностью. Он знает, что во время партии не должно быть места ни сомнению, ни жалости, потому что мысль, не претворенная в действие, мало чего стоит, а действие, не приистекающее от мысли, не стоит вообще ничего.

В госпитале, куда попал brave солдат Швейк, врач, подозревая в каждом больном симулянта, прописывал всем одинаковый курс лечения: обертывание в мокрую холодную простыню и строгую диету с обязательным употреблением аспирина, дабы уклоняющиеся от военной службы пропотели; хинин в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба — мед... Но самой действенной процедурой считался клистир из мыльной воды и глицерина. От этого выздоравливали и просились на фронт даже самые закоренелые симулянты. Когда очередь дошла до Швейка, он держался геройски. «Не щади меня, — подбадривал он санитаря, со страдальческим лицом ставившего ему клистир, — помни о присяге. Даже если бы здесь лежал твой отец или родной брат, поставь ему клистир — и никаких. Мы победим!»

Совет brave солдата надо помнить каждому, кто садится за шахматную доску.

## ПАЛЬМА-ДЕ-МАЛЬОРКА

*Море совершенно черно, так же как и тело человека передо мной. Мы стоим на бесконечно широком пляже, я и огромный человек, полностью заслоняющий от меня солнце; даже тоненький лучик его не доходит до меня. Я истекаю кровью, пятна ее на песке черны, как море. Я умираю бесконечно долгой смертью. Недели, месяцы. Сорок лет.*

*Когда я в ужасе просыпаюсь, я знаю точно, что должен играть со Смысловым и что уже без четверти четыре. Русские — трудные соперники для меня, я не понимаю, отчего так, но я еще никогда не выиграл ни у одного из них, и Смыслов для меня — самый трудный.*

*Страх, что он может колдовать за доской, делает меня бессильным. Никакой аргумент не может меня убедить, что его слон не сильнее моего коня, так же как его конь не лучше моего слона. «Ты слишком эмоционален», — говорят люди, желающие мне добра; они думают, что «холодный рассудок» или что-то в этом роде действительно существует.*

*Я не трус, но я боюсь. К вящему удовольствию представителей героического советского народа. Без всякого сомнения, именно потому, что они кого-то представляют, они и играют выше своих возможностей. Я же не представляю никого, и поэтому и мой слон, и мой конь предоставлены самим себе.*

*Партия против Смылова начинается в четыре. Судья ударяет в гонг и включает часы. Пошло другое время.*

*Не шахматисту всегда любопытно, о чем думает шахматист, сидя за доской. Однажды я даже хотел написать книгу об этом. Просто взять пару партий и ход за ходом прокомментировать их внутренним диалогом с самим собой. Одну из этих партий я проиграл в шестнадцать ходов. Для того чтобы воспроизвести всё, о чем я думал во время этой партии, я мог бы исписать двести страниц. Далеко рассчитанные варианты, коварные ловушки, блестящие находки.*

*Комментарии к другой партии, которую я выиграл в шестьдесят ходов, состояли бы в основном из чистых листов. Разве что изредка какое-нибудь восклицание или ругательство, но ничего больше, никаких вариантов, потому что если ты выигрываешь, ты не думаешь. Думать ты начинаешь, когда что-то не получается, тогда включаются бессознательное, самокритика и психология.*

*На Пальме не получалось ничего. Партии, которые должны были закончиться ничью, проигрывались, другие, в которых я стоял на выигрыш, кончались ничьей. Случалось, что одним ходом я отдавал целое очко. Я должен был иметь на пять с половиной очков больше в мире «если бы», и таким образом я*

стал бы победителем турнира, потому что Ларсен набрал в итоге тринадцать очков, а я восемь. Но разница между тем, что могло произойти, и действительностью и создает трещину, за которой лежит то, что не получилось и уже не получится.

В том турнире на Пальме не получалось ничего, но не в тот день, вечер и ночь, когда я играл со Смысловым. Сражение продолжалось девять часов, партия доигрывалась даже утром следующего дня, но в конце концов я выиграл. Это произошло на старте соревнования. Может быть, именно удивление от собственного успеха сыграло решающую роль в том, что я пустил налево весь турнир после этой победы.

Это был очень приятный турнир. Из самых различных уголков Европы, спасаясь от зимы, мы прибыли на заснеженную Мальорку; снег — очень редкое явление для Балеарских островов. Гостеприимные хозяева пригласили вместе с гроссмейстерами жен и детей. Когда мы играем в турнирах, мы мало говорим о домашних делах, и мне было неизвестно, что многие обладают статусом отца семейства, но неопровержимые доказательства пищали и кричали на всю гостиницу, в то время как на Пальме лежал снег и столбик ртути в термометре опустился ниже нуля.

У Боры — сынишка, который делает ноздрями те же движения, что и его отец, свою жену он встретил в Аргентине, в тот год, когда она завоевала титул «Мисс Аргентина». Семейство чемпионов, одним словом.

Рамон нашел в Испании жену, которая не уступает ему в длине и сантиметра. Она блондинка и колоссальна. У них три дочурки, он не допустил в свой дом другого мужчину. Смущаясь, они представились: Мерседес, Марта и Джемма. Джемма?

Пятнадцать лет тому назад Рамон и я, много хуже и красивее, чем сегодня, путешествовали вместе по северу Испании из казино в казино, играя в маленьких турнирчиках и давая сеансы одновременной игры. Барселона, Таррагона, Берга, Витория, Бильбао, Сан-Себастьян. Мы делали ничьи — он с президентом клуба, я с казначеем, и мы обзавелись многочисленными друзьями. Наш путь, вычерченный на карте, изгибался причудливой дугой, в действительности же мы держались твердого курса, причудлива была только звезда, к которой мы стремились.

Ей не было еще шестнадцати, и она пела и танцевала фламенко. Маленькая, с профилем, который я видел только на старинных камнях. Ее звали Джемма, и Рамон был влюблен в нее. Дикие волосы молодости, как говорят испанцы. Джемму охраняла мать, высокая, крепко сложенная женщина, которая ни на минуту не оставляла ее без внимания. «Эту мы отвлечем товарами табачного или парфюмерного магазина», — уверенно говорил Рамон.

Контакт между влюбленными в действительности состоял только из писем. Рамон читал мне их все вслух. Свои собственные он считал более



изящными, чем письма Джеммы, и необычайно гордился ими. «Если бы я был солнцем, я хотел бы, чтобы ты была морем, тогда я мог бы целовать тебя всюду». Он полагал, что это не уступает Шекспиру. Ее письма были более деловые. Иногда она упрекала его за то, что он в последний вечер был рассеян во время ее второго шоу, тогда как во время первого был весь внимание. Но она была и много находчивее Рамона по части отвлечения внимания матери, для того чтобы они могли встречаться. Развязка этой любовной истории происходила не на моих глазах.

Два года спустя я снова встретился с Рамоном в Южной Америке. Он поклялся никогда больше не возвращаться в Испанию. Только несколько недель спустя я понял, что произошло. Сочетанием невероятного терпения и неутомимого усердия ему удалось-таки усыпить внимание матери и найти свое счастье с Джеммой. Когда у них родился сын, он, как человек чести, тут же предложил ей свою руку, но она отвергла его предложение, сказав, что это никогда не было ее целью.

«Она никогда не хотела меня, она хотела только ребенка», — говорил Рамон, уязвленный в своей гордости. Своего сына он видел только в газетах; Джемма сделала колоссальную карьеру, и теперь все могут любоваться ее на редкость красивым лицом, улыбающимся с афиш каждого кинотеатра. Она стала звездой экрана в Испании.

Жена Рамона во всех отношениях диаметрально противоположность Джемме: добросердечная, очень значительных размеров блондинка. Сыновей у них уже не будет, но он простил жену в своей младшей дочери.

Журнал «Авеню», апрель 1968

## ВАРИАНТ МОРФЕЯ

Доннер пишет, что проснулся только за пятнадцать минут до начала партии со Смысловым. Не приходится сомневаться, что вечер перед этой партией закончился для Хейна только под утро и что он провел его, так же как и другие вечера, за игрой в бридж или в бесконечных разговорах за стойкой бара. Тем более что в том турнире играл и постоянный тогда собеседник голландца Бент Ларсен, режим дня которого ненамного отличался от доннеровского. Датчанин вел ежедневную шахматную колонку в газете, еженедельную — в журнале и писал регулярно о бридже; стрекот его пишущей машинки затихал обычно только под утро.

Доннер и Ларсен, конечно, не единственные шахматисты, отправлявшиеся спать очень поздно. Андрэ Лилиенталь вспоминает, что во время московского турнира 1935 года Капабланка нередко засиживался в ресторане «Прага» далеко за полночь: там царило веселье, пели цыгане, и знаменитый кубинец нередко возвращался в гостиницу, когда уже начинало светать.

Конечно, в эпоху отложенных партий у шахматистов был совсем иной режим дня. Длительный ночной анализ, кончающийся под утро, был нормой, в молодые годы к нему прибегал даже Ботвинник, в течение всей карьеры придерживавшийся железного распорядка дня. Были шахматисты, настолько увлеченные анализом, что могли сутками обходиться вообще без сна. Таким был, по рассказам, американский гроссмейстер Николас Россолимо.

Что же касается соперника Доннера, то Смыслов — типичный «жаворонок». Знаю, что в советские времена он, живя на даче, начинал свой день однообразно: ранним утром выслушивал программу Би-би-си, после чего, любуясь просыпающейся природой, совершал часовую прогулку, по завершении которой снова выслушивал ту же самую программу — на этот раз в записи.

В годы, когда Василий Васильевич регулярно играл в турнирах, он крайне редко засиживался по вечерам, спал без просыпа и сновидений, но в последнее время ему снятся порой шахматные сны, причем чаще всего это какие-то запутанные позиции с причудливым расположением фигур. Снятся и люди. Почти всех их уже нет в живых. Он говорил несколько раз с Левенфишем, а однажды ему приснился Эмануил Ласкер, с которым Смыслов играл на редкость напряженную партию, результат которой не отложился в его памяти...

В дневниках Петра Ильича Чайковского очень часто встречается упоминание «гвоздя в голове»: «Встал после чудного сна с остатками гвоздя в голове», «Ночью просыпался с головной болью. Встал здоровым, но с остатками гвоздя. Потом прошло». Или: «Спал очень много, но все-таки проснулся с остатком гвоздя. Был весь день крайне осторожен и в пище, и в работе, но все время гвоздь все-таки был». Очевидно, что сон и непосредственно связанное с ним физическое состояние оказывали огромное влияние на творческую деятельность великого композитора.

Один из самых известных философов 19-го века говорил, что всё, что он написал после бессонной или плохо проведенной ночи, написал не он. Мысль эта очень понятна шахматисту: каждому известно состояние, когда, просыпаясь, чувствуешь, что еще не отдохнул, что мозг не находится в состоянии ясности, совершенно необходимой для игры в шахматы. И это не предвещает ничего хорошего для предстоящей партии.

Все шахматисты прошлого и настоящего единодушны во мнении: хороший сон, свежая голова — залог успеха; в конце концов, режим сна не так уж важен, главное, чтобы к моменту игры вы были в состоянии боевой готовности. Знавшие Владимира Симагина вспоминают, что тот просыпался ровно в шесть утра, закуривал и начинал читать или анализировать на карманных шахматах. Через некоторое время он снова засыпал.

«Нарушение сна — первый признак нервного истощения, — говорит Борис Спасский. — Я понял, что проигрываю матч Фишеру в 1972 году, когда потерял сон. Я просыпался утром, часов в шесть, и, ворочаясь, долго не мог заснуть. Умение накапливать энергию и экономно ее расходовать — большое искусство. Нервы обеспечивают главное: работоспособность и выносливость, и нервное истощение — самый главный враг шахматиста».

Немалую роль отводил сну и Капабланка. «Что касается вопроса о том, как готовиться к турниру, скажу, что самое важное — сон вволю, душевный покой и отсутствие забот нешахматного характера, — отмечал он. — Я слышал, что Алехин уделяет большое внимание сложной и трудной психологической подготовке. Для меня это означало бы огромную — и напрасную — трату физической и умственной энергии».

Турнир в Петербурге 1914 года совпал у будущего гроссмейстера Левенфиша с подготовкой дипломного проекта; он решил совместить оба занятия, резко сократив часы сна. «Качество игры снижается, а нервная система недопустимо изнашивается, — предостерегал Григорий Яковлевич молодых шахматистов уже на склоне лет. — Никому не интересно, что вы пришли на игру переутомленным и из-за этого потерпели поражение».

«Сон, конечно, важное дело, — говорил Ботвинник. — Я спал хорошо до московского турнира 36-го года. Но тогда такая страшная жара стояла, да еще шум постоянный на улице, что я потерял сон. Но был молодой и с бессонницей играл хорошо, заставлял себя играть. Потом сон как-то восстановился, но полного порядка так и не было».

Когда в 1993 году в Тилбурге я разговаривал с Ботвинником, Патриарху было уже за восемьдесят. Он признался, что в последнее время случается всё чаще, что сон не идет совершенно. «Что я делаю тогда? Да лежу себе спокойно и часами анализирую что-нибудь. Что? А всё, что в голову взбредет, например французскую. Вот подумал недавно: а что, если на третьем ходу коня на e7 развить? Ну а дальше — смотря по обстоятельствам...»

В 1993 году в Сан-Лоренцо Тимман проиграл Шорту белыми в разменном варианте испанской. «Это была решающая партия полуфинального матча на первенство мира, — вспоминает Ян, — почти всю ночь перед ней я провел без сна и помню то тяжелое чувство, с которым вышел на игру. Из опыта я знал, что здесь может подвести всё, и в первую очередь — интуиция. Твой мозг уже не принадлежит тебе: ты — это другой человек. Десятью годами позже на турнире в Вейк-ан-Зее я проиграл стоящую на выигрыш партию Раджабову. Это так подействовало на меня, что я потерял сон на все время турнира».

Чемпионат Москвы по блицу 2003 года собрал немало замечательных гроссмейстеров. Опередив второго призера на три с половиной очка, первое место завоевал Алексей Дреев. «Замечательно выспался перед турниром, — объяснил сам победитель этот успех, — и голова работала отлично».

Прерывистый, с просыпаниями, сон не может обеспечить полноценного отдыха, но для шахматиста есть более страшный враг: бессонница. Еще Гиппократ указывал на то, что постоянная бессонница есть признак наступающего бредового состояния, и писал об этом, как об очень плохом предзнаменовании. Если вспомнить шахматистов с психическими проблемами, например Майлса или Витолиныша, не спавших порой сутками подряд, то легко представить себе, каково им было играть в шахматы.

Можно, конечно, прибегнуть к снотворному, но за это очень часто расплачиваешься тяжелой головой поутру, и лекарство может оказаться хуже болезни.

«Я пробовал несколько раз принимать таблетки, но в этом есть что-то неестественное, это ведь уже поражение в каком-то смысле. Чтобы снять напряжение, когда оно достигает максимума, я думал разок попробовать гашиш, но так никогда и не прибег к этому средству», — говорит Ян Тимман.

Особая тема: сон перед партией. Здесь у каждого шахматиста свои привычки и склонности. Лежал перед партией Ботвинник, «но не спал, просто лежал, потому что когда лежишь, никто не лезет с глупыми разговорами».

Горячим приверженцем сна перед партией является Виктор Корчной. В конце 60-х — начале 70-х годов, когда я помогал ему, в мои обязанности входил и телефонный звонок, кладущий конец послеполуденному отдыху Маэстро. «Виктор, пора», — говорил я с интонацией: вставайте, граф, вас ждут великие дела — так слуга Сен-Симона будил каждое утро французского философа-просветителя.

Всегда спал перед партией Гага Камский. Вспоминаю, как на одном из турниров в Дос-Эрманасе его отец произнес страстную речь в защиту сна перед игрой, приводя в подтверждение своей правоты Веселина Топалова, включившего эту процедуру в свой распорядок дня.

Люк ван Вели в последнее время тоже перенял эту привычку, но большинство шахматистов нового поколения — «совы»: засиживаясь за шахматами (и, конечно, за компьютером) до трех-четырёх ночи, они просыпаются ближе к полудню — здесь бы только успеть перекусить и, если получится, выйти на коротенькую прогулку, а там и на партию пора. Примеры сегодняшних сов, которых вообще довольно много среди гроссмейстеров: Крамник, Свидлер, Гришук, Бакро, Лотье, Морозевич — это из первых пришедших на ум имен.

Совой является Карпов, который может засиживаться за карточными или другими играми до глубокой ночи. Совой был и Таль. Однажды в Брюсселе во время Кубка мира 1985 года Миша в баре «Селект», особенно любимом шахматистами, часа в четыре ночи, уже сильно «в кондиции», спрашивал, а что играет, собственно говоря, Люк Винантс — его соперник в очередном туре — на 1.e4?

Этот вечер не был исключением для Таля; нередко ночные застолья продолжались у него до тех пор, пока Морфей естественным путем не переносил его в свое царство.

Морфей, бог сна в античном искусстве, изображался в виде старика с крыльями. На крыльях Морфея уносится человек в мир ночных грез и сновидений. Необычным образом переплелись там удивительные события, невозможные в нашем скучном реальном мире, нередко там ждут люди, которых давно уже нет в живых. В игрушечный мир деревянных фигурок переносит на своих крыльях Морфей людей, играющих в шахматы.

Хотя объяснение сновидений занимает немалое место в работах Фрейда, из которых я понял, что путешествие символизирует смерть, червяки, щенки, саранча и мухи — детей, а лейка, ружье, банан, морковка, жезл, ключ, копьё, фонтан — сами знаете что, шахмат я в его книгах не нашел. Упомянуты, правда, символизирующие родителей король и королева, но к шахматам они отношения не имеют.

На полках книжных магазинов в России сейчас можно найти массу самых разнообразных сонников. В них встречается и слово «шахматы», и почти все авторы сонников сходятся во мнении: проигрыш партии не предвещает ничего хорошего. Один справочник предупреждает, что поражение может привести к застою в делах и ухудшению здоровья, другой тоже советует избегать проигрыша; поражение означает, что вас ждут происки врагов, а вот выигрыш — преодоление всех трудностей и удачу. Вывод ясен: даже во сне следует стремиться к победе.

Если вы в ночных грезах проигрываете партию более сильному сопернику, надо призадуматься о правильности выбора профессии. Сновидение, в котором вы, играя в шахматы, добиваетесь отличных результатов, означает грядущее повышение по службе. При игре белыми ждите выгодного предложения, могущего принести значительную прибыль, черные же фигуры символизируют в основном убытки и потери. Так что значение цвета фигур и во сне немаловажно.

Известно, что свинье снится желудь, а курице — просо. С людьми дело обстоит сложнее, и шахматистам не всегда снятся выигрышающие маневры и красивые комбинации.

Бывает, что сладкие грезы о победе или изящное решение, найденное во сне, прерывается жестоким пробуждением, возвращающим шахматиста к действительности. Подобное ощущение испытывали, наверное, несколько веков тому назад постояльцы самой дешевой лондонской гостиницы: они спали, сидя в большой комнате, положив вытянутый вперед подбородок на туго натянутую веревку, которую резко выдергивал являвшийся ровно в шесть утра служитель...

Если вам приснился соперник, на позицию которого вы развили сильную атаку, и вам доставляет удовольствие наблюдать, как он мучается в поисках хода в цейтноте, это совсем не значит, что вы по натуре жестокий человек. Здесь уместно вспомнить Платона: добрым является тот, кто довольствуется сновидениями о том, что злые делают в действительности.

Ефим Геллер был неутомимым аналитиком. Он утверждал, что шахматы являются для него средством против любых жизненных невзгод: «Вот разнервничаюсь или просто неприятности какие, посижу за шахматами часов пять-шесть — постепенно приду в себя...» Неудивительно, что ему нередко снились шахматные сны. «Иногда во сне шептал шахматные ходы, — вспоминает его вдова, — или, просыпаясь ночью, подходил к столу, чтобы записать пришедший вдруг в голову вариант». Явление это — не такое уж нераспространенное. Ленин, большой поклонник шахматной игры, по свидетельству жены, кричал во сне после нескольких вечерних партий: «Если он конем туда, я слоном сюда».

Семену Фурману однажды привиделась красивая матовая комбинация, которую он не нашел за доской во время партии с Ратмиром Холмовым на чемпионате СССР в Ленинграде 1963 года. «Меня всю ночь не покидало чувство неисполненного долга, — вспоминал Фурман на следующий день, — я заснул только под утро и во сне заматовал-таки Холмова!»

Изредка снились шахматные сны Борису Спасскому: «Расскажу о двух наиболее ярких. Один — когда играл с Авербахом и не заметил его хода ладьей с a1 на c1. Такая вот огромная ладья приснилась! В другом сне я всю ночь разговаривал с Алехиным, и очень сильное впечатление на меня произвела эта беседа, жалко даже, что я на следующий день не записал ее и содержание этого разговора выветрилось уже из памяти. Помню только, что очень мне тогда понравился Александр Александрович...»

Владимир Багиров, один из крупнейших знатоков защиты Алехина, рассказывал, что начал играть ее после того, как чемпион мира лично явился ему во сне и благословил на изучение «своего дебюта». Защита Алехина служила Багирову верой и правдой на протяжении всей карьеры, и памятник на его могиле в Риге представляет собой мраморную шахматную доску с белой пешкой на e4 и черным конем, вышедшим на f6.

Иосиф Дорфман вспоминает, как во время матча Фишера с Ларсеном (1971) ему приснилось красивое опровержение комбинации, проведенной будущим чемпионом мира в четвертой партии. Проснувшись, он увидел, что варианты, запечатлевшиеся в его мозгу, увы, не соответствуют действительности. Зато совсем недавно Дорфман, тоже во сне, увидел совершенно неожиданный и хороший ход в главном варианте славян-

ской защиты. «Вариант Морфея» ждет еще своего часа, и, без сомнения, в комментариях к нему будет сказано о его происхождении.

Борису Гулько никогда не снились конкретные ходы или варианты, кроме «обычной чертовщины, которой полна голова после напряженной партии», но часто бывало, что во сне, не имеющем к шахматам никакого отношения, он отмечал, что кто-то поступает против правил, вступая в разговор или предпринимая что-либо, хотя очередь хода за ним самим. В жизни ведь, в отличие от шахмат, где ходы делаются по очереди, человек нередко делает два, а то и несколько ходов подряд, а кое-кто норовит делать ходы все время...

Юрий Разуваев вспоминает, что, когда они вместе с Фурманом в 70-х годах помогали Карпову, тот удивлял их замечательными идеями, пришедшими ему в голову во сне и которые он демонстрировал наутро на шахматной доске.

Удивительные сны посещают иногда Ханса Рея. Два из них связаны с Хейном Доннером.

Однажды Хансу приснилось, что они играют матч и ему раз за разом удастся получить выигранную позицию. В очередной партии он снова стоял на выигрыш, но пока он размышлял о том, как нанести решающий удар, Доннер вдруг... смел все фигуры с доски, после чего судья немедленно засчитал Рею поражение — и соперники мирно принялись за анализ.

— Слушай-ка, — сказал Доннер, — ты что, совсем с ума сошел, ты же мог легко выиграть? Почему ты не сделал здесь этого хода?

— Но я же так и собирался пойти! — ответил Рей. — Но в это время ты...

— Запомни, — прервал его Доннер, — в шахматах, как только тебе представится шанс, ты должен его использовать немедленно!

Партия из другого сна Рея игралась на турнире в Вейк-ан-Зее и была отложена в явно лучшем для Доннера положении. Но почему-то Хейн настаивал, чтобы партия доигрывалась непременно в громадном зале, где из огромных репродукторов редела музыка, молодежь, играя во всевозможные игры, кричала и шумела, в то время как тысячи посетителей осматривали драгоценности, принадлежащие Королевскому дому Великобритании. «Неспортивно, гроссмейстер!»\* — закричал в отчаянии Рей, но помогло ли это ему, он не мог припомнить...

На том же турнире Рею приснился другой сон. Ландшафт местности, где он оказался, был очень суров. Ханс сидел, накрепко прикрученный к

---

\* Под таким заголовком «Советский спорт» в декабре 1974 года, вслед за осуждающей статьей Петросяна, опубликовал подборку писем читателей, критикующих Корчного за «высокомерие и зазнайство».

столу, и наблюдал, как группа криво улыбающихся дегенератов накинута на кусок сырого мяса, осыпая его ударами. Кровь брызгала во все стороны, но им всё было мало. «Это случится и с тобой, если ты будешь сопротивляться», — сказал их предводитель, оказавшийся при ближайшем рассмотрении Петросьяном.

Объяснением такого ужасного сна, наверное, являлся тот факт, что Рей имел очень плохой счет с Петросьяном, а в одной партии вынужден был сдать уже на восьмом ходу.

Постоянно снятся шахматные сны Яну Тимману. Нередко замечательные, цветные.

Вот один из давних. Он играет партию с Каспаровым, и дела идут как нельзя лучше. К откладыванию Ян выигрывает качество и имеет все шансы на победу. Секунданты Тиммана принялись за анализ и наутро сообщили ему, что результаты анализа введены в компьютер.

«Когда я стал вглядываться в изображение на экране, то увидел ландшафт, в этом ландшафте почему-то оказался я сам и начал замечательную прогулку в горах, — вспоминал Ян. — Вдруг где-то очень высоко, в поднебесье, я увидел орлиное гнездо. В нем находился Каспаров. Тропинка к этому гнезду причудливо изгибалась и была на редкость узкой. «Узкая тропа» — называлась моя книга о борьбе за первенство мира, только теперь эта узкая тропа стала вовсе неприступной. И я понял, что нужно быть в идеальной форме, чтобы подняться по этой тропе».

В другом сне Ян играл с Гортгом на каких-то командных соревнованиях. В ответ на предложение ничьей Тимман ответил: «Я должен спросить у капитана». Получив категорический запрет, он вернулся к столу и, протянув руку сопернику, сказал: «It's OK, Vlastimil!».

Довольно часто ему снится Доннер. Однажды Хейн играл с Реем, а Тимман со стороны наблюдал за партией. Позицию Ян запомнил очень хорошо: «Острый вариант сицилианской защиты. Доннер играет f4, Рей мгновенно отвечает d5. Доннер может закрыть центр — e5, но записывает на бланке ход f5 и, сделав его, подходит ко мне и говорит только одно слово: «Держись!» Я понимаю, что он подбадривает в первую очередь самого себя, — Хейн был уже тогда инвалидом...»

В 80–90-е годы Тимман регулярно играл матчи с сильнейшими гроссмейстерами мира. «В 1982 году, — вспоминает Ян, — мне предстояло встретиться с Корчным, и я нередко с беспокойством думал об этом матче. До тех пор пока мне не приснилось, что он пройдет для меня еще легче, чем предыдущий матч с Хюбнером. Что я снова не проиграю ни одной партии. Так и случилось. Не надо думать, однако, что мне всегда снятся оптимистичные сны. После хорошо начавшегося для меня 1988 года я сыграл два плохих турнира подряд. «Ты еще не испил чашу до дна, — явственно услышал я во сне, — тебя ожидает еще



одна неудача». И действительно, на турнире в Бельфоре я разделил последнее место».

Перед началом матча с Юсуповым (Линарес 1992) Тимману приснилось, что он с женой стоит на остановке такси, подходит машина, вдруг, откуда ни возмись, появляется Артур, тоже с женой, и они, опережая чету Тимманов, садятся в такси. Какой-то шрамик в душе этот сон, видно, оставил: назавтра первую партию Тимман проиграл. Во второй у него были белые, но в длинном форсированном варианте русской партии, бывшем тогда в моде, ему не удалось добиться преимущества.

После партии Тимман вместе со своим секундантом Пикетом подверг весь вариант тщательному анализу, но ничего обещающего найти не смог.

Той же ночью, где-то в половине четвертого, Ян проснулся: вот оно, решение! На следующий день Тимман показал найденную во сне идею Пикету, они еще раз проверили все варианты и стали ждать следующей «белой» партии. В четвертой Артур пошел по другому пути, но в шестой стал повторять ходы второй партии. Новинка на 21-м ходу оказалась неожиданной для него, и Тимман одержал победу.

«Мне до сих пор снятся сны о Тале, — говорит Ян, — неудивительно: он был ведь такой харизматической личностью. Однажды, когда Миши уже не было в живых, мне приснилось, что мы вместе играем в каком-то турнире в Голландии. Перед последним туром я делю первое-третье места. Таль отстал, он не может уже выиграть этот турнир. И вот на финише мы играем друг с другом. Славянская, спокойный вариант. У меня ясное преимущество, я делаю ход ферзем и встаю из-за доски. Вернувшись к столику, я вижу, что мне засчитано поражение и Таль уже подписал свой бланк. Я отказываюсь поставить подпись на своем бланке, так же как и поздравить его. При выходе из турнирного зала я говорю Талю, что совершенно не помню, что произошло в конце партии, в ответ на что Миша, улыбаясь, замечает: «После концерта Жиганов тоже не мог вспомнить ничего».

Хотя я никогда не слышал такой фамилии, догадываюсь, что это какой-то музыкант, и я говорю, что, может быть, Жиганов был оглушен музыкой или находился под действием наркотиков. Наконец мы приходим в какую-то комнату, садимся в угол, и Таль начинает перелистывать телефонную книгу на каком-то скандинавском языке, кажется на шведском. Потом появился Гуфельд, и дальше я не помню уже ничего...»

На турнире в Тилбурге 1983 года мне удалось получить лучший эндшпиль против Тиммана. Король черных был заперт в углу доски, их центральная пешка нуждалась в постоянной защите. Я быстро выиграл. После анализа партии мы пришли к выводу, что, хотя черные могли здесь и там сыграть лучше, у белых был большой перевес. На следующий день за завтраком в гостинице Ян сказал мне, что, оказывается, у черных в самый последний момент имелось чудесное спасение, кото-

рое явилось ему во сне! Проснувшись, он поспешил к шахматной доске — и воочию убедился в том, что приснившееся полностью соответствует действительности.

По словам Артура Юсупова, когда он играл в шахматы более интенсивно, чем сейчас, его мозг нередко продолжал работать во сне, чаще всего в поисках решения, которое не удалось найти во время партии. Но и сегодня случается, что после трудного сеанса одновременной игры вертится в сонном мозгу позиция, решение которой не было найдено несколько часов тому назад.

В партии с Котрониасом (бундеслига 1996) возник лучший для Юсупова слоновый эндшпиль. В один момент Артуру показалось, что противник сыграл не лучшим образом и дал ему реальный шанс. Что-то даже мелькнуло в голове, но времени было в обрез, и партия в конце концов закончилась вничью. В коротком совместном анализе соперники тоже не нашли выигрыша: хотя у белых и была лишняя пешка, слишком мало материала оставалось на доске. Но интуиция не обманула Юсупова, победа все-таки была: он нашел ее той же ночью во сне!

Льву Альбурту тоже случалось увидеть во сне сильный ход в отложенной позиции, а однажды — и превосходную возможность в одном из главных вариантов защиты Алехина. «По опыту я знал, — рассказывает Лев, — что наутро идея может выветриться из памяти совершенно, поэтому, проснувшись ночью, я, преодолевая себя, вставал и записывал приснившееся. Хотя сейчас я не могу точно сказать, был ли это действительно сон или бодрствование, отключенное состояние, когда вроде спишь, но в то же время и нет, какие-то клетки мозга продолжают работать...»

На это чувство указывают почти все, с кем я говорил о ночных шахматных видениях.

Из собственного опыта могу припомнить лишь явившегося мне ни с того ни с сего ленинградского мастера Евгения Кузьминых, неутомимого исследователя гамбита Шара—Геннинга. За доской он имел обыкновение извлекать из кармана завернутую в тряпочку дольку лимона и, пока соперник обдумывал ход, отойдя в сторонку, сладострастно посасывать ее. За этим занятием я и застал мастера сентябрьской ночью 1977 года на турнире в Женеве. Наверное, Фрейд дал бы моему сну какое-нибудь другое толкование, но сам я, помнится, расценил лимонную кислоту и оскомину от нее как тревожный знак — и действительно, играя на следующий день с Ларсеном, попал в неприятный тяжелофигурный эндшпиль, спасти который не удалось.

В другой раз приснилась отложенная позиция, в которой ходом крайней пешки мне ловко удавалось выиграть необходимый темп. Ход был не слишком сложный, и мое второе «я», в том же сне со стороны наблюдавшее за первым, даже удивлялось, как это я не нашел такой простой

идеи раньше. Пробуждение было огорчительным для обоих «я»: в реальности пешка уже стояла на том поле, куда ее посылало ночное воображение.

Компьютеру ничего не снится. Его железный мозг никогда не устает, и ему не от чего отдыхать. В замечательных программах Квантум Компьютера будущего будут учтены все нюансы позиции на доске, сконструированы процессоры, способные перебрать сотни миллионов ходов в секунду; эти процессоры будут всё глубже и глубже проникать в тайны игры, добираясь до самой последней. Но до тех пор пока существует человек, он всегда сможет укрыться в ночном убежище, где вдруг ярко блеснет удивительная идея, блуждавшая в закоулках мозга, но не увиденная во время игры. Там, в этом убежище, можно будет поговорить с Алехиным, сыграть партию с Талем или увидеть маму, когда-то научившую тебя играть в шахматы.

## **ВОЗРАСТ**

**В** каком возрасте шахматист добивается наивысших достижений? Из списка чемпионов мира можно видеть, что возраст, когда они владели этим титулом, раньше был выше, чем сегодня. Стейниц стал чемпионом, когда ему было пятьдесят, и потерял титул в пятьдесят восемь. Возраст других чемпионов мира даст нам такую картину: Ласкер 26—53, Капабланка 33—39, Алехин 35—54, Эйве 34—36, Ботвинник 37—52, Смыслов 36—37, Таль 23—24, Петросян 34—40, Спасский 32—35, Фишер 29—32, Карпов 23—?

Спасский и Корчной, играющие в этот момент в Белграде за право вызвать на матч Карпова, уже старички: одному — сорок, другому — сорок шесть. Шахматы по сравнению с прошлым сильно изменились. Теперь в ходу другие качества. Профессиональные шахматы на высоком уровне стали в первую очередь физическим спортом, где способность неослабевающей концентрации много важнее, чем философствование или богатство воображения.

Ботвинник мог владеть чемпионским титулом до своего пятидесятилетия потому, что держался очень далеко от международной шахматной арены и мог концентрироваться исключительно на матчах на мировое первенство, игравшихся раз в три года. Иногда он и проигрывал их, но благодаря матчам-реваншам, в настоящее время очень несправедливо отмененным, обретал второе дыхание, что испытали на себе Смыслов и Таль.

Но даже если в наши дни шахматист после сорока проходит свой пик, это не значит, что он не может еще очень долго держаться наверху, пусть его успехи будут всё более редки. Блестательный пример этому — давно умерший гроссмейстер Осип Бернштейн. Он родился в 1882 году, а в 1954-м играл на турнире в Монтевидео, где принимал участие и Найдорф. Остальными участниками были местные мастера, и Найдорф, зенит карьеры которого пришелся как раз на то время, настоял, чтобы первый приз был увеличен вдвое за счет всех остальных призов, будучи уверенным, что он легко его и выиграет.

Турнир получился не столь трудным, сколь длинным, как тогда случалось часто в Южной Америке, где нередко в соревновании участвовало не меньше восьмидесяти шахматистов. И Найдорф, и Бернштейн побеждали почти всех своих соперников, только изредка отпуская им по половинке очка. Когда они подошли к последнему туру, в котором должны были играть друг с другом, у Найдорфа было на пол-очка больше. Блестящая атака, которой Бернштейн выиграл у Найдорфа, была проведена им на одном дыхании и оказалась одной из лучших в его карьере. Осипу Бернштейну было тогда семьдесят два года. Желаю вам всем такой энергии и задора в столь преклонном возрасте!

## ЛЕСТНИЦА ЖИЗНИ

— Что-то в последнее время твоя фамилия исчезла со спортивных страниц, — сказал мне пару лет назад продавец в газетном киоске, с которым мы иногда обсуждаем игру «Аякса».

Когда я начал объяснять что-то, ссылаясь на возраст, он решительно перебил:

— Возраст? При чем здесь возраст? Это что — футбол, где травмы замучают, да и дышалка после тридцати уже не та. А у вас что — сиди себе да поигрывай, у тебя ж опыт — смотри какой...

Мне было непросто объяснить ему, что шахматы на профессиональном уровне — очень тяжелая нагрузка на подвергающуюся постоянной амортизации нервную систему. Нагрузка, незаметная для широкой публики.

В старое время игрой в преклонном возрасте нельзя было удивить. Легаль до конца жизни оставался вторым шахматистом Франции после Филидора. В 85 лет он провел с кавалером Сен-Бри комбинацию, известную любому шахматисту и вошедшую в историю под названием «мат Легалья». Не играет роли, что эта комбинация имела опровержение на пятом ходу, равно как и факт, что Легаль давал ладью форы.

Среди шахматных долгожителей прошлого можно назвать Филидора, Стейница, Блэкберна, Мизеса, Ласкера. Но и Решевский с Найдорфом играли в шахматы до преклонных лет, а Смыслов только недавно оставил практическую игру и переключился на составление этюдов. Может быть, поэтому сегодня, когда речь заходит о шахматах на высоком уровне, создается впечатление, что в них, не теряя класса, можно играть если не до глубокой старости, то, во всяком случае, до пожилого возраста. Заблуждение! Пример Корчного, невероятными усилиями еще как-то держащегося на плаву, нетипичен: представители не только его, но и последующего поколения давно сошли с дистанции. Впрочем, и ватерлиния корчногового корабля, несмотря на эпизодические подъемы, опускается всё глубже и глубже. Те же немногие, кто участвует в соревнованиях, заменяя пятый или шестой десяток, представляют собой бледную тень времен собственной молодости.

Готтентоты заставляли своих стариков карабкаться на дерево и потом трясли ствол. Если испытуемый был настолько дряхл, что не мог удержаться и сваливался, его следовало убить. Жители Огненной Земли съедали своих стариков. У эскимосов те сами уходили из юрты в пургу и не возвращались. Современное общество более гуманно и старается заботиться о своих престарелых членах, даже если они не приносят пользы. Вопрос в том, в каком возрасте человеку, работа которого напрямую связана с вдохновением, творчеством, следует прекратить свою деятельность? Надо ли продолжать ее, даже когда создаваемое им только весьма отда-

ленно напоминает получившееся у него в молодости без всякого напряжения? Или добровольно уйти, едва заметив первые признаки приближающегося заката? «Пока тебя не высмеют юнцы», — как говорил когда-то Александр Поп.

Ференц Лист был не только композитором, но и блестящим пианистом, собиравшим восторженную аудиторию. Но карьера его как пианиста продолжалась не слишком долго. В 1847 году, будучи на вершине славы, Лист прекратил выступления и никогда больше не играл перед публикой, полностью переключившись на композиторскую деятельность.

Чайковский писал за два года до смерти: «Инструментовка чем дальше, тем труднее мне дается. Двадцать лет тому назад я валял во все лопатки, не задумываясь, и всё выходило хорошо. Теперь я стал труслив, неуверен в себе. Сегодня целый день сидел над двумя страницами — всё что-то не выходит, чего бы хотелось».

Пит Валкман — голландский писатель, подававший в свое время большие надежды, попытался в 50 лет создать что-нибудь новое. Он работал над рукописью длительное время, написал почти двести страниц, но в какой-то момент всё понял — и нажал на кнопку Delete...

Йоп Зутемелк, знаменитый велогонщик, победитель Тур-де-Франс, в тридцать восемь ставший чемпионом мира, через два года закончил свою карьеру, находясь всё еще в отличной форме.

— Уйдя, я поступил очень правильно, хотя мог еще соревноваться, — говорил Зутемелк. — Это много лучше, чем еще два года принимать участие в гонках, до тех пор, пока ты не сможешь выиграть уже абсолютно ничего.

В 2005 году на 95-м году жизни умер легендарный джазовый музыкант и один из родоначальников свинга Арти Шоу. В сорок четыре года, находясь на самом пике своей карьеры, Шоу объявил, что принял решение прекратить выступления, так как не видит для себя возможности достичь тех вершин в творчестве, к которым стремился.

В 1939 году Морис Эшер работал над своими знаменитыми «Метаморфозами». Три десятилетия спустя, глядя на самого себя тогдашнего, он писал: «Мне был сорок один год. Это возраст, когда душа молода, а вдохновение и энергия наиболее сильны. Все мои наиболее оригинальные идеи относятся к тому периоду».

В этом возрасте Каспаров решил оставить шахматы...

Мы видим, что вопрос: продолжать ли творческую деятельность? — сугубо индивидуальный и полностью зависит от честолюбия, амбиций, объективности, здоровья и множества других факторов.

Курту Воннегуту было 74 года, когда он заявил, что лучшие свои книги написал до того, как ему исполнилось пятьдесят пять. «Мне не нравится то, что я делаю сейчас, — признался знаменитый писатель. — Перечитывая написанное мною в последнее время, должен сказать, что это менее

ясно и интересно, чем казалось мне в процессе работы. И первый, кто замечает это, я сам. Есть немало писателей, достигших пожилого возраста, которые производят что-то невразумительное. Критики этого не понимают. Они удивляются последним пьесам Теннесси Уильямса: что с ним случилось? Хотя ответ очевиден: он постарел».

Хорошо еще, что Воннегут сам видит причины ухудшения своего творчества. Другие не замечают происходящей метаморфозы и не в состоянии посмотреть на себя со стороны.

Московский режиссер Марк Захаров утверждает, что очень многие актеры не способны уловить момент своего «спуска с вершины»: «Нужно быть очень умным человеком, чтобы понять, что глупеешь, деградируешь, работаешь хуже. Бывают случаи, когда кого-то продолжают хвалить, правда, это относится к узкому кругу друзей, знакомых, родных. И актеру начинает казаться, что он продолжает восходящую траекторию. На самом деле апогей уже пройден, и надо думать о том, чтобы достойно завершить свой творческий путь».

Это непросто, потому что у музыкантов, писателей, художников, скульпторов и актеров перед глазами примеры их коллег, пусть и немногих, которым удавалось не снижать планку и в преклонном возрасте.

По сравнению с людьми искусства шахматист всегда находится в жесткой реальности: результат отдельной партии и итог турнира говорят о его возможностях, а безжалостные цифры рейтинга не позволяют питать иллюзий.

Аристотель утверждал, что после пятидесяти умственные силы слабеют, это пора, когда надо пожинать плоды того, что посеял раньше. На шахматы, увы, это правило не распространяется. Потому что в шахматах засеять приходится каждый раз заново, да и какой уж тут урожай, когда у шахматиста в возрасте почва — суглинок, семена измельчали, да и за плугом идти неважело. И расхожая мудрость: молодые думают, что старики — дураки, а старики знают, что дураки — молодые, к шахматам не относятся. Потому что в борьбе на высоком уровне мотивация, энергия, сила, напор — всё, чем отличается молодость, — играют куда большую роль, чем опыт и умудренность пожилого шахматиста.

Так же как здоровый человек живет и поступает так, словно он бессмертен, спортсмен в период расцвета не может допустить мысли, что может быть по-другому. В 1987 году Ян Тимман, набрав 9,5 очка из 11, с большим отрывом выиграл чемпионат Голландии. Принимая поздравления с победой и соглашаясь с тем, что сегодня он лучший игрок страны, Ян добавлял: «Сегодня и всегда». Как, подумалось тогда, — всегда? Вообще всегда? Пятнадцать лет спустя его имя нельзя было найти в списке ста сильнейших в мире, а сам он дважды кряду занял последнее место в Вейк-ан-Зее.

Кирилл Кондрашин говорил, что дирижерская профессия — это профессия второй половины жизни. В шахматах наоборот — это профессия

первой половины жизни, в настоящее время — даже первой трети. Борис Спасский проиграл матч на мировое первенство, когда ему было двадцать девять лет. Три года спустя, победив Тиграна Петросяна и завоевав титул, он сказал, что тогда был слишком молод и что нельзя поручать серьезное дело человеку, если он моложе тридцати. Сейчас, посмотрев на возраст участников сильнейших турниров, Спасский так не сказал бы.

Один из самых распространенных средневековых сюжетов — лестница жизни. Слева, у ее основания — малое дитя карабкается на первую ступеньку. На следующей ступени — подросток, потом молодой человек, и вот — на вершине — человек в полном расцвете сил. Еще несколько остановок и... седой и сгорбленный старик занес ногу, чтобы сойти с последней ступеньки — в гроб.

Если обзреть шахматную лестницу в прошлом, а тем более в позапрошлом веке, то она примерно будет соответствовать общей возрастной схеме. Благообразный бородатый Стейниц, завоевавший звание чемпионки мира в пятидесятилетнем возрасте. Философ Ласкер, удерживавший это звание в течение двадцати семи лет. Методичный, умевший программировать самого себя Ботвинник, ставший чемпионом в тридцать семь... Если мы выстроим такую шахматную лестницу в начале 21-го века, то увидим, что карабкаются на нее мальчишки и девчонки, да и на вершине главным образом подростки и молодые люди.

Шахматы, как и другие виды спорта, стремительно молодеют, становясь всё более и более детской игрой. В будущем борьба на самом высоком уровне в них будет происходить в возрастной группе примерно от двадцати до двадцати пяти лет. Это совсем не значит, что шахматист в тридцать с лишним играет хуже, чем в эти годы. Нет, нередко приходит успех и к тридцатилетним, и немалый. Достаточно посмотреть на последние результаты Топалова или выигрыш Рублевским суперфинала России 2005 года. Просто накатывается новая волна молодых, не отягощенных еще мирскими заботами, обладающих большей энергией и пышащих честолюбием. Они начали обучение игре и продолжали совершенствование по-другому, чем шахматисты предыдущей генерации. Сравнение с новым поколением компьютеров напрашивается само собой. Разница между первым Пентиумом и обычным компьютером была не так уж велика. Потом пришло время для Пентиума 2, 3, 4, для Супер-Пентиума и т.д. Еще более быстрыми, еще более мощными. Это совсем не значит, что старые так уж плохи и их нужно тут же отправлять на свалку. Просто новые глубже анализируют позицию, еще на какую-то фракцию мощнее, быстрее. На языке современных шахмат эта фракция нередко выражается очком, пусть даже половинкой очка, но эта половинка определяет в конечном итоге результат в турнире, разницу в рейтинге и, как следствие, — субординацию в шахматном мире.



«Чтобы выиграть спринт, — сказал знаменитый велогонщик прошлого, когда ему исполнилось тридцать, — нужно выходить на старт с чувством: победить или умереть, а этого у меня уже нет».

Эта проблема, уверен, знакома и шахматисту в возрасте. Матулович, в свое время один из самых агрессивных гроссмейстеров, после пятидесяти стал свертывать игру при малейшей опасности, действительной или мнимой. Весь его организм противился насилию над ним во время игрового процесса! На то же самое жаловался и Шамкович в конце жизни, объясняя, почему он предлагает теперь ничьи в ранней стадии партии: «Это не я, это мой мозг протестует — дай мне покоя».

Анатолий Карпов вспоминает, как маленьким мальчиком пришел в шахматный клуб Златоуста и тренер усадил его играть с шахматистом по фамилии Морковин, которому шел восьмой десяток: «Испытание, которое мне предложил тренер, только внешне выглядело серьезным. Если человек более полувека играет в шахматы, что такое мозги на восьмом десятке — не надо объяснять».

Это совершенно естественный процесс, что к пятидесяти годам всё начинает понемногу портиться: кровь, ткани, зрение, зубы. Что же говорить о нервной системе шахматиста, получающей с детства такую нагрузку.

Вспоминаю, как на турнире в Лон-Пайне в начале 80-х годов я встречал гроссмейстера Лейна, которого хорошо знал еще по питерским временам. Выглядел он, несмотря на свои пятьдесят с небольшим, превосходно: Лейн бросил курить и, регулярно посещая фитнес-клуб, был буквально налит мускулами. Однако игра у него совершенно не шла. «Ты мне можешь сказать, — озадачил он меня однажды во время утренней прогулки, — почему раньше, когда я играл в шахматы, идеи прямо роились в голове, а сейчас в ней только дерьмо?»

«Как играл раньше, я уже не могу, а так, как играю сейчас, — не хочу», — объяснял довольно приличный украинский мастер, почему он больше не участвует в соревнованиях.

Опытный спортсмен знает, что с возрастом следует беречь энергию, не растрачивая ее понапрасну, что интенсификация тренировочного процесса бессмысленна и даже вредна. Профессиональный американский баскетболист доигрывал последние годы, выступая за немецкие клубы. Тяжелым, изнурительным тренировкам он предпочитал легкие упражнения разминочного характера.

«Молодые ребята удивляются, что я не прыгаю на тренировках за уходящим в аут мячом. Я знаю свои возможности и представляю себе, сколько мне еще осталось играть, — объяснял он. — От меня ожидают 18–20 очков в каждом матче. Если буду набирать меньше 15 — нехорошо, но я и не очень-то радуюсь, если набираю очков 25 или больше: они будут думать, что я в каждом матче так смогу».

Конечно, при условии безоговорочного и полного подчинения всей жизни тренировочному процессу что-то может и воздастся сторицей, но кроме Корчного в сегодняшних шахматах некого, пожалуй, и привести здесь в пример. Но и для него отдача совершенно непропорциональна затраченному времени и усилиям. Не говоря о том, что очень часто даже такой подвижнический труд не приносит вообще никаких плодов.

Когда Ефим Геллер выиграл в 1979 году чемпионат Советского Союза, ему было пятьдесят четыре года. «Какие могут быть секреты, — сказал он. — Работать с годами надо больше, вот и всё!» Легко сказать. С возрастом как раз хочется меньше работать. В следующем первенстве страны Геллер выступил крайне неудачно. А гроссмейстер Логинов, став в пятьдесят чемпионом Петербурга, одной из причин своего успеха назвал как раз то, что он стал с годами легче относиться к подготовке.

Известно, что характерной чертой первой половины жизни является неутомимая жажда счастья, второй же — боязнь несчастья. Чувство это знакомо и шахматистам. «Когда я был молод, мне казалось, что если покажу всё, на что способен, я выиграю партию; теперь же мне кажется, что если покажу всё, на что способен, я не проиграю», — говорил Тарраш в пожилом возрасте. Все шахматисты, у которых успехи остались в прошлом, жалуются на потерю мотивации, накапливающуюся усталость, проблемы с концентрацией, желание сыграть понадежней, сберечь энергию.

Вспоминает Юрий Авербах: «Мне было пятьдесят, когда я играл в полуфинале первенства страны с Цешковским. Цейтнот, острейшая позиция, у меня висит флаг. Он думает над ходом. Я решаю выпить кофе и беру термос, стоящий рядом на столе. Смотрю на своего соперника — у того глаза расширяются: оказывается, я взял шахматные часы и пытаюсь отвернуть крышку термоса...

На том же турнире имел легко выигранную позицию с Зальцманом. Так сделал второй ход варианта вместо первого, еле-еле на ничью уполз. Но не всё было еще потеряно. Для выхода в финал я должен был набрать в трех последних партиях полтора очка. Проиграл бесславно две и сделал одну ничью, а ведь в молодые годы я очень хорошо играл на финише. Именно после того полуфинала я всё понял: возраст! От этого уйти еще никому не удавалось, теперь пришел и мой черед. И я решил прекратить практическую игру.

Самой главной причиной снижения результатов с возрастом считаю снижение мотивации, если она еще остается. Ну и, конечно, накопление усталости. Ведь шахматы на профессиональном уровне являются труднейшим интеллектуальным спортом, а если это спорт, то он требует ежедневной тренировки. Ежедневной! Легко ли пожилому человеку подвергать себя таким испытаниям? А тяжелые перегрузки при игре в турнирах?! Когда тебе двадцать, достаточно выспаться как следует — и ты в

порядке. А ежели тебе пятьдесят, требуется неделя, чтобы прийти в себя после напряженной партии. Ты устаешь, с каждой партией всё больше и больше; происходит накопление усталости, приводящее к цейтнотам и необъяснимым просмотрам».

Ян Тимман: «С возрастом в первую очередь пропадает способность длительной концентрации, без которой невозможно постоянно держать партию под контролем. Уходит энергия, ментальная энергия. Я восхищаюсь Корчным, но не завидую ему, потому что знаю, чего стоит это колоссальное напряжение».

Борис Гулько: «Уходят творческая энергия и желание. Кроме того, пропадает уверенность, а уверенность в себе — это свойство молодости и очень важное профессиональное качество. Иногда во время партии появляется позорная мысль: а не предложить ли ничью, чтобы сохранить побольше сил? Раньше таких мыслей не было и в помине».

Владимир Тукмаков: «Считаю, что это связано в первую очередь с проблемой концентрации. В турнире, в конкретной партии, в поисках лучшего хода. Это замкнутый круг: если длительное время не играешь в сильных турнирах, исчезает необходимая концентрация, а если ее нет, то и играешь хуже и не попадаешь в сильные турниры. Кроме того, начинаешь задумываться о жизни, о том, правильно ли был сделан выбор, а такие мысли не способствуют настроению за доской и конечному успеху».

Артур Юсупов: «Сейчас я, безусловно, играю хуже, чем в двадцать пять. Мотивация — главное. Когда я в семнадцать лет играл в чемпионате мира среди юношей, то настроение было: если надо выиграть последние три партии, я выиграю их, и сомнений не было. Сейчас и близко такого нет. Изменились ценности. В годы молодости победа в турнире была самым главным в жизни. Сейчас я так не думаю. Шахматы не являются больше вопросом жизни и смерти, успех в них уже не главное, есть семья, дети, надо зарабатывать. Всё это — жизнь. Чтобы добиться максимума, надо выкладываться на сто процентов. Я думаю, что у меня был такой момент в карьере, когда я дошел до своих ста процентов. Другой момент — наличие энергии: даже если я делаю те же самые ходы, что Морозевич, он играет убедительнее, вкладывает в них какое-то другое содержание, и противники в ужасе... Энергия, вот что уходит с годами».

Многие пожилые шахматисты мечтают поскорее достичь отметки шестьдесят, позволяющей им играть в чемпионатах мира и Европы для сеньоров. Вспоминаю, как Багиров жаловался, недобирая двух недель до желанной даты: «Ну что мне стоило шестьдесят лет назад немного поторопиться!» Едва разменяв седьмой десяток, в этих турнирах играли Марк Цейтлин, Яков Мурей и другие известные гроссмейстеры. Если посмотреть на таблицы чемпионатов, нетрудно заметить, что число участников в них неизменно растет, а сами турниры становятся всё популярнее.

Еще более впечатляющую картину можно было наблюдать в ветеранских турнирах по бриджу — куда более массовых, чем шахматные. Многие бриджисты с нетерпением ожидали 55-летнего возраста, еще совсем недавно дававшего им право выступать в таких турнирах. Желающих стало так много, что Всемирная федерация бриджа решила начиная с 2004 года «повысить планку» до шестидесяти лет.

В отчетах о ветеранских шахматных турнирах нередко можно встретить жалобы игроков, приближающихся к восьмидесяти, а то и перешагнувших этот рубеж: фора, которую они дают «молодым» (шестидесятилетним), слишком уж велика. Резон в этом есть. Ведь восемьдесят, даже семьдесят лет — совсем не то же самое, что шестьдесят. Ратмир Холмов заметил как-то, что в шестьдесят, даже в шестьдесят пять он не чувствовал возраста, но играть после семидесяти стало много труднее. Здесь совсем по-другому ощущаешь тяжесть бытия.

Иногда ветераны принимают участие и в обычных открытых турнирах. Тогда рядом с их фамилией можно увидеть грустную букву «s», означающую, что обладатель ее достиг почтенного сеньорского возраста. Конечно, шахматист может говорить, что это только буква на бумаге, а в душе он по-прежнему молод. Есть счастливые люди, которые до глубоких седин ощущают себя молодыми, но если в повседневной жизни им это частенько сходит с рук, то шахматы безжалостны и к таким счастливым натурам.

Слово «ветеран» происходит от латинского *vetus* (старый) и означает опытность, большой стаж деятельности. По Далю, ветеран — это одряхлевший солдат, заслуженный старец. Такое определение устарело, конечно. Следует реабилитировать, во всяком случае по отношению к шахматам, и другое, осуждаемое «Словарем русского языка» как тавтологическое, словосочетание — «старый ветеран». Потому что появились старые ветераны и ветераны молодые. А на подходе — еще более молодые! Не удивлюсь, если в будущем будет сделана градация ветеранов; появятся суперсеньоры, юниорсеньоры, а там — кто знает — и кандидаты в юниорсеньоры!

Помимо пенсионного и предпенсионного поколений в шахматах в последнее время возникло еще одно, которое в литературе Зинаида Гиппиус называла «подстарками». Их возраст начинается обычно после тридцати, задолго до тех тридцати пяти — сорока, которые Ботвинник когда-то называл лучшими годами шахматиста. Сегодня в этом возрасте сходят со сцены, лишь немногим удается еще держаться в авангарде, но все они познали уже неудачи и разочарования. Тем же, кто, несмотря ни на что, пытается противостоять новому потоку, еще предстоит залезать на деревья, крепче держась за ствол, уходить из юрты в пургу и быть съеденными «молодыми варварами», как Доннер называл идущих на смену.

Возрастная планка, при которой шахматист чувствует, что энергия и амбиции его идут на убыль, постоянно снижается. На турнире в Вейк-ан-

Зее 2005 года после захватывающего поединка с Александром Морозевичем, судьба которого решилась в обоюдном цейтноте, Найджел Шорт признался: «Я чувствую себя совершенно опустошенным. Ментально я превращен в руину. Нет никакого сомнения, что это следствие моего возраста». Хотя Шорт и был старейшим участником, ему исполнилось только сорок. Приведу мнение — такое ли уж шутовское? — опытного тренера Евгения Владимировича: «Современные шахматы с ускоренным контролем времени на обдумывание лицам старше тридцати не могут быть рекомендованы, а тем, кому за сорок, — должны быть категорически запрещены. С медицинской и гуманной точек зрения».

Владимиру Крамнику год назад исполнилось тридцать, но он говорит: «Я чувствую себя уже немного ветераном и не собираюсь продолжать играть в шахматы до конца моих дней. Быть может, еще лет десять, точно не больше. Скажем, до сорока — это максимум».

Петру Свидлеру было двадцать пять, когда он сказал: «Хотя я и не ощущаю себя стариком, понимаю, почему приглашают в турниры Раджабова или Карякина. Надеюсь, что пяток-то лет в серьезных шахматах у меня еще есть...»

Чтобы добиваться сегодня успехов, надо работать еще интенсивнее, подбрасывая в топку еще больше угля. Неудивительно, что и стирание происходит много быстрее. Процесс этот касается любого вида спорта, и шахматы не исключение. В каком возрасте будут зачислены в ветераны мальчишки и девчонки, начавшие играть в пять-шесть лет и ставшие гроссмейстерами, еще не закончив школы? Первая клонированная овца Долли начала в сравнительно молодом возрасте проявлять очевидные признаки старения — эффект, который никто не мог предвидеть. Жизнь спортсмена на высоком уровне не может продолжаться бесконечно, и мы не можем предугадать, какими будут результаты сегодняшних вундеркиндов в возрасте, скажем, двадцати пяти — тридцати лет. Сохранится ли у них творческий запал, любовь к игре, желание снова и снова что-то доказывать, наконец, просто нервная энергия? Потому что в шахматах, как в сказочном Зазеркалье, даже чтобы оставаться на одном месте, нужно все время бежать.

В любом профессиональном спорте снижение результатов связано с сильными перегрузками и травмами, не позволяющими организму функционировать на прежнем уровне. У шахматистов потеря мотивации и энергии, изнашиваемость нервной системы и ослабление концентрации внешне проявляется менее заметно, создавая нередко иллюзию случайности неудачи, — мол, в следующий раз будет по-другому, еще смогу, ведь раньше же получалось. Поэтому перемещение на вторые, а потом и на третьи позиции в шахматах зачастую происходит много болезненнее, чем в других видах спорта, где приговор выносит сам организм, не выдерживающий перегрузок, с которыми легко справлялся в молодости.

«Я не чувствую себя старым, у меня еще достаточно энергии. Единственная разница между мной в тридцатилетнем возрасте и сегодняшним заключается в том, что тогда я всегда находился в прекрасной форме, а сейчас форма переменчива: порой нахожусь в ней, порой нет», — говорил Карпов, когда ему исполнилось пятьдесят. Ему трудно признать, что возраст — объективный фактор, с которым нельзя не считаться, а «переменчивая форма» как раз и есть следствие возраста.

В июле 2003 года сорокалетний Каспаров сказал: «Мои последние, далеко не лучшие результаты, по-моему, абсолютно не связаны с моим возрастом... Самая большая разница между мной 20-летним и мной 40-летним — в моей шевелюре. Точнее, в ее цвете и пышности».

С последним утверждением трудно не согласиться, хотя разница, конечно, не в шевелюре, а в том, что находится под нею. Оглядываясь на пройденный путь и объявляя о своем уходе из шахмат, Каспаров признавал: «Я помню некоторые сыгранные мною великие партии и помню, что был очень, очень возбужден перед игрой. Я чувствовал, что во мне бушует огромная энергия. К сожалению, это осталось в прошлом. Совершенно очевидно, что человек с возрастом утрачивает способность к концентрации».

Я уже не играю в шахматы. Или почти не играю. Нельзя же принимать всерьез две-три партии в год клубного чемпионата страны, когда я сажусь за доску, только если команде грозит вылет во второй дивизион или, наоборот, забрезжили шансы на переход в премьер-лигу. Но даже играя только эти партии, я уже заранее чувствую нарастающую нервозность, усиливающуюся во время самого процесса, раздражение на судью, вошедшего в «поле» моей партии, на громко переговаривающихся между собой игроков, пока их соперники думают над ходом, на партнера, сделавшего неосторожно (и неумышленно, конечно) резкое движение или помешавшего ложечкой кофе, на постоянно открывающуюся дверь в зал, на луч солнца, падающий на доску. Наконец, на соперника, когда тот, почти не думая, делает ход, который я даже не принимал во внимание, рассчитывая варианты. Рассчитывая варианты? Так ли это? Мышление шахматиста в возрасте очень напоминает манеру игрока в снукер. Он видит, разумеется, весь стол, конфигурацию шаров на нем, понимает, что где-то — шары разбросаны, в дальнем углу — опасная ситуация и один неосторожный удар может стоить сразу целого фрейма. Но более чем на два хода вперед он не рассчитывает — знает из опыта, что и этот, пусть несложный, шар надо еще забить, чего там на будущее загадывать. Так и пожилой шахматист чаще всего старается свести свои расчеты к минимуму, полагаясь на опыт, стараясь по возможности «делать ходы рукой». Увы, этого далеко не всегда бывает достаточно. И первый, кто замечает это, — сам игрок. Следствие — отвлечение к самому себе, когда делаешь второсорт-

ные ходы, понимая это часто в процессе самой игры. Проверка на компьютере почти всегда вносит дополнительные отрицательные эмоции. Даже после партии, на первый взгляд казавшейся логичной, сознаёшь, какое количество брака было допущено, сколько возможностей, о которых даже не подозревал в ходе игры, осталось за кадром, — и какие-либо иллюзии развеиваются окончательно.

К тому же старым шахматистам труднее приспособиться к новым веяниям игры, в то время как молодые впитывают всё естественно и очень быстро. Иногда создается впечатление, что они многое знали об игре еще до рождения. Это явление известно в природе. Все знают, например, о чудесном перелете птиц с севера на юг. Непостижимо, как летят они много тысяч километров, не сбиваясь с пути. Но еще чудесней станет для нас этот перелет, когда мы узнаем, что первыми улетают на юг не старые, знающие дорогу птицы, а вчерашние птенцы, никогда не летавшие и не знающие даже страну, в которую улетают! Молодые птицы, всего шесть месяцев назад как вылупившиеся из яиц, первыми снимаются с насиженных мест и без ошибки летят путем своих предков.

Набоков утверждал, что писателю наступает конец, когда его начинают одолевать вопросы типа: что такое искусство? кому это всё нужно? и т.д.

Шахматисту приходит конец, когда он говорит себе, что помимо шахмат в мире есть много других интересных вещей: столько непрочитанных книг, неслышанных симфоний, невиденных стран и много еще всего. Потому что для успеха в шахматах, даже при наличии таланта и неустанной работы, требуется еще полное подчинение себя поставленной цели и искренняя вера, что ослабленная позиция вражеского короля, который должен подвергнуться комбинированной атаке, и есть цель и смысл всего существования. И это — главное, без всяких почему и зачем.

Нельзя стать узким специалистом, не став в строгом смысле болваном, говорил Бернард Шоу, и определенный смысл в его словах есть, конечно. Любимец Голландии, один из самых выдающихся футболистов нашего времени, харизматический Йохан Круифф сказал как-то, что на протяжении долгих лет всегда брал с собой в поездки одну и ту же книгу, но ни разу ему не удалось пойти дальше двадцатой страницы. Когда у него спросили о названии книги, он, как ни силился, не мог его вспомнить...

Когда я читаю в интервью молодых талантов, что они решили окончить институт, дабы обеспечить себе тылы в случае неуспеха в игре, а некоторые уже приступили к реализации этого плана, я, уважая их решение, мысленно вычеркиваю их имена из больших шахмат.

Трагедия шахматиста заключается в том, что, несмотря на полную самоотдачу, абсолютный режим и искреннюю любовь к игре, успехи у него будут встречаться всё реже и реже, а число неудач возрастет. Но, может быть, он утешится, взяв себе за образец японского самурая, хорошо знав-

шего: сколько бы сражений он ни выиграл и как бы много наград ни получил, в конце его ждет трагическая судьба. И судьба эта не будет результатом ошибки или невезения (хотя и это может иметь место), — трагичность заключена в самом сценарии человеческой жизни. Так и шахматист — презрев мысли о том, что ожидает его в будущем, должен смело смотреть в глаза настоящему, просто наслаждаясь оригинальной идеей, красивым маневром, новым турниром. Выпавшему мгновению сыграть партию в шахматы.

В любой области только фанатично преданные делу люди могут добиться больших высот. Даже замечательный талант без страстного желания превращается в посредственность. Великим же делает только редкое соединение таланта и фанатизма. Но за подчинение жизни только одной цели надо платить, жертвуя чем-то другим, и вопрос: что же правильно? — сводится к вечному вопросу о смысле жизни самой.



## **ОТКРОВЕНИЯ ОТ ИОХАННЕСА**

**Ч**рез несколько мгновений после того как мой противник сделал свой тридцатый ход, отключился свет. От чего-то глубокого дуновения все огни в Сьенфуэгосе были потушены, и мы оказались в крошечной тьме. Даже человек с очень слабо развитым воображением понял бы сокровенный смысл случившегося: сама природа содрогнулась под тяжестью греха, совершенного моим соперником своим последним ходом. (То, что я на Кубе был настроен апокалиптически, объясняется не только моим подавленным настроением вследствие неудачной игры в турнире. Скорее причина лежит в другом: там я известен под именем Иоханнеса Доннера, которое они попросту переписали из моего паспорта. Что ж, это имя, которого я не должен стыдиться. Полагаю, что даже имя Родригеса — Орест уступает Иоханнесу: ведь именем Иоханнес я обязан «Откровениям Иоанна Богослова», и оно уж никак не хуже какого-нибудь Фридриха.)

«И услышал я, Иоханнес, громкий удар грома и голос с Небес: «Ах». И солнце стало черным, и луна стала кровавой. И семь ангелов с семью скрипками вскричали «Ах», и четыре зверя вскричали «Ах», и 124 тысячи человек вскричали «Ах». И легла тишина на Небесах, и длилось всё это три часа. И ангел перенес меня на другой берег моря. И увидел я огромного зверя, выходящего из моря. И был этот зверь с семью головами и десятью рогами. И пасть у него была, как пасть льва, и говорил он гордо и богохульно. И была дана этому зверю сила вредить людям в течение времени, и другого времени, и еще половины времени. А имя зверя было по-еврейски Аввадон, а по-гречески Аполлион».

Отключение света явилось катастрофой для организаторов и судей. Вообще говоря, судьи на шахматных турнирах совершенно не нужны; их присутствие замечаешь только, когда они шипят публике: «Тишина!» да вырывают фигуры из рук игроков, после того как те закончили партию и намереваются приступить к анализу.

Но здесь они действительно столкнулись с проблемой, о которой ничего не сказано в регламенте соревнований. Организаторы связались с центральной подстанцией, но там обещали подачу электроэнергии не ранее чем через три часа.

Что делать? Оставалось еще полтора часа до первого контроля времени, и было решено, не записывая хода, отложить все партии в положении, возникшем в тот момент, когда отключилось электричество. (Я был очень рад, что электричество не отключилось на несколько секунд раньше.) Партии должны были быть продолжены в десять часов вечера. Нет никаких сомнений, что услышать об этом решении судейской коллегии моему сопернику было крайне неприятно.

*Кинтерос — молодой человек 24 лет от роду. Черные, блестящие глаза его и беспорядочно выющиеся волосы некоторых девушек — увы, не самых некрасивых — совершенно сводят с ума. Вчера вечером я заметил его в баре с неопишуемой красавицей. Она, кстати говоря, не была той же самой, в обществе которой находился Кинтерос двумя днями раньше, — та была с большим ртом и маленьким изящным носиком, — но на лице этой было то же самое выражение безграничного восхищения.*

*Не побоюсь ошибиться, если предположу, что Кинтерос на десять часов вечера имел совершенно другие планы, чем играть в шахматы с Йоханнесом Доннером. Для того чтобы насолить ему еще больше, я заметил, что крайне сожалею, что он на предыдущем ходу не сделал выигрывающий ход, который я ему, естественно, и сообщил. В этом случае я был бы вынужден немедленно сдать партию.*

*После анализа отложенного положения я пришел к выводу, что моя позиция всё еще совершенно проиграна, но, учитывая психологические, философские и теологические факторы, надеялся на благополучный исход. Для выигрыша моему сопернику требовалось все же сделать пару точных ходов, и я сомневался, будет ли он в состоянии их найти. Действительность превзошла все мои ожидания. Делая ошибку за ошибкой, Кинтерос упустил сначала выигрыш, а потом и ничью.*

*Не могу удержаться, чтобы не заметить, что, когда он сдался, я сказал нечто, чего никогда еще не говорил после выигрыша партии. Может быть, думал об этом, но никогда не говорил. Я сказал: «Sorry».*

Эта история приключилась на мемориале Капабланки-1972. В том году турнир проходил не в Гаване, а в Сьенфуэгосе на южном побережье Кубы и был менее представительен, чем обычно. Иностранцев было немного: помимо Доннера честь Западной Европы защищал шотландский мастер Леви, из Советского Союза приехали гроссмейстеры Платонов и Лейн, из Южной Америки — аргентинец Кинтерос и Родригес из Перу. Остальные участники турнира были кубинские мастера.

Отрывок из Библии, который Доннер процитировал, написан им по памяти и явился записью Хейна в книге посетителей музея, построенного на том месте, где 16 апреля 1961 года в заливе Свиней кубинцам удалось отразить американское вторжение. Сьенфуэгос расположен совсем неподалеку, и в выходной день участники турнира побывали с экскурсией в этом музее. Доннер признался, что каждый, знакомый с Библией, сразу увидит, что цитата, приведенная им, не вполне соответствует оригиналу.

*Что ж, — напишет он, уже вернувшись в Амстердам, — это был текст Библии, запомнившийся маленькому мальчику и оставшийся в его памяти на всю жизнь. На самом деле здесь смешаны две части из откровения Иоанна Богослова.*

*Вот правильный текст: «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан ей был ключ от кладязи бездны. Она отворяла кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух из кладязя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. (...) У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была — вредить людям пять месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аввадон, а по-гречески Аполлион».*

*Мои гостеприимные кубинские хозяева были очень поражены этим текстом и странными именами, в нем встречающимися. Я не нашел ничего лучшего, чем сказать, что имена Аввадон и Аполлион рифмуются с Никсоном.*

*«Схаакбюллетин», апрель 1972*

## **АРМИЯ СПАСЕНИЯ ИЗГОНЯЕТ ШАХМАТИСТОВ**

*С незапамятных времен существует глубокое взаимное недоверие между религией и шахматной игрой. Немало отцов церкви предупреждали об опасности шахмат, в то время как многие шахматисты, вследствие логического мышления, стали необходимого для игры, отошли от постулатов веры.*

*В субботу днем, во время первой партии матча между Ларсеном и Портишем в роттердамском «Дулене» \*, это веками длящееся противостояние переросло в открытый конфликт.*

*Партия еще не вышла из дебюта, оба соперника только нащупывали наиболее выгодные поля для своих фигур, когда публика и организаторы с беспокойством заметили, что огромное здание «Дулена» стало наполняться людьми, по униформе и фуражкам которых можно было безошибочно определить, что они принадлежат к Армии Спасения. Это беспокойство можно понять: если Армия Спасения и относится к самым мирным армиям в мире, то из всех христианских организаций она, без сомнения, самая шумная.*

*Этим ее представители выделяются даже в уличных проповедях, где они выступают небольшими группками. В тот же субботний день их присутствие исчислялось сотнями, тысячами, так что опасения, что звуки их песнопений достигнут зала, где сражаются шахматисты, имели под собой все основания. Так и случилось, причем очень скоро. Сопровождаемые трещотками, свирелями и звоночками, вырвавшиеся из тысячи глоток словословия и кантаты обрели необычайную мощь. Хотя те из шахматистов, кто причисляет себя к агностикам, сомневаются, достигла ли эта мощь тех высот, для которых она предназначалась, небольшой зал на втором этаже, где Ларсен и Портиш вели свой захватывающий поединок, сотрясся от*

---

\* Самый большой концертный зал Роттердама, где в 1977 году состоялся четвертьфинальный матч претендентов Ларсен — Портиш.

страшного грохота. Триумф над шахматами, одержанный этими восхвалениями мира и любви к ближнему, был полный.

Игроки тут же заткнули уши руками, в то время как арбитр немедленно остановил часы. Когда стало ясно, что всё это будет продолжаться еще часа два, было решено оставить поле боя; после некоторых поисков нашли помещение в одном из офисов неподалеку. Нечасто Армии Спасения удавалось одержать такую безоговорочную победу.

Между тем очень скоро выяснилось, что этот инцидент не остался без последствий. Ларсен, игравший белыми, и без того ничего не получил в дебюте, после же вынужденного переезда возобновил игру без надлежащей концентрации. Перемещение в другой зал произошло после двенадцатого хода, и его вялые маневры на новой игровой площадке свидетельствовали о нерешительности и отсутствии плана. Портиш немедленно воспользовался этим, получив преимущество двух слонов. Несмотря на находчивую защиту, Ларсену не удалось уравнять игру, и партия была отложена в безрадостной для него позиции. При доигрывании на следующий день Ларсен попытался жертвой пешки обострить положение, но это не помогло, и на 66-м ходу он сдался. Портиш выиграл отличную партию, но организаторам матча должно быть стыдно. Кто организует шахматное соревнование в концертном зале?

Мы надеемся, что Армия Спасения призовет в своих молитвах высшие силы, чтобы Ларсен не обратился с протестом в ФИДЕ, потому что для такого протеста у него имеются все основания.

Разумеется, до начала матча дирекция «Дулена» гарантировала, что шум из концертного зала не проникнет в маленький зал, расположенный на втором этаже, но куда смотрели организаторы? Самый большой грохот, кстати, раздавался не из концертного зала, а из другого, где производилась запись на радио! Этого что, нельзя было избежать? И почему бригаду с радио не вышвырнули из помещения, когда всё это только началось? Организаторы матча вообще мало о чем задумывались, потому что уже после того, как шахматисты переехали в новое помещение, ровно в шесть начали громко отбивать время часы на церкви, находящейся поблизости.

Терпение Портиша, но в первую очередь, конечно, Ларсена еще, к счастью, не исчерпалось, и они согласились продолжать матч в «Дулена» по новой игровой схеме, когда там не будет никаких музыкальных представлений. Сможет ли и церковь вести себя спокойней в эти дни?

«Фолкскрант», 26 февраля 1977

## ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Возвратясь от родственников, у которых она гостила несколько дней, маленькая Марьяна находилась под впечатлением обычаев, заведенных в этом доме.

— Перед обедом они закрывают глаза, складывают руки на животе и говорят: «Спасибо. Большое спасибо...» Очень забавно. Почему мы этого не делаем?

Есть в жизни моменты, когда жена беспомощно оглядывается по сторонам и призывает меня на помощь, потому что поколения пасторов, которые были в нашем роду, взирают на меня с недостижимой высоты, и в вопросах веры моя жена считает меня очень сведущим.

— Кому говорят они спасибо? Кто слышит их? — пробую я сразу схватить быка за рога.

— Бок. Колобок, — отвечает Марьяна без затей.

Она не знает имени Всемогущего и заимствует свой ответ из знакомой ей сказки, что совсем не лишено логики. И я, непримиримый отрицатель Бога, оказываюсь в положении Всевышнего, который должен всё объяснить ребенку. Что есть люди, которые верят, что всё произрастающее на земле кем-то сделано и что есть кто-то, кого они должны благодарить за это. Так же как она благодарит маму, когда что-то получает от нее. Что всё, что они называют «Богом», это как мама, и поэтому воспитанные люди говорят «большое спасибо». И всё в таком духе, потому что даже отпетый атеист стоит порой в удивлении перед загадкой мироздания.

Но, как это часто бывает, все мои аргументы разбиваются в прах, когда, вернувшись из школы, маленькая Марьяна сообщает, что эта глупая Соня сказала, будто дедушка раньше был обезьяной. Ее возмущение настолько велико, что она излучает святое убеждение истинно верующей. Христианство, кстати, ее совершенно не волнует. «Это дитя в Рождество довольно мило, но что было дальше?» — задает она риторический вопрос.

Люди, у которых дома на стене висит человек, прибитый гвоздями к двум дощечкам, не могут рассчитывать на ее расположение. Она говорит о них осуждающе; у нее мягкое сердце, и распятие — не для нее. Но с Буддой, сидящим в «Артисе»\*, она в ладах и очень благоволит к нему. «Иисус с длинными ушами», — тут же заметила она, и я должен был в десятый раз рассказывать о королевском сыне, который не хотел править в мире страдания.

Ей только шесть, но она уже понимает это. Удивительно, что дети в таком возрасте уже сознают, что какой-то червь подтачивает сочное яблоко жизни. Ее дед сыграл в понимании этого немаловажную роль. «Ты мне не очень нравишься», — заявила она ему неожиданно, когда ей было три года. «Это потому, что дедушка очень старый», — объяснил мой отец с глубоким пониманием. «А я вот — нет!» — воскликнула она тогда заносчиво, но с тех пор эта самоуверенность куда-то исчезла. Сейчас она может расплакаться, потому что другого своего дедушку она никогда не видела: «Смерть, что такое смерть?»

---

\* Зоопарк в Амстердаме.

*Мои собственные терзания в этом возрасте я помню очень хорошо, а если что-нибудь исчезло из памяти, то под влиянием дочери всё вспоминается тут же, хотя занимавшая меня проблема была глубже: откуда я произошел? Когда я задавал вопросы на эту тему, ответ всегда был один: в свое время ты это узнаешь. В отличие от вопроса о том, куда попадает человек в конце жизни, на который с печальной серьезностью всегда говорилось: на небо.*

*Раньше дети были защищены представлениями и убеждениями своих родителей, в настоящее время уже в юном возрасте им открывается суровая правда жизни.*

*Журнал «Тайд», май 1980*

## ДВОЕ НА ОДНОГО

Вопросы религии всю жизнь занимали Доннера. Суровая голодная зима 1945 года заставила его окончательно уверовать в то, что Бог не существует, «иначе бы он не допустил столько страданий на земле», и Хейн прямо заявил об этом отцу. Огорченные родители должны были смириться с тем, что сына больше интересуют проблемы существующего правопорядка, чем библейские заповеди. Несмотря на это, он довольно часто цитировал Библию, и Ольга Блау, подруга Хейна амстердамских послевоенных лет, даже называла его Хейн-Кальвейн, как по-голландски произносится имя Кальвина.

Много позже он писал: *«Когда Сартру было одиннадцать лет, он обнаружил, что Бога — нет. Однажды он стоял, ожидая двух своих подружек, но они не пришли, и внезапно он подумал: «Так я и знал — Бог не существует». Сартр оставался верным этому откровению всю свою жизнь и позже вынес его очень далеко за пределы горизонта».* Примерно то же самое можно сказать и о Доннере, чья во всем сомневающаяся и ничего не принимающая на веру натура проявилась уже в детские годы, когда маленький Хейн заявил опешившему отцу, что Адам и Ева не могли стоять у истоков жизни на Земле.

*«После смерти отца в мои руки попало письмо, которое я написал ему, когда мне было четырнадцать лет. К этому времени семена сомнений, главным образом интеллектуального происхождения, проросли уже в моей душе. Фактическая ложность Откровений, особенно по части сотворения мира, стала очевидной для меня. Хотя я должен был тогда посещать церковь, в библейский рассказ о происхождении всего живого я не был в состоянии больше верить, так как рассказ этот дисгармонировал с блистательной красотой теории эволюции. Поэтому во время обмена мнениями на собраниях религиозного молодежного объединения я без обиняков спросил пастора: «На каком основании всё, что написано в Библии, — правда?» С железной*

логикой догматика тот отвечал: «На основании Второго послания Петра, главы первой, двадцать первого параграфа и на основании Послания к галатам, параграфов восьмого и девятого».

Мне показалось это ужасно смешным. Истина здесь объяснялась при помощи факта, содержащегося в нем самом. И хотя я тогда слыхом не слыхивал о «Математических принципах» Бертрана Рассела, я осознал совершенно ясно, что нельзя объяснять что-то при помощи того же самого, что для этого нужно нечто другое, другие доказательства.

К этому следует добавить, что, когда я стал вдумываться в аргументы человека, чьему имени обязано христианство, он предстал для меня в совершенно ином свете. Я до сих пор полагаю, что высказывания типа «Не судите да не судимы будете» или «Пусть левая рука не ведает, что делает правая» заимствованы из древнегреческой логики, для того чтобы избежать парадокса Эпименида\*».

Особенно Доннер возмущался заповедью «Возлюби ближнего, как самого себя», полагая, что заповедь эта противоречит самой природе и вместе с другими, проповедующими покорность и смирение, неприемлема для здравомыслящего человека.

Все ритуалы, связанные с протестантской религией, строго выполнялись в доме Доннеров: сдержанность и скромное приличие во всем, регулярные семейные чтения Библии, обязательное посещение церкви, в воскресенье — дважды. Тогда в Голландии воскресенье почиталось особым днем, и единственным приличествующим занятием в этот день признавался поход в церковь. Любая деятельность, связанная с работой в воскресенье, считалась грехом, и шахматы не являлись исключением. Вернее, не столь сама игра была грешной, сколь факт, что ради этой твоей прихоти должны работать в день, предназначенный для отдыха и молитв, другие: водитель автобуса, доставляющего тебя к месту игры, буфетчица, готовящая кофе, судья, исполняющий свои обязанности, и т.д.

Я еще застал времена, когда регламент чемпионатов страны составлялся таким образом, чтобы выходные дни приходились на воскресенье. В положении о турнире имелась статья, что если шахматист по религиозным мотивам отказывается играть в воскресенье, для него должен быть изыскан другой день. Не могу припомнить, чтобы эта статья получила практическое применение, но знаю точно, что мастер Зюйдема никогда не играл по воскресеньям.

Религия всегда с подозрением смотрела на игры, и отношение церкви к шахматам в Западной Европе претерпевало различные оттенки, оставаясь в целом негативным. Сохранилось письмо кардинала Дамиа-

---

\* Знаменитый жрец, утверждавший, что все критяне — лжецы. Если Эпименид говорит правду, то он лжет, а если он лжет, то говорит правду.

ни к папе Александру II, в котором он строго отзывается о страсти к шахматной игре и сообщает, что наложил на одного священника, игравшего в гостинице с другими гостями в шахматы, обет прочесть три раза псалтырь, а затем совершить омовение ног у двенадцати нищих и одарить их деньгами. Несмотря на любовь к шахматам отдельных представителей духовенства, церковь считала шахматы азартной игрой, что не было преувеличением, так как не только ставки достигали порой колоссальных сумм, но и зрители нередко держали крупные пари на игроков.

Впрочем, любители шахмат встречались и среди восседавших на Святом престоле. Так, Пий V, страстный поклонник шахмат, до того был очарован блестящими комбинациями Паоло Бои, одного из лучших игроков 16-го века, что обещал ему всевозможные льготы, если он перейдет в духовенство. Но Бои слишком любил странствующую жизнь, чтобы принять предложение Папы, и, даже когда тот пытался прельстить его кардинальской шапкой, остался непреклонен в своем решении.

Любовь к игре приписывается и Иоанну Павлу II. В некоторых шахматных журналах появлялись даже двухходовки, автором которых был Кароль Иосиф Войтыла: под этим именем Святой отец появился на свет. На самом деле эти задачи принадлежали проблемисту, публиковавшему под именами известных людей собственные композиции. Что касается Кароля Войтылы, то в молодости он действительно увлекался спортом, отдавая предпочтение футболу и горным лыжам, а в последние годы являлся тайным болельщиком «Ливерпуля».

В России церковь изначально запрещалась всякая игра. Ставя шахматы на одну доску с такими запретными удовольствиями, как игра в кости, песни, «бесовские сказания» и пьянство, православная церковь до середины 17-го века вела жестокую борьбу за их искоренение. Невзирая на это, шахматы были очень распространены, и не только среди мирян, но и среди духовенства, которое в особенности подвергалось суровым наказаниям за увлечение игрой. Однако в Соборное уложение от 1649 года под запрет шахматы не попали. Хотя в церковно-поучительной литературе они по старой традиции рассматривались как «наследие дьявола» и сопоставлялись с обжорством и пьянством, в среде духовенства стали раздаваться голоса в защиту игры. Так, в начале 17-го века иеромонах Берында пояснял, что шахматы следует толковать как «хитрость», — под «хитростью» же в то время разумели умственную изощренность. Тем не менее благосклонно на шахматы православная церковь не смотрела: сто лет спустя поступил донос на митрополита Феодосия Яновского, что тот «будучи в Москве, оставя церковные службы и монашеское преданное правило, уставил у себя самлеи (*ассамблеи*) с музыкой и тешился в карты, шахматы и ненасытно в том забавлялся...»



Хотя с той поры прошло много лет, церковь по сей день не выработала единого взгляда на игру, и среди церковных деятелей сейчас можно найти самые различные мнения на этот счет.

Один из авторитетов современной православной церкви дьякон Андрей Кураев говорит:

«В церковных канонах осуждается только один вид спорта — шахматы. Почему? Есть особенность, которая делает шахматы одним из самых рискованных в духовном смысле видов спорта. Шахматы — это создание интеллекта. А человек в большей степени отождествляет себя со своим интеллектом, чем со своими ногами. Если я играю в футбол, я могу вытерпеть и пережить, что бегаю не так быстро, как Петька, например. А вот шахматы... Проиграл человек — и тут начинается буря в душе: противник умнее, что ли? Я когда-то играл в шахматы и в турнирах участвовал. С такими мыслями в ночь перед партией чего только не пожелаешь своему сопернику!

В принципе, можно владеть всем, лишь бы ничто не владело тобой. Если ты можешь нормально относиться к своему противнику, сохранять дружеские отношения с ним, слава Богу, великий ты человек. Но посмотрите на Каспарова с Корчным и Карповым — все переругались. Где шахматы — там всегда какие-то разборки и интриги».

Духовные пастыри нередко выступают и по радио. В апреле 2004 года юная жительница столицы Урала обратилась к главе Екатеринбургской епархии Русской православной церкви архиепископу Викентию с вопросом: не являются ли шахматы бесовской игрой? Православный иерарх поспешил развеять ее сомнения, отнеся к «грешным игрищам» компьютерные игры, столь любимые сегодня российской молодежью, тогда как шахматы являются, по его мнению, чем-то совсем иным и никакого запрета на занятия ими со стороны Церкви нет.

«Шахматы — это спокойная умственная игра, развивающая мышление. Она не является грехом, — заявил архиепископ. — Святые отцы запрещают нам играть в игры, которые возбуждают страсти и азарт, а вместе с этим недоумение, гнев, раздражение...»

Ах, владыка, владыка, если бы вы знали...

Огорошен был и протоиерей Артемий Владимиров, когда во время чемпионата Европы среди женщин в Кишиневе (2005), выступая в прямом эфире по радио «Радонеж», услышал вопрос маленькой девочки: можно ли ей играть в шахматы?

«В шахматы? — переспросил протоиерей. — Ну, можно... Можно... Для развития смекалки, для развития интеллекта... Впрочем, когда ты подрастешь, то, может быть, прочитаешь роман русского писателя Набокова «Защита Лужина». К сожалению, писатель этот был не особенно благочестивый, но даровитый особо. Из этого романа следует, что любое увлечение может перерасти в искушение, если отдаваться этому увлечению с

головой. Как говорится в русской пословице: кто чем увлекается, тот тем и искушается. Поэтому, как говорит другая мудрая пословица, — всё хорошо в меру. Вот моя матушка, например, сыграет партию в шахматы после обеда, а потом переходит к другим домашним делам...»

Трудно сказать, как реагировал ребенок на совет протоиерея, но если у девочки был шахматный учебник, выпущенный в 2004 году, то в предисловии к нему она могла прочесть слова архимандрита Алексия:

«Церковь не против шахмат, поскольку в отличие от азартных игр, духовно разрушающих человека, шахматы приносят в нашу жизнь только доброе и хорошее, а значит, укрепляют нас также и с нравственной стороны».

Поощряет православная церковь и детские турниры. Такой турнир был проведен в воскресной школе Свято-Данилова монастыря в сентябре 2004 года, получив благословение самого Патриарха всея Руси Алексия II.

А как православная церковь относится к профессиональным шахматам, к регулярным, серьезным занятиям игрой? Ответ на этот вопрос однозначен: резко отрицательно.

«Когда спортом занимаются профессионально, он съедает всю жизнь человека, не оставляя ни времени, ни сил на другие серьезные занятия. Кроме того, он развивает дух соревнования, а значит, превосходства над другими, то есть гордыню».

Это цитата из популярной брошюры священника Андрея Овчинникова «Нужен ли христианам спорт». Похожее мнение можно найти в других религиозных книгах и брошюрах, выпускаемых сегодня в России. Стремление сделать что-то лучше других, стать чемпионом осуждается категорически, а серьезное, профессиональное занятие спортом считается не только бессмысленным, но и вредным занятием, хотя конкретно о шахматах там речи не идет. Тот же дьякон Андрей Кураев на вопрос, был ли он когда-нибудь близок к спорту, отвечал: «Господь миловал. Я должен заметить, что отношение церкви к спорту довольно тонкое: физкультура — хорошо, а спорт плохо. Спортсмен — это профессионал. Быть, например, священником и профессиональным спортсменом — несовместимо».

Андрей Овчинников утверждает, что «занятия в секции предполагают отрыв от семьи. Общение тренера с детьми сильно отличается от домашнего, поэтому я бы советовал взрослым, только хорошенько всё обдумав и взвесив, отдавать маленьких детей в секции. Невелик подвиг — забить два гола или прыгнуть выше других. Спорт хорош до поры, но придет время, когда надо будет найти в себе силы оставить его, чтобы использовать приобретенные качества на более важные дела. Поддерживать общение с тренером необходимо для того, чтобы не пропустить момент, когда тот начнет вовлекать ребенка в профессиональный спорт, и удержать ситуацию под родительским контролем. У любого тренера всегда есть свой профес-

сиональный интерес, и родители могут опоздать с разговорами, если пустят процесс обучения на самотек. Профессиональный спорт обесценивает смысл человеческого существования. Не создавая никаких ценностей, спортсмены часто горделиво, даже насмешливо относятся к людям труда. Спорт, как зрелище, как состязание, где слабый проигрывает и получает осуждение, а сильный выигрывает, ожидая награды и почестей, — духовно опасен».

Епископ Варнава идет еще дальше и считает, что даже зрелище спортивных соревнований является ненужным занятием для христиан: «Из простого попечения о здоровье спорт превращен в зрелище, в объект наживы и предмет страсти. Профессиональный спорт как явление имеет в своей глубинной сущности антихристианскую направленность. Спортсмен, желая достичь высоких результатов, упражняется ежедневно по несколько часов в день. Такой труд превращается в многолетний тренировочный процесс, в котором только усердием достигаются высокие результаты. Само возникновение спорта было продуктом падшего человеческого разума. В отличие от труда, спорт не создает никаких ценностей, поэтому он не преобразует человека духовно. Воспитание в спортсменах некоторых профессиональных качеств, в первую очередь духа соперничества — ты должен быть лучше других! — губительно для спасения души».

Профессиональный спорт возник сравнительно недавно и, как многое в современной жизни, застал религию врасплох. Отношение к шахматам — играть в них не возбраняется, но посвящать им всё свое время является чем-то предосудительным — характерно и для отношения к спорту в целом. И дело здесь не только в денежном вознаграждении. Главное, как мне кажется, в другом: отвергая профессиональный спорт как таковой, религия опасается, что огромное количество времени, усилий сердца и души человека будет направлено не на ее предписания и молитвы, а на доказательство того, что один индивидуум превосходит другой. А это может привести к далеко идущим последствиям.

Молитва спортсмена, в том числе и шахматиста, просящего до партии благословения и удачи у Всевышнего, отличается от молитвы с просьбой сохранить здоровье ребенку или помочь в личной жизни. Молясь об удаче для себя, ты ведь желаешь тем самым поражения и огорчения ни в чем не повинному человеку. Как верно заметил вратарь, увидев перед началом матча крестящегося троекратно своего коллегу из команды соперников: «Нечестно получается: двое на одного...»

Один из параграфов 6-й статьи Шахматного кодекса гласит: «Если игрок не в состоянии использовать часы, ассистент с согласия арбитра может производить вместо игрока эту операцию. Часы игрока должны быть отрегулированы арбитром соответствующим образом».

В 8-й статье записано: «Если игрок не в состоянии записывать партию, записывать ее может ассистент с согласия арбитра. Часы игрока должны быть отрегулированы арбитром соответствующим образом».

Оба пункта появились в Шахматном кодексе сравнительно недавно и у неискушенного читателя могут вызвать недоумение. Что имеется в виду? Что значат фразы о шахматисте, который не в состоянии использовать часы или записывать партию? Идет ли речь об индивидууме, у которого что-то не в порядке с руками? Со зрением?

На самом деле оба пункта имеют непосредственное отношение к религии. Речь идет о соблюдении предписаний, характерных для ортодоксального иудаизма.

В еврейской Библии — Танахе об играх как таковых говорится неоднократно, но всегда в применении к детям. Неслучайно: еврейский мир — это серьезный мир взрослых людей, в то время как игра как культурная концепция была характерна для мира греческого.

В Талмуде, в трактате, посвященном браку, рассказывается, что богатые женщины, чтобы не сойти с ума от безделья, играли в шахматы или с котятками. Конечно, в те времена это были не шахматы в их современном виде, а настольная игра, похожая на шахматы.

Иудаизм не приемлет азартных игр и резко отрицательно относится к любым играм на деньги. Неслучайно в Израиле нет официально разрешенных казино. Правда, этот запрет стараются обходить, ссылаясь на то, что нигде не сказано, что этому греху нельзя предаваться на воде. Поэтому в водах Красного моря в Эйлате бросили якорь яхты, привлекающие расположенными на них казино немало израильтян. Хотя мнение Ариэля Шарона вполне определено: «Было бы ошибкой устраивать казино в Израиле: нынешних наших проблем это не решит, а новые вполне может создать», лагерь сторонников легализации азартных игр в стране очень силен.

С точки зрения современного иудаизма, шахматы в ряду игр занимают особое место. Раввин Штейнзальц полагает, что «шахматы отличаются от карт, где многое зависит от случая, удачи, как «карта ляжет». Это не соответствует еврейской картине мира. Не должно быть везения, случайности, победа должна быть заслужена».

Он же видит большое различие между «игрой в шахматы в кафе или на бульваре и первенством мира, где счет идет на миллионы долларов». Очевидно, что и здесь мы сталкиваемся с понятием профессионального спорта, о котором не могло быть речи в правилах и предписаниях, сложившихся за тысячи лет. Но хотя негативные интонации слышны в высказывании раввина, единого взгляда в этом вопросе иудаизм тоже еще не выработал.

Известно, что еврейское вероисповедание очень строго относится к соблюдению шабата. В субботу запрещаются какие-либо виды работ, хотя

интерпретация этого понятия довольно деликатна и каждый случай рассматривается отдельно.

Может ли правоверный еврей играть в шахматы в шабат? Известно, что Сэмюэль Решевский в турнирах до Второй мировой войны играл по субботам, но смерть отца воспринял как кару за свои прегрешения и, став ортодоксом, начал очень строго выполнять все предписания религии. Организаторы турниров мирились с этим и старались, как правило, идти навстречу желаниям американца.

Когда Леонид Юдашин, строго соблюдающий все предписания и запреты, обратился за советом в раввинат, ему было разъяснено, что играть в шахматы в субботу не воспрещается, но нельзя записывать ходы. Обычно у игрока, с разрешения судьи не ведущего запись партии, вычитается десять минут от времени, отведенного ему на обдумывание. Именно так надо понимать расплывчатую фразу кодекса: «Часы игрока должны быть отрегулированы арбитром соответствующим образом».

Предписания религии запрещают пользоваться электрическими часами в субботу, рекомендуя механические, старого образца. Когда закладывались основы иудаизма, электричество, понятно, не было еще открыто, но, согласно современной трактовке правил, человек участвует в трудовом процессе, приводя в движение любой электрический аппарат. Мне пришлось столкнуться с этим предписанием, когда я играл однажды в Иерусалиме: в шабат лифт гостиницы был запрограммирован таким образом, что останавливался на каждом этаже, даже когда я был в нем один, и, прежде чем поднять меня на десятый этаж, двери девять раз медленно раздвигались в раздумье, передыхая на каждом этаже...

А как смотрит на шахматы ислам? Система нормативных оценок в исламе состоит из пяти категорий. Она тотальна в том смысле, что любое действие человека непременно попадает в одну из них. Если исключить категорию безразличных для Всевышнего поступков, то из оставшихся четырех две категории представляют собой предписания, а две — запреты. Как предписания, так и запреты бывают категорическими и некатегорическими; категорически предписанное мусульманин непременно должен исполнять (за неисполнение полагается наказание, земное или загробное), тогда как не категорически предписанное мусульманин исполнять не обязан (за неисполнение не накладывается никакого наказания), хотя, конечно, лучше все же этих предписаний придерживаться. Для некоторых запретов и предписаний в Коране нет точного определения, попадают ли они в число категорических или некатегорических, и история развития мусульманского права — это история постоянных споров относительно статуса таких запретов и предписаний. Нет единого мнения и по поводу игры в шахматы.

У сподвижников основателя ислама о шахматах складывались самые различные точки зрения. Так, Ибн Умар считал эту забаву худшей, неже-

ли нарды, Али называл игру азартной и недостойной, предполагая, что в шахматы играют на деньги. Подобного мнения, пусть и не в столь категоричной форме, придерживались и некоторые другие правоведы.

Один из крупнейших современных знатоков ислама Юсуф Кардави полагает, что взгляды толкователей законов на шахматы расходятся: «Одни считают игру дозволенной, другие — нежелательной, третьи — запретной. Те, кто считает игру запретной, приводят в поддержку своей точки зрения хадисы, однако исследованиями установлено, что шахматы вплоть до смерти Пророка оставались неизвестными, а подобные тексты следует считать недостоверными».

Из этого ясно, что запрещение шахмат аятоллой Хомейни, когда он пришел к власти в Иране, явилось не следствием предписаний Корана, а единоличным решением фанатичного его толкователя. То же самое можно сказать и об одном из ведущих шиитских лидеров сегодняшнего Ирака аятолле Али аль-Систани. Он объясняет верующим, что жена не может выйти из дома без разрешения мужа и что следует по возможности вообще избегать какого-либо контакта с христианами и иудеями. В ответ на вопрос, к какой категории следует отнести шахматы: халал (разрешенной) или харам (запрещенной), — аятолла был краток: абсолютно запрещенной.

В последнее время преобладающим в исламе стало отнесение шахмат к некатегорическим запретам, а это означает, что юридически нельзя заставить мусульманина не играть в них. Более того, либеральные приверженцы ислама полагают, что шахматы не только являются формой досуга, но и помогают развивать логику и интеллект. Так же как в иудаизме и христианстве, они отличают шахматы от других азартных игр, тех же нарды, где многое зависит от шанса и слепой удачи.

Однако для того чтобы шахматы для мусульманина не попали под категорию запрета, нужно соблюдать следующие условия: 1) игра не должна отвлекать от совершения намаза; 2) нельзя играть в шахматы на деньги; 3) игроки не должны использовать в разговоре бранных или вульгарных слов. При несоблюдении хотя бы одного из этих условий игра в шахматы считается запретной.

Я бывал в шахматных клубах и кафе Амстердама, Москвы, Нью-Йорка, Сан-Паулу, Гонконга и многих других городов и должен заметить, что не было ни одного, где не нарушалось хотя бы одно из этих условий. В подавляющем же большинстве случаев нарушались все три.

## **СУЩЕСТВУЕТ ЛИ КАНАДА?**

**—** Хейн, — закричала моя милая женоушка, прослушав в час дня последние известия, — только что сказали, что Рей лидирует в каком-то турнире в Америке, набрав невероятное количество очков.

— Ха-ха-ха, — весело засмеялся я, всё еще нежась в своей теплой постели. — А в Сибири приземлились летающие тарелки, из которых высыпались зеленые человечки, так ведь, глупышка?

Но она не шутила.

— Я действительно это слышала, — твердо стояла на своем жена. Не могу сказать, что ее сообщение вывело меня из равновесия, потому что одним из чудесных качеств моей жены является следующее: всё, связанное с шахматной игрой, оставляет ее совершенно равнодушной. Я подумал: наверное, она просто ослышалась.

На следующий день я услышал это сам. Да, действительно, Рей набрал шесть с половиной очков из семи возможных в открытом чемпионате Канады в Ванкувере. Вечером сообщение об этом появилось в газетах.

Как отвратительно все-таки поставлена у нас в Голландии информационная служба. На самом деле это, конечно, два с половиной очка из шести или шесть с половиной из четырнадцати. И, вероятно, это совсем не Рей, а какой-нибудь малоизвестный местный мастер Сельдерей. Я не раз сталкивался с подобными вещами, и нет причин обращать на это внимание.

Так думал я, пока глубокое беспокойство не стало мало-помалу грызть меня. Ведь я же знал, что Рей собирается в Америку, к чему я его лично, кстати говоря, всячески поощрял. Но он же не будет там, на далеком континенте, делать глупости?

В среду вечером я встретил Хенка Керстинга в «Де Кринге». Он директор всей информационной службы в стране и равнодушен к шахматам. Именно ему мы обязаны тем, что сообщения о претендентских матчах поступали бесперебойно.

— Не правда ли, Рей играет превосходно? — заметил он. Да что же это?!

Восемь очков из девяти возможных — явствовало из сообщения, только что полученного аппаратами его ведомства. Прямохонько из Ванкувера. Не выдержав моего сильного напора, он согласился, что ошибка при спутниковой связи не может быть совершенно исключена.

— Шанс очень мал, — сказал он. — В последний раз это случилось тридцать пять лет назад, но такой шанс всегда возможен, — признал Керстинг в конце концов.

На днях мне повстречался Капсенберг. Он только что вернулся с конгресса ФИДЕ в Ванкувере.

— Я сам стоял рядом и всё видел, — подтвердил он. — Рей и Спаский поделили первое место.

Что мне теперь делать? Поймите меня правильно, я не хочу сказать о Капсенберге ничего предосудительного. Уверен, что секретарю нашей федерации, работающему как вол, можно полностью доверять. Я абсолютно не верю, что этот человек может намеренно говорить неправду. Но в невероятное известие, которое он мне сообщил, поверить еще трудней. Я — в отчаянии. Я не знаю больше, чему должен верить и чему нет. Потеряны все ориентиры. Я стою перед обломками моего миропонимания.

«Схаакбюллетин», сентябрь 1971

## ДВОЙНОЕ ЗРЕНИЕ

Чемпионат Голландии 1971 года проводился на севере страны в Леувардене, но Доннер предпочел во время турнира жить у себя дома в Амстердаме, тратя каждый день два с половиной часа на поезде в один конец. Однажды вследствие затяжной партии он был вынужден переночевать в местной гостинице, после чего констатировал, что «молодых варваров», как он назвал остальных участников турнира, ничего не интересовало, кроме выпивки, быстротечных карточных игр и шашек.

«Они ничего не знают и ничего не хотят знать. Единственное, что оправдывает их, это то, что они чистосердечно признаются в своем невежестве, хотя среди всех добродетелей честность и занимает самое скромное место», — писал тогда Доннер. За исключением молодого Тиммана, в котором он сразу признал талант и потенциальные возможности, игра других произвела на Доннера впечатление «мелкотравчатое, боязливое и порой беспомощное, что вообще характерно для уровня отечественных шахмат».

Не избежал общей участи и окончивший математический факультет и много читавший Ханс Рей, хотя эскапады в его адрес зачастую и облекались в шутливую форму. В то время семья Доннера была занята поисками нового дома. Наконец жена Хейна подыскала подходящий на Reestraat\*.

— Что? — вскричал Доннер. — Чтобы название улицы напоминало мне каждый день об этом человеке? Нет уж...

И Доннеры переехали в дом на параллельной улице — Wolfenstraat\*\*.

В том чемпионате в Леувардене Доннер и Рей разделили первое место. Во время матча, который было решено провести между ними, Доннеру было сорок четыре года, Рею — двадцать семь.

Доннер не сомневался в победе. «Я думаю, что выиграю без всякой борьбы... Если бы на исход матча делались ставки, то букмекеры, пола-

\* Ree — олень, Reestraat — Оленья улица (голл.).

\*\* Wolf — волк, Wolfenstraat — Волчья улица (голл.).



гаю, принимали бы их из расчета 100 или 150 против одного», — писал он с характерной для него бравадой. Рей победил со счетом 4,5:3,5.

После того как Доннер прервал продолжавшуюся тридцать три года гегемонию Макса Эйве, выиграв в 1954 году чемпионат страны, экс-чемпион мира оставил практическую игру, и Доннер стал единственным действующим гроссмейстером, на протяжении долгого времени не испытывавшим в Голландии какой-либо конкуренции.

Так же как в мире существовал тогда один шахматист — Фишер, в Голландии только имя Доннера что-то говорило широкой публике. И не только в Голландии. Играя за границу, Рей, трижды выигрывавший еще после этого матча национальные первенства, частенько слышал: «Ты чемпион? Не может быть, у вас же в Голландии есть этот высоченный толстяк...»

Реакция самого Доннера после проигранного матча: *«Я сдал последнюю партию, пожал руку сопернику и поздравил его в лучших англосаксонских традициях. После чего помчался домой, где, рыча и стеноя, бросился на кровать, зарылся в подушки и натянул одеяло поверх головы. Три дня и три ночи меня посещали Эринии\*, затем я взял себя в руки, поднялся с постели, поцеловал жену и обозрел положение дел. Я проиграл этот матч! Если бы кто-нибудь сказал мне это до его начала, я рассмеялся бы ему в лицо. Вот что явилось причиной моего проигрыша: я, попросту говоря, ужасно недооценил Рея. Он играет в логические шахматы. Хотя довольно часто разыгрывает дебют вызывающе, теорию он знает хорошо. Он не делает грубых ошибок. Он точно защищается. Он не боится рисковать. Так в шахматы за последние двадцать лет в Голландии еще не играли. Можно сказать, что Рей играет уже на гроссмейстерском уровне. Его оценка позиции трезва, он прекрасно видит тактику, и в матче я почувствовал это на собственной шкуре».*

Но если проигрешь Рею с минимальным счетом Доннер, расточая комплименты сопернику и косвенно себе самому, еще мог перенести, новый успех того — дележ в Канаде первого места с самим чемпионом мира... нет, это было уже чересчур.

В следующем чемпионате страны Доннер не участвовал, в то время как молодежь продолжила победное шествие. Наряду с Реем и Тимманом, игравшим всё сильнее и сильнее, появились новые имена. В списке, составленном отборочной комиссией, имя Доннера значилось на шестом месте. Внезапно он в сорок пять лет, находясь по всем параметрам человеческой жизни еще в расцвете сил, оказался отодвинутым на вторые роли.

Через полтора года Тимман выиграл турнир в Гастингсе, в очередном чемпионате Голландии победил я. В конце концов гроссмейстером, пусть не таким сильным, стал и Рей, сам Доннер играл всё реже и хуже, и обнаружилось, что соперничество за шахматной доской отошло для обоих на

---

\* В античной мифологии — богини мщения и кары, преследующие преступников.

второй план. Шахматные сражения и бывшие размолвки растворились в дымке времени, оставшись в памяти как состояние борьбы и вдохновения, владевшее когда-то обоими. Разница в годах постепенно сгладилась, и они вместе уже обсуждали молодых, таких других и непохожих.

Явление это не ново. Не секрет, что самые сильные шахматисты далеко не всегда являются друзьями в жизни. Можно вспомнить Ботвинника и Смыслова, их борьбу за мировое первенство в 50-х годах, напряженные отношения в то время — и дружеские беседы, регулярные звонки и поздравления с праздниками и днями рождения, совместное пребывание в качестве почетных гостей на турнирах десятилетия спустя.

Конфронтация между Карповым и Каспаровом в 80-х годах выходила порой далеко за пределы шахматной доски. Отношения двух выдающихся чемпионов были тогда на редкость острыми и непримиримыми, и кто бы мог подумать, что двадцать лет спустя Анатолий Карпов на закрытии чемпионата России с улыбкой и теплыми словами будет вручать приз своему бывшему недругу и сопернику, а тот с благодарностью принимать его. Ушли в прошлое распри и обиды, но навсегда остались полторы сотни партий их незабываемых матчей, ставших одним из самых волнующих событий в истории шахмат 20-го века.

Читая юмореску Доннера, порой думаешь, что автор ничего не принимает всерьез и потешается не над собой, а над своим двойником — зубоскалом и клоуном. Но, иронизируя и улыбаясь, он пишет на самом деле о том, что знакомо любому шахматному профессионалу: понимание того, что успех коллеги лишает тебя приза, приглашения на очередной турнир, выбивает из состава сборной, отодвигает в тень.

Ревнивым взором оглядывает шахматист чужие достижения, ощущая неприятный холодок, когда слышит о победе конкурента. Это чувство досады, вызванное успехом другого, вообще присуще человеку и старо как мир, недаром пословица говорит о том, что зависть прежде нас родилась.

«Всякий раз, когда моему другу везет, — признавался один известный писатель, — во мне что-то умирает». Старинная немецкая пословица гласит, что самая чистая радость — это радость, которую нам приносит неприятность других. Тот же мотив можно найти и в современной шутке: своих неприятностей хоть отбавляй, а тут еще сосед машину выиграл.

Не раз играя на олимпиадах за сборную Голландии, я видел, как смотрит порой со стороны на мою позицию кое-кто из коллег по команде. Казалось бы, противоречие: с одной стороны, желание успеха своей сборной, с другой — через неделю Олимпиада кончится и начнется обычная профессиональная жизнь с приглашениями на турниры, на сеансы, в ту же сборную, наконец. И поражение члена команды — бывшего и будущего конкурента — только повышает твои собственные шансы. Не думаю, что я обладал какой-то сверхчувствительностью; такого рода взгляды, уве-

рен, знакомы шахматистам любой команды, за которую выступают профессионалы. Да я и сам, если разобраться, не смотрел ли иногда на партии своих коллег тем же двойным зрением?

Не последнюю роль играют здесь нередко и напряженные отношения внутри команды: не надо забывать, что на протяжении двух недель приходится тесно общаться друг с другом людям, различным по возрасту, темпераменту, воспитанию и образованию.

Во время матча Голландия — СССР на Олимпиаде в Хельсинки (1952), наблюдая за беспомощной игрой Принса против Смыслова и видя, как ход за ходом ухудшается его позиция, Доннер не мог сдержать радости.

«Вы посмотрите на Принса, он играет как начинающий! Нет, вы только посмотрите на его игру, он ведь не понимает ровным счетом ничего», — говорил Доннер членам команды. Они с Принсом давно уже находились в отношениях, которые в английском имеют название non-speaking terms, — то есть попросту не разговаривали друг с другом. «Наш командный дух был подорван, и мы пришли в себя только спустя несколько дней», — писал тогда голландский шахматный журнал.

Человек живет не в безвоздушном пространстве. Он все время сравнивает себя с другими людьми. Своего круга, своей профессии. Эго человека постоянно подвергается испытанию: ведь не каждый может относиться к жизни с безмятежностью философа и не воспринимать чужую удачу или успех как личную трагедию.

В свое время среди выпускников Гарвардского университета была проведена анкета. В ответ на вопрос: «Что бы вы выбрали: 50 тысяч долларов в год, в то время как остальные получают меньше, или 100 тысяч, в то время как другие выпускники университета получают 200 тысяч?» — большинство выбрало первый вариант.

Не зная об этой американской анкете, несколько лет назад я спрашивал некоторых своих коллег, делая невозможное, увы, для шахмат сегодняшнего дня предложение: «Как бы ты поступил, если бы тебе предложили сыграть в турнире с двадцатью тысячами долларов стартовых и соответствующим призовым фондом?» Чувствуя какой-то подвох, шахматисты отмахивались: «Не говори глупостей». «А если бы, приехав на турнир, — продолжал я, — ты узнал, что гроссмейстер с твоим рейтингом получил за участие тридцать тысяч?» И все без исключения отвечали, что чувствовали бы себя дискомфортно, а наиболее принципиальные стали бы даже настаивать на ультиматуме организаторам: та же сумма или я выхожу из турнира.

В любой профессии и при любом общественном строе имеет место соревновательный элемент. Греки еще досократовского периода полагали, что человек может развить свои способности только в состязании, и с недоверием относились к каждому, кто утверждал, что он альтруист.

Этот соревновательный элемент в современном обществе иногда бывает непросто разглядеть, но, призадумавшись, его можно найти почти

всюду. Кто-то становится директором банка, а кто-то так и заканчивает карьеру в качестве обычного служащего. Один избирается в совет директоров большой компьютерной фирмы, другой выходит на пенсию рядовым программистом. Пилот транспортного самолета следит за карьерой маршала авиации, с которым учился когда-то вместе в летном училище.

Порой такой элемент может проявиться в самой неожиданной профессии и совсем необязательно несет в себе негативный характер. «Почему, почему это написал он, а не я?!» — восклицал Георгий Иванов, прочтя поразившие его строки. Этот соревновательный элемент присутствовал и в творчестве Иосифа Бродского. По его собственному признанию, он пробовал тягаться почти со всеми русскими поэтами, от Антиоха Кантемира до Пастернака. И термин «победить» играл для него немаловажную роль. Уже будучи в Америке, он сказал как-то: «Не могу не признать, что я слежу за Дерексом\*... Вот на днях получил из журнала «Нью-Йоркер» ксерокопии двух его стихотворений... Я их прочел и подумал: “Ну, Иосиф, держись! Когда ты в следующий раз возьмешься за перо, тебе придется считаться с тем, что пишет Дерекс”».

Но хотя конкуренция существует практически в любой сфере человеческой деятельности, в спорте она предстает в самом что ни на есть чистом виде. Поэтому очень многие предпочитают и будут предпочитать зрелище спортивного состязания многим другим, где популярность и славу можно завоевать за счет побочных качеств. В литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре и кинематографе, не говоря уже о телевидении, успех сплошь и рядом зависит от целого ряда вторичных факторов: хороших отношений с режиссером, издателем, директором, менеджером или женой менеджера, знакомства с «нужными людьми», представителями прессы, личной харизмы, умения держать нос по ветру и множества других причин. Ничего этого нет в спорте, где на первый план выходят личное мастерство и талант. Я имею в виду те виды спорта, где победа определяется объективными данными: метром, секундой, килограммом. И очком — за выигрыш шахматной партии.

Играть в теннис, плавать или блицевать по вечерам со старым другом можно до глубокой старости. Жизнь профессионального спортсмена коротка. Век шахматиста по сравнению с веком пловца, гимнаста или футболиста несколько длиннее. Но хотя в шахматах процесс старения и происходит не так интенсивно, как в других видах спорта, он не менее болезнен, и профессия шахматиста, требующая огромного запаса нервной энергии, расход которой начинается уже в юном возрасте, короче любой «нормальной» профессии. И зачастую бывает очень непросто увидеть себя со стороны и отнестись к этому с такой самоиронией, как это сделал Хейн Доннер.

---

\* Дерекс Уолкетт — американский поэт, лауреат Нобелевской премии.

## **ЖЕРЕБЬЕВКА**

**Т**олько во время жеребьевки Хоговен-турнира в отеле «Кенемердюин» шахматист замечает, что едва начавшийся год постарел уже на целую неделю и снова начинается традиционная шахматная ярмарка. Место игры расположено в этом году еще дальше, чем обычно; турнир перенесен из Бевервейка в Вейк-ан-Зее, куда не так-то просто добраться, особенно в плохую погоду. Поэтому почти все участники остаются в гостинице в Вейк-ан-Зее, за исключением редких закоренелых упрямецев, которые после каждого тура возвращаются в матерь всех городов — Амстердам.

Погода вчера выдалась прекрасная, и участники, прибывшие со всех концов мира, при входе в турнирный зал были удостоены самых теплых приветствий местной молодежи. Радостные возгласы типа: «Смотрите, кого я вижу!», «А кто этот ненормальный?» и даже «Черт бы меня побрал, да это же русские!» — прямо висели в воздухе. Каждый наш шаг будет теперь всячески обсуждаться в течение двух недель населением городка.

Когда все оказались в турнирном зале, порядок был снова восстановлен, и мы получили возможность поприветствовать друг друга и обменяться короткими репликами на различных языках, как и водится на открытии международных турниров.

Организаторы потрудились на славу, всё было в полном порядке, не была забыта и пишущая братия: пресс-центр оборудован отлично. Ничего, заслуживающего внимания, не могу, однако, сообщить читателям газеты, но начиная с сегодняшнего дня всё будет по-другому.

С речами к участникам обратились три официальных лица. Наверное, я старею, но мне показалось, что директора «Хоговена» и руководители федерации шахмат говорят по-английски и по-немецки лучше, чем это было раньше. Такое впечатление, что они теперь стараются даже избегать чудовищных штампов в своих выступлениях. Господин Баккер, член совета директоров «Хоговена», еще раз подчеркнул, что любительский спорт — это то, к чему мы все должны стремиться. Очень верно, господин Баккер! Bravo! Bravo!

Господин Дрехслер, член исполкома федерации, рассказал о планах на будущий год и констатировал, что в Голландии проводится больше шахматных соревнований, чем в любой другой стране мира. Естественно, он не избежал критики в адрес Спортивного союза, до сих пор не признавшего прав шахматистов. Представители федераций шашек и бриджа, тоже присутствовавшие на открытии, согласно кивали головами. К счастью, всё это длилось не очень долго, и вскоре мы перешли к тому, ради чего и собрались здесь: жеребьевке.

В алфавитном порядке выходили герои грядущих баталий на сцену, чтобы вытянуть жребий. Раньше случалось, что эта процедура сопровождалась целым спектаклем. Помню, как однажды с защитным шлемом на голове я тянул жребий, находясь в кабинке башенного крана, к полному удовольствию публики в зале.

Но на этот раз всё было серьезней и скромнее: мы должны были только выбрать один из кубиков и вручить его бургомистру с тяжелой цепью на шею; он переворачивал кубик и шептал номер главному судье турнира. Последний уже оглашал его громкогласно на всех известных ему языках.

Итак:

**Бенко.** Американец венгерского происхождения, еще семь лет тому назад участник кандидатского турнира на первенство мира, хотя и не игравший там особой роли. Вытащил, к всеобщему веселью, первый номер.

**Ботвинник.** На протяжении 15 лет (1948–1963) великий чемпион чемпионов. Он всё еще имеет репутацию одного из сильнейших в мире, хотя уже приближается к шестидесяти. Играет только один турнир в год. В 1967-м — Пальма-де-Мальорка и Монако в 1968-м. В обоих Ботвинник был вторым после Ларсена. Страницы этого журнала не хватило бы для перечисления всех его успехов. Обладает огромным авторитетом в шахматном мире, и все боятся его безжалостных суждений. По какой-то причине имеет слабость к нашей стране, являясь президентом общества СССР — Нидерланды. Получил номер тринадцать.

**Доннер.** Голландский гроссмейстер. Трудно сказать о нем что-нибудь хорошее. Вытащил номер шесть.

**Геллер.** Незаурядный гроссмейстер из Советского Союза, где считается одним из самых сильных. Более десяти лет кандидат на первенство мира. Номер два.

**Кавалек.** Только что ставший эмигрантом чешский гроссмейстер. Уже несколько лет принимает участие в международных турнирах, но только в прошлом году совершил очевидный прогресс. Вытащил номер четырнадцать.

**Керес.** Тот, кто никогда не слышал имени Пауля Кереса, не должен читать этого отчета. Номер одиннадцать.

**Лангевег.** Международный мастер отечественного разлива. Одарен, но плохо держит удар. Вытащил номер двенадцать.

**Ломбарди.** Гроссмейстер из Соединенных Штатов. Уже в юном возрасте был известен как большой талант. После того как был рукоположен в духовный сан, играл очень редко. Он еще не прибыл на турнир, и бургомистр вытянул за него номер девять.

**Медина.** Сильный международный мастер из Испании. Относится к той категории игроков, которые вплотную приблизились к гроссмейстерскому уровню. Он тоже еще не появился, и бургомистр вытащил номер и за него. Восемь.

**Олафссон.** Гроссмейстер из Исландии. Последние пять лет играл на редкость мало. До этого принимал участие в кандидатском турнире на первен-

ство мира. Намеревается, начиная с этого турнира, чаще появляться на международной шахматной арене. Вытянул номер три.

*Остич.* Сильный мастер из Югославии. Выиграл в прошлом году мастерский турнир и завоевал тем самым право участия в гроссмейстерской группе. Номер четыре.

*Портиш.* Блестящий гроссмейстер из Венгрии. Уже несколько лет он кандидат на мировое первенство. Вместе с Ларсеном и Фишером является сильнейшим несоветским гроссмейстером. Получил номер пятнадцать.

*Рей.* Чемпион Голландии. Находчивый, порой блестящий, но очень неровный игрок. Вытащил номер пять.

*Ван Схелтинга.* Международный мастер из Голландии. Некоторое время считался сильнейшим в стране после Эйве, но постепенно должен был уступить позиции более молодым. Всё еще очень солиден. Номер семь.

Один из этих игроков выиграет турнир, если не произойдет дележа первого места. (Будем надеяться, что организаторы не обвинят участников в договорных ничьих, как случилось в этом году в Гастингсе.) Кто будет первым призером, мы еще не знаем, но известно, какую страну представляет будущий победитель. Советский Союз прислал на этот турнир трех сильнейших гроссмейстеров, и как минимум один из них окажется на первом месте. Примечательно, кстати, что Ботвинник вытянул номер тринадцать, что в шахматах считается счастливым числом.

Журнал «Тайд», январь 1969

## ВЫСОКИЕ ДЮНЫ ВЕЙК-АН-ЗЕЕ

Предсказание Доннера полностью сбылось: в том году в Вейк-ан-Зее первое место поделили Ботвинник и Геллер.

Ботвинник был очень популярен в Голландии, и его вместе с Кересом и Геллером встречал в аэропорту Схипхол почетный комитет турнира во главе с Максом Эйве. Ботвиннику было тогда пятьдесят восемь, но играл он еще очень хорошо и не потерпел ни одного поражения. Он все время лидировал в турнире и обеспечил себе победу, сведя вничью этюдным образом трудное окончание с Портишем. На его столике всегда стояла лампа, дававшая дополнительный свет: проблемы со зрением, бывшие у него всегда, с возрастом увеличились.

Хорошо играл и Геллер, одержавший наибольшее количество побед; только поражение от Бенко не позволило ему занять чистое первое место. Керес, простудившись, проболел почти весь турнир, но выступил достойно, проиграв лишь своему вечному обидчику Портишу, с которым и поделил третье место, отстав от победителей на пол-очка.

Хотя с тех пор прошло больше тридцати лет, климат в Вейк-ан-Зее не изменился: грипп с простудой и поныне нередкие гости во время январ-

ского шахматного фестиваля. Единственное, что осталось в прошлом, — разрешение заболевшему перенести свою партию на свободный день, что в те времена практиковалось довольно часто. Хотя турнир в Вейк-ан-Зее — один из немногих, где имеется три (!) выходных дня, игрок обязан прийти на партию в любом состоянии.

Из других иностранных участников наибольшее внимание привлекал Уильям Ломбарди. Уже начинающий полнеть, но всё еще молодой человек, слегка за тридцать, с красивым лицом и резко прочерченным пробормом, он, став в 1963 году священником, долгое время работал в этом качестве в нью-йоркском Бронксе с проблемными, как сказали бы сейчас, подростками. Сняв сутану в 1969 году, Ломбарди ушел в страховой бизнес. В свое время он подавал большие надежды: в 1957-м выиграл чемпионат мира среди юниоров со стопроцентным результатом, а в 1960-м возглавлял команду США, победившую на чемпионате мира среди студентов в Ленинграде. Чемпионат проходил во Дворце пионеров на Невском, и я хорошо помню Ломбарди во время решающего матча американцев с командой Советского Союза, которую они одолели со счетом 2,5:1,5. Тогда это было сенсацией, равно как и победа Ломбарди на первой доске над Борисом Спасским.

Во время матча Спасского с Фишером в Рейкьявике (1972) Ломбарди был секундантом будущего чемпиона мира, хотя, по слухам, Фишер никого не допускал до анализа и роль Ломбарди была сведена к писанию заявлений и подаче протестов.

В 1982 году Ломбарди был почетным гостем на турнире в Тилбурге, и его часто можно было видеть в комнате для участников с неизменной сигарой, наблюдающим за анализом закончившейся партии. Там же, в Тилбурге, он познакомился с девушкой, которая стала его женой и уехала вместе с ним в Соединенные Штаты.

А что же сам Доннер? После того как он выиграл в 1950 году главный турнир в Бевервейке, Хейн выступал здесь постоянно, занимая самые разнообразные места, включая и последнее. На этот раз он набрал пятьдесят процентов очков, но свой микротурнир выиграл: остальные голландцы замкнули турнирную таблицу.

Хотя Доннер оставался еще действующим гроссмейстером, всё больше времени он отдавал журналистской работе. Внимательный читатель заметил, наверное, что свой рассказ о жеребьевке турнира он написал и отправил в редакцию утром в день первого тура. В спешке Доннер забыл упомянуть еще двух участников: югославского гроссмейстера Чирича и польского мастера Доду. Хотя они и не играли роли в борьбе за призовые места, но выступили в турнире вполне достойно: Дода набрал пятьдесят процентов, а Чирич и вовсе показал плюсовой результат.

Через четыре года после этого турнира впервые в Вейк-ан-Зее довелось сыграть и мне.



Вейк-ан-Зее — маленькая деревушка на берегу моря в сорока километрах от Амстердама. Летом ее население увеличивается более чем вдвое за счет отдыхающих. Дюны, песчаные пляжи, напоминающие Прибалтику, пансионаты, кафе и ресторанчики, дискотеки. В январе же — порывистый ветер, когда и ураган, постоянный стелющийся дождь, вдали видны трубы металлургического завода с тугим облаком дыма, днем и ночью висящим над ним. Серый однообразный пейзаж, маршруты прогулок, повторяющиеся изо дня в день. Станные, погруженные в свои мысли люди, в разговорах между собой на разных языках мира постоянно употребляющие восемь букв латинского алфавита в сочетании с восемью же числительными.

В традиционном шахматном фестивале наряду с сотнями любителей принимают участие сильнейшие гроссмейстеры мира. Раньше у турнира был другой спонсор — сталелитейный концерн «Хоговен». Теперь это совместное англо-голландское предприятие «Корус».

Первый ход в самом первом Хоговен-турнире был сделан в 1938 году в здании, расположенном на территории самого завода и носившем звонкое имя «Казино». В действительности это было обветшалое деревянное строение, где по вечерам собирались любители шахматной игры; почти все они работали на металлургическом заводе — слово «хоговен» по-голландски означает «доменная печь». С размещением четырех участников первого турнира, а кое-кто из них прибыл аж из самого Амстердама, были трудности: комнатки в «Казино», где обитали летом строительные рабочие, не были приспособлены для жилья. Но уже тогда после заключительного тура всех ждал совместный ужин.

В 1940 году организаторы, набравшись смелости, пригласили в турнир Макса Эйве, и бывший чемпион мира согласился без раздумий. На фотографии того года запечатлены участники турнира — джентльмены в тройках и при галстуках, из жилетного кармана свисает цепочка часов. Не лишне заметить, что в те времена не было ни гонораров за участие, ни денежных призов, разве что некоторые участники получали частичное возмещение расходов на проезд.

Это был последний предвоенный турнир. Ожидали легкой победы Эйве, так и произошло: он выиграл все три партии, а с Николасом Кортлевером создал даже одиннадцатиходовую миниатюру. Предполагалось, что стеклянные шахматы, сделанные на заказ известным голландским стеклодувом и выставленные в витрине «Казино», будут вручены победителю турнира. Но на закрытие прибыл почетный гость — Пауль Керес, и неожиданно для всех организаторы вручили эти шахматы Кересу, который накануне выиграл в Амстердаме матч у Эйве.

Через несколько дней директор турнира получил письмо от Эйве. «Я не буду, — писал он, — останавливаться на том, кому больше обязаны

голландские шахматы — мне или Паулю Кересу, заработавшему за победу в матче 1400 гульденов, в то время как я не получил ни цента. Но шахматы, предназначавшиеся победителю турнира, вручать Кересу, даже принимая во внимание, как были обрадованы организаторы его появлением на закрытии, является, мягко говоря, совершенно неэтичным... Вы не должны делать вывод, что я против вручения этого презента Кересу. Напротив, Керес — прекрасный парень, замечательный спортсмен, самый симпатичный — с немалым отрывом — из всех гроссмейстеров. Если бы я поведал ему эту историю, он, без сомнения, не принял бы подарка. Но у меня, разумеется, и в мыслях такого нет».

Письмо очень огорчило организаторов турнира; необходимо было найти выход из неловкой ситуации. Следует сказать, что Бевервейк имел тогда репутацию не только места, где играют в шахматы. Здесь выращивали самую сладкую в стране клубнику, и летом в городке ежегодно проходила «Клубничная неделя», во время которой устраивались различные празднества. Когда Макс Эйве после сеанса одновременной игры, проведенного в Бевервейке тем же летом, вручили в качестве вознаграждения корзинку отборной клубники и шахматы, совершенно идентичные полученным Кересом, инцидент был улажен.

Сейчас эти чудесные стеклянные фигуры выставлены в центре Макса Эйве на одноименной площади в Амстердаме, и каждый посетитель может полюбоваться на них. А шахматы Кереса хранятся в Таллине в доме эстонского гроссмейстера на улице Ыйе, которая сейчас называется улицей Пауля Кереса.

Турнир 1941 года начался, когда Голландия была уже оккупирована немцами. Сало Ландау — один из сильнейших шахматистов страны — не доиграл того турнира: 10 января немцы объявили о регистрации еврейского населения Голландии. Чувствуя опасность, Ландау пытался добраться до границы с нейтральной Швейцарией, но был арестован, отправлен в концентрационный лагерь, где и погиб два года спустя.

В голодном сорок втором, когда продовольствие распределялось по карточкам, турнир все же состоялся. Тогда же впервые на заключительном совместном ужине подавался гороховый суп; в память тех дней он остается единственным блюдом на церемонии закрытия фестиваля, в котором принимают участие сотни людей.

В первом послевоенном турнире (1946) впервые играли зарубежные гости. Международным, однако, его можно было назвать только с большой натяжкой: иностранцев было всего двое — бельгиец О'Келли и швед Штольц, которые и выиграли турнир. Военные трудности не были еще изжиты, и организаторы были очень признательны Штольцу, прихватившему с собой два пакета кофе — подарок Шведской шахматной федерации.

С тех пор с каждым годом количество иностранных участников непрерывно растет. Здесь играют всеобщий любимец Савелий Тартаковер,

Николас Россолимо, ставший впоследствии шофером такси в Нью-Йорке, Роман Торан, молодой красавец, подружившийся с Доннером во время их совместного многомесячного турне по Испании с сеансами одновременной игры (Рамон из эссе «Пальма-де-Мальорка») и с тех пор с широкой улыбкой на лице приветствовавший каждого голландца на его родном языке: «Привет, грязная уличная собака!» Австриец Эрнст Грюнфельд, часто посещавший Голландию еще до войны и не всегда бывший только названием дебюта; улыбающийся, обаятельный канадец Даниель Яновский, выигравший у Ботвинника в Гронингене (1946). Югославы: ветеран, многоопытный Бора Костич, известный теоретик Вася Пирц и совсем молодой Андрей Фудерер, шахматист блестящего тактического дарования, рано оставивший шахматы и поселившийся в Бельгии.

В 1950 году в турнире дебютирует очень высокий, невероятно худой молодой человек, привлекающий всеобщее внимание. Вечно спорящий, шокирующий своими радикальными суждениями, с неизменной сигаретой в одной руке и стаканчиком ром-колы в другой, он резко выделяется на фоне шахматистов того времени. Все прочат ему последнее место — сам он уверен в обратном. Хейн Доннер, научившийся играть в шахматы только восемь лет назад, с блеском выигрывает турнир, опережая не только всех голландцев во главе с Эйве, но и зарубежных мастеров.

В январе 1957-го в турнире впервые должен был принять участие шахматист из Советского Союза. Согласие Спорткомитета было получено, и Марк Тайманов уже готовился к поездке в Голландию. Но за полтора месяца до начала турнира вспыхнуло восстание в Будапеште, и советские танки на улицах венгерской столицы привели к общему бойкоту советских представителей. Бойкот этот коснулся и шахмат, и приглашение было аннулировано.

Первыми советскими гроссмейстерами, приехавшими на фестиваль в Голландию, стали Флор и Петросян в 1960 году (в приглашении были указаны совсем другие фамилии, но Спорткомитет СССР и шахматная федерация тогда, как и в последующие годы, сами решали, кого посылать в заграничные поездки). На протяжении всего турнира лидировал любитель Запада, молодой датчанин Бент Ларсен, и, только одолев его в последнем туре, Петросяну удалось стать с ним вровень.

Сенсационно закончился турнир 1964 года. То, что выиграл Керес, опередивший Ларсена, Ивкова, Портуша и других гроссмейстеров, с трудом можно было назвать сенсацией. Но победу с ним разделил Иво Ней — совсем неизвестный на Западе молодой мастер из Таллина: триумф эстонских шахмат был тогда полным.

Аналогичный эффект произвело и выступление Анатолия Лутикова, занявшего в 1967 году второе место, лишь на пол-очка позади Спасского.

Бывало, однако, и по-другому: в 1970 году хорошо зарекомендовавший себя в советских чемпионатах Игорь Платонов набрал «минус четыре»...

Говоря о том периоде, следует упомянуть и 1968 год. Корчной начал турнир серией из восьми побед, в том числе над Талем, и завоевал первое место с отрывом в три очка!

Это был первый турнир, игравшийся не в Бевервейке, а в Вейк-ан-Зее (Доннер ошибается, когда пишет, что турнир перебрался сюда только в 1969 году). С тех пор все Хоговен-, а позже Корус-турниры проходят в Вейк-ан-Зее. Но хотя фестиваль сменил прописку, еще несколько лет сохранялся старинный обычай, когда участники всех турниров, включая главный, жили не в гостиницах, а на квартирах жителей Бевервейка. Это придавало турниру особую ауру, и многие гроссмейстеры, жаловавшиеся на недостаточный комфорт в Гастингсе или на турнирах в Восточной Европе, безропотно соглашались с обычаями этого голландского фестиваля. До Вейк-ан-Зее — километров восемь — все добиралось на автобусе, за исключением редких любителей пешей ходьбы. В автобусе можно было услышать речь на всех языках; содержание разговоров не отличалось разнообразием: сетования по поводу вчерашнего зевка в выигранной позиции, радость от удачно проведенной атаки, но чаще — подсчет очков, необходимых для перехода на следующий год в высшую группу или для получения международного звания.

Я тоже жил в одном таком гостеприимном доме в Бевервейке, когда в январе 1973-го играл в резервной мастерской группе, и только первое место давало право выступить в следующем году в турнире «Б». Он назывался тогда просто мастерским; гроссмейстеров в мире было в то время на порядок меньше, чем сегодня.

Партии того турнира я помню до сих пор: я очень хотел, просто обязан был выиграть. На церемонии вручения призов меня пригласили первым к столу, на котором лежало много всяких интересных вещей, но я, растерявшись, выбрал простенький будильник, валяющийся у меня сейчас где-то на антресолях.

В турнире «Б» мне выступить так и не пришлось. Весной я выиграл чемпионат Голландии и был приглашен сразу в главный турнир.

— Ты думаешь, это из-за тебя? — спросил меня обеспокоенный Пит Зварт, на протяжении десятилетий бессменный директор турнира, показывая только что полученную телеграмму из Спорткомитета СССР. Текст ее был краток: вследствие поголовной занятости советских гроссмейстеров их приезд на Хоговен-турнир невозможен.

— Я не вижу другой причины, — ответил я. — Хоговен имеет репутацию одного из самых заманчивых турниров для советских гроссмейстеров, и я просто не могу представить, чтобы они добровольно отказались приехать в Голландию.

— Запомни, — сказал Пит, и я помню его слова до сих пор, — советские могут поступать, как им заблагорассудится, но ты играешь в нашем турнире!

Сейчас шахматисты главного турнира живут в гостинице «Зей Дюин», что значит «Морская дюна», а играют вместе с сотнями любителей в большом спортивном зале «Мориан», но так было не всегда.

Раньше участники играли и жили в гостинице «Кенемердюин». Это было скорее общежитие с удобствами в конце коридора и с тоненькими фанерными перегородками, так что был слышен каждый звук в соседней комнате. Здание это претерпело много превращений: оно служило временным жильем для беженцев, просивших разрешения на проживание в Голландии, потом там был китайский ресторан, сгоревший лет пятнадцать тому назад. В конце концов бывшая гостиница, вспомнив о шахматах, вернулась в ментальную сферу: здесь размещается теперь филиал психиатрической больницы.

Единственной пристойной гостиницей была тогда «Хохе Дюин», расположенная в соответствии со своим названием на высокой дюне, и постепенно все участники гроссмейстерской группы стали останавливаться там. С замечательным видом на море, гостиница имела и неудобства: открытая всем ветрам, она частенько ими же продувалась, и многие не могли заснуть всю ночь из-за постоянного баскервильского завывания — уу-уу-у...

В случае внезапного похолодания склон дюны обледеневал, и подняться на него было невозможно. Как-то, вернувшись поздно ночью из амстердамского казино, Роман Джинджихашвили взбирался до рассвета на высокую дюну, пытаясь попасть в гостиницу, но всякий раз соскальзывал вниз, с тем чтобы в очередной раз начать свой сизифов труд. Не лучшей оказалась и судьба Роберта Хюбнера, который, борясь с сильнейшими порывами ветра, упал при спуске с дюны, разбил очки и получил мелкие травмы, из-за чего его партия, помнится, началась с запозданием.

Кратчайший путь из турнирного зала к гостинице пролегал мимо кладбища; возвращаясь в крошечной темноте домой и глядя на контуры надгробий, можно было предаться мыслям об относительности всего в мироздании и уж тем более угодившего в западню ферзя в поначалу так хорошо складывавшейся партии.

В 1975 году четыре голландских участника — Доннер, Тимман, Рей и я решили провести эксперимент: во время турнира жить дома, в Амстердаме. Ровно в полдень мы встречались на площади в центре города, где нас ждал роскошный директорский лимузин; на нем же после тура мы возвращались домой. Нет сомнения, что Ботвинник не одобрил бы этой затеи: жаркие дискуссии велись всю дорогу, и уже через четверть часа сигаретный дым полностью заволакивал машину.

Речь обычно держал Доннер, и диапазон его тем был необычайно широк — от кубинской революции до эндшпиля два коня против пешки. Доннер очень увлекся тогда этим редким окончанием: ему был заказан учебник по эндшпилю для начинающих, и он решил открыть его

анализом этой концовки. Объясняя нам тонкости эндшпиля, Хейн все время упоминал фамилию Троицкого; сначала я поправлял его, указывая, что один из вождей Октября не имеет никакого отношения к замечательному этюдисту, на исследования которого ссылался Доннер, но потом махнул рукой и следил — разумеется, вслепую — только за ходом его анализа.

Эксперимент с ночевкой в Амстердаме продержался только год. Заканчивавший партию раньше других — чаще всего им оказывался я — должен был дожидаться своих коллег, игравших все пять часов; случилось, трое ожидали кого-то одного, мучившегося в раздумьях над записанным ходом, — словом, неудобства перевесили сладость сна в собственной постели.

В гроссмейстерском турнире 1979 года впервые приняла участие представительница прекрасного пола. Сейчас этим никого не удивишь, но тогда участие Ноны Гаприндашвили было чем-то из ряда вон выходящим. Лев Полугаевский очень нервничал перед партией с ней.

— Что же делать? — спрашивал он у меня во время вечерней прогулки. — Я еще никогда не играл с женщиной, что мне играть завтра?

Как мог, я старался успокоить его:

— Но у тебя же белые, голыми руками она тебя не возьмет...

— Что с того, что белые, — стоял на своем Лёва, — она же волжский гамбит играет, легко сказать — белые. А ты видел, как она вчера Николаца в двадцать ходов разнесла?

— Ну, пойдешь конь эф-три на третьем ходу, будешь держать оборону, — давал я вялые советы.

— А если возьмет и потом е-пять? Тогда что? Нет, тебе легко говорить...

Лёва как в воду глядел: его соперница после ходов 1.d4 ♘f6 2.c4 c5 3. ♘f3 cd 4. ♘:d4 действительно пошла 4...e5, но после 5. ♘b5 d5 6. cd ♗c5 7. ♘5c3 сразу перешла к атаке, сыграв 7...e4. Полугаевский поблел, покрылся испариной, но пешку взял и быстро выиграл партию.

Я отыграл в Вейк-ан-Зее с десяток турниров, проведя здесь в общей сложности больше полугода. Дважды выигрывал турнир, случались и неудачи, бывало всякое, но каждый раз ёкает сердце, когда, приближаясь к месту назначения, вижу виадук с огромным натянутым на нем транспарантом, где меняется только цифра в начале текста: Chess tournament. Wijk-aan-Zee.

## **ПАГУБНОЕ ПРИСТРАСТИЕ**

**М**ы позвонили по телефону главному врачу расположенной на одном из чудесных каналов Амстердама специальной клиники и получили разрешение посетить ее. В этой клинике проходят оздоровительный курс заболевшие шахматной игрой.

Главный врач лично приветствовал нас у обитых железом дверей, после чего мы проследовали за ним мимо пожарных брандспойтов, ведер с песком и огнетушителей, несколько затруднявших вход в клинику.

— Жители близлежащих домов уже начали подозревать что-то, — сказал главный врач, — поэтому мы должны были принять кой-какие меры, но проходите, пожалуйста, и чувствуйте себя как дома. Мы сталкиваемся с полным непониманием нашей деятельности. Общественность даже не представляет себе, какие ужасные последствия может иметь отравление шахматами. Начинаящаяся обычно совершенно невинно, чаще всего со школьным приятелем, забава эта нередко поощряется и родителями. Тот факт, что особенно злостную роль играет нередко мать ребенка, нас, специалистов, приводит в изумление. Это начинается как игрушка, но очень скоро перерастает в скверную привычку, можно сказать пристрастие, без которого эти люди не могут больше существовать. Они совершенно теряют интерес к окружающему миру и общаются только друг с другом. Потом следует стремительное падение. Они опускаются окончательно, у них нет постоянного местожительства, едят они всухомятку и поглощают огромное количество кофе. Зрение ухудшается, так же как обоняние и слух. В конце концов они вынуждаются к постоянному бродяжничеству; они странствуют из Монреаля в Москву и из Бухареста в Буэнос-Айрес, полностью захваченные страстью к тому единственному, что только и имеет для них какой-то смысл.

Между тем мы очутились в большом зале, где сидели, лежали и бродили примерно пятьдесят человек различного возраста. Никто из них не разговаривал друг с другом.

— Это наши ходячие больные, — продолжал гостеприимный хозяин, приглашая подойти поближе блондина лет восемнадцати. — Полюбуйтесь, это типичный случай. Недавно на улице он сказал девушке: «Я — конь, и вы, девушка, стоите под шахом». Милое создание, находясь под впечатлением увиденной накануне по телевизору передачи об изнасилованиях, с криком бросилось прочь, а полиция переправила молодого человека прямехонько к нам. Посмотрите, как он грязен и какие у него голодные круги под глазами. Последние месяцы он ночевал в шахматном кафе. Для начала мы должны бу-

дем снова научить его нормально есть, спать и умываться, надо будет заняться и его зрением, потому что глаза пациента различают предметы только на расстоянии одного метра, и лишь после этого он созреет для наших отучающих программ. Большинство людей, которых вы здесь видите, находятся в восстановительной стадии. Это наша самая тяжелая задача. Мы не можем просто так отпустить тех, кто излечился от шахматной игры, потому что ни к чему другому они не приспособлены и совершенно не могут нормально функционировать в обществе. Мы пробовали фактически всё, чтобы привлечь их внимание к чему-нибудь другому, предложив взамен бридж — игру, во время которой участники по крайней мере говорят друг с другом, или шулбак\*, потому что уровень развития этих гроссмейстеров где-то на уровне подростков. К сожалению, мы вынуждены были констатировать, что у пациентов развивается заменяющая функция — зависимость, в не меньшей степени вызывающая опасения, чем игра, по поводу которой они здесь находятся. Также и эксперименты с чтением хорошей литературы не принесли ничего хорошего. Видите там бормочущего косоглазого типа с сачком для ловли бабочек? Наш Набоков! Знает его книги наизусть, и его губы всегда беззвучно шевелятся. Или взгляните на толстяка с бородой у радиатора парового отопления. Тоже начитался и уверяет теперь, что что-то «открыл». Каждый месяц он поставляет нам целые кипы бумаги со значками, которые никто не может разобрать.

Мы должны честно признать, что до сих пор все наши попытки найти этим людям полезное применение закончились неудачей.

Наши отучающие программы, впрочем, действуют отлично. Мы раздеваем наших пациентов догола и помещаем их в закрытую темную комнату, где время от времени при помощи специального проектора появляются шахматные позиции. На стенах и на их обнаженных телах. Одновременно при помощи электродов, прикрепленных к голове, рукам и гениталиям пациента, мы создаем шоковые разряды. Эти комнаты герметически изолированы, тем не менее наша работа далеко не так проста, и мы должны констатировать, что эти люди оказывают значительно большее сопротивление, чем пациенты других групп с пагубными привычками... Но что это? Что я вижу? Нечестивцы!

Наш гид внезапно прервал свои объяснения, потому что его внимание привлекли молодой человек и старик, с видимым безразличием стоящие у стены на некотором расстоянии друг от друга. Лицо доктора налилось кровью, он что-то закричал и, подбежав к ним, принялся осыпать обоих тумаками. При этом на пол упала маленькая кожаная книжечка и, раскрывшись, явила взору шахматную позицию.

Это вызвало новую, еще более удивительную перемену в поведении главного врача. В состоянии страшного возбуждения он опустился на колени и закрыл

\* Голландская настольная игра, смысл которой заключается в бросании деревянных бит.



чал срывающимся голосом: «Конь Харитон-шесть, о, какая красота, и потом шах ладьей! Как восхитительно! Как чудесно! Жемчужина! Дорогой мой!»

Слезы потекли по его лицу, и он разразился диким смехом. Тут же появились санитары с носилками, к которым главный врач дал прикрутить себя без малейшего сопротивления; в тот же миг отовсюду появились шахматные доски и фигуры. Возбужденные пациенты начали издавать совершенно непонятные звуки: сочетания каких-то букв и цифр. Поначалу они образовали группы, но очень скоро разбились на пары, сидя друг напротив друга и передвигая фигуры на шахматной доске...

Мы не хотели больше оставаться свидетелями этого зрелища и, на цыпочках покинув зал, после некоторых поисков оказались у выхода. Как раз вовремя, потому что собравшаяся снаружи толпа амстердамцев с секирами и факелами стояла уже наготове.

Газета «Хандельсблад», 9 июля 1979

## КЛИНИКА

Я позвонил по телефону главному врачу специальной клиники, расположенной на одном из чудесных московских бульваров, и получил разрешение посетить ее.

Был легкий морозец, повсюду лежал снег, но ярко светило февральское солнце, и звуки капли были явственно слышны.

— Вы к кому? — спросил средних лет человек в ушанке, посыпавший крупной солью каток у самого входа в клинику.

— Имею аппойнтмент с профессором Мудрецким, — ответил я.

— Зураб, пропусти к шефу, — приказал дворник человеку кавказского вида, сидящему в будке.

Зураб нажал на какую-то кнопку, тяжелая металлическая дверь поехала в сторону, и я очутился в просторном холле, где меня уже ждал главный врач клиники. Профессор совершенно не изменился за десятилетия, прошедшие с нашей последней встречи. Улыбка на добром млажавом лице, волосы без какого-либо налета седины, роговые очки, белоснежный халат.

— Милости просим, — приветствовал он меня. — Да, давненько вы у нас не были. Ведь правда в столице изменилось многое? Напоминает ли вам что-нибудь о старой Москве, которую вы знали?

— Только снег, — ответил я, проходя в кабинет главного врача и усаживаясь в огромное кожаное кресло. На стенах профессорских покоев были развешаны рисунки самого фривольного содержания, и я стал с любопытством осматриваться по сторонам.

— Идея открытия клиники пришла мне в голову несколько лет назад, когда я был в Нью-Йорке, — начал с места в карьер знаменитый профес-

сор. — Меня попросили взглянуть на необыкновенно одаренного годовалого Рона Ривкинда, уже умеющего правильно расставлять фигуры на шахматной доске. «Замечательно, — сказал я тогда гордым родителям, — но знаете ли вы, что для воспитания настоящего гроссмейстера вы опоздали ровно на один год?»

Вернувшись в Москву, я сказал себе: нет, о судьбе будущего супергроссмейстера следует думать не в день его появления на свет, а, как бы вам получше сформулировать, э-э-э... во время самого процесса, приводящего к появлению на свет будущего чемпиона. Чтобы не быть голословным, я, помня о вашем сегодняшнем визите, назначил на то же время встречу с будущими родителями супергроссмейстера, выпускниками шахматного отделения ГЦОЛИФКа.

А вот и сами практиканты, — радостно объявил главврач, услышав дверной звонок. — Милости прошу. Наташа Клебанова и Виктор Пендриков, — представил несколько смущающихся молодых людей профессор. — Вы не будете против, если при моих инструкциях будет присутствовать коллега из Амстердама?

Молодые люди не были против, и профессор тут же приступил к напутственному слову.

— Друзья, перед тем как вы проследуете в «Инъекционную», я хотел бы сказать вам следующее. Судя по всему, вы проштудировали немало различных книг, но вряд ли целесообразно доверчиво следовать книжкам, тем более что их появилось сейчас великое множество. Гораздо полезнее и интереснее активно включаться в процесс самому. Упражнение полезно сначала попытаться выполнить в уме, возможно, вы с этим успешно справитесь.

Лица молодых людей заметно поскуцнели, но профессор тут же их ободрил:

— Если уж совсем ничего не получится, в трудных ситуациях можете передвигать фигуры. Вам, Виктор, полезно помнить слова Конан Дойля: «Достаточно хоть на дюйм отклониться от единственно правильного пути в самом его начале...» Впрочем, вы помните, конечно, и что говорил Льюис Кэрролл: «Всё зависит от того, куда ты хочешь попасть». Помните, что как это ни трудно, эмоции должны быть все время под контролем, им можно дать выход в свободное от вашей благородной задачи время. Импульсивность здесь, как вы сами понимаете, неуместна, равно как и совет доктора Тарраша сидеть на руках. Не забывайте и то, что еще Монтень говорил: самая великая вещь на свете — это владеть собой. Так что делу время, потехе — час. Я лично всегда вспоминаю в подобной ситуации очень поучительный случай из моей собственной практики, ведь по меркам сегодняшнего дня я был сильным гроссмейстером...

Речь идет о пари, заключенном на заре моей юности, когда московский кандидат в мастера Бородецкий побился об заклад с будущим аме-

риканским гроссмейстером, а тогда еще грузинским мастером Дундурашвили, что в течение четверти часа съест полтора килограмма масла просто так, а-ля натюрель, так сказать. После того как москвич с легкостью уложился в отведенное время, мы спросили у гордого победителя, в чем секрет такого, прямо скажем, редкого искусства. Тот скромно ответил, что никакого секрета здесь нет, нужно просто отключить вкусовые ощущения. Вы поняли, молодые люди, о чем идет речь? Отключить какие бы то ни было эмоции, как бы трудно это ни было. И не забывать слова Фазиля Искандера: «Вдохновение может быть прерывисто, в таком случае мастерство есть заполнение пауз». Наконец, и во время процесса можно экономить силы, используя для отдыха краткие минуты передышки, когда очередь хода за вашим партнером.

Вы не должны пугаться, Наташенька, что вся комната драпирована черным шелком. С самых первых часов будущему супергроссмейстеру должна внушаться мысль: полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Разумеется, нельзя думать во время творческого процесса о негативных вещах, помните, что этим самым вы создаете у будущего чемпиона пессимистический взгляд на жизнь. Следует по мере возможности отгонять мысли о ФИДЕ, матчах на мировое первенство, об открытых турнирах. Этим вы можете травмировать ребенка на всю жизнь. Думайте о том, что у вас лишний слон в окончании, о том, что вы начали игру в последнем туре, опережая всех соперников на полтора очка, о Капабланке наконец. Вы, кстати, решили уже, какое имя дать будущему чемпиону? Я бы рекомендовал – Сашенька, оно подходит и для мальчика, и для девочки, да и в моде сейчас, чойс оф дзе ниу дженерэйшн, так сказать...

И, конечно, развивайте фантазию! У меня припасены на этот случай для вас специальные упражнения. Мы займемся ими позднее, но сегодня неправильно было бы пренебречь простыми позициями. Классические позиции, которые, я надеюсь, вы изучили на моих карточках, – вот ваш ориентир.

Повернувшись ко мне, профессор вздохнул: «Дети зачастую считают, что история началась с их рождения: всё, что прежде, – каменный век, и пренебрежительно относятся к классическому наследию. Нелепость и вздорность подобных заблуждений не докажешь словами».

– Хотя значение технического мастерства в наше время сильно возросло, следует считаться с накопившейся усталостью к концу процесса, – продолжал профессор. – Не надо забывать о конечной цели вашего посещения клиники. На этой книжной полке вы видите немало монографий, но мыслимое ли дело освоить и запомнить всю содержащуюся в них информацию? Но, оказывается, этого и не нужно делать. Прочитав мои книги, желающие совершенствоваться овладеют теми важнейшими позициями, которые помогут ориентироваться им в безбрежном море вариаций.

Каждому очень важно овладеть «профилактическим мышлением» — умением постоянно спрашивать себя: чего хочет мой партнер, что бы он сделал при своем ходе?

И еще: как бы ни окончилась ваша сегодняшняя встреча, следует постоянно оказывать уважение своему партнеру. Вы помните, конечно, что говорил Керес: «Я не боюсь своих партнеров, хотя и уважаю их».

«А я — наоборот», — подумал я, но предусмотрительно решил не проносить позорных слов вслух.

— Знаю, Виктор, что у вас могут возникнуть трудности в определении того переломного момента, когда уже удалось извлечь максимум возможного по принципу «не спешить!». Ведь еще Козьма Прутков говорил, что только три дела, однажды начав, трудно кончить: вкушать хорошую пищу, беседовать с возвратившимся из похода другом и чесать, где чешется. Это только дурак кончает в начале, — профессор, предостерегающе подняв палец, посмотрел на Виктора и по-отечески заметил Наташе: — Умный начинает с конца.

Я попрошу вас остаться на несколько минут, — сказал профессор молодому человеку. — Вас же, Наташа, без сомнения, учили в институте принципу «отталкивания плечом». Понятно, что мы полностью разделяем этот принцип, но сегодня он и неправилен, и неуместен. И напоследок повторю вам, Наташенька, слова Арона Нимцовича: «Полная пассивность безнадежна!»

Вы помните, Виктор, замечание Ботвинника: «Кто не умеет работать, тот обречен на неудачи»? Одним талантом здесь ничего не сделаешь, — произнес профессор, почему-то тоном обиженного ребенка. — Здесь полезно вновь вспомнить Козьму Пруткова: «Нет столь великой вещи, которую бы не превзошла величиной еще большая, и нет вещи столь малой, в которую не поместилась бы еще меньшая».

Напомню вам еще раз и алехинские слова: «Игра на флангах — моя излюбленная стратегия», поэтому постарайтесь использовать всё пространство «Иньекционной». Помните: линия «h» имеет на своей совести много жертв. Еще раз повторю мудрость Патриарха: «Спокойствие — не декоративная вещь: если я его теряю, то совершаю ошибки». Принцип «не спешить!» вовсе не означает, что можно беззаботно транжирить время. Не следует забывать, что на полчетвертого назначена другая пара... И если в остром миттельшпиле вас может соблазнять образ тигра, стремительно бросающегося на добычу и разрывающего ее, то в эндшпиле, скорее, надо подражать питону, медленно душающему свою жертву.

Вы уже поняли, коллега, — продолжал профессор, когда мы остались в кабинете вдвоем, — мы решили подвергнуть сомнению устаревшую заповедь «гроссмейстерами не рождаются». Рождаются! И очень даже рождаются! Но всё зависит от подготовительного процесса. Я рад поделиться своими позициями с каждым, ведь еще Козьма Прутков говорил, что

чрезмерный богач, не помогающий бедным, подобен здоровенной кормилице, сосущей с аппетитом собственную грудь у колыбели голодающего дитя. Ясно, что после нескольких часов напряженной борьбы шахматист устает. Но одни устают больше, другие меньше. Именно на последних минутах зачастую определяется судьба всего эксперимента, и поэтому успех ждет того, кто сохранил запас сил к концу. Рецепт в таких случаях ясен: надо увеличить физические нагрузки, больше времени уделять спорту, прежде всего упражнениям на выносливость (например, медленный, но долгий бег, плавание и, разумеется, гребля).

Конечно, успех начинания никто гарантировать не может, я думаю, что только половине наших подопечных будет сопутствовать удача. Это и хорошо: опытным путем доказано, что люди наиболее активны, когда вероятность успеха составляет примерно 50 процентов. Соотношение «пятьдесят на пятьдесят» требует веры в успех и в то же время позволяет верить в него. Если вера не нужна (успех гарантирован) или невозможна (ожидается полная неудача), то работа становится бездушной, постылой и оттого малоэффективной. В конце концов, всё, что человек хочет, непременно сбудется. А если не сбудется, то и желания не было, а если сбудется не то — разочарование только кажущееся: сбылось именно то. Признаться, я сам никогда не увлекался дебютными изысканиями и потому не чувствую себя в этой области достаточно уверенно. Ведь как бы хорошо вы ни были знакомы с книжными знаниями, рано или поздно они заканчиваются и приходится действовать самостоятельно. Да и книжки сейчас пошли... Возьмите, например, чарующие писания какого-то Чащобина, с гиком несущегося по всей истории шахмат, или — не к ночи будь помянут — псевдотеоретические изыскания Лаврентия Корфмана. Да, не зря говорил Козьма Прутков: «Перо, пишущее для денег, смело уподоблю шарманке в руках скитающегося иностранца», — при этих словах профессор иронически покосился в мою сторону.

Смутившись, я отвел глаза и стал с интересом рассматривать ремни и плетки, висящие над его креслом. Поймав направление моего взгляда, профессор улыбнулся:

— Нет-нет, это не амстердамская продукция, это презент папаши Обского. Услышав о создании нашей клиники, он, ссылаясь на свой удачный опыт, прислал нам в подарок свой инструментарий, лучше всяких тренировок, по его мнению, способствующий росту шахматиста. Но вы же понимаете, что такие методы далеки от принципов нашей школы. Главное для нас, в конце концов, воспитать порядочных людей, ведь ни для кого не секрет, что ведущие шахматисты мира, увы, нравственно неполноценны.

У нас в клинике нередки и заграничные гости, порой очень даже именитые. Вот совсем недавно нас посетил пожилой господин с блуждающим взором. Он записался в регистрационной книге, — тут профессор,

оглянувшись на дверь, перешел на шепот, — Борисом Фишманом, но у нас есть свои соображения на этот счет, тем более что седой, с крупными залысинами человек говорил по-русски с сильным акцентом. Он извлек из огромной черной сумки, с которой не расставался ни на миг, средних размеров сверток — в нем оказалась малютка с миниатюрным японским личиком. Отец попросил взять младенца на обучение сроком на год: слухи о нашей Клинике достигли и Рейкьявика, где он сейчас постоянно живет. Молодой, но уже шестидесятилетний папаша предупредил нас о возможных кознях КГБ и происках жидо-масонов. Мы просто не знали, как поступить, но после того как «Борис» вытащил полиэтиленовый пакетик, плотно набитый зеленого цвета купюрами, вопрос был решен.

Я снова бросил взгляд на стены кабинета. Наряду с картинками, заимствованными из книг самого профессора, повсюду висели изречения известных гроссмейстеров. Запомнились некоторые из них.

Облугаевский: «Метод профессора Мудрецкого — это блестящая возможность тренинга; именно на нем воспитываются работоспособность, выдержка, выносливость, которые, право же, шахматистам нужны не меньше, чем марафонцам».

Бутреев: «Капабланка, Нимцович, Шпильман тоже писали учебники, но оставались при этом практиками. В свое время многие представленные в серии книг Мудрецкого позиции я изучал, когда они были еще только на карточках. Их продавали из-под полы в поездах дальнего следования сомнительные личности, по рублю штука. Только в последние годы позиции профессора приобрели заслуженную известность в мире».

Лобоган: «Это нектар его двадцатилетнего труда, и нам, шахматным трутням, остается только пользоваться им. Положительный момент в книгах профессора — это то, что их можно просто читать, как художественную литературу. Не раз я видел, как приходящие ко мне в гости гроссмейстеры не могли оторваться от чтения на протяжении нескольких часов. Однажды мы играли в настольный теннис на вылет. Один из моих коллег так погрузился в чтение, что, когда подошла его очередь, густо покраснел и... оказался просто не в состоянии начать игру, что вызвало оживление всех, в особенности шахматисток».

Из высказывания гроссмейстера Бельфельда следовало, что он по-прежнему находит в книгах Мудрецкого много новых для себя позиций, замечая, что после изучения их у него особенно возросла техника окончаний.

На почетном месте висел огромный портрет Джерри Газзарова. Великий чемпион утверждал, что раньше все занимались исключительно сухим практицизмом; позиции же, рассматриваемые профессором Мудрецким, знаменовали собой новое, свежее течение. Газзаров особо подчеркнул, что старые положения, известные еще со времен Помпеи, относятся не к началу нашей эры, как полагают лжеисторики, а только к средним векам.

Между тем профессор продолжал свой рассказ:

— Я ратую за принцип: от простого к сложному! Но и здесь, как и во всем, нужна мера. У вас в Амстердаме я встречал такие замысловатые положения, что прямо не разберешь, где начало, где конец. Неторопливый метод действий, когда вы просто усиливаете давление, — вот залог успеха. То, чему мы учим наших клиентов, — практическое искусство, подобное плаванию, катанию на лыжах или игре на фортепиано; научиться ему можно, подражая только хорошим образцам и постоянно тренируясь. Нельзя забывать и правило, о котором я узнал в детстве: если пальцами одной руки можно дотянуться до...

Речь профессора прервал резкий телефонный звонок. Он включил видеотелефон, и на экране высветилось лицо Бориса Серебряника, известного шахматного наставника, уже много лет назад покинувшего Москву и живущего в Милане.

— Чем обязан, коллега, какая погода в Италии? — осведомился профессор.

— Погода у нас замечательная, но я не о погоде. Во время моего недавнего посещения Москвы ко мне приходили консультироваться некие Клебанова и Пендриков...

— Как же, как же. Они вот уже как с полчаса в «Инъекционной», очень симпатичные молодые люди, и видно, что понимают всю серьезность проблемы. К тому же...

Далекий собеседник не дал профессору договорить:

— Да их уже как с год отчислили из ГЦОЛИФКа за неуспеваемость! Они, профессор, на лекции не ходили, а Клебанова, представьте, на зачете по комбинациям спросила: «Шпильман — это тот, который «Челси» купил, что ли?» А молодой человек уверял меня, что герцог Брауншвейгский и граф Изуар нарочно Морфи партию спланировали, чтобы только в историю попасть. Так что, дорогой коллега, у них и мыслей нет о будущем, они же общежития лишились, им просто встречаться негде, так что гоните их как можно скорее!

Вспыхнуло еще раз изображение на экране видеотелефона, и короткие гудки заполнили всё пространство кабинета. Профессор, побагровев, выскочил в коридор.

— Обманщики! Нечестивцы! — донесся до меня его возбужденный голос: профессор барабанил в дверь «Инъекционной». — Немедленно прекратите, вы разоблачены, даю вам пять минут на сборы, и чтобы ноги вашей здесь не было!..

Из комнаты донесся глубокий вздох.

— Да, — заметил, возвращаясь, профессор, — нельзя не вспомнить незабвенного Тартаковера: «Как из разбитой вазы, как из упавшей скрипки, рвутся из иной проигранной партии звуки тысячи страстей».

Через несколько минут потупившие взор Наташа и Виктор появились в дверях кабинета.

— Что еще? — строго спросил главврач. — Дверь на улицу, молодые люди, находится в другом конце коридора.

— Мы комбинацию не можем найти, — всхлипнула Наташа.

— А была ли комбинация? — раздраженно спросил профессор. — Но даже если ее не было, позволю себе напомнить вам, уважаемая, слова Стейница: «Ищи комбинацию, верь, что комбинация существует, и ищи ее. И если после многократных попыток она еще не найдена, продолжай искать, ибо результат стоит труда!»

С этими словами профессор стремительно выбежал из кабинета.

— А это верно, что вы знали Капабланку? — неожиданно повеселела Наташа, когда за ним захлопнулась дверь. — А правда ли, что он на турнире в Гастингсе прямо во время партии...

— Правда, всё правда, — ответил я, но профессор уже стоял в дверях, безразлично держа двумя пальцами кусок розовой материи.

— Надо было посмотреть за батареями, — назидательно заметил он. — Кто такой Шпильман, вы не знаете, а ведь Рудольф Шпильман еще в прошлом веке писал, что умение находить комбинации в такой же степени неотъемлемое качество для шахматиста, как и знание дебютов и искусство ведения эндшпиля.

— Я покажу вам клинику, — сказал, успокоившись, профессор, когда за молодой парой захлопнулась дверь.

Выйдя в коридор, мы остановились у входа в зал с загадочным названием «Дельфийский». Встретившись с моим вопросительным взглядом, профессор пояснил:

— Вы помните, конечно, один из важнейших постулатов Дельфийского оракула: познай самого себя. В этом зале молодые люди работают над собой в одиночку. Мы пришли к выводу, что такого рода индивидуальные занятия крайне полезны для техники процесса и снимают напряжение у будущих родителей. В их распоряжении помимо книг и журналов имеются и видеокассеты. В зале все время звучит музыка, я лично предпочитаю Высоцкого.

При этих словах профессор нажал красную кнопку, и откуда-то поплыл хриловатый голос знаменитого барда: «...и голове своей руками помогал».

— Значительно большей популярностью пользуется другой зал, — продолжал мой гид свои пояснения, подходя к полуоткрытой двери в большой тренировочный зал, весь устланный матами. — В ходе групповых сессий испытываются новые положения, рождаются любопытные методические новинки. Все лекции и наиболее поучительные упражнения записываются нами на видеомагнитофон. В дальнейшем они вводятся в компьютер, обрабатываются и остаются в нашей видеотеке. Одна из стен зала полностью покрыта зеркалами. Объяснение просто: шахматист дол-



жен уметь посмотреть на себя со стороны, сохраняя при этом полную объективность. Группа ведущих гроссмейстеров, моих учеников, предложила принимать участие в групповых занятиях даже на общественных началах — не буду называть их фамилий, публичная благодарность не принесет им добра. *Sapienti sat...*

На дверях следующего зала висела табличка «Открыто круглосуточно». Чуть ниже я нашел незатейливые строки: «Лучше хворь предупредить, чем отравленным ходить. Рады вам всегда помочь. Пункт открыт и день и ночь».

— Это наш Профилакторий, — с гордостью сказал главврач. — Вы знаете, конечно, что мы считали и считаем профилактику основным в нашей методике. Того же принципа стали придерживаться и многие наши заграничные гости. Наплыв у нас так велик, что мы решили с прошлого года производить расчет только в у.е.

— В чем? — не понял я, но профессор стоял уже у следующей двери.

— Это выход в сад, где мы разбили наш маленький Зу, — сказал профессор. — Сейчас зима, все животные находятся в утепленных клетках, не будем их тревожить. Два слона, Зяма и Клюша, покрашены соответственно в синий и зеленый цвета, неслучайно все мои ученики прекрасно чувствуют себя в окончаниях с разноцветными слонами. Вы видели, кстати, позиции, в которых Павел Шмидлер сдался Владлену Гамарнику, а Мудьен Аккоро — Лёве Аронзону?

А вот и сам Лёва, — продолжал профессор, показывая на старого льва, мирно спящего в своем загончике. — Его охраняют служители Зу — зулусы. Но к концу года мы выводим его на Красную площадь, символизируя этим централизацию короля в эндшпиле. Тем более что это полностью соответствует сейчас общей линии. Помните, как говорил Козьма Прутков: «Держаться партии народной и современно, и доходно».

Профессор многозначительно взглянул на меня, но вдаваться в более подробные объяснения не стал.

Мы вышли в коридор и остановились у зала с веселым названием «Арбузный». Вдоль стены на высоких стульях, положив для удобства ноги на низенькие скамеечки, сидели восемь молодых женщин с заметно округленными талиями.

— Вот они, наши арбузницы, — ласково пояснил главврач. — Это Кирсаных их так называют, вахтер наш, оттого мы и зал так назвали — «Арбузный». Кирсаных пришел к нам, что и говорить, с неважными рекомендациями, но мы решили его все-таки взять, не пропадать же человеку, что ни говорите — *Gens una sumus*.

Женщины, медленно поглаживая животики, внимательно смотрели на огромный экран с появляющимися на нем шахматными позициями и не обращали на нас никакого внимания. Из развешанных в углах зала репродукторов, имевших вид шахматных коней, струилась симфония Баха.

— Будущие мамы чемпионов, — с гордостью заметил профессор. — Вы в курсе, конечно, опытов, проводимых в Японии: уже доказано, что слушание музыки полезно для здоровья не только матери, но и маленького существа, которое только должно появиться на свет. Японцы пришли к выводу, что младенец, родившийся после таких музыкальных процедур, не только более уравновешен, но и явно предрасположен к музыке. Кое-кто, правда, предлагает заменить Баха на Верку Сердючку, но мы сторонники классического, проверенного направления.

После целой серии экспериментов наши специалисты выяснили, что постоянное поглаживание малютки вкупе с решениями простых примеров, предпочтительно эндшпильей из творчества Капабланки, способствует быстрейшему схватыванию существа позиции будущим трехтысячником. Да-да, не удивляйтесь, к тому времени, когда эти не родившиеся еще крохи достигнут пятилетнего возраста, рейтинг гроссмейстера экстракласса будет равен именно этой цифре. Вам знакомо, конечно, это положение? — спросил он, когда на экране появилась новая диаграмма.

— Эта позиция возникла в одиннадцатой партии матча на мировое первенство в 1985 году, — пояснил профессор. — Чемпионы думали здесь сорок пять минут и ничего не придумали. Лучшие гроссмейстеры, собравшиеся в пресс-центре, обливались потом, но и они были бессильны. Я же показал им решение, о котором они и не подозревали, едва взглянув на позицию. А мой ученик Вадим Брагинцев нашел его вообще вслепую. А ведь Вадиму только четыре года!

Да, пример Чигорина, научившегося игре в шестнадцать лет, оставьте для шахматных историков. Кстати, читали ли вы недавно вышедшую книгу отца, сына и внука Пендзнеров «Шахматы в жизни Президента»? Оказывается, еще в бытность свою в Питере, в паузах между схватками в дзюдо, молодой Володя с удовольствием решал вслепую этюды братьев Платовых... Но что это? Что я вижу? — наш гид внезапно прервал свои объяснения. Лицо главного врача налилось кровью, он что-то закричал и ринулся в маленькую комнатку за сценой, в которой находился его постоянный ассистент Аркадий Пульпсон.

Всё еще возбужденный, профессор вернулся через минуту, чтобы дать объяснение столь внезапно произошедшей с ним перемены:

— Они по обыкновению всё перепутали, за ними нужен глаз да глаз. Вместо спокойных эндшпильных позиций они пустили кассету на развитие внимания до конца партии — только что будущим мамам была показана позиция из последней партии матча Стейниц — Чигорин. Можете себе представить, какой отрицательный заряд эмоций получили бы чемпионы еще до рождения, тем более что за этой позицией следует положение из партии Пузман — Газзаров из клубного чемпионата Европы?!

Следующей нашей остановкой оказался зал, на двери которого висела табличка с именем Скуратова.

— Это наш зал Матери и Малюты, — с гордостью сказал профессор. Огромное помещение, где молодые мамы играли с младенцами, было залито светом, а в углу два бутуза с увлечением гоняли по доске одинокого короля. Здесь же бродил старый сиамский кот по кличке Чесс.

— Да-да, потомок того самого, алехинского! — подтвердил он. — Кот на редкость учен, и, когда крохи располагают в окончаниях пешки на полях цвета собственного слона, он начинает жалобно мяукать.

В дальнем углу я увидел двухлетних девочек, сидящих на горшочках перед пустынной доской и по очереди нажимающих на кнопку шахматных часов.

— Вы знаете, что при предельном сокращении времени на обдумывание вопрос техники пережата часов приобрел решающее значение. Одна из этих прелестных крошек, — здесь профессор снова понизил голос, — и есть та самая Регина Фишман, которую оставил таинственный незнакомец из Рейкьявика.

Пройдя еще немного по коридору, мы остановились перед тяжелой дверью, которую было легко и не заметить. Оглянувшись, профессор убедился, что в коридоре кроме нас никого нет, и нанес три длинных и два коротких удара по алюминиевому бруску, произнеся загадочные слова: «Паска Дери». С другой стороны зашуршало, низкий голос ответил: «Дери Паска», и дверь распахнулась. Человек в противогазе пропустил нас вовнутрь, и мы оказались в большой лаборатории, где на длинных оцинкованных стеллажах здесь и там стояли колбы и пробирки.

— Вы понимаете, конечно, что наш разговор сугубо конфиденциален, — взял меня под руку профессор. — Ведь то, чем мы занимаемся здесь, является абсолютным табу в научном мире, но мы твердо верим, что наши эксперименты в ближайшем будущем разрешат вообще все проблемы шахматного тренинга. Мы работаем, — профессор перешел на шепот, — над техникой клонирования шахматиста-супермена! Нам удалось получить младенца, который уже на второй день после появления на свет не только прекрасно ориентировался в тонкостях ладейного эндшпиля с пешками «f» и «h», но и показал опровержение атаки Маршалла и челябинского варианта. К сожалению, пилполя, вырабатывающая гормон, приносящий счастье, не сработала, и младенец, без сомнения будущий чемпион мира, все время плакал и постоянно находился в подавленном состоянии. Мы решили э-э-э... словом, вы сами понимаете... Нет-нет, анализы с показанными им вариантами мы, разумеется, сохранили, они находятся в мощном сейфе, им ведь нет цены. Да, жизнь не стоит на месте: новое время — новые песни. И все-таки грустно, что многие, прекрасно зарекомендовавшие себя формы шахматной жизни, уходят в историю. Неужели безвозвратно?

Мы снова вышли в коридор. Забытая, трогающая сердце мелодия полилась из динамика.

— Да, бывшее нельзя вернуть и печалиться не о чем, — вздохнул профессор, — у каждой эпохи свои подрастают леса, а все-таки жаль, что нельзя с Николаем Владимировичем поужинать, в Клуб заскочить хоть на четверть часа...

Раздались короткие сигналы из аппарата, прикрепленного к нагрудному карману халата главного врача. Он попросил его извинить: профессора срочно вызывали в «Арбузную». На цыпочках покинув холл, я, после некоторых поисков, оказался у выхода. Длинная очередь молодых людей стояла перед тяжелой литой дверью. Медленно падающий пушистый снег Москвы освежил мое лицо.

**Хейн ДОННЕР**

## **ЙОХАННЕСБУРГ**

**Г**лядя с облаков, Эйве повествует о событиях, связанных с Олимпиадой в Йоханнесбурге в 2004 году.

Олимпиада была проведена в Южной Африке потому, что за год до этого всеобщие выборы там принесли победу чернокожему большинству страны. ФИДЕ тут же объявила о снятии бойкота с шахматной федерации. Ее примеру последовали и остальные спортивные организации, после чего в стране начался настоящий бум международных соревнований.

Состав команды Голландии всё еще определялся отборочной комиссией. Членами этой комиссии могли стать действующие игроки, при условии, что их возраст не превышал двадцати пяти лет. Но старейшие голландские шахматисты теперь редко играли на родине. Тимман эмигрировал в Америку, где стал «чемпионом Американской шахматной федерации». Эта федерация входила в ФИДЕ, но проводила свои собственные чемпионаты мира.

Сосонко стал горячим патриотом Страны восходящего солнца. Он женился на японке, которая родила ему несколько маленьких деток, и принял японское гражданство. Семидесятисемилетний Доннер уже более двадцати лет тому назад порвал с шахматами. Тем не менее около его дома в Амстердаме собираются дети со всей округи, громко крича: «Шахматы! Шахматы!», в ответ на что престарелый Доннер, кряхтя и спотыкаясь, выползает на улицу и в ярости размахивает своей палкой, являя собой довольно комичное зрелище.

Большинство членов национальной команды очень молоды. Ян Брайненберг выиграл последний чемпионат страны. Пит ван Гиссен был вторым. Проблемы возникли только с последней доской. Ян Лангевтен занял в чемпионате третье место, но Ханс Пём довел мировой рекорд в сеансе одновременной игры до 775 досок (!), что очень привлекло внимание прессы, а это, в конце концов, самое главное. Длительные препирания между Лангевтеном и Пёмом поставили комиссию в крайне затруднительное положение, выход из которого не мог найти даже ее председатель Кор ван Вийгерден. Самый юный голландский шахматист, многообещающий Ян Нагел, нашел наконец решение. Гроссмейстер Рей, давно уже не входящий в комиссию, был, тем не менее, по общим соображениям включен в команду. В какой-то газете Рей высказал мнение, что новый режим в Южной Африке в действительности далек от демократии. Он сказал это в связи с арестом и высылкой Виллема Фридрика Херманса\*, который наслаждался на старости лет в Южной

---

\* Известный голландский писатель, совершивший в 70-х годах поездку в ЮАР и подвергшийся за это суровой критике на страницах печати.

*Африке заслуженным отдыхом. Рей заявил, что обхождение с «нашим замечательным писателем» просто возмутительно, а сообщения о нелегальном владении оружием он рассматривает как клевету.*

*И Ян Нагел слышал, что из-за этого Рей собирается бойкотировать Олимпиаду. Он сам слышал это от Франса, а тот, в свою очередь, от Макса. Услышав это обнадеживающее сообщение, председатель тут же позвонил супруге Рея. Она подтвердила, что ее муж действительно стал много принципиальнее с тех пор, как игра в рулетку в Голландии находится под запретом. Потом она всё это отрицала, но тем не менее в прессу ушло сообщение, что Рей по принципиальным соображениям не сможет принять участие в Олимпиаде.*

*Голландская команда выступила в Йоханнесбурге, кстати говоря, превосходно. По числу выигранных матчей мы были вторыми, но вследствие тяжелых поражений во встречах с Венгрией, Аргентиной и Фарерскими островами по показателям на досках оказались только девятыми. Ни в одной голландской газете не было ни строчки о том, что Голландия заняла второе место! И в этом мы тоже занимаем уникальное место в мире, поскольку мы знаем, что такое — приличие и скромность.*

*«Схаакбюллетин», август 1983*

## ПЕКИН-2024

Празднование 100-летнего юбилея ФИДЕ в 2024 году было приурочено к Олимпийским играм, проводимым в Пекине. Программа торжественного открытия Олимпиады включала жертвоприношение ста отборных барашков, свершившееся прямо на стадионе, как залог дальнейшего процветания Международной шахматной федерации. Ритуал этот не явился неожиданным: еще в 2004 году ФИДЕ приняла специальное постановление, согласно которому организаторы каждого турнира должны были теперь перед его началом приносить в жертву барашка, гарантируя таким образом успешное проведение соревнования. Представители федераций западноевропейских стран, обвиняя друг друга в поставках недоброкачественного мяса, так и не смогли прийти к соглашению, поэтому Новая Зеландия получила от ФИДЕ эксклюзивное право на поставку животных в страны Старого Света.

На конгрессе ФИДЕ в 2008 году в Ташкенте, правда, рассматривалось предложение представителей Антарктиды о возможности использования с той же целью пингвинов, со ссылкой на то, что пока только это животное обитает у Южного полюса. Их предложение было единодушно отвергнуто делегатами конгресса. «Барашек был и остается нашим символом», — дружно блеяли они. Особенно усердствовал посланец Молдавии Виолончеленко. «Прямо-таки волк в шкуре барашка», — раздавались

редкие робкие голоса делегатов некоторых федераций западноевропейских стран. Но их шепот был заглушен общим хором подавляющего большинства. «Retournons à nos moutons»\*, — дружно скандировали они, стремясь не потерять драгоценного времени.

С другой стороны, конгресс с удовлетворением констатировал очевидный рост интереса к шахматам в Антарктиде. Дело в том, что в начале 21-го века в связи с резким потеплением климата начал обживать и шестой континент, где уже был проведен первый открытый шахматный чемпионат. Правда, пока первые места достались гостям — Андрею Бутурину (Уэльс), Изидору Шапиро (Тасмания) и Тиграну Мокасяну (ФРГ).

В Европе по-прежнему удерживал свои позиции престижный турнир ван Вондерома, который состоялся в этом году зимой в Санкт-Морице. Сильнейшие гроссмейстеры, лишенные какого бы то ни было одеяния, при звуке гонга по сигналу судьи Харта Хляйберта (это был его 38-й турнир кряду) погружались в бочки с ледяной водой под одобрительные возгласы зрителей; играли они, разумеется, вслепую, и морозный воздух был весь наполнен их задорными выкриками.

В парке знаменитого швейцарского курорта нередко можно было встретить двух почетных гостей турнира, не спеша прогуливающих по его аллеям. Они трогательно поддерживали друг друга под руку, временами останавливаясь, чтобы передохнуть. Один — с непокрытой серебряной головой, черными кустистыми бровями, — энергично жестикулируя, вел беседу; другой — поменьше ростом, с заметным брюшком, опирающийся на палочку, — соглашаясь, одобрительно кивал головой. Чемпионы далекого прошлого — Джерри Газзаров и Барматолий Шукин (а это были, конечно, они) — с удовольствием вспоминали минувшие дни. Весной 2020 года на Гавайских островах состоялась свадьба сына Газзарова и дочери Шукина, транслировавшаяся в прямом эфире. Посаженым отцом на свадьбе был престарелый Барбакакас, которого внесли на специальных носилках члены Исполкома ФИДЕ. Он протянул руки Газзарову и Шукину, и те обнялись на глазах всего шахматного мира; 1800 приглашенных гостей со слезами на глазах, стоя, аплодировали бывшим непримиримым врагам.

По-прежнему пользовался популярностью опен-турнир в Гронингене. Правда, общий призовой фонд его несколько уменьшился. Он составлял теперь 1254 доллара, но неизменно привлекал большое количество участников. Несколько ухудшились и условия приема: теперь гроссмейстеру предоставлялась только койка в шестиместном номере гостиницы, но для большинства это никак не могло служить препятствием для участия в любимом турнире. «В тесноте, да не в обиде», — прокомментировал этот факт представитель традиционно многочисленной израильской делегации, устраваясь поудобней на своей кровати и доставая из тумбочки баночку

---

\* Вернемся к нашим баранам (франц.).

малинового варенья, предусмотрительно захваченную из дому. Поначалу не все были довольны и другим нововведением: теперь за посещение туалета полагалась плата — десять центов. На первых порах участники жаловались на возросшие расходы, но постепенно приспособились и к этому. «Ученые пришли к выводу, что для предохранения органов от старения следует как можно меньше пить. Так что так на так и приходится. Меньше пить — реже в туалет ходить!» — несколько смущаясь, повторила лозунг, висящий повсюду в турнирном зале Мартини-холла, одна из старейших участниц гронингенского турнира. Впервые она играла здесь в 1989 году, а вот сейчас приехала на турнир вместе с внучкой. Распаковав вещи, ветеран первым делом поставила на тумбочку фотографию тех незабываемых лет: директор турнира, легендарный Зюрокол, стоит в окружении участниц; девочка с длинными косичками — она сама...

Справедливости ради следует сказать, что условия для игры и в других опенах были немногим лучше, тем не менее от желающих участвовать в них не было отбоя; заблаговременная заявка — желательно за семь-восемь месяцев до начала турнира — давала известные преимущества. Нередко на сайтах ведущих опенов уже за полгода до старта вывешивалась табличка «Мест нет», а наиболее дальновидные заявляли о своем желании играть в следующем году прямо на закрытии турнира.

На конгрессе ФИДЕ в Дар-эль-Саламе в 2002 году был поднят вопрос об изменении девиза организации. Предложение — «Друзья познаются в ФИДЕ», внесенное делегатом Колумбии, дабы дать отповедь маловерам, заострившим внимание на всё более растущих проблемах организации, встретило одобрение. «Это будет достойным ответом тем, кто в кулуарах конгресса распространяет слухи о неминуемом самороспуске ФИДЕ», — добавил представитель Греции. Все же подавляющее большинство делегатов решило не порывать с традицией, сохранив старый девиз, пусть и с небольшой поправкой, более соответствующей духу времени. Теперь вместо «Gens una sumus» на гербе ФИДЕ было выгравировано «Gens una cumus», по названию чудодейственного напитка калмыцких степей, омолаживающее действие которого на организм доказали специалисты. Поправка эта оказалась как нельзя более уместной, ибо проверки антидопинговой комиссии Международного олимпийского комитета стали очень частыми. Так, у гроссмейстеров Пиммана и Козолова на турнире в Сараеве после одного из туров экспертиза обнаружила превышение нормы кофеина в 3 раза, а алкоголя — в 11. Друзья объяснили этот факт вчерашним праздничным застольем. Поводом для него явилась партия между Джерри Газзаровым и Павлом Шмидлером, блестяще выигранная последним, за которой они следили ночью по интернету. Их аргументы, разумеется, не были приняты во внимание, и оба получили последнее строгое предупреждение.

Была пересмотрена вся история древней игры. Тренерам рекомендовалось отныне не особенно заострять внимание молодых на партиях Але-



хина и Таля, как известно, особенно часто и с удовольствием нарушавших спортивный режим, а сайтам, попытавшимся в этой связи продавать сборники их партий по более высокой цене, было строго указано.

Кстати, на изучение творчества предыдущих чемпионов мира тренеры отводили теперь не более чем по полчаса на чемпиона. К 2024 году их набралось 37, так как ежегодно первенство завоевывал новый гроссмейстер, за исключением двух лет — 2001-го и 2016-го.

В 2001 году чемпионат вообще не проводился, так как специальная комиссия занималась проверкой финансовых дел в ФИДЕ. После многомесячной работы комиссия (председатель — представитель Нигерии, члены — делегаты Индонезии, Камеруна и Узбекистана) не нашла, разумеется, ничего нарушающего общепринятый порядок выплаты призов, но драгоценное время на подготовку чемпионата было упущено. Результатом проверки явилось запрещение Доре Барст — журналистке Би-би-си, по чьей инициативе, кстати, и проводилось расследование, — на год заниматься журналистской деятельностью. Она даже была вынуждена покинуть Великобританию и осесть в Голландии. Но и здесь она не потеряла злопыхательского зуда. «Мы еще выясним, что идет на корм коровам, из молока которых делается хваленый голландский сыр», — заявила журналистка.

С энтузиазмом встретили предложение Тараса Артемова об отчислении впредь в кассу ФИДЕ 74 процентов призового фонда всех турниров, проводимых этой организацией. Особенно были довольны профессиональные шахматисты. «Мы теперь не зависим от спонсоров, мы сами себе спонсоры», — говорили они.

В 2016 году чемпионат мира вновь выиграл Александр Шахиншан, что удивило в первую очередь его самого: гроссмейстер давно уже распротился с практической игрой, полностью переключившись на работу в интернете. «Я абсолютно удовлетворен, — сказал он, — и прежде всего потому, что посрамлены те доморощенные острословы, которые после первого памятного успеха называли меня “калифом на час”». Вдобавок ко второй золотой медали Александр получил на свое 50-летие и другой подарок: ему был полностью выплачен приз с процентами и с процентами на проценты еще за первый чемпионат — система Тараса Артемова начинала действовать! «Призрак необеспеченной старости развеялся окончательно», — облегченно вздохнул тогда двукратный чемпион мира.

К сожалению, недолго продержалась другая инициатива ФИДЕ, одобренная на том же конгрессе. А именно: новорожденным в семьях супругов-шахматистов, названным именем Насрик, автоматически перечислялась на счет сумма в 100 долларов США. Обязательным условием, впрочем, было наличие суммарного коэффициента Эло для супругов — 5000. После того как в 2008 году только из Бирмы поступило 967 заявок, ФИДЕ скрепя сердце вынуждена была отказаться от этой затеи.

В том же году отменили как совершенно ненужные и не отвечающие духу времени рукопожатия до и после партии. Предложение же делегата Новой Зеландии, вспомнившего о старом маорийском обычае (трении носами в знак приветствия), даже не было поставлено на голосование, после того как феминистские организации, ссылаясь на постоянное участие женщин в мужских турнирах, подали мощный голос протеста.

Для того чтобы внести в игру еще больше динамики, ФИДЕ в 2016 году приняла решение совместить короткую рокировку с одновременным выводом королевской ладьи на поля e1 и e8 соответственно, как это было в 15-м веке. Надо ли говорить, что количество партий, выигранных белыми, резко возросло.

Тяжелый удар был нанесен в первую очередь любителям испанской партии. Какие последствия нововведение имело для открытого варианта — очевидно, но и на основных путях ход 5...d7? в ответ на 5.0-0(+♖e1) попросту проигрывал пешку без ощутимой компенсации. Еще как-то держался на плаву улучшенный вариант защиты Стейница, но в явно ухудшенной трактовке. Одним словом, белые торжествовали, хотя и в их стане то и дело раздавались недовольные голоса. Роптали главным образом поклонники королевского гамбита. «Большинство вариантов стали просто бессмысленными», — заявил гроссмейстер Ходоров, в репертуаре которого этот дебют занимал почетное место.

Одним из первых приветствовал новую рокировку гроссмейстер Ефим Думкельд. «Я неоднократно и с успехом применял эту идею еще в бытность мою солдатом на Украине, — признался он. — Правда, справедливости ради должен сказать, что чаще это встречалось в блицпартиях...» Конгресс признал права американца неоспоримыми и единогласно окрестил новшество «поправкой Думкельда». Весть об этом застала престарелого маэстро за просмотром стриптиза в одном из ночных клубов Сан-Франциско, где он справлял свое восьмидесятилетие. Прослезившись, ветеран немедленно откликнулся экспромтом: «Лучше всякого стриптиза — статуэтка Мона Лизы. Рокируй, вводя в игру королевскую туру!»

Подал свой голос и гроссмейстер Евдоким Калашников. «Я всегда говорил, что лучшим ответом на 1.e4 является 1...c5», — заявил он, несмотря на то что в сицилианской защите его фирменный вариант испытывал глубокий кризис: найденный программой «Хейнц» порядок ходов показывал эндшпиль, форсированно возникающий после 38-го хода, где позиция черных выглядела очень подозрительной. «Мне непонятно, что это значит, — резонно парировал Калашников. — Пусть мне покажут форсированный выигрыш, иначе я готов отстаивать эту позицию против кого угодно». Действительно, знаки «!?» и «?!» исчезли совершенно со страниц шахматных книг и журналов, как в свое время исчез знак шаха, — время для сомнений в шахматах осталось в прошлом веке.

Постепенно исчезли и сами книги. «Самая лучшая книга – это база данных», – говорили теперь шахматисты. Сведения, содержащиеся в книгах, устаревали еще до выхода их в свет. Последняя была выпущена в 2009 году. Ею оказалась монография Джерри Газзарова, вся состоящая из анализов только одного хода, который встретился в одной из партий сеанса одновременной игры, проведенного им по интернету против сборной Армении. Прекрасно изданная, с множеством диаграмм, она, впрочем, представила интерес только для библиофилов. Весь шахматный мир мог наслаждаться анализами, простирающимися в отдельных случаях до 113-го хода, виртуальным способом по каналам интернета; отделения всемирного сайта находились в Москве, Тель-Авиве, Лондоне и Нью-Йорке, куда в 2008 году переселился сам Джерри; его апартамент с окнами на Центральный парк считался одним из самых красивых в Манхэттене.

Шахматные журналы также один за другим прекращали свое существование. Первым вышел из игры «Аутсайд чесс», подтвердив тем самым свое название. Дольше других держался «Нью ин чесс», но и он вынужден был в 2014 году внести неизбежные коррективы. Теперь на его обложке стояло «Олд ин чесс» с девизом: «Новое – это хорошо забытое старое!» Подписчиками журнала были в основном ветераны, закалившиеся в битвах опен-турниров 90-х годов, всё еще игравшие по вышедшим из употребления правилам со старой рокировкой. Всеми уважаемые гроссмейстеры немец Ричард Губнер и англичанин Джон Ранн попытались было издавать книги с разветвленной сетью вариантов, стараясь найти абсолютную истину, но успеха не имели. «Каждый может добраться теперь до истины при помощи мощной программы «Хейнц», оперируя только одним пальцем», – было общее мнение. «И вообще, что есть истина?» – повторяли многие вопрос двухтысячелетней давности, на который до сих пор не был дан удовлетворительный ответ. Делегаты Дании внесли его даже в повестку дня конгресса ФИДЕ 2020 года, но ничего, кроме шуток, это, конечно, не вызвало. «In vino veritas», – верно рассудили конгрессмены, тем более что Международный олимпийский комитет рекомендовал в том же году использование допинга во всех видах спорта без ограничения. «Нельзя искусственными мерами сдерживать поступь человеческого прогресса», – было записано в его решении.

В 2009 году были наконец отменены часы Фишера. Все соревнования ФИДЕ проводились теперь с часами «Без пощады». Суть их заключалась в том, что после каждого хода у игрока автоматически вычиталось десять секунд. «С прежним сплонтяйством наконец-то покончено!» – с воодушевлением встретили новинку профессионалы. Действительно, выгоды были налицо: прежде всего, отпала необходимость в изучении эндшпиля. Играть затяжные партии стало само по себе опасным занятием. Исчезающее с каждым ходом время могло привести к проигрышу даже сильнейшей стороны в случае нерешительных действий или топтания на месте. Знато-

ки старины вспомнили блистательного Таля, говорившего, что у него эндшпиль может возникнуть либо с лишней фигурой (в случае удачно проведенной атаки), либо без фигуры (ежели атака не удалась). «В обоих случаях заключительная стадия партии не требует специальных знаний и не может длиться долго», — якобы утверждал он. «Именно этого и ждет публика: красивых комбинаций и ярких атак, — поддерживали это мнение поборники зрелищной линии в игре. — Только таким образом мы сможем выйти на телеэкраны и составить достойную конкуренцию теннису и футболу». Сторонникам отживающих себя часов Фишера они язвительно замечали: «Так мы еще и до отложенных партий договоримся».

Даже философы выступили в защиту новых веяний, ссылаясь на аналогию с самой жизнью, когда минуты и секунды убегают из будущего в прошлое и уходят от нас навсегда. «Ни в коем случае нельзя продлевать столь скупо отмеренные нам мгновения, — подал голос знаменитый Бергсон. — Всё задано заранее, будущее растворено во вневременном настоящем, у которого нет ни малейшей перспективы, поэтому прибавление времени в шахматах создает ненужные иллюзии и оттягивает неотвратимый конец, заключенный в мате».

Надобность в переключении часов, кстати, совершенно отпала: после сделанного на электронной доске хода автоматически вступали в действие часы соперника. Это было не только веяние прогресса, но и отчасти вынужденная мера, позволяющая избежать дополнительных болезненных ощущений в указательном пальце. Дело в том, что у шахматистов, регулярно участвующих в соревнованиях и вынужденных проводить по многу часов в день перед экраном компьютера, просматривая партии текущих турниров или играя по интернету, от непрерывного нажимания на кнопку Enter появилась профессиональная болезнь, именуемая «enter-finger». Болезнь приняла такие масштабы, что в аптеках стали продаваться специальные напальчники, которые так и назывались — enter-finger. Различной окраски и размеров, многие были снабжены и текстом, причем наряду с незамысловатым, типа «The best there is...» или «Только наш enter-finger гарантирует полную безопасность поискового процесса», встречались и поэтические, например: «Лучше в шахматы играть — enter-finger надевать!» По рекомендации своего провайдера гроссмейстеры обеспечивались enter-finger'ами бесплатно.

Красивые девушки-шахматистки, лукаво улыбаясь, рекламировали напальчники по телевидению, а их менее удачливые товарки шушукались, что на рекламе enter-finger'ов те зарабатывают больше, чем они за победу в крупном международном турнире.

Почти все турниры, впрочем, проводились теперь по интернету. Надобность в поездках в другие страны просто-напросто отпала, а чемпион Скандинавии утверждал, что он за свою жизнь не только никогда не выезжал за пределы Исландии, но ни разу даже не покинул мансарды своего

дома в родном Ньярдвике. Даже Кук фан Делли, которого ранее можно было застать дома не чаще, чем 10–12 дней в году, в течение 2009 года только раз выехал из Рурмонда, да и то лишь затем, чтобы побывать в близлежащем Дортмунде с целью продать ставшую теперь совершенно ненужной машину. Многие теперь, не выходя из своей квартиры, умудрялись сыграть до сотни партий за вечер, побывав при этом на всех шести материках, а гроссмейстер Трустемов подсчитал однажды, что за каких-нибудь четыре часа он посетил тридцать шесть стран мира. «Настоящие шахматные туристы интернета», — осуждающе называли их представители старомодных очных шахмат.

Игра в профессиональных турнирах по сети со значительными призами потребовала создания особой службы контролеров, дабы участники во время партии не могли пользоваться советом компьютера или заглядывать в собственные анализы. Нет нужды говорить, что на эту должность приглашались люди абсолютной честности и с испытанной репутацией.

Тем не менее увеличившийся поток жалоб и протестов вынудил спонсоров и организаторов турниров ввести еще одну должность — контролера контролеров. Но и это не принесло желанного покоя. Подумывали уже о введении должности контролирующего контролера контролеров, когда кардинальное решение проблемы нашлось само собой: в комнате, где участник сидел перед экраном, в коридоре и в туалете — всюду теперь были подвешены телекамеры, фиксирующие каждое движение игрока и передающие изображение судьям, находящимся в оргкомитете турнира. Поначалу участники смущались, но потом привыкли настолько, что многие решили вообще не снимать камер со стен своих жилищ, более того — попросили установить их также в спальне и гостиной. «Мы честные люди, и нам некого стыдиться, — с достоинством говорили они, добавляя: — «Маленькие Большие братья» (так ласково называли развешанные повсюду камеры шахматисты и шахматистки) помогли нам не только внести дисциплину в тренировочный процесс, но и значительно улучшили отношения в семье». Нашлись, конечно, завистники, утверждавшие, что живущие под неусыпным оком руководствуются не только альтруистическими соображениями, но дальше слухов дело не шло, пока участница турнира претенденток, двадцатилетняя гроссмейстер Н. не выступила с сенсационным открытым письмом, опубликованным в интернете. «Я действительно получаю за это регулярную плату. Если бы вы знали положение дел в женских шахматах, вы бы не стали осуждать меня», — писала девушка.

Введение телекамер помогло, между прочим, разоблачить гроссмейстера Мадфельда, завоевавшего немало призов в сетевых турнирах 2008–2010 годов. Под этим именем скрывались Мадамс и Бельфельд — участники пресловутых супертурниров 90-х годов. Потеряв практическую силу, они решили выступать под одним именем. В ответ на предложение вернуть завоеванные таким сомнительным способом призы мошенники от-

казались, сославшись на то, что им якобы не были выплачены значительные суммы в турнирах десятилетней давности, и передали дело на рассмотрение Олимпийского суда в Лозанне. У того, впрочем, забот хватало — до сих пор тянулось шукинское дело, начатое еще в прошлом веке. Оно составило уже несколько десятков томов — ни одна из сторон не желала идти на уступки. «Известное дело: пусти шуку в пруд...» — аргументировали свою позицию адвокаты Международной шахматной федерации.

Большой шум в шахматном мире наделала пресс-конференция Бобби Кришнера в начале 2013 года. Легендарный американец, только что отменивший семидесятилетие и последние двадцать лет безвылазно проводивший в Будапеште, объявил о своем решении: он переселяется в Израиль. Прибыв туда, он стал активным членом религиозного кибуца недалеко от границы с Ливаном. «Я всегда мечтал об этом, — сказал он. — В конце концов, я никогда не делал секрета из того, что моя мать была еврейкой. Да и лета мои уже... Жить среди гоев, умирать среди евреев», — вздохнув, добавил он. Ребятишки из кибуца, которым он иногда давал уроки шахмат, звали его дядей Борухом и любили, забравшись на колени, играть его длинными вьющимися пейсами. «Зэ йоффи»\*, — обычно при этом говорил он. Таким Бобби оказался запечатленным и на фотографии; у дяди Боруха всегда находилось время и теплое словцо и для фоторепортеров, и для журналистов.

Центр шахматной жизни постепенно переместился в Китай. Пекин, как новая шахматная Мекка, притягивал к себе и тех, кто надеялся заработать на игре сотню-другую юаней, и тех, кто по возрасту не мог заняться чем-либо иным. Приходилось, правда, менять имена, произнося их на китайский манер. По коридорам огромного Дворца шахмат в Пекине слонялся ополоумевший и тугой на ухо бывший голландский гроссмейстер Ко-Ко-Нко, пристававший ко всем со своими рассказами о давно прошедших временах. Старец уверял, что он знал то ли внучку Морфи, то ли племянницу Ласкера, но от него отмахивались как от назойливой мухи.

Нашел себя в Пекине гроссмейстер Ер-по-лин-ски, уже много лет назад переехавший сюда на постоянное место жительства. Он овладел языком настолько хорошо, что местные жители принимали его за китайца, тем более что черты лица его приняли к старости соответствующие очертания. Злые языки, впрочем, утверждали, что это следствие пластической операции, сделанной в дорогой клинике Манхэттена перед самым отъездом из Америки, но то, конечно, были просто наветы. Ему было разрешено даже иметь свой сайт в интернете, где он ежемесячно провозглашал лучшего шахматиста мира. По странному стечению обстоятельств, им всякий раз оказывался президент шахматной федерации Пекина, в

---

\* Это хорошо (*иврит*).

доме которого Ки-по, как его звали друзья, работал в дневные часы лифтером. Иногда, пропустив стаканчик, он начинал названивать в Америку, дабы узнать результат последнего бейсбольного матча; в период же полнолуния Ки-по становился сентиментальным, глаза его часто бывали на мокром месте, и он повторял, всхлипывая: «Прав, прав был Вениамин Семенович, мой первый тренер – надо было мне в свое время освоить настоящую профессию...»

Прекрасно чувствовал себя в столице Поднебесной Эдмундо Грин, ставший заместителем директора Дворца шахмат по связям с границей. Его жизнь в Лондоне оказалась невыносимой после того, как летом 2012 года известный историк шахмат Крен Брайлд раскрыл секрет Эдварда Зоммера, на протяжении десятилетий терзавшего Грина в своих многочисленных публикациях.

Им оказался сам Эдмундо Грин, осознавший еще студентом справедливость старой истины, что твое имя не должно сходить со страниц прессы, в каком бы свете оно ни появлялось. Он признал, что водил почтенную публику за нос более тридцати лет. Скандал принял такие размеры, что Грину пришлось не только покинуть престижную газету «Сан», где он проработал почти всю жизнь, но даже эмигрировать из страны. Грин подтвердил также, что это именно он является тем самым шестым агентом, который был завербован КГБ в Великобритании еще во времена его студенчества в Кембридже. Этот факт стал совершенно очевидным после публикации в 2011 году секретных документов перебежавшего на Запад главного архивариуса КГБ Пиндрохина, который, кстати, сам являлся сильным любителем, регулярно выступавшим в сетевых турнирах под именем Лужин.

Ки-по и Грин располагались обычно во Дворце шахмат Пекина в комнате Доннера, где на почетном месте висела инкрустированная яхонтом и яшмой демонстрационная доска с изображением финальной позиции из партии Лю Венче – Доннер (Олимпиада в Буэнос-Айресе 1978 года), блистательно, жертвой ферзя выигранная китайским шахматистом. «Мое имя узнает весь Китай, – пророчески заметил тогда голландский гроссмейстер. – Я стану китайским Кизерицким».

На известие о разоблачении Грина с энтузиазмом откликнулся бывший претендент на мировое первенство, неуязвимый Портной. «Мне лично это было ясно еще со времен моего матча с Щукиным», – заявил суперветеран. Портной только что свел вничью матч с Акибой Рубинштейном – 3:3, причем последний удивительным образом оказался в курсе новейших изменений правил, связанных с улучшенной рокировкой, хотя особых дивидендов это ему в его системе в защите Нимцовича и не принесло.

Сам факт матча никого уже удивить не мог. «Такого рода партии десятками тысяч играют каждый день в интернете, – откликнулся из Кали-

форнии гуру шахматной сети гроссмейстер Жинджи. — Вчера, например, когда счет в моем блицматче стал 12:12, я понял наконец, что играю сам с собой». Впрочем, время не было потеряно напрасно. «Каким-то образом мой рейтинг вырос на 7 пунктов — курочка по зернышку клюет», — добавил он.

Юбилейный конгресс ФИДЕ 2024 года назвал имена новых гроссмейстеров, всего 312 человек. По примеру турниров «First Friday», издавна проводившихся в Софии, большой популярностью пользовались теперь турниры в Бухаресте «Every Sunday», стартующие, как явствует из названия, каждое воскресенье. Когда выяснилось, что постоянно живущий в румынской столице шахматист Камбоджи играет одновременно в трех таких турнирах и в двух из них близок к выполнению гроссмейстерского норматива, федерация Норвегии попыталась было положить конец этой практике, но не нашла поддержки у делегатов конгресса. С другой стороны, для борьбы с инфляцией гроссмейстерского звания была создана специальная комиссия. И как выяснилось — не зря. При первой же проверке один из соискателей, пытаясь заматовать ладьей одинокого короля, дважды нарывался на пат.

Среди новых носителей высшего звания особо отметим американца Сола Крайцкина, выполнившего последнюю, третью, гроссмейстерскую норму в сорок девять лет — случай небывалый в современной практике. С ним тут же был подписан контракт на фильм об этом удивительном событии. Через несколько минут после радостного сообщения Солу позвонил из Москвы его постоянный наставник Артур Мудрецкий. «Я всегда верил в это. Тише едешь — дальше будешь. Смотри в корень, — сказал он. — Теперь наша ближайшая цель — довести рейтинг до отметки 2750. Конечно, с такой цифрой сегодня еще далеко до первой сотни, но все равно мы будем к этому стремиться», — заключил тренер.

Самым же молодым гроссмейстером за всю историю этого звания стал Фан-Зин-Су в возрасте восьми лет одиннадцати месяцев и трех дней. Неудивительно: счастливые родители рассказали корреспондентам, что уже в возрасте четырех месяцев взор Фана был неотрывно направлен на экран компьютера.

Почетным гостем пекинской Олимпиады был Флиши Анон. Легендарный цейлонец уже давно прекратил выступать в турнирах. Всё началось с его партии с Александром Холодкевичем в 2017 году, когда Флиши продумал над первым ходом 45 минут. На вопрос журналистов, о чем он размышлял так долго, Флиши улыбнулся: «Мне просто было интересно, о чем думал 40 минут над первым ходом Бронштейн много лет тому назад». Это посчитали милой шуткой, на деле же всё оказалось серьезней: начиная с этого момента Анона стали преследовать жуткие цейтноты, он стал нелюдим, улыбка исчезла с его лица, вдобавок он так и не смог приспособиться к новому правилу «минус 10 секунд» и в конце концов вынужден был оста-



вить игру. На решение Флиши никак не повлияло появившееся в сети сообщение, что одна из фирм, производящих enter-finger'ы, изъявила желание выступить спонсором его отложенного матча с Газзаровым.

Олимпиада удалась. Американцы лидировали начиная с первого тура, все время увеличивая разрыв с шедшей вслед за ними молодой командой Китая. В десятом туре хозяевам Олимпиады удалось вплотную приблизиться к лидеру, когда они обыграли вторую команду Китая со счетом 4:0 (страна-организатор по традиции была представлена двумя сборными). Американцы тут же подали протест, указывая на недопустимый, по их мнению, ход борьбы на двух последних досках. Однако в финальной позиции партии на третьей доске беспристрастный анализ мощного компьютера «Сеньор» показал выигрыш во всех вариантах не позднее 84-го хода. Сложнее обстояло дело с четвертой доской, когда та же машина определила перевес черных в конечном положении только в 1/16 пешки. Впрочем, и здесь судьи решили, что преимущество может быть реализовано, и протест американцев был отклонен.

Всё решилось на самом финише, когда в междоусобном матче китайцы, отстававшие на очко, вырвали победу со счетом 3:1, оставив американцев на втором месте. Те, правда, снова подали протест, утверждая, что в своем желании добиться победы хозяева поля зашли слишком далеко. По мнению американских игроков, их соперники, являясь узкими специалистами по дебюту, миттельшпилю и эндшпилю, во время тура просто менялись местами по мере того, как одна фаза партии переходила в другую. Нет нужды говорить, что этот протест, от которого за версту несло нехорошим душком, был единодушно отклонен делегатами конгресса.

Как и ожидалось, первую доску легко выиграл чемпион мира Ей-Ей с прекрасным результатом 8 из 9. Сразу после окончания командного турнира состоялся и личный, по завоевывающей всё большую популярность системе гроссмейстера Мрачёва – 45 секунд на всю партию. И здесь никаких сенсаций не произошло: итоги турнира отразили реальное соотношение сил в шахматном мире. В первой десятке оказалось семь представителей Китая, двое американцев – Сапфир и Матрешкин и голландец Тиви ван дер Зуб – потомок русских эмигрантов, поселившихся в Гронингене в конце прошлого века (нелишним будет отметить, что средний возраст игроков-лауреатов составил восемнадцать лет, четыре месяца и шесть дней). И в личном турнире первенствовал чемпион мира, повторив свой результат – 8 из 9. «Я просто не мог выступить иначе; – сказал двадцатичетырехлетний Ей-Ей. – Восемь считается счастливым числом в Китае, а здесь мне и стены помогали. Конечно, я очень устал, да и годы берут уже свое, наступление молодых чувствуется, но без борьбы я не уступлю своего чемпионства».

Торжественное закрытие Олимпиады было в самом разгаре, но Ей-Ею удалось незаметно ускользнуть со стадиона. Фейерверки и прожекторы высветили ночное небо Пекина, когда, обойдя стороной площадь Тяньаньмынь, он углубился в узкие улочки старого города. Ей-Ей знал этот маршрут очень хорошо; улицы Ювелирного рынка и Свежей рыбы остались позади, когда он очутился на Липоличанг с ее антикварными магазинами и лавчонками, полными старинных книг, монет династии Минг, фарфора и рисунков на папирусе. Пройдя еще дальше и свернув за угол, Ей-Ей подошел к дому, стоящему несколько в стороне, и быстро взбежал по шаткой лестнице на последний этаж. Дверь в мансарду была полуоткрыта, и он осторожно заглянул вовнутрь. В слабо освещенной комнате на циновке лежал старик, одетый в выцветший синий тренировочный костюм. Он не услышал появления Ей-Ея; близоруко щурясь, он читал журнал, поднеся его очень близко к слезящимся глазам. Это был Хау-Ноу, первый тренер чемпиона мира, игравший в европейских турнирах еще в 70-х годах. Несколько лет назад он вышел на пенсию, и ему позволили взять с собой все журналы, пылившиеся в архиве Дворца шахмат, — ими давно уже никто не пользовался. Теперь он лежал целыми днями, перечитывая их, с тем чтобы через три недели начать всё сначала. Ей-Ей заметил, что у него в руках номер «Нью ин чесс», который Хау-Ноу перечитывал особенно часто. Старик улыбнулся: это был восьмой номер журнала за 1999 год — последний номер уходящего года, последний номер уходящего столетия...

*P.S.* Пытаясь заглянуть в будущее, я следовал примеру Доннера: когда он в юмореске начала 80-х избрал местом проведения Шахматной олимпиады 2004 года ЮАР, где на выборах победило чернокожее большинство, это казалось верхом абсурда. На деле всё произошло гораздо раньше: жизнь часто изменяется куда быстрее, чем мы можем предположить в самых смелых фантазиях.

Это эссе было написано на исходе ушедшего века, в декабре 1999 года, и многие даты в нем давно перестали быть будущим, плавно перейдя в прошлое. Имена некоторых персонажей, населявших Пекин 2024 года, накрепко забыты, многое так и осталось шуткой, что-то устарело, выглядит наивным, чему-то, возможно, еще только суждено сбыться. С другой стороны, некоторые выражения, например, «мы теперь не зависим от спонсоров, мы сами себе спонсоры», стали расхожими в шахматной среде.

Хотя со времени написания «Йоханнесбурга» не прошло и четверти века, а моего «Пекина» и того меньше, разительно изменились не только наши знания о шахматах. Сейчас в ходу другие ценности, время получает всё большее ускорение, техника движется вперед семимильными шагами. И речь идет уже не о месте проведения Олимпиады и о проблемах шахматной жизни, вопрос стоит много острее: будет ли существовать че-

рез два десятилетия сама игра? И если да, то в какой форме? Вопрос этот отнюдь не праздный. Исчезла же лютня, бывшая некогда популярнейшим музыкальным инструментом?

С шахмат последних двух десятилетий, отмыв их от средневековья, сняли налет волшебной сказки. Машина соскоблила с них фрески романтизма, и стали видны дыры в штукатурке. Компьютер, на который Доннер смотрел свысока, изменил шахматы, подведя подкоп под определения типа «у белых немного лучше» и «с сильной компенсацией за пешку». За тысячу лет существования игры не было для шахматиста учителя и друга более верного, но не было и критика более безжалостного. Изменив настоящее, компьютер пересмотрел и прошлое шахмат: поставленные под его беспристрастный глаз, многие замечательные партии старых мастеров потускнели, в них обнаружили такие прорехи, о которых их создатели и не подозревали.

Герой одной английской пьесы говорит: «Это будет замечательно — жить в третьем тысячелетии, особенно в его начале. Человек каждый день будет убеждаться: почти всё, что мы знали о любом явлении и считали, что это объективная истина, оказывается неверным». Во многом эти слова относятся и к шахматам. Но поскольку мы не в состоянии заглянуть в грядущие годы, очень может быть, что, с точки зрения будущего игры, мы всё еще не вышли из средневековья. Даже учитывая тот высокий уровень, на котором находятся шахматы сегодня.

Можно ли вернуть королевскую игру в тот сверкающий таинственный мир, где она пребывала в 19-м и на протяжении почти всего 20-го века? Не думаю. Но даже если будет найдено решение шахмат как математической задачи с конечным результатом, лыщу себя надеждой, что его — и мои — строки окажутся небезынтересными для будущих историков игры.



Голландский гроссмейстер Хейн Доннер, большой ребенок, остававшийся таковым до самой смерти, недоучившийся студент, бессребреник, бретёр, рассказчик, писатель, шахматист



Отец — министр юстиции, очень известный в стране человек — был членом Общества трезвости, и алкоголь был абсолютным табу в доме Доннеров

Сбор голландской команды перед Олимпиадой в Хайфе (1976).  
Вверху: Рей, Бём, Лигтеринк, Доннер, Хартох, Корчной.  
Внизу: массажистка, Тимман, Баумейстер, Сосонко





«Зови меня Хейн», — сказал он, заметив, что я не знаю, как обратиться к нему. В Голландии это означает, что мы переходим на «ты»

Эйндховен, август 1973. Перед началом нашей показательной партии. Доннер по обыкновению что-то объясняет мне. «Не в моем характере слушать других, я привык говорить сам», — не раз повторял он





Когда Ян Тимман был юношей, на стене его комнаты висел портрет Доннера. «В те годы он был для меня идиолом», — вспоминает Тимман.

Прогреш матч за звание чемпиона Голландии (1971) молодому Хансу Рейю поверг Хейна в состояние шока



Журил Хейн неспешно,  
по нескольку пачек  
любимого «Честерфилда»  
в день, во время игры  
его пепельница быстро  
наполнялась окурками



На турнире в Лейдене  
(1972) Даммер проиграл  
всеред только чемпиона  
мира Спасского, опередив  
Ботвинника и Ларсена!

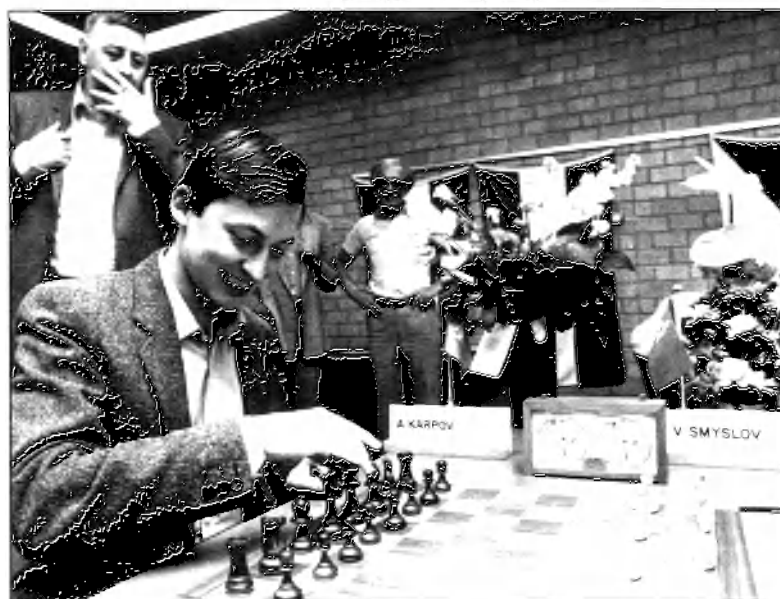






Олимпиада в Люцерне, 1982. Доннер и Михаил Таль в роли зрителей. За четверть века (1950–1976) Хейн участвовал в 10 олимпиадах, пять раз играя на 1-й доске

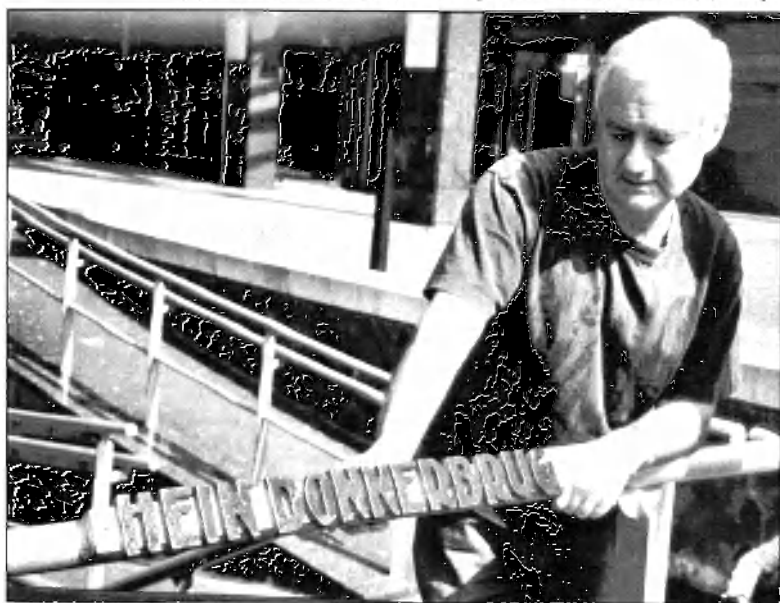
Амстердам, 1981. В том турнире Хейн сыграл единственную партию с Анатолием Карповым. На заднем плане — мастер Берри Витхауз, друг советских шахматистов





За книгу «Написано после моей смерти», выстуканную одним пальцем на клавиатуре после инсульта, Доннер получил литературную премию Голландии

Мостик, ведущий к площади Макса Эйве, украшают литые чугунные буквы, образующие три слова: Мост Хейна Доннера





Мигель Найдорф был живой, непоседливый, эмоциональный человек, с трудом сохранявший молчание и во время партии

В 1978 году мы с ним сыграли две партии. Эта, в Вейк-ан-Зее, кончилась вничью, но в Сан-Паулу мне удалось победить



Обладая замечательным природным даром, Сэмми Решевский играл скорее по интуиции и в юности совершенно не знал теории дебютов. Рано облысев, он иногда носил паричок



Он единственный в мире шахматист, кому удалось устоять в матче против Фишера (1961; +2-2=7)





Амстердам, 1935. Новый шахматный король Макс Эйве на ступенях женского лицея, где он всю жизнь преподавал математику

В честь победы над Алехиным был написан «Марш Эйве». Он стал необычайно популярен и часто игрался тогда на улицах Амстердама шарманщиками

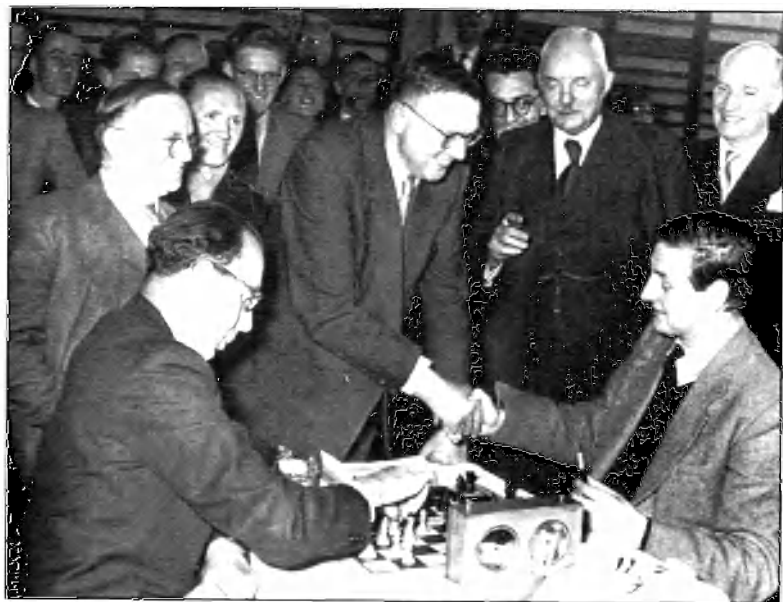




Чемпионская семья на прогулке: Макс Эйве с женой Каро и тремя дочерьми – Элс, Каролин и Фити

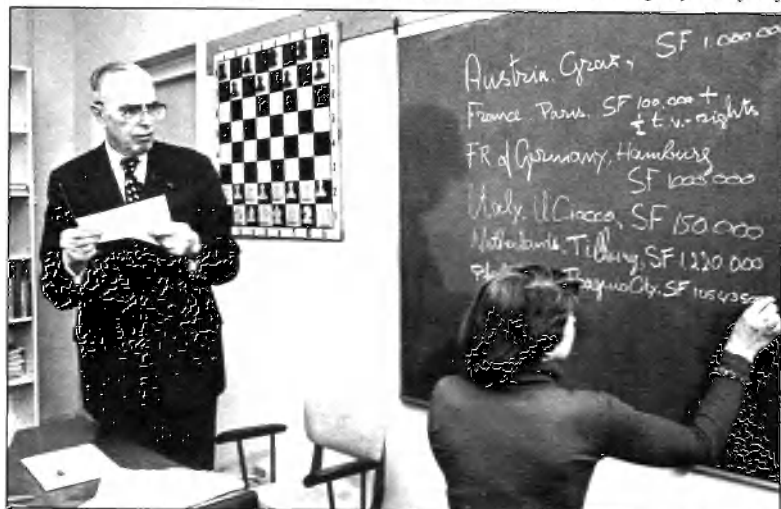
Голландия, июль 1969. Сало Флор, Ханс Мюллер, Макс Эйве и Карел Опоченский на турнире памяти Ретта





1954 год. Бессменный чемпион Голландии передает свои полномочия Хейну Доннеру, только что сыгравшему вничью с Кортлевером

Амстердам, 15 февраля 1978. Президент ФИДЕ Макс Эйве диктует список городов-pretендентов на проведение матча за мировую корону



Однажды мне довелось  
сыграть с принцем  
Борнаардом – мужем  
королевы Голландии.  
Дебют той партии: 1:e2-e4  
c7-b6 2:a2-b3 f7:e4!  
был столь необычен,  
что его окрестили  
Оранжевой защитой



Узнав, что я эмигрирует  
из СССР, принц расквел,  
полюбил меня и стал  
что-то говорить  
о Солженицыне  
и о свободе слова





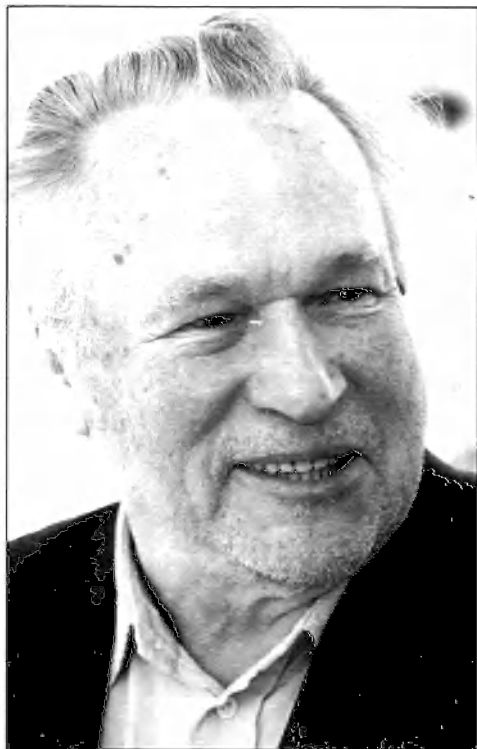


«Может, и к лучшему, что я теории не знал. Помню, жили мы с Сузгиным вместе на сборах, так Лёха всякий раз кричал: “Снова в Москву надо ехать, Карпову варианты показывать”» (Холмов)

«Из тех, кого я лично знал, Миша Таль был чистый гений, конечно, да и Лёня Штейн. Пусть они и другой национальности, но близки были мне по духу, по восприятию жизни, любил обоих» (Холмов)



Ратмир Холмов имел репутацию одного из лучших защитников, но был и мастером атаки, в которой главная роль отводится импровизации и фантазии



Он побеждал в чемпионате СССР, у него равный счет с Анатолием Карповым, а однажды ему удалось обыграть Роберта Фишера



Когда Коричной осталась на Западе, его портрет исчез со стены в Чигиринском клубе, но еще раньше откуда исчезла фотография чемпиона Ленинграда 1966 года Елены Рубан



**Е. Рубан**  
**1966**

После четырех лет лагеря Рубан, которого так и не восстановили в мастерском звании, вернулся в родной Гродно. Как он говорил с горечью, «доживать век в нашем болоте...»





Ирина Левитина относится к тем редким людям, которые рождены с геном игры. Такой человек может научиться любой игре за полчаса, а на завтра уже давать фору своим учителям



Высшая точка шахматной карьеры Ирины Левитиной. В матче на первенство мира с Майей Чибурданидзе она вела в счете после первой половины и... сорвалась, проиграв несколько партий

В четвертьфинальном матче претенденток (1983) она одолела легендарную Нону Гаприндашвили





В полуфинале (1984)  
была повержена Нана  
Александрия, за три года  
до этого сыгравшая кепичью  
ваши на первенство мира



Сейчас Ирина Левитина  
живет в Нью-Джерси.  
Она — победительница двух  
континентов и чемпионка мира  
2002 года... по бразилку!



Вдохновенная игра в блиц молодого Генриха Чепукайтиса собирала не меньше болельщиков, чем сражения Талья со Спасским

Хотя в серьезных турнирах  
успехи Чепукайтиса были  
довольно скромные,  
в молниеносной игре  
ему было мало равных



С.-Петербург, 2002.  
Чепукайтис читает  
свои стихи на сцене  
Чулоринского клуба.  
Ему внимают Корчагов







В конце 1950-х – середине 1960-х Людек Пахман был очень сильным гроссмейстером и желанным гостем на всех международных турнирах

Однажды Фидель Кастро, узнав, что Пахман не курит, дал ему огромную сигару и сказал: «Если вы друг Кубы, то выкурите ее до конца». И Людек выкурил...



Когда в воздухе повеяло  
Пражской весной, взгляды  
Пахмана полностью  
изменились, а после  
оккупации страны  
советскими войсками он  
превратился в страстного  
борца с новым режимом

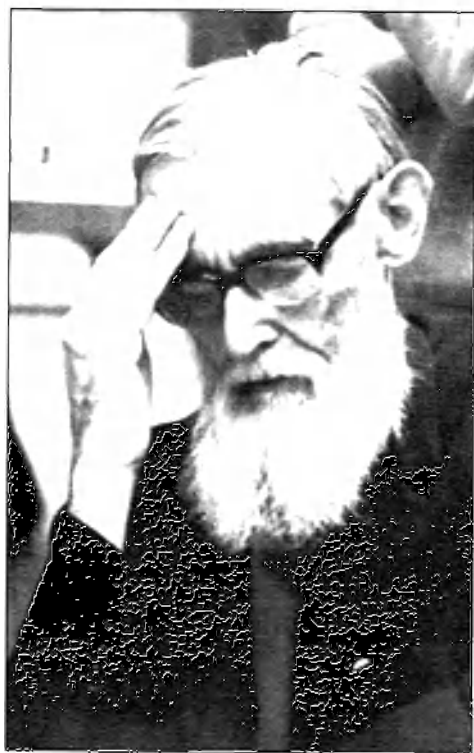


Январь 1972.  
Демонстранты,  
озабоченные судьбой  
Людэка Пахмана, перед  
входом в гостиницу,  
где жили участники  
турнира в Вейк-ан-Зее





В 1925 году на турнире в Баден-Бадене Фриц Земиш пропустил вперед только Алехина и Рубинштейна, обогнав Боголюбова, Тартаковера, Маршалла, Нимцовича, Грюнфельда, Рети, Шпильмана...



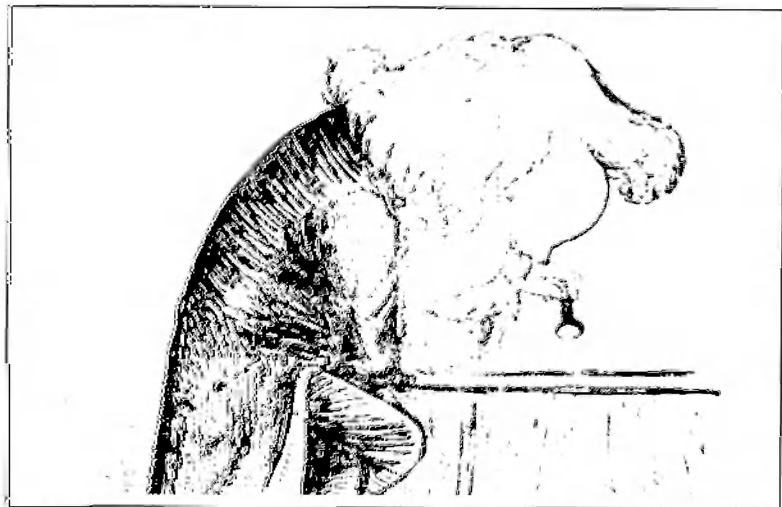
Эмиль Йозеф Димер возродил гамбит Блэкмара, о котором говорили: «Играть его — все равно что отправиться за покупкой собственного надгробья»

Леонид Шамкович был  
настоящим гроссмейстером,  
с собственным лицом и  
выразительным почерком.  
На его счету победы  
у Таля, Бронштейна,  
Спасского, Ларсена,  
Тайманова...



Бруклин, сентябрь 2000.  
На скамейке набережной  
знаменитого Брайтон-Бича  
Леонид Шамкович (справа),  
Борис Гулько и Лев Альбурт



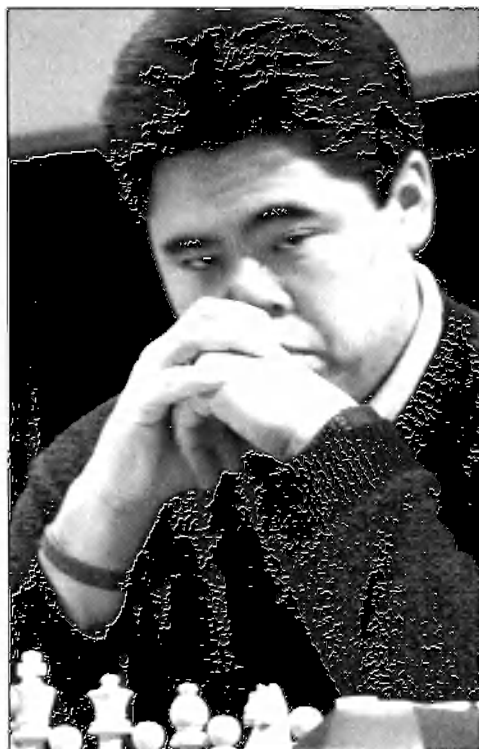


Вильгельм Стейниц  
сказал после проигрыша  
матча Ласкеру: «Слава?  
Слава у меня уже есть.  
Теперь мне нужны деньги»



«Абсолютная точность в  
добивании поверженного  
врага была наиболее яркой  
гранью таланта Босфи  
Фишера. Потому что  
соперник для него просто  
не существовал» (Доннер)

«Желание выиграть,  
быть агрессивным —  
воот менталитет, который  
мне нравится», — заявил  
16-летний чемпион США  
Хикару Накамура

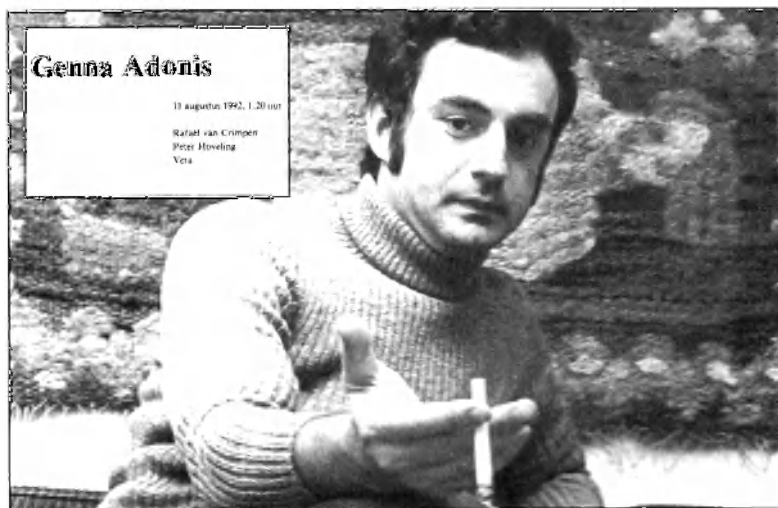


В 1992 году я получил  
письмо от одного любителя  
шахмат, сообщившего,  
что он назек своего  
первенца в мою честь:  
Генной Адонисом!

## Genna Adonis

11 agosto 1962, 1.20 (m)

Rafael van Crompen  
Peter Hoveling  
Vera



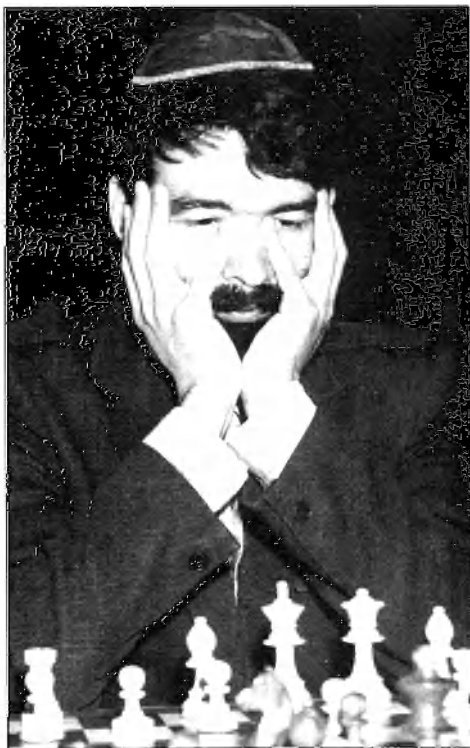


Смерть отца Решевский воспринял как кару за свои преступления и, став ортодоксом, отныне неукоснительно выполнял все предписания религии

Роттердам, 1977.  
Первая партия матча  
Португалия – Ларсен была  
прервана... из-за страшного  
шума, создаваемого в  
соседнем зале трещотками и  
песнопениями тысяч адептов  
Армии спасения



Когда Леонид Юраскин  
обратился в раввинат,  
ему было разъяснено,  
что играть в шахматы  
в субботу не воспрещается,  
но нельзя записывать ходы



Гроссмейстер Уильям  
Ломбарди (слева), став  
в 1963 году священником,  
долго время работал в  
Нью-Йоркском Бронксе  
с трудными подростками







На открытии турнира  
в Вейк-ан-Зее 2000 года:  
Гарри Каспаров (будущий  
победитель), Найджел  
Шорт и Ян Тиммакс



В 1938–1967 годах  
Хоговен-турнир проходил  
в Бевервейке, а начиная  
с 1968-го – в Вейк-ан-Зее,  
маленькой деревушке  
на берегу моря в сорока  
километрах от Амстердама

1963 год — один из пиков карьеры Хейна Доннера (слева вверху). Он выиграл сильный Хоговен-турнир, оставив позади Авербаха, Бронштейна и еще восемь гроссмейстеров



В 1994 году Вейк-ан-Зее стал ареной шести претендентских матчей ФИДЕ. Сидят: Крамник, Тимман, Камский, Адамс, ван дер Стеррен, Лотье. Стоят: Гельфанд, Ананд, Юдасин, Халифман, Юсупов, Салов



Турнир 1950 года  
закончился сенсационно:  
его выиграл молодой  
дебютант Хейн Доннер.  
Удивительнее всего то,  
что он был абсолютно  
уверен в своем успехе!



Мне дважды удалось  
выиграть Хоговен-турнир:  
в 1977 году – с Геллером,  
в 1981-м – с Тимманом



# СОДЕРЖАНИЕ

К российскому читателю .....	3
Хейн .....	9

## Часть I. НАЕДИНЕ С ФИЛИДОРОМ

Х.Доннер. Старый шахматист .....	51
Г.Сосонко. Чучело мамонта .....	53
Земляки .....	58
Х.Доннер. Любительство .....	68
Путешествовать с Эйве .....	71
Г.Сосонко. «Марш Эйве» .....	73
Х.Доннер. Игра в шахматы по телексу .....	81
Г.Сосонко. Наедине с Филлидором .....	85
Чудо .....	89
Х.Доннер. Шахматы на Кубе .....	103
Г.Сосонко. Не царское дело .....	105
Оранжевая защита .....	107
Х.Доннер. Одиночка в войне с Советским Союзом .....	115
Г.Сосонко. Пражская весна .....	119
Х.Доннер. Лебединая песня .....	132
Г.Сосонко. Князь .....	133
Х.Доннер. Пророк из Муггенштурма .....	143
Г.Сосонко. Маньяк идеи .....	145
Х.Доннер. Женщины и шахматы .....	150
Гигантская пропасть между полами .....	151
Г.Сосонко. Розовый треугольник .....	153
Клейменный .....	156
Good As You! .....	174
Х.Доннер. Блиц .....	185
Г.Сосонко. «Блиц! Блиц!» .....	186
Чип .....	188
Х.Доннер. Игра .....	206
Шахматы и бридж .....	207
Г.Сосонко. Большой шлем .....	210
Х.Доннер. Отпуск .....	229
Ошибка в анализе .....	230
Г.Сосонко. Амстердам .....	232

## Часть 2. ЛЕСТНИЦА ЖИЗНИ

Х.Доннер. О славе .....	239
Г.Сосонко. Генна Адонис .....	242
Х.Доннер. Агрессия .....	254
Г.Сосонко. Инстинкт убийцы .....	255
Х.Доннер. Пальма-де-Мальорка .....	265
Г.Сосонко. Вариант Морфея .....	267
Х.Доннер. Возраст .....	278
Г.Сосонко. Лестница жизни .....	279
Х.Доннер. Откровения от Иоханнеса .....	291
Армия Спасения изгоняет шахматистов .....	293
Духовная жизнь .....	294
Г.Сосонко. Двое на одного .....	296
Х.Доннер. Существует ли Канада? .....	305
Г.Сосонко. Двойное зрение .....	306
Х.Доннер. Жеребьевка .....	311
Г.Сосонко. Высокие дюны Вейк-ан-Зее .....	313
Х.Доннер. Пагубное пристрастие .....	321
Г.Сосонко. Клиника .....	323
Х.Доннер. Йоханнесбург .....	335
Г.Сосонко. Пекин-2024 .....	336

*Научно-популярное издание  
Серия «Великие шахматисты мира»*

**Генна Сосонко**

## **ДИАЛОГИ С ШАХМАТНЫМ НОСТРАДАМУСОМ**

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Редактор *Я. В. Дамский*  
Художественное оформление: *Н. Ю. Дмитриева*  
Компьютерная верстка: *Е. А. Атаров*  
Технический редактор *Е. А. Крылова*  
Корректор *В. А. Нэй*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 17.04.06.

Формат 60×90/16. Печать офсетная. Печ. л. 22,0. Гарнитура «NewtonС».

Тираж 3000 экз. Заказ № 4607044

Отпечатано на ФГУИПП «Нижеполиграф».  
603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

Адрес электронной почты: [info@ripol.ru](mailto:info@ripol.ru)

Сайт в Интернете: [www.ripol.ru](http://www.ripol.ru)

ООО «ИД «РИПОЛ классик»  
107140, Москва, Краснопрудная ул., д. 22а, стр. 1.





## Генна Сосонко:

«Хейн Доннер любил играть роль прорицателя. Много, о чем он говорил, забылось, пропало, истерлось, развеялось. Но многое и сбылось!»

# ДИАЛОГИ С ШАХМАТНЫМ НОСТРАДАМУСОМ



Имя Генны Сосонко (1943) широко известно в шахматном мире. Международный гроссмейстер, двукратный чемпион Голландии, победитель и призер многих турниров. А еще он талантливый журналист и литератор, чьи публикации выходят на многих языках. В предисловии к его книге «Мои показания» («Рипол классик», 2003),

уже ставшей классикой, Гарри Каспаров пишет: «На фоне упадка русскоязычной шахматной журналистики и публицистики Сосонко видится мне сегодня бесспорным пишущим шахматистом номер один».

Генна Сосонко эмигрировал из России в 1972 году и с тех пор живет в Амстердаме.

ISBN 5-7905-4359-6



РИПОЛ  
КЛАССИК